

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1997

9

---

1997



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 9(869)

Сентябрь, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

## СОДЕРЖАНИЕ

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ — Дом в деревне. Повесть сердца	3
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Мы правим бал, стихи	37
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО — Два рассказа	43
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ — Ангелы пусть не смотрят, стихи	54
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ — Заснеженные дрожки, стихи	56

### НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

КРИСТОФ РАНСМАЙР — Болезнь Китахары, роман. Окончание. Перевела с немецкого Н. Федорова	58
--	----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. МИХЕЕВ — Золотое копчение	127
------------------------------	-----

### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

А. СОЛОВОВ — Московское лихолетье. Публикация и предисловие М. Хлудовой	145
--	-----

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

«ЖМУ ВАШУ РУКУ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ». Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина. Публикация, подготовка текста, вступление и комментарии Т. Дубинской-Джалиловой и А. Чернева	167
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

*Борьба за стиль*

AERE PERENNIUS — Анатолий Найман. Заметки для памятника; Николай Славянский. Твердая вещь; Анатолий Найман. Реплика вслед	193
---	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Андрей Василевский. Повести о жизни	204
Ирина Роднянская. «Говоря ненаучно...»	207
Евгений Ермолин. Комментарии к судьбе и эпохе	214
Павел Басинский. За Толстым никого. Или — Горький?	221
Сергей Костырко. О даре жить	225
Ю. Каграманов. Любовь к Ивану Ильину как веха русского опамятования	229

---

Юрий Кублановский. — Семен Липкин. Квадрига. Повесть. Мемуары	234
Татьяна Бек. — Ольга Иванова. Когда никого. Стихи	235
Андрей Турков. — Е. Шкловский. Заложники. Рассказы	237
А. В. — Русский мат. Толковый словарь	238

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ИССА ПАНИНА — «...Стремиться к высокой свободе»	240
---	-----

### РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

Е. ЛЯМИНА, А. ПЕСКОВ — И. З. Серман. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе. 1836 — 1841	242
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	244
Периодика (составитель Андрей Василевский)	247
SUMMARY	256

---

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 2189 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ

\*

## ДОМ В ДЕРЕВНЕ

*Повесть сердца*

### I

**О** доме в деревне я мечтал много лет. Читал объявления в газетах, расспрашивал знакомых, ездил по Тверской, Владимирской и Рязанской областям, забирался в отдаленные уголки — но нигде мне не везло. Хорошие избы, особенно в красивых местах, по берегам озер и рек, были раскуплены горожанами. Самые оборотистые приобретали не по одной, а сразу по несколько и потом втридорога продавали их под дачи. Мне же хотелось жить в деревне, а не в дачном поселке. Да и денег у меня столько не было. Тогда, отчаявшись найти что-либо недалеко от Москвы, я отправился на север, за Вологду.

Те края были мне немного знакомы. В ранней молодости с будущей женой мы сплавлялись на резиновой лодке по извилистой каменистой речке Вожеге. В непогоду едва не потонув, пересекли громадное озеро Воже, а потом попали и вовсе в глухие, безлюдные места, толком не обозначенные на туристической схеме. По неведомой полноводной реке плыли несколько дней наугад мимо подтопленных лесистых берегов, где невозможно было поставить палатку, и ночевали в охотничьих зимовьях. В этих маленьких крепких избушках никогда не закрывались на замки двери и всегда имелся запас спичек, соли и чая. У нас кончилась еда, и мы обходились грибами, рыбой и самодельными лепешками из муки, пили горький чай, мерзли и мокли, пока наконец, не веря в собственное спасение, не добрались до населенных мест. Никто не верил и нам, что мы одни проплыли такое большое расстояние, старухи качали головами и говорили:

— Бесстрашники.

Будущая жена всхлипывала от жалости к самой себе и горьких мыслей, с кем ей придется связать судьбу. А я был беспечен и беспечален: долгие полунощные закаты, пронзительные и сочные северные цвета, открытые люди, одаривавшие нас хлебом и молоком, большие рубленные дома, заросшие ягодой поляны и мшины — все это запало мне в душу. Теперь я снова сюда вернулся, уже не как турист, а желая прочно обосноваться на этой земле, и если не навсегда переселиться, то по крайней мере жить здесь по долгу.

Я был уверен в том, что в полупустых деревушках подыскать задешево избу будет несложно. Но когда стал снова на той же самой резиновой лодке сплавляться по Вожеге и заходить во встречавшиеся по пути селения, спрашивая, не продает ли кто избу, на меня повсюду смотрели настороженно и отвечали, что продажных домов нет. Несколько удивленный таким неблагоприятным сочетанием и тем, что и здесь изб нету, я садился в лодку и плыл дальше, гадая, где и в какой деревне дожидается меня мой дом.



Была середина июня, а здесь еще не отцвела и остро пахла черемуха. Я плыл белыми ночами допоздна, в понравившемся месте на берегу реки ставил палатку, рыбачил, подолгу сидел у костра, ворошил угли, пил чай, курил, слушал соловьев, потом спал до полудня и снова плыл. Неширокая, но бурливая в позднем весеннем половодье речка весело и скоро несла меня вместе с бревнами и ветками над каменистыми перекатами мимо сумрачных сырых лесов, маленьких зеленых островов, прибрежных покосов, полей, песчаных отмелей, обрывистых берегов, глубоких оврагов, заброшенных хуторов и полуразрушенных мостов и плотин. Деревень то не было вообще, то встречались очень густо — кустами. Они стояли у самой реки, так что избы отражались в прозрачной воде, либо на высоких берегах, откуда открывались темные лесные дали, и были каждая по-своему необыкновенно живописны. Но всюду, куда я ни приплывал, повторялась та же история: на меня подозрительно косились, кое-где спускали собак и хорошо что не били.

Пустовавших домов в здешних деревнях было, конечно, достаточно, и только позднее я понял, в чем дело. Молодой, бородатый, я казался местному населению кем-то вроде беглого заключенного. Побег из многочисленных колоний, располагавшихся к северу от Вожеги, убийства и грабежи в этих краях иногда случались, обрастали жуткими слухами и наводили на людей ужас. Наверное, поэтому каждый незнакомец воспринимался как возможный злодей. Надо было делать иначе: найти знакомых и пожить в деревне, чтобы к тебе присмотрелись. Но я был со всех сторон москвичом Бог знает в каком поколении, и, видимо, мои попытки поселиться здесь были обречены. И все-таки больно мне хотелось иметь свой дом.

Мне было тогда двадцать шесть лет. Я окончил университет, пробовал себя в литературе и даже издал небольшую книжку рассказов. Но и жизнь моя, и будущее казались такими неопределенными и неясными. Мне нужен был дом в деревне как точка отсчета, чтобы создать самого себя и вырваться за те границы, которые ставило передо мною благополучное городское существование.

После целого дня сплава, когда по пути не попалось ни одного селения, кроме двух заброшенных хуторов в устье Чужги, правого притока Вожеги, река расширилась и потекла ровнее. Высокие деревья отражались в покойной темной воде, из которой местами торчали громадные серые валуны. Вскоре с правой стороны я увидел изгородь — верный признак приближающегося жилья. Она тянулась довольно долго, но вот показались и темные скаты деревенских крыш. Оставив лодку у плота, с которого полощут белье, по заливному лугу я стал подниматься на пологую горюшку к незнакомой прибрежной деревне. В этот полуденный час она выглядела совершенно пустой. Только возле маленького магазина, такого же старого и темного, как обычная деревенская изба, сидел под навесом на низком крыльце скуластый старик с блеклыми голубыми глазами и жидкой бородкой.

Я поздоровался. Дед посмотрел на меня спокойно и отрешенно:

— Не работает сегодня ларек.

Накануне я простыл, меня одолевали усталость и озверевшие июньские комары. Я уже не думал ни о какой избе, а хотел вернуться домой и выкинуть вон бредовую идею сделаться сельским жителем.

Я тупо уселся рядом с дедом, закурил и угостил его сигаретой. Старик вздохнул и даже не жалуясь, а угрюмо констатируя факт молвил:

— А нам уже месяц товаришши курево не возят.

— Берите всю пачку, у меня еще есть.

Мы посидели, покурили, и без всякой надежды я спросил его про дом.

— Есть одна изба на отставе, — сказал он, задумчиво глядя на меня холодными выцветшими глазами.

## II

Дом стоял в поле. Он был сложен из растрескавшихся от времени толстых бревен, на высоком подклете, с крытым двором и пятью окнами, выходящими на коровий прогон. Со всех сторон его окружала ничем не закрытая линия горизонта, уходившая за дальние холмы и леса, и казалось, что дом как будто нарочно поставлен в самом центре идеальной окружности и все вокруг вращается относительно него.

Внизу текла река, а у порога начиналось и сколько было видно глазу тянулось июньское разнотравье и разноцветье. Крапива и репейник росли возле самых стен. Окна были забиты досками, на воротах в нижней части двора висела цепь с ржавым замком. Ветки рябины и черемухи упирались в высокие бревенчатые своды и лежали на покрытой тесом крыше. Покосившийся забор перед домом не падал только потому, что держался на кустах черной смородины и малины. Дом действительно, казалось, стоял и дожидался меня много лет. От страха, что он может мне не достаться, уйти, как уходит уже схватившая приманку или блесну большая и сильная рыба, у меня заныло сердце.

— А хозяева где живут? — спросил я у деда торопливо.

— В «Сорок втором».

— Где это такое?

— Да так-то близко, а только тебе, парень, далеко будет туда добираться, — туманно ответил дед.

«Сорок вторым» оказался местный леспромхоз, который недолго думая назвали по номеру лесного квартала. Путь туда и в самом деле занял у меня почти целый день. По прямой через лес до поселка было километров десять. Но поскольку лесной дороги я не знал, мне пришлось на попутной машине вернуться за пятьдесят километров в райцентр и проехать на пассажирском поезде до следующей, совсем крошечной, станции. Оттуда по узкоколейке в полупустом трясущемся вагончике я еще долго ехал через лес с остановкой на обед в леспромхозовской столовой, пока не добрался до этого странного места, возникшего лет сорок тому назад прямо на лесной вырубке.

На первый взгляд селение напоминало партизанский лагерь времен Отечественной войны. Или просто лагерь. Большая плоская поляна, окруженная со всех сторон молодым лесом, бараки, лесопильня, одинаковые дома. Ничего похожего на деревню, которая всегда стоит на приволье, где каждая вторая изба — произведение искусства и каждая на свое лицо, здесь не было.

После реки с ее красивой долиной, холмами, дорогами, оврагами и полями, после всей этой обжитой, ухоженной и веками приспособленной для жизни человека местности, где все ласкало глаз и радовало сердце, здесь, среди леса, сырости, болотных кочек и проложенных повсюду дощатых дорожек, без которых ноги провалились бы в трясину, ощущалась затхлость и спертость. Что-то ужасное должно было заставить людей бросать родовые гнезда. Других дорог, кроме узкоколейки, к «Сорок второму» не вело, и его обитатели жили в постоянном ожидании, что теперь, когда весь лес в округе вырубил и леспромхоз стал нерентабельным, поселок закроют. Лишенные возможности ездить куда-либо на машинах или мотоциклах, они приспособили под свои нужды узкоколейку, соорудив самодельные дрезины, именуемые почему-то «пионерками». На этих «пионерках» по многочисленным и ветвистым усам объезжали окрестные леса, успевая раньше всех собрать грибы и ягоды.

Тут-то и жила хозяйка приглянувшейся мне избы Анастасия Анастасьевна. Когда нежданно-негаданно я появился у нее на пороге и обмолвился насчет дома, руки у нее опустились, будто я принес горестную весть.



«Неужели откажет?» — подумал я тоскливо, представляя мнительный деревенский характер, избегающий всяких перемен. Однако я ошибался. Крепкая пятидесятилетняя Тася Мазалева мало походила на хрестоматийный образ темной безграмотной старухи, которую обманывает заезжий столичный жулик и покупает за бесценок вековой деревянный дворец. В деревенском доме она не жила лет двадцать, с тех пор как переехала в «Сорок второй», не знала, кому его продать и что с ним делать. С годами изба разрушалась и падала в цене. Огорода не было, и земля вокруг использовалась для покоса. Я был первым покупателем, но, почувствовав, что дом мне понравился, сметливая женщина назвала какую-то сумасшедшую цену плюс я должен был заплатить госпошлину.

Торговаться я не стал. Как раз в ту пору в моей жизни случилось горе: умер отец. Все деньги, что он оставил мне в наследство, я был готов истратить на дом. На «пионерке» с хозяйкой и ее молчаливым, сдержанным сыном мы поехали километров за двадцать в сельсовет. Дрезина везла нас через лес, наступавшие на узкоколейку ветки деревьев и кустов хлестали по лицу. Кое-где рельсы были разобраны, и приходилось слезать и перетаскивать машину на руках. Мы проносились над речками и ручьями, и я жадно смотрел по сторонам, привыкая к новой местности.

В сельсовете, однако, выяснилось, что для покупки необходимо согласие председателя колхоза. Жуликоватый мужичок, спущенный из района в это отсталое хозяйство под названием колхоз «Вперед» и мало походивший на должностное лицо, сперва заупрямился:

— А на кой ляд ты мне тут нужен? Ты ж не станешь в колхозе работать. Ко мне сейчас беженцы с Узбекистана едут. Вот они и купят избу.

Я был в отчаянии, а Анастасия Анастасьевна с сыном — в досаде: где б еще они нашли такого щедрого покупателя? Однако красного председателя переубедили поддатые, но трезво мыслящие трактористы:

— Да не... Никто эту избу не купит. Она на отшибе стоит. Туда если кого и поселишь, зимой дорогу чистить трактором придется.

— Ну, смотрите, мужики, вам с ним жить, — обронил председатель и не глядя на меня вышел.

В чистеньком здании сельсовета я вручил гражданке Мазалевой три тысячи рублей и, заплатив еще пятьсот госпошлины, получил бумагу, свидетельствующую о том, что отныне я являюсь владельцем дома в деревне Осиевской Бекетовского сельсовета Вожегодского района Вологодской области, после чего мы расстались. Сумма, конечно, была немалая. Но случилось это незадолго до гайдаровской реформы, и деньги все равно бы у меня пропали. Я только очень надеюсь, что добрая и разумная Анастасия Анастасьевна, к которой я не испытываю ничего, кроме благодарности, сумела вовремя и толково их использовать.

Тем не менее, когда в деревне меня спрашивали, сколько я заплатил за Тасину избу, расчетливые колхозники укоризненно качали головами, осуждая расторопную землячку, а ко мне с самого начала отнеслись как к человеку, которого всерьез принимать нельзя.

Я был для них чем-то экзотическим и не поддающимся объяснению, чего деревенская душа пугается и не любит. В эти края не забрался еще ни один москвич или ленинградец, и никакие беженцы из Узбекистана селиться на холодном севере тоже не желали. Дома покупали обычно те, кто тут родился, потом уехал и на старости лет вернулся. Они засаживали землю картошкой, капустой и луком, разводили в теплицах огурцы и помидоры, держали скотину, летом к ним приезжали внуки из Оленегорска, Северодвинска, Никеля и других красиво поименованных, но малоприспособленных для жизни промышленными северных городов. Что делал здесь я и для чего истратил столько денег, они не понимали. А скажи я им о своем народолюбии, только пожали бы плечами.

## III

Однако огорчить меня не могло ничто — у меня был свой дом. Это был так называемый передок — просторная и светлая летняя изба-пяти-стенок, к которой когда-то примыкала маленькая зимовка. Полгода семья жила в передке, полгода в зимовке, где было теплее и не надо было тратиться столько дров. Но зимовку Тася давно уже продала на вывоз, и от нее остался только заросший крапивой фундамент. Под одной крышей с летней избой стоял большой двор — хозяйственная половина дома. Нижняя часть двора отводилась для скотины, а наверху лежало сено и находился сенник — тесная комнатка, запиравшаяся на амбарный замок, где хранились инструменты и где впоследствии я держал самые ценные вещи вроде электрической плитки, самовара и рыболовных снастей.

Таких домов, побольше, поменьше, одноэтажных и двухэтажных, покрытых шифером, рубероидом, дранкой или просто тесом, с террасками или без, в округе было много. Они все чем-то друг на друга походили и чем-то отличались, как походят и отличаются деревья одной породы. Но главная достопримечательность моей избы состояла в том, что ее не успели переделать внутри на городской манер, как почти все здешние «квартиры». В ней не было ни обоев, ни побеленных потолков, ни полированной мебели, ни покрытых линолеумом полов. В просторной чистой горнице стояли вдоль стен широкие лавки, посредине стол и русская печь. Гладко обтесанные еловые бревна излучали янтарно-розовый свет. Меж теплых бревен темнел мох. Окна, которые не мыли лет двадцать, сияли чистотой, как перед Пасхой. Сам дом был полон странных гулких звуков, так что его, как раковину, можно было слушать часами.

Но слушать его было жутковато. Первый раз я приехал сюда с другом, который рассчитывал прожить со мною недели две. Но уже на следующий день товарищ вспомнил о неотложных делах, засобирился и оставил меня одного, толком не объяснив причины.

Стояли белые ночи, я не мог уснуть, лежал и думал о том, что делаю здесь, зачем истратил столько денег и купил чужую избу, зачем привязал себя на долгие годы к одному месту, отдал рюкзак и легкую палатку за это становище, сменив милое моему сердцу кочевье и ночной костер на оседлость и русскую печь.

В юности я много ездил: бывал в фольклорных и этнографических экспедициях в средней полосе, в Прикарпатье и Закарпатье, строил дома в Казахстане, несколько недель жил в деревне на берегу Белого моря и восстанавливал деревянную церковь. Я ходил пешком по безлюдным северным деревням вдоль реки Онеги, поднимался в горы и спускался под землю, плавал по громадным карельским озерам, сплавливался по Ветлуге и Пре, по Оке и Волге, по Западной Двине и Березайке, бывал на Кавказе, в Закавказье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Ночевал в лесу под открытым небом, в стогах сена, в ледяных пещерах и заброшенных штольнях, в охотничьих зимовьях на Байкале, в палатках, больших и маленьких избах, гостиницах, сельских общежитиях, сараях, сеновалах, деревенских школах, речных судах, монастырях и даже на колокольне. Но все эти места были временными. Я навсегда уезжал и уже по дороге домой придумывал новые маршруты, сравнивая достоинства речек и озер, их прелести и красоты.

Изба в Падчеварах ставила точку в моих исканиях, как моя запоздалая женитьба. Отныне, куда бы я ни собрался поехать, отлучка была бы сродни супружеской измене. От этого было мне чуть грустно — точно, приобретаю дом, я потерял и свободу, и независимость, никому не подвластную молодость. Но еще больше печалила тайная мысль, которую я гнал прочь, но она все равно прорывалась, ясная и единственно верная мысль, что как бы я ни рассуждал и чего бы ни выдумывал, как бы ни рассказывал



всем с восторгом о громадном северном доме, хозяином которого я стал, — *домом* эта не мной, не моим отцом, не дедом и не прадедом срубленная изба все равно никогда не станет.

Я вспоминал снова Тасю — ее радость оттого, что она получит деньги, и печаль от расставания с отчим домом. Потом вставал и шел на двор, отворял верхние ворота и подолгу курил сигарету за сигаретой, отгоняя комаров и бездумно глядя в сизую даль.

Река, изгибаясь, уходила в ту сторону, где светилось на севере небо. На ее берегах стояло несколько деревень. На высоком правом — Наволок, напротив него — Сурковская, чуть дальше на большой дороге — Барановская и Назаровская. Дом находился на границе еще двух селений — Осиевской и Кубинской, а на другом берегу была деревня Куклинская и заброшенное сельцо Тимошкино. Весь этот куст из восьми деревень, так или иначе выходящих на реку в ее среднем течении, назывался странным и таинственным словом Падчевары. Ни происхождения, ни значения этого какого-то молдавского на слух речения никто не знал (как, впрочем, не знал никто, почему одна из соседних с Падчеварами деревень называлась Бухарой).

Был в Падчеварах свой колхоз, были ферма и молокозавод, телятник, ремонтные мастерские, пилорама — обыкновенное хозяйство, по показателям в районной газете «Борьба» болтающееся всегда в нижней части сводок. С моей горушки Падчевары были видны как на ладони, и дом с возвышавшимися рядом с ним деревьями — тремя высоченными осинами и березой, растущими словно из одного корня, — тоже можно было отовсюду разглядеть. Изба стояла одиноко после того, как в середине тридцатых годов в Осиевской случился пожар: на Пасху ребяташки баловались с огнем и выгорело треть деревни. С тех пор никто строиться заново на этом конце не стал. Огороды отдали под покос, а колодцы забили камнями, чтобы случайно не провалилась скотина. И вот теперь на чудом уцелевшем хуторке поселился никому не ведомый человек. Не родня, не знакомый, а Бог знает кто, и что было от этого человека ожидать, тоже никто не знал.

Ночью я как-то особенно чувствовал на себе настороженные взгляды округи. Это была, наверное, моя мнительность — в Падчеварах все спали, лишь иногда проезжал мотоцикл или трактор. В сыром воздухе звук распространялся сочный и пронзительный, и снова наступала тишина. Ближе к утру наплывал туман. Деревни, дороги, поля, перелески и река исчезали, и чудилось, что под ногами начинается озеро, из которого торчат верхушки деревьев и телеграфные столбы. В эти минуты мне становилось так тревожно, что я уже жалел о своем приобретении и казался самому себе самозванцем, временщиком, не по праву вторгшимся в чужую землю и занявшим чужое владение.

В избе я нашел Тасины тетради и фотографии, письма, выкройки и старый молитвослов, где поминался несчастный император Александр Николаевич. Все эти следы недавней живой жизни смущали меня. Позднее в деревне мне сказали, что Тасин муж Сергей после их переезда в «Сорок второй» повесился. Его везли через зимний лес и замерзшую речку на трелевочном тракторе мимо этого дома на кладбище. Никто не знал, что толкнуло его наложить на себя руки, но, когда я вспоминал номерной поселок, мне казалось, что один только казенный пейзаж его мог довести выросшего на воле человека до чего угодно.

Будь Сергей жив, не стала бы Тася продавать избу. Может быть, даже перебралась бы на старости со своей тесной лесной поляны жить сюда, на привычный ей с детства простор, и мне было не по себе от невольного прикосновения к чужой трагедии.

Все изгоняло меня отсюда. Изба была совершенно не приспособлена для жизни. Уезжая в «Сорок второй», хозяева вывезли весь кухонный

скарб. Электричество к дому не подвели, а когда перестилали крышу над передком, разобрали вывод для печи, так что я не мог ее истопить и потому оказался в полной кулинарной блокаде. Мне не на чем было сварить картошку и вскипятить чай, и я ел тушенку с хлебом, запивая ее колодезной водой.

Первые дни я ничего не делал, а только ходил по избе. Спускался вниз и поднимался на чердак, где остались старые ткацкие станки, громадные деревянные мучные лари, оборудование для варки пива, колодки для изготовления обуви, сани, плуг, хомуты, деревянные вилы и грабли, прясла, коромысла, короба, корзины, лукошки и десятки других вещей, о которых я понятия не имел, как они называются и для чего служат. Я стоял среди этого богатства, как археолог на обломках обнаруженной древней цивилизации, и неловким движением боялся что-то нарушить. Рядом протекала незнакомая таинственная жизнь. Прогоняли стадо коров, и они заунывно дребезжали колокольчиками, косили сено женщины в цветастых платьях и надвинутых на лоб платках, тархтели трактора. Где-то на краю играла вечерами гармошка и слышны были поющие голоса. Сбылось то, к чему я стремился, пускаясь в эту авантюру: я жил в деревне. Но как в ней жить — я не знал.

Подобно простодушному провинциалу, который, приехав в Москву, с энтузиазмом бросается ходить по театрам и музеям, я мечтал окунуться в крестьянскую жизнь. Но как испытывает и выталкивает всех недостойных надменная столица, так и деревня меня чуждалась. Скорее всего, мой безрассудный и наивный замысел прижиться здесь не удался бы, когда бы вскоре у меня не появился вожатый. Это был тот самый высокий негнувшийся старик, который и сказал мне про избу. Он приходился Тасе двоюродным братом, и звали его Василием Федоровичем Малаховым.

#### IV

В здешних деревнях, как, наверное, и везде по крестьянской России, стариков осталось мало. Все больше доживают век старухи, чьих мужей полюбила то война, то пьянка, то тюрьма, то просто тяжкая жизнь и болезни. Но те немногие деды, что уцелели, поражают несуетностью и удивительной внутренней красотой.

Василию Федоровичу было под семьдесят, но был он еще крепок и зол на работу. Делать дед умел, кажется, все: плотничать, столярничать, шить, катать валенки, варить пиво, ходить за скотиной, охотиться, чинить любой инструмент — от сенокосилки до трактора. Дружба с ним была самым большим чудом во всей моей деревенской эпопее. Дедушку трогала моя беспомощность и одновременно с этим упрямое желание до всего докопаться.

Днем я ремонтировал дом, чинил загороду, косил сено, делал лестницу, лазил на крышу и сооружал вывод для печи, мастерил стол на кухне и полки. А вечером шел к Василию Федоровичу и отчитывался о проделанной за день работе. Дедова жена баба Надя наливала нам чаю и в качестве угощения ставила на стол вареный сахар, который сама готовила из песка. Напившись из блюдец «жареной воды» вприкуску, мы выходили со стариком на терраску, покуривали и беседовали о жизни.

Диалоги наши напоминали разговор деда с внуком, изводящим взрослого человека бесконечными «почему?» и «а это что такое?». Старик часами рассказывал про доколхозное житье-бытье, которое помнил пацаном, про отличные дороги, соединявшие Падчевары с Кирилловом и Каргополом, а ныне заросшие и непроходимые, про мельницы, обозы, набитые рыбой и зайцами, про столыпинскую реформу и хутора, порушенные в коллективизацию, про удивительных людей, которые некогда населяли эту землю и казались мне мифическими.



— Избу твою один человек строил. Божат мой Анастасий Анастасьевич.

Имена, надо сказать, здесь встречались удивительные: Флавион, Филофей, Галактион, Текуза, Руфина, Манефа, Адольф, Виссарион, Ян, Ареф, Африкан (до той поры я был уверен, что отчество Ивана Африкановича Белов сочинил, — ничего подобного, в Бекетове автобусника звали Борисом Африкановичем).

— А как можно одному такую махину построить? — усомнился я.

— Да как? Заводил веревкой бревна наверх и рубил потихоньку. Одна раз свалился с двенадцатого венца, только изматюкался, и опять залез. Потом оказалось — два ребра сломал. Солдатом дедка звали. Все войны, от русско-японской до Отечественной, прошел. Жена у него рано померла — дак четыре года две девки-малолетки одни тут жили. А в колхоз так и не пошел. Два раза избу описывали за неуплату налогов.

— Куда ж тогда деваться?

— А куда хочешь, — отвечал дед зло. — Товаришшам до того дела не было.

Порой, к великому неудовольствию бабы Нади, мы с ним выпивали и сидели до самого утра. Захмелев, Василий Федорович становился разговорчивым. Однако водка его не оглупляла, а как-то молодила. Он вспоминал детство, сыпал стишками и прибаутками, частушками, загадками и быличками. Но из всего, что он рассказывал, моя память в точности сохранила только одну загадку.

— Батька меня знаешь как наставлял: утром выйдешь в поле — первый ни с кем не здоровайся.

— Почему?

— Вставать надо раньше всех, — усмехнулся дед. — Вот и не с кем здороваться будет.

Чем больше я узнавал этого человека, тем больше недоумения и горечи вызывала у меня его судьба. Он, без сомнения, принадлежал к той породе невероятно одаренных русских людей из простонародья, что и Михайло Ломоносов, но только с искореженной судьбой. Если бы в молодости, как многие из его сверстников, он уехал в город и стал учиться, то наверняка добился бы в жизни многого. Не зря говорил шукшинский чудик, киномеханик Василий Егорович Князев: «Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, — выходец из деревни».

Но до сорока лет дедушка Вася имел лишь начальное образование, полученное в первых четырех классах сельской школы. Когда я спросил его однажды, почему он не стал учиться дальше, обычно словоохотливый старик коротко бросил:

— Не захотел.

И больше не сказал ни слова.

Потом я понял, что дело тут было в глубокой личной обиде. Редко я встречал человека, который бы так искренне и страстно, а самое главное — не вставая в позу, заслуженно ненавидел коммунистов и советскую власть. Подобно Анастасию Анастасьевичу, всю свою жизнь, как его ни звали и ни принуждали, дед не вступал в колхоз, а зарабатывал тем, что ходил с артелью плотников по району. Потом, когда на речке Вожеге построили маленькую ГЭС, стал работать на ней механиком. Для этого надо было получить специальное образование, и, взрослый мужик, он уехал в Великий Устюг и уселся с пятнадцатилетними пацанами за парту.

В деревне моя дружба с Малаховым казалась странной. Дед был человеком довольно высокомерным и всех держал на отдалении. Я думаю, причина его заносчивости заключалась в том, что они были колхозниками, а он остался свободным и презирал их за рабство. Он никогда не высказывал этой мысли прямо и, возможно, даже не додумывал ее сам до конца —

но, несомненно, чувствовал, что он на голову выше всех, включая колхозное начальство и уполномоченных, и заслуживает иной жизни и иного к себе отношения.

Его презрение к общественному строю доходило до такой степени, что, заядлый охотник, он даже перестал охотиться после того, как в области ввели охотничьи билеты и лицензии. Старик не мог смириться с тем, что на земле, где испокон веку охотились его предки и никому не давали в том отчета, он должен идти к кому-то на поклон за путевкой. Новая власть была для него властью оккупантов, и он не хотел уступать ей ни в чем. Хотя когда его звали в особо трудных случаях поработать на пилораме или посмотреть сломавшийся механизм, он шел и помогал, втайне весьма довольный, что обойтись без него не могут.

После этого дед начинал поносить колхозное начальство за бесхозяйственность:

— Тракторов да комбайнов в колхозе, почитай, полсотни. А хлеб все равно из района возят. Как отняли у мужиков лошадей, так и не стало ничего. Ни дорог, ни хлебов. А мельницы зачем порушили? Нерентабельны стали? Хрена-ка! Чтоб мужика привязать. Мужик с лошадью и мельницей плевать на всех хотел. Он сам проживет и сам решать будет, какая ему нужна власть. А теперь живем у товарищей на их милости. Захоцут — привезут хлеб, а не захоцут — не привезут.

Сам он, когда весною сажал картошку и лук, никогда не шел на поклон к трактористу. Брал колхозную лошадь, запрягал ее и перепыхивал всю загороду. Пока были силы, старики держали корову, теленочка или поросенка. В избе имелся стратегический запас спичек и соли, и мой единоличник был готов в любой момент оторваться от сельповского снабжения и пуститься в автономное плавание. Последние лет тридцать он никуда из деревни не выезжал, и никакая сила не заставила б его тронуться с места. Он врос в эту землю, где родился и где точно знал, что умрет. Однако при этом дедушка вовсе не был чужд достижений науки и техники, обожал всяческие механизмы и сено косил не косою, а чешской сенокосилкой, которая постоянно ломалась и которую он с завидным упорством чинил.

Он казался мне осколком той рухнувшей цивилизации, следы которой, начитавшись беловского «Лада», я надеялся здесь найти. В своем прекраснодушии я воображал, что в русской деревне я встречу христианский дух, но с грустью обнаружил обратное. Обитатели Падчевар к религии были равнодушны. Конечно же они по-своему молились Богу и просили о заступничестве. Но это был скорее родительский страх за детей и внуков, хозяйский — за огороды и скотину, вера, перемешанная с суеверием, что бывает очень часто, когда человек лишен церковного кормления. Их нельзя было в этом обвинять. Все церкви и часовни в округе порушили в коллективизацию, и до последнего времени ближайший храм находился в Вологде, до которой был день пути. Праздники для большинства селян давно превратились просто в лишний повод выпить. Дед был, вероятно, единственным человеком на всю Осиевскую, кто читал Библию, на свой лад ее толковал и прочно держался старины. Со своей гордыней он вряд ли был большим христианином — в его характере скорее было что-то старозаветное. Подобно тому как для староверов неизменяемость их обычаев есть знак приверженности дониконовской эпохе, для Василия Федоровича она была знаком непоколебимой верности доколхозным временам.

Он более жил в прошлом, чем в настоящем, и без усталости рассказывал мне про былые деревенские торжества, которые помимо общих для всех крестьян Пасхи, Вознесения, Троицы, Петра и Павла, Ильи-пророка, Преображения, Успенья, Покрова, Николы и Рождества в каждом селе были своими и отмечались в день престольного храмового праздника. В Падчеварах таким был Михайлов день — двадцать первое ноября. На этот

праздник — очень удобный по времени, оттого что приходился он много позднее окончания полевых работ, — всей деревней под присмотром опытных стариков варили густое и тягучее солодовое пиво. Тут же рядом крутились ребятишки, которым доставался вкусный солод и пряники, приходили гости из соседних деревень, и кумовья угощали пивом друг друга. До утра плясали по избам и бродили по улицам с гармонью парни и девки. И хотя в тридцатые годы церковь Михаила Архангела разрушили, гулять и пить пиво продолжали еще долго, пока на хрущевской богоборческой волне не запретила поминать таким образом престол местная власть. Колхозники довольно легко смирились с запретом, променяв Михайлов день на праздновавшуюся двумя неделями раньше годовщину социалистической революции, или, как тут говорили, Октябрьскую, и ни понять, ни простить землякам этого отступничества дед в душе не мог.

Правда, на Октябрьскую он тоже выпивал, поглядывая на всех холодными, колючими глазами, поносил последними словами Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и, напившись, угрюмо декламировал:

Сидит Сталин на суку,  
Ест говяжью ногу,  
До чего же гадина —  
Советская говядина, —

или про Хрущева:

Безо всякого конфуза  
Прет и лезет кукуруза.

Ему вежливо кивали, соглашались, посмеивались — но слушать не хотели.

Он был невероятно одинок. Его единственный сын тоже нимало не походил на него. Кроме вина, Васю маленького в жизни не интересовало ничего. Вася жил в соседней деревне и иногда заходил к отцу, но они казались совершенно посторонними людьми. Только худые лица и глубоко посаженные глаза указывали на родство. Почему дед не смог передать ему хоть крохи своей богатой природы, а сын хоть часть перенять, я не понимал. Но, видно, между ними что-то пролегло, и попыток сближения они не делали. Старик помогал сыну по хозяйству — вместе косили, копали картошку; когда у Малахова-младшего никак не могла отелиться корова, дед принимал роды, но дальше этой взаимопомощи их отношения не шли.

Старуха своего мужа тоже не понимала. Разговоры и рассуждения о земле, о свободе, о власти, о коллективизации были ей чужды и вызывали страх. Она была на первый взгляд обычной деревенской женщиной — немного завистливая, суетливая, любопытная. Позднее стороной я с удивлением узнал, что одно время баба Надя была алкоголичкой. Поделаться с этим даже кремень Василий Федорович ничего не мог. Правда, злые языки утверждали, что он сам ее к вину приучил, ибо при его денежной шабашной работе водки у него бывало хоть залейся.

Потом пить баба Надя бросила и к вину больше не притрагивалась. Перенесенное пристрастие к алкоголю выдавали ее назойливые, испытывающие глаза. В ней тоже чувствовалось недовольство прожитой жизнью, но недовольство иного рода — обида не за общую крестьянскую судьбу, как у него, а только на свою личную долю. Она всерьез подумывала о переезде в город и даже участвовала в областной лотерее, где разыгрывались городские квартиры. Она очень привязалась и ко мне, и к моей жене, жаловалась на соседей и пыталась посвятить в премудрости деревенской кухни, главное устремление которой состояло, на мой взгляд, в том, чтобы сделать дешево и невкусно. Впрочем, я был, наверное, слишком избалован для того, чтобы есть суп из одного только зеленого лука.

## V

Я жил тогда в деревне подолгу и в разное время года. Потихоньку носил в избу добро: керосиновую плитку и лампу, кастрюли, сковородки, ведра, тазы, — купил в местном магазине кровать, раскладушку и несколько стульев, благо товаров в глубинке в ту пору было больше, чем в столице. Из Москвы привез велосипед и постельное белье, утеплил двери и окна и готовился к тому, чтобы если здесь и не зимовать, то в любой момент приехать и поселиться. Это были те годы, когда все говорили о близившемся голоде, читали «Новых робинзонов» Петрушевской, и я не исключал того, что в деревне придется пережить неопределенное время.

Дед всячески приветствовал мою деятельность. Он уговаривал меня взять в колхозе побольше земли, распахать ее и огородить, так как очень боялся, что эту землю снова отнимут, и, пока не отняли, надо застолбить и не дать свершиться новой коллективизации. Он заводил иногда разговоры, которые ставили меня в тупик, — о Сахарове, о Солженицыне, об опальном Ельцине — и весь горел отмищением. Старик невероятно оживлялся, когда читал центральные газеты, смотрел съезды депутатов, и был счастлив тем, что дожид до крушения коммунистической системы. В то время как вся деревня очень настороженно и даже враждебно относилась к переменам и грядущему развалу колхоза, без которого себя уже не мыслила, дед опять оказался один против всех.

Он не понимал мужиков, которые не хотели брать землю, не становились фермерами, а продолжали потихоньку разворовывать колхоз.

— Был бы я моложе. Эх, не стало меня, Олеша, не стало, — бормотал он и в который раз вспоминал, как ему пришлось отказаться от ветряной мельницы из-за того, что налоги на нее были непомерно велики.

Иногда этой одержимостью он напоминал мне покойного отца. В тишине деревенского дома, в одиночестве, когда на рассвете меня будили бегавшие по крыше вороны и я не мог уже после унуть, я часто думал о своем родителе и о том, что этот дом, купленный на его деньги и по его благословению, по совести, должен был бы принадлежать ему.

Дедушка Вася и мой отец были людьми совершенно разных судеб. Один — непримиримый оппозиционер, отказывавшийся принять пятерку к празднику от правления колхоза, другой — убежденный коммунист с тридцатилетним партийным стажем. Но как одного, так и другого жизнь не смогла сломать и скурвить, заставить предать то, во что они верили, и точно так же обоих эта жизнь обокрала в чем-то очень важном.

Мой отец был человеком, без сомнения, незаурядным и обещал многого достичь. Он закончил с красным дипломом институт, учился в аспирантуре. Но потом у него родились дочь, сын — и нужно было думать о заработке. Папа бросил учебу, поступил на работу в Главлит и проработал там всю жизнь. Когда началась эпоха гласности, я, помню, стыдился того, что мой отец — цензор, теперь еще больше стыжусь этого стыда. Он не цензурировал книги писателей, а работал в газете «Правда» и не сделал никакой карьеры. Партийная среда ему была чужда, он не переносил ее цинизма и верно, я бы даже сказал — по-рыцарски, служил раз и навсегда выбранной идее. По этой причине он был тоже, как и дед Вася, очень одинок. Я не помню, чтобы у него были друзья или приятели. Он поддерживал ровные отношения со своими коллегами, но весь смысл его жизни был в семье. Нельзя сказать, что этого мало и он прожил жизнь напрасно. Он был добрым мужем и хорошим отцом, но по-настоящему понял я это только много позднее, когда стал отцом сам. И все же когда я думаю о том, сколько в конечном итоге бесполезной работы он сделал и чего бы мог достичь, если бы выбрал иное поприще, меня охватывает горечь.

У меня были с ним довольно странные отношения. Я, как и положено в молодые годы, чего-то искал, шараялся из одной крайности в другую,



увлекаясь самыми разными вещами — от Че Гевары до Рамакришны. Отцу, должно быть, было неприятно, что я мало на него похожу. Вряд ли он хотел, чтобы я продолжал его дело. Он, видимо, и сам все понимал. Но диким показалось бы ему в шестьдесят лет менять убеждения, и во мне ему не нравились именно слишком затянувшиеся метания и отсутствие внутреннего стержня. Однако искренне об этом поговорить нам не удавалось. Что-то мешало, и это так и ушло.

Умер он за год до того, как Главлит разогнали, от острого лейкоза. Врачи пытались остановить болезнь и оттянуть смерть, но он, как говорят в народе, убрался за два месяца, и мне кажется, причина его смерти была в другом. Он устал и не хотел жить там и тогда, когда ни он, ни его идея не были нужны. Ни одно лекарство не помогало, и он ушел, оставив свою семью жить в другой стране.

— Николай Николаевич был настоящим коммунистом, — сказал кто-то из главлитовских начальников на похоронах, и я потом не раз думал, что если бы мой отец и дед Вася могли встретиться и на старости лет потолковать, то отец, может, и не поспешил бы так стремительно от нас уйти и по-другому посмотрел на жизнь...

Хотя есть одно обстоятельство, которое в моем понимании перевешивает все прочие. Отца хоронили взрослые дети — они шли за гробом, а в сущности, это и есть достойный итог любой свершившейся судьбы.

Я не был с ним внутренне близок в его последние годы, но потерю отца я ощутил как сиротство. Станным образом дед Вася мне помог. Я относился к доселе незнакомому деревенскому старику как к родному человеку, с которым меня связывало не несколько месяцев знакомства, а прожитые вместе годы, и с его стороны тоже чувствовал не просто интерес, возможность поговорить с понимающим человеком или по-стариковски поучить уму-разуму, но нечто кровное. Однако странная вещь: эти отношения он тщательно ото всех скрывал, точно стеснялся. Когда мы стиливались с ним на улице или у ларька в очереди за хлебом, дед смотрел на меня так же рассеянно и равнодушно, как и на всех. Только у себя дома он преображался, и в его глазах светилась нежность.

Он много помогал мне с ремонтом избы, выцеплял ее своими домкратами, переступив через гордость, договорился с электриками, чтобы к дому провели столбы и провода, рубил баню и ездил на лошади в лес за мхом. И я был очень удивлен, когда позднее другой мой деревенский друг, лесник Саша Тюков, довольно скептически выслушал мои похвалы в адрес бессребреника Василия Федоровича и сказал, что дядя Вася был, конечно, человеком мастеровитым и из кошки черта мог сделать, но до денег всегда жадничал и требовал за труд двойной оплаты — за себя и за механизм. С меня же дед не взял ни копейки.

— Даром, Олеша, даром, — говорил он, когда я предлагал деньги. Я не сразу понял, что здесь это слово означает не бесплатную работу, а всего-навсего — пустяки, не стоит.

Уезжая в Москву, я часто посылал в Осиевскую письма и получал ответы от бабы Нади. Сам Василий Федорович никогда не писал — но бабушка подробно рассказывала о деде и обо всех деревенских делах. Ее письма были очень трогательны, не по моим годам и чинам церемонны, хотя и немного однообразны. Она писала о здоровье, о ценах, жаловалась на жизнь и на соседей, поздравляла с праздниками от Рождества до Великого Октября.

«Здравствуйте уважаемый Алексей Николаевич! С приветом к вам Малаховы. Письмо ваше получили спасибо за беспокойство. Наше здоровье все так же но только у деда стало хуже но я не верю потому что попадет водка хорошо употребляет а по его болезни это можно самому себе отказать. Алексей здесь у нас колхоз живет в нищете наверное ликвидируется на краю распада. Новостей вроде бы никаких нет все об магазине одни

только разговоры как жить надо. Цены очень завышены все равно в магазине полки пустые. Хлеб ржаной буханка 1 р. 56 к. белый в/с 3 р. 12 вообще все дорогое а это что пром-товары очень-очень дорого. Но мы что капля в море уже старенькие дак этим не нуждаемся только слышим что все дорого. Мы все об вас говорим как вы переживете это время но мы вам помочь никак не можем и здоровье не важное. Желаем вам только пережить это трудное время. Приезжайте поскорее тогда и наговоримся. Счастья вам уважаемые добрые. У нас одни злые старухи к соседу выйти нежелательно одни сплетни дак я мало когда кому хожу. Еще про водку. 50 рублей в магазине».

Я не обратил тогда внимания на это: деду стало хуже. После смерти отца я не мог представить, что потеряю и деда.

Незадолго до семидесятилетия Василия Федоровича я послал в деревню письмо, а некоторое время спустя получил от бабы Нади ответ:

«Вы поздравляете дедушка с рождением а его были похороны. Он помер 8 апреля. А болел только 15 — 20 минут. Кровоизлияние получилось. Так всех удивил. Колол дрова а я складывала в дровенник. Потом пошла чай готовить попили чаю и я ему сказала: Дедушко ляг отдохни. Ну он прилег на диване и сразу: У меня что-то груди больно. И сразу пошла судорога и захрипел. Только было и болезни».

Я переживал оттого, что она не дала мне телеграмму и я не смог с ним проститься. Но, может быть, это и правильно: кем я ему был? Наверное, странным выглядел бы мой срочный приезд и присутствие на похоронах, тем более что о теплоте наших отношений не знал никто. Я только выпил на Николу вешнего водки у деда на могиле, где не было не то чтобы памятника, а даже таблички. Лишь над свежим зазеленевшим холмиком грубый крест и выцарапанная шариковой ручкой едва заметная кривоватая надпись:

Василий Федорович Малахов. 1922 — 1992

Васька собирался поставить памятник, да сколько уже прошло лет — а так и не поставил.

После смерти деда баба Надя сильно сдала. Она боялась даже включать свет — все казалось ей, что в дом кто-то залезет, — и упрашивала посидеть у нее подольше. При жизни она сильно на деда ругалась, жаловалась, что не помогает ей по хозяйству. А у него были свои принципы: есть его работа — и он ее делал: дрова, пахота, сенокос; а есть ее — и больна она или нет, должна делать. Она очень о нем тосковала — и я подумал тогда, что мои прежние суждения о ней и об их взаимоотношениях были поверхностными, как, впрочем, и вообще наблюдения над здешней жизнью. И мои восторги и сожаления оборачивались чем-то новым, стоило пройти времени.

Так, после смерти деда Васи, которого я почитал едва ли не за святого, мне открылось в его судьбе нечто, заставившее меня по-другому взглянуть на него.

В деревне жила одна старуха. Звали ее Першихой. Она была моей ближайшей соседкой — добрая, приветливая неграмотная женщина, в которой, в отличие от многих других деревенских старух, совершенно не чувствовалось второго дна. Избенка ее, едва ли не самая бедная во всех Падчеварах, стояла на краю деревни. Все дни Першиха занималась тем, что ходила по улице и подбирала где хворостинку, где палку на дрова. За рекой в соседней деревне жила ее старшая дочка-доярка с пьяницей мужем. Они получали Першихину пенсию, служившую в нищем колхозе основным источником дохода. Зимой старуха уходила жить к ним, а весной всякий раз возвращалась в свою избу, сажала картошку и продолжала собирать хворостины.

С этой простодушной Першихой у Васи Малахова в голодные послевоенные годы была любовь. Першиху с дочкой тогда бросил муж — вернулся с войны и, убедившись в том, что в голодном колхозе делать нечего, подался на заработки в теплые края, да так там и остался. С горя или от отчаяния Першиха сошлась с Васей. Он прижил с ней дочку и то ли обещал жениться, то ли просто помогать с ребенком. Но вскоре тоже уехал на заработки. А вернулся полгода спустя с молодой женой. Першиха не простила ему этого до самой смерти. Не сразу, но приняла Надю и даже по-своему подружилась с ней — видимо, любовь к одному человеку их объединяла, но на похороны к деду и на могилу так и не пришла.

— Омманул он меня, — сказала Першиха твердо, и в ее бесхитростных глазах сверкнула обида.

В это же время и моя мать рассказала мне, что в студенческие годы отец был женат на другой женщине и, судя по всему, очень ее любил. Но потом она забеременела и сделала без его ведома аборт. Отец простить этого не смог. Он развелся, бросил институт и ушел служить в армию. И когда несколько лет спустя познакомился с моей матерью, то женились они только после того, как мать забеременела (и только потому, что забеременела, признавала сама мама: жить-то негде было, объясняла она простодушно, — но я думаю, он просто не доверял женщинам). Впоследствии моя сестра, которую растили в строгих правилах, была псражена, открыв, что родилась всего полгода спустя после родительской свадьбы.

А у дедовой непризнанной дочери судьба сложилась несчастливо. Она вышла замуж в Вологду, муж ее вскоре оставил, она воспитывала одна двоих детей, но оба выросли непутевыми, и один из них покончил с собой.

## VI

Не стало Василия Федоровича — и деревня опустела. Он был мне защитой: чего бы ни случилось, я знал, что могу к нему прийти — и он сделает, что в его силах. Теперь же все переменялось, и я должен был существовать сам. Когда я приезжал сюда, когда вылезал из автобуса и шел по разбитой дороге с рюкзаком к дому, меня всегда охватывал легкий страх: как-то здесь меня встретят. Иногда, проходя через Сурковскую на том берегу реки, я ловил на себе враждебные взгляды парней и молодых мужиков. Меня останавливали и спрашивали, к кому я еду. А потом ночью, случалось, раздавался стук в дверь и трясущиеся с похмелья трактористы просили продать водки. Хотя водка у меня обычно была, я этого не делал, боясь, как бы моя одинокая изба не превратилась в ночной магазин или шинок. Иногда они привозили водку сами и хотели посидеть со мной и выпить, и стоило большого труда их выпроводить.

Но насколько мне не о чем было говорить с деревенскими парнями, настолько я тянулся к старикам и старухам и продолжал ходить в аккуратный зеленый дом, где жила одинокая теперь Надежда Николаевна Малахова.

Баба Надя, как и дед, любила вспоминать былую жизнь — но это были истории совсем другие. Она рассказывала, как в войну ее хотели забрать на рытье окопов, а она сбежала, как скрывалась от властей, пока один добрый старичок-еврей не выписал ей справку об освобождении. Рассказывала, как приехала сюда и как трудно было привыкнуть к новому дому и к мужу, как много приходилось работать и делать мужскую работу, от которой оберегали ее дома. Однажды она заблудилась в лесу со своей соседкой Шурой Диевой, и их двое суток искали всей деревней, а когда нашли, то дед ее изругал. Присутствовавшая при том Шура сокрушенно качала головой — ей, кажется, тоже досталось от мужа, по иронии судьбы — председателя колхоза, в который так и не вступил единоличник Малахов.

Шура была, наверное, самой блеклой и неинтересной из деревенских женщин. Характером она напоминала приживалку в богатом доме. Трудно было представить, что эта беззубая, с потухшими глазами старуха была здесь когда-то первой леди и работала на привилегированной должности сельповской продавщицы. Она поддакивала всем, кто приходил в Надину избу, и перед всеми заискивала. Только в самой глубине ее глаз таилось — или мне так чудилось — что-то очень недоброе. Раз, когда Шура, наигравшись в карты и напившись чаю, ушла к себе, баба Надя, посмеиваясь и горя глазами, рассказала мне про нее одну историю.

После войны занедел в деревне было мало. В сельпо ничего не могли купить, и Шура носила товар расконвоированным на зону в Тавеньгу. У тех деньги водились, и они охотно брали все, что она им предлагала. Однажды она подсунула своим покупателям несвежие яйца. А в следующий раз, когда пошла с подружкой в Тавеньгу, ее нагнали в лесу трое мужиков. Подружку не тронули, а нечестную продавщицу заставили заплатить за обман натурой. Шура умоляла товарку, чтобы та ничего не рассказывала в деревне. Но разве подобное обещание легко сдержать? И вот странная вещь: пол-Осиевской знало про Шурин позор — и только ее муж, председатель колхоза, так и остался в неведении.

Я чувствовал себя обязанным запомнить и сбересть все, что слышал, и потому любил, когда в Надиной избе собиралось несколько старух и мне удавалось настроить их на воспоминания. Мог часами слушать их речь и глядеть на темные, морщинистые лица с молодыми глазами. Со временем и они ко мне привыкли, убедились в том, что никакой угрозы я не представляю, и, с одной стороны, как к человеку постороннему, но с другой — уже и не совсем чужому, несли мне свои горести, сплетни и обиды. Нигде я не встречал прежде столько взаимного раздражения и зависти, как в деревенском обществе. Эти люди были памятьливы на самые мелкие происшествия, случившиеся несколько лет назад, и отношения между ними были невероятно прихотливы. Когда к бабе Наде заходила в гости соседка Нюра Цыганова, то никогда не пила чаю, сколько ей ни предлагали. А после ее ухода Надя всякий раз рассказывала, что Нюрка ужасная сплетница, балаболка, неряха и лентяйка.

Ольге Ганиной они завидовали, потому что она оформила инвалидность и получала дополнительные деньги, хотя здоровьем была крепче многих. И все же когда они собирались вместе, обиды как будто уходили.

Старухи вспоминали молодость, войну, замужество, строгих свекров и свекровей, следивших за каждым шагом невесток, голод, тяжелую каждодневную работу, за которую выставляли, но не оплачивали трудодни. Так мне стало понятно, почему сбежали люди в жуткие лесные поселки вроде «Сорок второго», если даже на зоне расконвоированным заключенным лучше жилось, чем советским колхозникам. Однако при этом в старушечьих воспоминаниях не было злобы ни к чему, даже к колхозному строю, столь ненавистному деду Васе. Они гордились грамотами и наградами, сокрушались о том, что нынче молодежь не та и работать никто не хочет, с удовольствием вспоминали бригады и трудодни и не мазали всех колхозных председателей, сменившихся в Падчеварах за много лет, одной краской. Больше внимания они обращали на мелочи и частности, из которых, в сущности, и состоит жизнь, и власть была для них не абстракцией и не пугалом, но этой властью были большей частью свои же люди, которых им тоже было жаль. Каждая из них по отдельности уступала по уму покойному Василию Федоровичу. Но все вместе они были умнее его какой-то примирительной народной мудростью, что и позволяла деревне до сих пор удерживаться на краю обрыва и преодолевать все напасти, какие только на нее не насылали.



В этих полуграмотных женщинах было что-то очень непосредственное. Мне казалось тогда, нет места на земле лучше, чем моя деревня. Я знал, что старухи мне здесь рады, что Першихе не так страшно у себя на краю, когда на моем хуторке зажигается свет. Я привозил им гостинцы: конфеты, чай, кофе, лекарства, семена, батарейки для фонариков, отрывные календари. Однажды привез бананы, которых они до того в глаза не видели. Бабки ели торжественно, качали головами и не хотели выкидывать шкурки — им было их жалко.

Я жил в Москве, работал в университете, в моей жизни происходили важные и не важные события: я женился, вступил в Союз писателей, получил водительские права и съездил за границу. Но что бы со мною ни было, я всегда искал малейший просвет, чтобы на ночном 220-м поезде Москва — Котлас с Ярославского вокзала доехать до станции Вожега, а дальше на колхозном вечно переполненном автобусе, иногда с пьяным водилой, рискуя свалиться в кювет или врезаться в бензовоз, добирался до дорогих моему сердцу Падчевар. Я любил приезжать туда в любое время года, иногда вырываясь на два-три дня, и первым делом шел в ларек за хлебом. Деревенские женщины, с морщинистыми, рано поблекшими лицами, одетые в сапоги, телогрейки или болоньевые куртки, стояли в очереди. Глядя на них, я думал о том, что это и есть мой народ — измученный, униженный, ограбленный, брошенный на произвол судьбы и государством, и церковью.

Деревня сделалась мне очень близкой. Хотя я хорошо понимал, что никогда не смогу назвать ее родиной, но мечтал, что сюда будет приезжать мой сын. Когда ходил на кладбище и сравнивал просторную могилу дедушки Васи с тесной могилой отца на Домодедовском кладбище, мне хотелось завещать своим детям, чтобы меня тоже похоронили здесь.

Это заросшее травой, в березках кладбище заменяло деревенским и церковь, и клуб. Сюда приходили на все праздники, нарядно одетые, с детьми, выпивали, закусывали, и лица были не печальными, но радостными. Смерть не пугала их. Они ждали ее, как ждали в ларьке очереди за хлебом, и как с удовольствием и толком покупали товар — с удовольствием говорили о похоронах.

Смерти случались часто — то одна, то другая старуха или старик убиралась на погост. Бывало, гибли и молодые, чаще по пьяни, от угара, а порой просто захлебываясь в собственной блевотине или по лихачеству (так погиб опытный электрик с Наволока Михаил Мазалев — полез на авось чинить оборвавшиеся провода и от удара током сорвался). В сельсовете выписывали водку на поминки. Несколько мужиков брались тесать гроб, копать могилу, и вся деревня торжественно шла к березкам. В чисто вымытой избе покойника — так и хочется сказать: именинника — накрывали столы, и к скорби примешивалось тайное возбуждение от предстоящей выпивки. На выпивку скупиться было нельзя. Когда у прижимистой бабы Нади на поминках по деду слишком рано кончилась водка и осталась только двадцативосьмиградусная «Стрелецкая» (а разница в крепости напитков соблюдалась очень четко, и крепкие вина вроде портвейна за алкогольный напиток вовсе не признавались), то копавшие могилу мужики оскорбились и демонстративно ушли из избы. Бабушка на них обиделась — но, по общему деревенскому вердикту, не права была она.

А год спустя после смерти деда заболела и сама баба Надя. У нее нашли рак толстой кишки и направили в Вологду. Осенью мы получили от нее последнее письмо:

«Наше дело оказалось сложное. Предложили операцию я отказалась как будет выведена трубка в правом боку тогда что мне делать полена дров не принести. Была бы дочка дело другое. Вообще дела у меня плохие но я очень не расстраиваюсь все равно там быть правда сказали надо-бы бабуся раньше но что сделаешь».

Остаться беспомощным инвалидом на руках у сына и невестки она не захотела. Я не знаю, чего здесь было больше — извечного русского отношения к смерти как к снятию жизненного бремени или усталости нашего века. Но все старухи говорили одно и то же: зажились, пора к березкам.

В ноябре на падчеварском кладбище появилась новая могилка — и над ней такой же простой и грубый деревянный крест с выцарапанной ручкой надписью, как и у деда Васи. Еще один деревенский дом опустел, и из него мало-помалу начали исчезать инструменты, посуда, вещи, которые продавал и пропивал единственный наследник нажитого за долгую жизнь богатства.

Но помимо смертей естественных случались и самоубийства, и убийства. Чаще всего вешались молодые угрюмые мужики, которым не на что было выпить, — вешались от отчаяния, назло всему свету. Назло жене, которая не давала на бутылку, назло родителям, не желавшим содержать неработающих оболтусов. Убивали себя или убивали других. К убийству относились как к явлению тяжелому, но неизбежному и привычному.

Однажды я шел от автобуса с щупленьким и неприметным мужичком. Мы разговорились, и он вдруг сказал, что отсидел восемь лет за убийство. Сказал буднично и бесцветно, и, глядя на него, невозможно было подумать, что он кого-то убил и сидел в тюрьме. Ласковое, немного глуповатое лицо оставалось совершенно бесстрастным, и эта бесстрастность казалась еще более пугающей. Кого он убил и за что и не убьет ли он снова, так же бессмысленно и просто, то было ведомо одному Богу...

Человеческая жизнь тут ценилась недорого. Я помню и другую историю — ее рассказывали с удовольствием и даже со смехом — про убийство, случившееся, правда, не у нас в деревне, где была хоть какая-то власть, а далеко в лесах. Туда вернулся рецидивист, проведенный в тюрьме едва ли не полжизни. Пришел к своей полюбовнице, стал требовать вина и удовлетворения похоти и в конце концов смертельно ей надоел. Но когда она пробовала его прогнать, мужик хватался за топор и, угрожая, настаивал на своем. Однажды разъяренная женщина выхватила у него из рук топор и, как петуху, отрубила голову. Была она баба дюжая, всю жизнь проработала на трелевке, так что он и дернуться не успел. В деревне облегченно вздохнули, погоревали о несчастной освободительнице, и она поехала в райцентр сдаваться. А через три дня вернулась. В милиции дела заводить не стали и ей только что благодарность не объявили.

Я не уверен, что эта история не была местной легендой. Но могло стать, так произошло на самом деле. Здешняя жизнь текла по своим законам, с совершенно иным отношением ко всему на свете, и все более странной и чуждой она мне казалась по мере того, как я лучше узнавал ее.

## VII

Хотя я знал в деревне почти всех, но коротко сошелся с очень немногими. Деревенский мир был не менее разнолик, чем мир городской, но здесь за всеми зорко следили, всё обсуждали и подмечали и ни одной случайной, незначащей детали не существовало.

Одни жили в домах, покрытых шифером или даже железом, а другие круглый год ютились в зимовках. Одни держали корову, поросят или овец — у других не было ничего. Одни покупали в ларьке только хлеб, а другие конфеты и пряники. Была в деревне и своя интеллигенция в лице учительницы Татьяны Николаевны Ковановой, которая окончила пединститут и учила меньше десятка ребятишек в сурковской начальной школе. Татьяну Николаевну уважали больше всех. Она организовывала местные выборы; когда заболела продавщица, именно ей доверялось продавать хлеб. Дома у нее стоял телефон и — невиданное дело — стиральная машина. Она была, наверное, одной из немногих благополучных деревенских

женщин. Ее муж не пил. Он работал не в колхозе, а начальником средней руки в райцентре и на выходные приезжал домой на собственном «уазике». Помимо этого у Василия Виссарионовича была моторная лодка, а на озере Воже рыбацкий домик, который ему строили мужики победнее. Кованов несколько раз приходил к нам в гости, улыбался моей жене и весь лучился сытостью и довольством, с наслаждением рассказывая про охоту на волков и лосей. Он любил поговорить о политике и выказать себя умственным человеком, бывал несколько раз в Москве и отзывался о ней в пренебрежительном тоне.

Иногда нас звали в гости и другие люди, занимавшие высокое общественное положение, вроде главной падчеварской продавщицы Нины Борисовой, которая первой отделилась от государства и открыла в Сурковской коммерческий магазин. Нина угощала нас рыбником, грибами, домашним сыром, творогом и сметаной и жаловалась на то, что коммерция идет плохо. Как и в послевоенные безденежные годы, в деревне давно уже ничего не покупали, а в основном донашивали старое.

Была в Падчеварах своя элита, были и свои парии вроде Першихиноного зятя Галаши — страшного, черного, заживо высохшего человека, который работал на скотном дворе, трезвым не бывал никогда и вскоре помер от цирроза печени.

Но все же главным образом жители деревни делились на тех, кто жил постоянно, и тех, кто приезжал на лето, — их звали отпускниками. Между отпускниками и коренными иногда случались стычки в местном магазине, когда кончался хлеб и своим не доставалось. Пока колхоз был в силе, отпускников заставляли работать на сенокосе или на уборке льна. Считалось, что так они отработывают свое пребывание на этой земле и право пользования ею.

Среди самых колоритных отпускников была семья Ани Плотниковой. Плотниковы жили далеко на Севере, где-то на границе с Норвегией. Но сама Аня была родом из Осиевской и, выйдя на пенсию, купила на родине задешево полуразвалившуюся избу, выцепила ее, покрыла тесом и выкрасила. Она любила помногу и несколько даже утомительно рассказывать, чего ей стоило все это сделать, как сложно было найти материал и работников, которые неспешно и с перекурами трудились, но зато с удовольствием и толком до утра пили самогон. И только впоследствии, сам столкнувшись с похожими проблемами, я в полной мере оценил ее страдания.

Плотниковы жили в деревне с марта по ноябрь, размашисто, с телятами и поросятами, с огородом, с теплицей. Уезжая на зиму в свою «Норвегию», они увозили несколько мешков картошки, банки консервированного мяса, огурцов и кабачков, сушеные грибы и ягоды. Для этого предприимчивая хозяйка договаривалась с колхозной машиной, а потом специально ездила в Вожегу и отправляла урожай в багажном вагоне.

Ее дом стоял позади бабы Надиного. Соседки ходили в гости едва ли не каждый день, пока между ними не вышла очень характерная для деревни размолвка. Надина невестка, продавщица Татьяна, однажды не продала Плотниковой конфет, сославшись на то, что кондитерских изделий своим не хватает. Татьяна была женщина не злая, но по-своему принципиальная и в душе терзавшаяся некоторой завистью, оттого что кто-то имеет два дома, и в деревне и в городе, а у нее только один. К тому же сама она прожила несколько лет в Северодвинске, но там у нее не заладилось, она вернулась и на более удачливых горожан смотрела косо. Действительно ли существовало распоряжение не продавать приезжим конфет, как утверждала впоследствии Татьяна, или же она хотела таким образом восстановить поправную справедливость, так и осталось неизвестным, однако она не на ту напала.

Оскорбленная Плотникова накатала письмо в «Борьбу». Дескать, как помогать с сеном или льном — зовут всех и не делят на своих и чужих, а

как конфеты — так только колхозникам? А она, между прочим, не дачница какая-нибудь, а ветеран труда, много лет проработавшая в колхозе до того, как уехала на Север. В наступившие времена гласности это письмо посчитали проявлением народной инициативы, и редакция его взяла да и опубликовала, чего, я думаю, и сама авторша не ожидала. Конфликт обсуждался всеми Падчеварами, и между дружественными домами пролегла даже не тень, а целое затмение. Баба Надя не могла простить Плотниковой такого демарша, а в душе, может быть, побаивалась и разъяренной Татьяны. В магазин теперь ходил плотниковский муж — забитый, больной человек, которому Татьяна презрительно швыряла батоны. Но для самой бабы Нади эта размолвка была печальна тем, что ей негде было больше смотреть телевизор, и она так и не узнала, чем кончился сериал «Богатые тоже плачут». Примирились женщины — как, наверное, у нас всегда и бывает — лишь после несчастья: на похоронах деда Васи.

Первое время я думал, что колхоз и меня заставит делать что-нибудь общественно полезное, хотя сильно сомневался в том, что не опозорюсь на сенокосе, а тем более на вязке льняных снопов. Но меня ни разу не тронули и никуда не позвали. Все держалось на определенной справедливости. Ведь землю, хотя правление и намерило мне пятнадцать соток, я так и не стал обрабатывать и не обнес забором. По-прежнему на ней косил для своих нужд маленький улыбающийся и совершенно непьющий мужичок Алик Вахрушин — на вид кроткий и ласковый, как колхозные телята, за которыми он ухаживал. И жил я здесь не так много, продукты почти все привозил из Москвы, а назад вез только грибы и ягоды да, если оставалось в рюкзаке место, картошку.

Но все же когда во время сенокоса, посадки картофеля или уборки льна я шел мимо согнувшихся людей с удочками на реку или с корзинкой в лес, то испытывал неловкость. Однако косых взглядов никогда не встречал и осуждающих разговоров за спиной не слышал. И не оттого, что крестьяне были деликатны. Просто за каждым признавалось право жить как он хочет. Возможно, когда летом я приезжал сюда с семьей, какие-то наши привычки, чересчур изысканный по деревенским меркам стол, долгий утренний сон и ночные бдения на дворе, откуда мы с женой любили созерцать закаты, показались бы деревенским людям странными. Но поскольку хуторок стоял на отшибе, то никто не знал, как мы там живем, когда встаем и ложимся, что едим и как проводим время. Никого, кроме деда Васи и бабы Нади да еще любопытной Плотниковой, оценивающей оглядевшей избу и посоветовавшей обклеить стены обоями, побелить потолок и покрасить пол, у нас не было. Мы были предоставлены сами себе, интерес к нам вскоре утратили и осудили в деревне совсем за другое, о чем я расскажу дальше.

А я, после того как мы более или менее привели в порядок дом и создали в нем минимум жизненных удобств, предался радостям лесной жизни, и эти часы были счастливыми и не омраченными ничем.

## VIII

Север Вологодчины — край не самый красивый. Леса труднопроходимы, сосновых или еловых боров почти нет, и просто идти и гулять невозможно. Местность сырая, летом комариная, если несколько дней льют дожди, дороги разбивает так, что проехать может только трактор, и деревня оказывается надолго отрезанной от райцентра. Когда наступает сушь, река в иных местах мелеет едва не до основания.

Однако со временем я привязался к этой стороне. Ходил вместе с деревенскими бабами за ягодой — в июле за земляникой и морошкой, в августе за малиной и черникой, в сентябре за брусникой и клюквой, — с



мужиками удил рыбу в реке и в глубоком лесном озере. Но чаще всего в лесу я бывал один.

Уходил обычно далеко от деревни, километров за десять на юг, к водоразделу, туда, где лес прорезали высокие сосновые гряды, по-местному — гривы. На этих гривах даже в самые неурожайные годы росли грибы, и я любил, как говорили в деревне, туда бывать. Там, вдалеке от жилья, редко кого можно было встретить. На много километров тянулся лес, в котором иногда попадались небольшие поляны и квартальные просеки, а деревень не было, кроме одной.

Она называлась Коргозеро, потому что стояла на берегу большого одноименного озера. Жили в Коргозере лишь старики и старухи, и никакой связи с миром, иначе как по заросшим и топким лесным дорогам и тропам, деревня не имела. Покойный дед Вася рассказывал — не знаю, правда это или нет, — что когда-то в Коргозеро приходил из своей недалеко расположенной Тимонихи писатель Василий Белов. Вместе с мужиками он переставлял двор, а заодно записывал за ними плотницкую речь. Но я так ни разу дотуда и не дошел. Слышал, как лают собаки, и поворачивал назад. Таинственное очарование было в моем представлении о Коргозере, и это очарование я боялся растерять. Да и земля там была уже не моя, а Василь Иванычева.

Однажды, бродя по лесу, я встретил коргозерского старика. Он был мал, худ и с невероятно тонким, почти клинообразным лицом. К моему удивлению, дедок спросил, далеко ли до Падчевар, и пожаловался на то, что совершенно не узнает дороги. Мы разговорились. Оказалось, что он лет двадцать никуда из своей деревни не выходил, а теперь ему потребовалось в сельсовет. Мне хотелось остановить его и поговорить подольше, но старик торопился засветло вернуться и пошел, что-то бормоча на ходу. Я глядел ему вслед и думал о том, что за эти двадцать лет переменялась не только дорога, но и столько других вещей, сколько не меняется в иные времена за целую человеческую жизнь. Даже сельсовета, куда он направлялся, больше не было, но все это прошло мимо него — сухонького, седенького, похожего на лесовичка человека. Я ничего не знал о его судьбе. Наверное, она была нелегкой, как и у всех жителей этой земли. Но в отличие от деда Васи Малахова и от Василия Белова он казался совершенно примиренным со всем.

На Коргозерах вообще лежал отпечаток примиренности и доверчивости. Как-то ранней осенью я встретил в лесу еще одного жителя загадочной деревни. Он приветливо со мной поздоровался, угостил сигаретой и объяснил, как лучше пройти к озеру. И ни настороженности, ни подозрительности в его глазах и голосе не было. Просто встретились два человека в глухом лесу, учтиво потолковали и разошлись каждый в свою сторону, как будто был конец не двадцатого, а девятнадцатого века и нет нужды бояться незнакомца.

Кроме так и не увиденного мною Коргозера в окрестных лесах было еще несколько озер. До самого маленького, Гагатринского, похожего на жирную запятую, идти было часа два. Этот путь я делил на несколько отрезков. Первый — по заросшей травой топкой и однообразной прямой дороге. Она вела прямо под линией электропередачи к Крутому ручью, довольно большой и веселой поляне, где прежде стоял зажиточный хутор, а теперь остался последний лесной покос, до которого можно было добраться на тракторе и вывезти сено. Здесь, присев на поваленное дерево, я делал первый перекур и глядел на склон гряды с желтыми березами и темными елями. Дальше дорога шла по руслу речки Токовицы, названной так, видимо, оттого, что по ней селилось множество глухарей. Мне и в самом деле случалось несколько раз испугивать этих громадных птиц, до смерти пугавших и меня, когда в тихом лесу вдруг ухало и вздымалось к верхушкам деревьев что-то очень тяжелое и черное.

В сырое лето воды в Токовице выше колена, и идти по ней было не-легко. Но мало-помалу дорога становилась выше и суше. Слева оставалось болото Большой Мох. Я шел по тропе совсем весело, пока не утыкался в старую узкоколейку. Свернув налево, можно было бы дойти до «Сорок второго», где жила Тася. Но в «Сорок второй» меня не тянуло. Я сворачивал направо, с полчасу шел, наслаждаясь тем, что под ногами твердая почва, переходил по полуразвалившемуся мосту чистую лесную речку Коргу, вытекавшую из Коргозера и впадавшую в Вожегу. В порожиистой Корге водились хариусы, но сколько я ни пробовал, поймать их не получалось. За Коргой дорога снова поворачивала налево и по гриве, возвышавшейся над лесом, постепенно спускалась вниз, пока не упиралась в озеро.

Все эти дороги я отыскал в лесу сам, и когда рассказывал в деревне, где побывал, на меня косились недоверчиво. Так далеко никто из местных не забирался. То ли не было времени, то ли боялись заблудиться. Но я всегда носил с собой компас и хорошо помнил карту, хотя и с компасом случалось мне несколько раз блуждать. Однажды я едва не заночевал в лесу прямо рядом с деревней — точно и в самом деле водил меня в сумерках леший. Только после того, как вокруг сгустилась тьма и я уже совсем не знал, куда идти, хозяину леса наскучило со мной играть, и между деревьями мелькнул последний просвет. И все же страха в лесу я не чувствовал никогда, а, напротив, ощущал себя здесь в совершенной безопасности.

Вода в лесных озерах была прозрачна, а рыбы столько, что когда я купался, то громадные щуки стремительно разбегались в стороны. Чаще всего я ходил на Чунозеро. Оно было чуть больше Гагатринского и по форме напоминало каплю. Берега у него были топкие и плавучие, а дно сразу обрывалось. Мужики говорили, что глубина в нем едва ли не тридцать метров, но когда однажды зимой в поисках клева я просверлил не один десяток дырок, в том числе и на середине, то больше семи метров нигде не обнаружил. Однако как бы там ни было, все сходилось на том, что Чунозеро набито рыбой, но... она почти никогда не клевала. Говорили по этому поводу разное. Одни — будто бы чуткая лесная рыба, услышав приближение человека, пугается и уходит. Другие — что все дело в погоде и раньше старики знали, в какой именно день на озере будет клев. Но даже не ради рыбы, а для того, чтобы поглядеть на Чунозеро, я приходил сюда во всякий свой приезд.

На берегу чуть в стороне от воды стояла избушка, правда, никакого очарования в ней не было. Грязная, закопченная, с очагом вместо печки, окруженная сотней пустых бутылок, она совершенно не походила на те аккуратные и чистые зимовья, что мы видели когда-то с женой на Еломе. То ли места здесь были не такие дикие, как на той стороне озера Воже, то ли изменился за эти несколько лет народ, но в чунозерскую избушку даже зайти было неприятно. Зато озеро...

В ненастную погоду оно было диким и суровым, настоящее северное таежное озеро. По берегам высились чахлые сосенки, нанизанное на их вершины, висело низкое небо, и ветер гнал тяжелую сумрачную рябь. Но когда выглядывало солнце, все преображалось. Озерцо с кувшинками, стрекозами и прозрачной водой казалось веселым и домашним, словно мелиховский пруд. Я закидывал удочки, ставил донки с замиранием сердца и надеждой, что вот в этот-то раз, — но увыв... Озеро безмолвствовало. Как ни пробовал я менять места и разные насадки, как ни колдовал над снастями, все было бесполезно. Тогда я шел на вытекавшую из озера речку Чунозерку. В ней жили бобры. Свежие, обточенные их зубами стволы деревьев перегораживали речку, то и дело в ней появлялись новые запруды с коричневой водой, куда я закидывал удочку. Однако в рыбалке бобры были удачливее людей, и в сумерках я уходил без единой поклевки, но никогда не жалел о чунозерской рыбалке и не был ею разочарован. Подобно умным строителям лесных плотин я метил этими приходами вехи своей

жизни: рождение сына, выход второй книги, наше с женой венчание — и каждый раз испытывал суеверный страх, что больше Чунозера не увижу.

Как никакое другое место на земле оно запало мне в душу и казалось свидетелем самой человеческой судьбы — той вечной водой, что множество веков до нашего появления возникла в этом котловане и множество веков спустя исчезнет и для которой несколько десятков лет моей жизни, какое бы значение я ей ни придавал, и даже несколько сотен лет существования Падчевар окажутся лишь крохотным мигом. Так не особенно оригинально о соотношении временного и вечного я философствовал на этих топких и душистых берегах, поросших мхом, клюквой и голубикой, пил чай из озерной воды, сидел у костра, иногда дремал, а проснувшись, снова благодумствовал и размышлял о том, что еще случится в моей жизни к следующему свиданию с лесным существом, пока однажды не узнал, что несколько лет назад укромное таежное озеро, которому я пророчил бессмертие, едва... не осушили.

Приезжала группа ленинградских ученых, обследовала водоем и обнаружила на его дне огромные запасы какой-то уникальной кормовой водоросли. Если воду из Чунозера отвести в Вожегу, то можно сделать завод по переработке ценного сырья, построить в колхозе большую свиноферму и вывести отстающее хозяйство в число ведущих, дабы оно оправдало свое революционное название. Только отдаленность Чунозера и дороговизна проекта остановили разработчиков, подобно тому как остановили они и тех, кто именно по озеру Воже и всей здешней местности хотел перебраться в Волгу воды Онеги. Случись так, большая часть округи была бы затоплена, а мой любезный особняк оказался б посреди не туманного, грезлившегося мне белыми ночами, а самого что ни на есть реального озера и добираться до него приходилось бы на лодке. Грустно осознавать, но именно наступившая в отечестве разруха и разворуха уберегли эту природу от окончательного разорения. А иначе исчезла бы с зеленой карты маленькая голубая чунозерская капля, но зато появилась бы громадная лужа наподобие зловонного Рыбинского водохранилища.

Чунозеро оставили в покое, а заодно выяснилось, что именно в его изысканном корме и была причина избалованности и особого нежного привкуса здешней рыбы. Бывали иногда случаи, когда озеро отдавало часть ее. Чаще всего щук, ловившихся на живца, причем поймать сорожку или окунька оказывалось труднее, чем самих хищников. Щуки даже не садились на тройник, но держали живца в зубах, как кошки, и так я подтягивал их к берегу и заводил в подсачек.

Удачливее была рыбалка на реке. Летом в ней ловились светлые речные окуни и продолговатые, почти квадратные в сечении ельцы. Я поднимался на лодке вверх к устью Чужги, а потом медленно сплавлялся, закидывая удочку и вытаскивая рыбу прямо на ходу. Ближе к осени, когда вода становилась холоднее и темнее делались ночи, в проводку на подслащенное тесто, смешанное с яичным белком, брала крупная сорога. Клев начинался обычно после заката и продолжался не больше часа. Однако за это время можно было успеть наловить и на уху, и на хорошую жареху, до боли в глазах всматриваясь в смутно мерцающий на воде поплавок. Откормившиеся за лето сильные сорожки стремительно его топили, отчаянно сопротивлялись и, случалось, рвали леску. На эту сумеречную ловлю выходили все мало-мальски охочие до ужения мужики, и то там, то здесь можно было увидеть самые разные лодки — деревянные, железные, резиновые, заводские и самодельные, в которых сидели и местные, и приезжие рыбаки.

Впрочем, как и везде, говорили: то ли дело раньше... До строительства местной ГЭС из озера Воже, где было несколько рыболовецких колхозов, поднимались крупные лещи, щуки, озерные окуни и язи. Но теперь рыба

ловились только местная и некрупная. Я помню, как костерил эту реку бригадир, отец пятерых детей Самутин:

— Маху дали деды наши — не могли места лучше подобрать! Толку с реки никакого, а деревни с обеих сторон — поди объесть.

Река действительно была своеобразная. После того как вдоль нее вырубил лес и весной талая вода вперемешку с землей, а летом после ливней — дождевая не задерживаясь стекала в речную долину, уровень воды в Вожеге гулял не на один метр. Она то пересыхала, и перейти ее можно было вброд, то переполнялась стремительно несущейся грязной водою, размывающей берега. Но при этом из-за многочисленных перекатов была совершенно не приспособлена для моторных лодок, и потому добраться по ней ни до райцентра вверх, ни до сельсовета вниз иначе как в паводок было невозможно. Зимой она замерзала, но и замерзала как-то коварно. Несколько раз случалось, трактора ехали через реку и проваливались. По весне же года не было, чтобы на Вожеге не унесло лавы — временный, шириной в две доски, мост с перилами с одной стороны. На целый месяц, а то и дольше восемь деревень, разделенных рекою, оставались без переправы, при том что магазин был лишь в одной из них. Только в начале июня правление колхоза давало деньги и ящик водки, и всем миром народ шел с помощью плота устанавливать новые лавы. За эти годы сезонных мостов унесло такое количество, что давно можно было бы сделать постоянный, но на это денег никогда не находилось.

На безлавье колхоз выделял лодку и перевозчика. Поначалу, когда я только приехал, перевозчиком бывала какая-нибудь скучающая старуха или, наоборот, малец, не бравшие за переезд ни копейки. Но по мере погружения деревни в рынок лакомое местечко облюбовали молодые лбы, сдиравшие за переезд по три тысячи рублей с колхозников и по пять со всех остальных.

И все равно это была река, и мне казалось, что у жителей, например, соседнего большого и богатого села Огибалова чувствовалась зависть и ревность к Падчеварам, оттого что Огибалово стояло в стороне от воды, и никакие леса и поля не могли возместить этой недостаки. Река радовала глаз, и когда, выйдя из лесу, я видел внизу ее долину, ее блеск, я любил эту нескончаемую реку, знал все ее повороты и глубокие места, ручьи и камни. Она была хороша во всякое время года. Но особенно в ноябре перед ледоставом, когда по берегам уже лежал снег и мимо него катилась большая, черная и, как масло, тяжелая масса воды. Снег осыпался с деревьев и кустов, и тихо бывало так, что можно услышать, как он тает, разбавляя белизной темный цвет реки. По утрам после заморозков Вожега покрывалась заберегами. Они держались по нескольку дней, но лед вставал не сразу. Зато и вскрывалась река тоже поздно, в конце апреля или в начале мая. Однако этого времени я ни разу не заставал. Из-за распутицы до Падчевар в межсезонье было не доехать, и только от деда Васи с его тоской по старине я слышал, что в былые годы, когда шел лед, грохот доносился до деревни, теперь же лед убирался тихо и незаметно.

Я приезжал весной в конце мая, когда вода спадала, зеленели берега и начинался нерест. В такие дни я уплывал на все той же видавшей виды резиновой лодке подальше от деревни, чтобы звук трактора или случайный человек не нарушали моего уединения.

Однажды в конце мая Вожега подарила мне четырехкилограммовую щуку. О том, что такие большие экземпляры тут водятся, я и не подозревал и в первый момент испытал нечто вроде гордости за униженную реку. Громадная рыбина схватила блесну ниже бывшей мельничной плотины. Она металась из стороны в сторону и несколько раз делала свечки. Ослабевшая за зиму в избе леска угрожающе натянулась, а старое негибкое удилище закрипело. Я стоял по колена в воде в бродниках, за мной возвышался отвесный берег. Не было у меня ни подсачка, ни багра. Щука



упиралась, вставала против течения и двигалась рывками, точно проверяя мою негодную снасть на износ. Сколько так прошло времени, я не помнил. От волнения непослушные руки иногда начинали мотать леску в другую сторону. Она ослабевала, и казалось, что рыба уже ушла. Но вот наконец я подвел ее к самым ногам и увидел, что она зацепилась лишь за один крючок. Метровая темно-зеленая до черноты щука смотрела маленькими хищными глазами. Шансов у меня не было никаких. Тогда, мысленно с ней простившись и больше жалея не о том, что она уйдет, но о том, что мне никто не поверит и будут считать мой рассказ обыкновенной рыбацкой байкой, а Вожега так и останется неотмщенной, я выдернул щуку из воды. Удилище спружинило, моя недоумевающая добыча ударилась о берег, слетела с крючка и в судороге забилась на обрывистой кромке земли. Двумя руками я отшвырнул ее подальше, в высокую траву, и обессиленный, с режью в животе упал рядом.

## IX

Зимой и рыбалка, и жизнь в деревне были совершенно другими. Половина народу разъезжалась по городским квартирам. Мужики занимались лесным промыслом, что-то строили или ремонтировали, но делалось это все нехотя. В темные студёные месяцы особенно можно было почувствовать, что жилой дух оставил деревню. Почти не было видно молодых лиц, не слышно детских голосов — многие дома стояли забитые и нетопленные, и лишь кое-где над занесенными снегом крышами поднимался дымок и угадывались узкие тропинки. Но от этого зимою деревня казалась трогательнее и беззащитнее. Отсутствие забот сближало людей. Чаше ходили в гости, зиму любили бы, когда б она не была, по замечанию поэта, слишком долгой.

Спешить было незачем. И даже выходить из дома было некуда. Стояли у избы лыжи, а вокруг один только снег, и случалось, целыми днями ко мне никто не приходил.

Я читал, писал, слушал радио. Менялись радиостанции и голоса ведущих — где-то захватывали заложников террористы, проходили демонстрации и забастовки, готовились к выборам и выбрасывали триллионы рублей на их проведение, вспыхивали военные конфликты и лилась кровь. Снова появилась масса людей, жаждущих вести за собой толпы с нечистыми целями, но Падчевары никого не интересовали, и здесь все было покойно и тихо. Жители этих мест не ждали уже от власти ничего — ни хорошего, ни плохого. Государство взяло от них все, что могло, и более для них не существовало. Раньше в зимние месяцы в деревню приезжали бригады врачей, артистов, лекторов, и это было событием в однообразной сельской жизни. Теперь же деревенские люди были всеми позабыты и предоставлены сами себе. Если бы они вдруг вздумали бастовать, никто бы не обратил на них внимания, их было слишком мало, чтобы их голоса на выборах что-то значили, они не владели никакими богатствами, кроме жалких клочков истощенной земли, загубленной реки и изуродованного леса. Казалось, власти всего легче было бы, если б они просто исчезли, вымерли и не донимали никого молчаливым укором.

Устав от радио, я уходил гостевать к бабе Наде, пока она была жива. Там собиралось немногочисленное общество. Пили чай, потом играли пара на пару в дурака, слушали концерт по заявкам, который передавала Вологда, обсуждали нехитрые деревенские новости, а больше молчали и так коротали вечера, как коротали саму жизнь. Даже вспоминать ничего не хотели. Новая жизнь ошеломляла их. Старух пугали стремительно растущие пенсии и цены, в которых они ничего не понимали. Тысяча рублей, десять тысяч, сто — они не могли этого разобрать и даже сосчитать. Они не знали, как эти деньги откладывать и сберегать.

Однажды молодой тракторист привез телегу дров одной из самых древних осиевских бабок и попросил тридцать тысяч.

Старуха не то не расслышала, не то не поняла и подала ему триста.

— Хватит?

— Хватит, — ответил парень, не растерявшись. — А наколоть-то, бабь, не надо?

— А сколько возьмешь?

— Да столько же.

И уехал от женщины с шестьюстами тысячами в кармане.

Когда ей объяснили, сколько денег она отдала, бабка ходила плача и смеясь, как безумная, и хваталась за веревку. И упрямым лейтмотивом звучало во всех деревенских разговорах: раньше такого не было. Ни денег непонятных, ни пенсий с пятью нулями не было, но главное — не стал бы свой же мужик так бессовестно обманывать старую женщину. Уныние, какого деревня не знала со времени войны, охватило ее в эти последние зимы. Так страшно было, точно снова сбежали из зоны убийцы и бандиты и рыскали по опустевшим беззащитным деревням.

Мне было немного тягостно, но я сидел и сидел, чувствуя себя, как и они, никому не нужным, отжившим свое человеком.

— Ночуй здесь, — говорила баба Надя. — У тебя, поди, и изба-то выстыла, и идти далеко.

Но я вставал и уже совсем поздно безлунной зимней ночью с фонарем возвращался домой. В избе и в самом деле было холодно. Я всегда топил ее на ночь, слушал, как воет ветер за стенами и в печной трубе, курил и смотрел на отражавшийся в окошке огонь, а потом, когда он угасал и только волнами переливались синие, красные и желтые угольки, долго сидел у печи, пытаясь точно угадать тот момент, когда надо закрыть трубу. Об этом всегда предупреждали все мои знакомые и приводили в пример некоего мужика, хоть и своего, деревенского, но угоревшего чуть ли не вусмерть. В деревне русскую печь на ночь никто и никогда не топил — только с утра. И я ворошил угли, пока не исчезали синие язычки, а когда ложился, то некоторое время боялся уснуть. Но из передка с его щелястыми окнами и холодным полом тепло и печные запахи выдувало быстро. В прохладной избе под несколькими одеялами и полушубком всегда спалось покойно и легко, а утром прикосновение ступней к остывшим за ночь доскам тотчас же прогоняло сонливость.

Я любил эту простую, бесхитростную жизнь, мне здесь хорошо работалось, но, когда в снежном безмолвии проходила неделя или даже больше, начинал чувствовать усталость и от этого дома, и от деревни, и от печки — от однообразия дней. Тишина и одиночество давили на меня. К тому же вскоре случилась еще одна странная вещь. Несколько лет спустя после того, как я купил избу, в ней вдруг завелись мухи. Это были не те докучливые летние мухи, что питаются крошками еды и кусаются, но какие-то угрюмые, похожие на тараканов черные продолговатые создания. Они оживали среди зимы, когда изба протапливалась, и не летали, а ползали по стенам и окнам, убивая меня своим несчетным количеством.

Дед Вася сказал, что такие мухи заводятся от старых дров. Но старых дров в избе не было, и я с ужасом понял: это гниет сам дом. Его толстые бревна потрескались, стали изнутри превращаться в труху, а в трещинах заводились мухи и проникали в избу. С каждым годом их становилось все больше, и я подумал тогда, что будь я Василием Беловым, то написал бы рассказ о деревенской избе, которая много лет стояла наперекор всем ветрам, морозам и дождям, но вот купил ее себе на потеху городской человек — она стала гнить и в ней завелись мухи. Потому что ничего, кроме гнили, от горожанина, а тем более москвича, в русской деревне завестись не может...

А вообще-то москвичи мою избу любили. Я часто ездил в деревню с друзьями. Это бывало в начале апреля, когда в Москве уже сходил снег, становилось грязно и сыро. Несколько бородатых мужиков, моих университетских друзей, довольно странно смотрелись в столичной толпе с рюкзаками и лыжами. Но стоило отъехать от Москвы на пару часов, все пришло в соответствие: в лесах лежал снег, а реки были покрыты льдом.

За Вологдой весна и не начиналась. Только очень долгие стояли дни, и непривычно было видеть в девять часов вечера освещенную заходящим солнцем снежную равнину. За зиму выпадало снега выше человеческого роста. От дороги, которую худо-бедно чистили, до моего сиротливого дома мы добирались на лыжах. У самой стены, смотревшей на солнечную сторону, снег обрывался, точно и не выпадал, и проступала земля с сухой травой. Здесь можно было снять лыжи и рюкзаки, открыть пустынную и чистую избу, а дальше начиналась радостная суэта. Приносили воду, разбирали продукты, снимали ставни, затапливали печь. Друзья восхищались домом, я чувствовал себя именинником, а изба медленно отогревалась, обживалась, наполнялась голосами. Окна запотевали, и когда темнело, на снег ложился отблеск света, так что вся округа знала: приехали москвичи.

С утра мы уходили на рыбалку. Она была хуже летней, но зато на жерлицы удавалось вытащить несколько налимов, которые никогда не брали летом. Рыбаков на реке почти не было. Весь район, если даже не вся область, на машинах, тракторах и мотоциклах устремлялся по весне на озеро Воже, где в эту пору на блесну шел судак и крупный окунь. Люди разрезались по этому громадному ледяному полю, раскинувшемуся на несколько десятков километров, где иногда задувал такой бешеный ветер, что только не менее бешеный клев мог удержать рыбаков у лунок.

Падчевары лежали в стороне от рыболовецкого пути и довольствовались очень скромным речным уловом. Ходили мы и на лесные озера. Но из-за кислородного голодания зимой они и вовсе не подавали признаков жизни. Зато зимний лес был полон звериных следов. Мы спорили об их происхождении и выдвигали самые фантастические предположения — от экзотической прошедшей мимо росомахи до рано вставшего из берлоги медведя. С уверенностью назывались волк, лось и кабан, и только самих зверей мы не видели. Один лишь раз, правда не зимой, а летней белой ночью, к нашему дому подошла пара кабанов. Две черных свинки — одна покрупнее, другая помельче — спокойно бродили под окнами. Мы вышли с женой на двор и тихонько открыли ворота, так что могли наблюдать за ними почти с десяти шагов.

— А сюда они не залезут? — спросила жена испуганно.

Я сделал движение, будто собираюсь вскинуть ружье. Чуткие звери, до той поры мирно рывшие землю на краю пашни, шарахнулись в белую мглу.

Кабаны появились здесь лет двадцать назад. Они доставляли много радости охотникам, но еще больше хлопот огородникам. Дикие свиньи выкапывали картошку, а иногда и просто пугали ночью запоздалых путников прямо на дороге. Однако убивать их без лицензии не разрешалось. Когда я удивленно спросил у деда Васи, неужто кто-нибудь из своих донесет, ведь это даже не охота, а защита собственного поля, он только изматюкался, и в глазах его блеснул так и не утоленный охотничий азарт.

— Разве что у тебя на хуторе ночью, пока никто не видит. Да и то выстрел услышат, докопаются.

Впрочем, к чему, к чему, а к убийству живой твари меня не тянуло совсем. Хотя и зверей, и птицы здесь было очень много, и уже позднее в Осиевской купил избу мужичок, приспособившийся сдавать ее московским охотникам. Но я с ними так и не подружился.

## X

Помимо рыбалки было еще два промысла, к которым я относился серьезно, — заготовка грибов и ягод. Я пытался приобщить деревенское население к культуре собирания опят, однако переубедить консервативно настроенных поселян не смог. Они признавали только рыжики и желтые грузди, именуемые в этих краях подосиновиками (сами подосиновики прозывались красноголовиками и в случае полного отсутствия благородных грибов тоже шли в дело). В те дни, когда нарастали рыжики, деревенские бабы наперегонки чуть ли не с фонариками выходили шарить под молодыми елками. Я даже не пытался за ними угнаться, относясь к рыжикам как приезжий отпускник к конфетам в деревенском ларьке. Это лакомство (а рыжики, что говорить, были чудесны, и не случайно в былые времена недалеко отсюда расположенный город Каргополь славился рыжиками, которые собирали такими маленькими, что солили в бутылках) предназначалось только для избранных.

Мне было раздолье в другом: если год выпадал урожайный на опята, то небольшая прогулка в лес — и я волок столько крепеньких маленьких грибочков, сколько мог унести. А потом до полуночи мыл, жарил, отваривал и солил. Если же опят не было, приходилось побродить по лесу, чтобы набрать корзинку, но и это было в охотку. Подосиновики достигали невообразимых размеров и при этом оставались не тронутыми червями, а коричневые подберезовики были на редкость крепкими и упругими. Нарезанные тонкими кружками и пластинами, они за одну ночь высыхали на русской печи, и их потом хватало на целый год.

Сложнее обстояло дело с ягодой. Вопреки распространенному убеждению, что весь север — это клюквенный, брусничный, черничный и морошковый рай, здешняя местность в этом отношении довольно убога. Километрах в двадцати на запад в окрестностях озера Воже и в самом деле находятся необъятные клюквенные болота. У нас же, кроме нескольких лыв, — так называли лесные полуполяны-полуболотца, где среди густой травы росли черника и клюква, — а также Большого Мха, единственного болота, не было ни одного ягодного уголья. Большой Мох окормлял жителей всех падчеварских деревень плюс расторопных обитателей «Сорок второго», добравшихся до него на «пионерках». Всем прочим приходилось идти довольно тяжелой дорогой километров пять или шесть.

Почему болото так называли, одному Богу ведомо. Оно и на болото-то не слишком походило. Когда я первый раз отправился его искать, то просто прошел мимо. Это была скорее заболоченная вырубка. Клюквы на ней было немного и некрупной. Ее очень рано еще неспелую начинали собирать, и к тому времени, когда ягода должна была бы поспеть, на кочках, сырых пнях и полусгнивших лежневках почти ничего не оставалось. И все же болото я любил не меньше озера и реки. Казалось бы, что красивого может быть в чавкающей под ногами воде, сыром мхе, низких березках и засохших сосенках? Но над Большим Мхом стоял такой запах и такое небо висело над головой, так тихо и одиноко было вокруг, что сердце сжималось. Пролетали птицы — большие клиновидные караваны журавлей или гусей, и снова наступала тишина. Я выбирал местечко посуше, разводил костерок и просто сидел на пеньке и смотрел по сторонам, даже забывая, зачем сюда пришел. Потом находил кочку поусыпистей и начинал двумя руками неспешно ее обирать.

Иногда за ягодой я ходил с Нюрой Цыгановой — маленькой, сухонькой и на редкость бодренькой старушкой. Своей энергичностью и легкостью Нюра напоминала девушку. К ней единственной в деревне я относился с некоторой фамильярностью. Нюра это чувствовала, но нисколько не обижалась, а, наоборот, поддерживала мой тон. Ей было за шестьдесят,

но и по лесу, и по болоту она носилась как козочка. В тяжелых бродниках я едва за ней поспевал. Я сильно подозревал, что Нюру разрывали противоречивые чувства: идти одна она боялась, а показывать мне ягодные места не хотела. Именно от нее я услышал историю о женщине, которая пошла однажды в лес, попала в охотничий капкан и в страшных муках умерла. Эта история, как и многие другие, по-видимому, была своеобразным местным фольклором, но здешние свято в нее верили и никогда не ходили в лес поодиночке. Простодушная Нюра так сильно мучилась тайной укромных угодий, что в конце концов я оставлял ее на болоте одну. Мы собирали клюкву каждый сам по себе, а потом сходились, и всякий раз оказывалось, что у моей «девушки» ягоды в два раза больше, но она меня примерно хвалила.

— Вот другой городской столько б не собрал, нет, — качала головой Нюра так искренне, что я прощал ей бесхитростное лукавство.

В Осиевской Цыганову не слишком любили. Покойная бабушка Надя осуждала за бесхозяйственность, над ней посмеивались — даже для деревни она была слишком деревенской, никогда не садилась играть в карты и пить чай, но работала много и была не то побогаче, не то менее прижимистой, чем другие. Она часто ходила в магазин в Сурковскую, возвращаясь оттуда навьюченная хлебом, пряниками, конфетами, сгущенкой или печеньем, и ни в чем ни себе, ни внукам, которых ей подкидывали на лето, не отказывала.

С ней вечно случались какие-то досадные истории. Однажды она купила в магазине много живой рыбы, но засушить в печке — как это обычно здесь делали — не успела, и рыба протухла. Нюра выбросила ее на помойку, а назавтра косточки ей перемывала вся округа.

Но Нюра внимания ни на кого не обращала. Даже врожденная деревенская хитрость проявлялась у нее весьма своеобразно. Как-то я пришел к ней купить яиц. Она, как ни странно, была единственной на две деревни хозяйкой, державшей кур. Нюра сперва говорила, что куры несутся плохо и яиц нету и не будет, и жаловалась на то, что куры свои же яйца и склевывают.

— Да неужто так бывает?

— Бывает, батюшко. Витаминов не хватат дак.

Потом, после того как мы поговорили еще, велела зайти вечером. А когда наконец я собрался уходить, вдруг сказала:

— Ну, пойду гляну. Может, снеслись уже.

И вынесла мне десяток превосходных яиц.

Всю жизнь над Нюрой тяготел рок. Она рано осиротела, в молодости жила в людях (может быть, отсюда происходили ее барские замашки, приводившие в неистовство «чистокровных» крестьян), а потом вышла замуж в деревню. Муж ее умер по халатности врачей районной больницы: забыли вовремя убрать капельницу. От нее истинную причину скрyli. Только пару лет спустя, когда она сама попала в больницу с ожогом, виновная медсестра ей во всем призналась.

Нюра была безграмотной и письма от детей приносила читать Наде. Ее дочь и два сына уехали работать в Заполярье, и, не желая расставаться с младшими, Нюра купила для них пустующий дом. В деревне ее опять осуждали: зачем ей две избы, тем более что купленная пустовала. Но Нюра со свойственной ей наивностью рассчитывала, что хоть кто-нибудь из сыновей останется с матерью, женится и обзаведется хозяйством. Однако сыновья и слышать не хотели о том, чтобы работать всю жизнь в нищем колхозе. Никому не нужная изба с каждым годом все больше оседала в землю. Понимая бессмысленность этой покупки, Нюра очень жалела, что я купил дом у Таси, а не у нее.

— Лико ты, батюшко, мой дак передок двухэтажный, загорода есть, и крыша не тесом, а дранкой покрыта. Опять же в самой середке на деревне стоит. И жить-то в нем веселая будет, не то что у тебя на даче, страшно как, — говорила она, в сомнении качая головой и надеясь, что, возможно, его купит кто-нибудь из моих друзей. В качестве аванса Нюра даже так расщедрилась, что подарила мне превосходный матрас. Однако друзья мои, не перестававшие восхищаться сельскими видами и деревянной архитектурой, далеко от Москвы покупать избу не хотели.

Но, видно, дар предчувствия у нее был. Не зря она так хотела удерживать детей. Один из них вскоре уехал в Никель. Он написал, что устроился работать на комбинате, и вдруг пропал. Нюра всю зиму маялась, ждала писем. Соседки ее успокаивали и говорили, что дело молодое, загулял парень и про мать забыл. Но время шло, вестей по-прежнему не было. А поздней весной, когда в оттаявшей тайге сошел снег, недалеко от города нашли хорошо сохранившийся труп Нюрино сына. Кто и почему его убил, какая трагедия произошла в заполярном лесу, так и осталось невыясненным. Да и кто бы стал это выяснять?

Несчастья Нюру не озлобили и даже не согнули. Она была не то инфантильна, не то настолько к ним привычна, что воспринимала как нечто само собой разумеющееся.

Я помню, однажды по дороге на болото она рассказала мне про свою старшую дочку. Девочка родилась с дефектом ног, долго не могла пойти. Когда в деревню однажды приехала бригада вологодских врачей, обследовавших всех детей в области, Нюре сказали, что ребенка необходимо на год положить в больницу. Нюра погоревала и отвезла дочку в Вологду.

— На целый год? — изумился я.

— На год, батюшко, на год, — закивала Нюра. — Ни разу и не побывала у ей.

— И не тосковали?

— Тосковала, конечно. Да а куда я поиду? У меня хозяйство тут, свое да телята колхозные. Разве кому оставишь? Когда привезли ее, сперва дичилась, привыкнуть ко мне не могла, а потом ничего, отошла.

Я думаю, что, случись такое с кем-нибудь из моих знакомых, они не вынесли бы и половины этого. Во всяком случае, когда год спустя у меня родился ребенок и сразу же попал в больницу, моя жена не помнила себя от тоски, да и я жил с ощущением, что если его потеряю, то моя дальнейшая жизнь просто не будет иметь смысла.

Нюра переживала все на редкость легко. И уж конечно дело было не в том, что я или моя жена были более тонкими созданиями. В Нюре просто присутствовала удивительная жизненная сила и стойкость, которой не было в нас. Она и сама себя не понимала до конца, а я был, наверное, тогда очень восторженным и юным и любил красивые и патетические сравнения. Но иногда мне казалось, что Нюра Цыганова, мать пятерых детей, потерявшая мужа и сына, беспечная, лукавая и простодушная сластена Нюра, столько вынесшая, что любой другой человек свихнулся бы, не знающая себе цены, обидчивая и ни на кого не держащая зла Нюра, легкой птичьей походкой идущая в сапогах с ведерком клюквы по болотам и топям, и есть — сегодняшняя Россия.

## XI

Мои расхождения с деревенским обществом начались в ту пору, когда я задумал строить баню. Знай я, насколько трудновыполнимой окажется эта затея, наверное, не стал бы за нее браться. Но жить без бани было неудобно, да и вообще — какая же это деревенская жизнь, если негде попариться. Хотя, к слову сказать, удовольствие париться в Осиевской не при-



знавали. В баню обычно ходили через несколько часов после протопки, когда она уже порядком выстывала, и только для того, чтобы помыться да постирать. Не то хотел я.

Человеку постороннему никакого материала на баню от колхоза не полагалось, а в те времена достать его было негде. В деревне мне все сочувствовали, но помочь не могли. Я поехал в Вологду и в писательской организации взял письмо на имя председателя колхоза с просьбой оказать содействие. С этой бумагой выписал в правлении десяты кубов леса на постройку бани и колодца, не обратив внимания на некоторую отчужденность и поджатые губы моих добрых знакомых. Но у меня были иные заботы: надо было кого-нибудь искать, чтобы этот лес валить, потом вывозить, наконец, рубить баню и класть печку.

Однако вскоре все разрешилось: я познакомился с колхозным лесником по фамилии Тюков, который и взялся строить баню. В деревне мне советовали с Тюковым не связываться. Говорили, что он страшный пьяница, но другого выхода у меня не было — работающих мужиков на всю Осиевскую почти не осталось.

В декабре, когда светало в одиннадцатом часу, а смеркалось в третьем и стояли трескучие морозы, мы отправились с Тюковым валить деревья. Визжала бензопила, громадные елки падали на землю, поднимая клубы снежного дыма, и Тюков заботливо отпихивал меня в сторону. В лесу он был трезв и сосредоточен. Повалив деревья и обрубив сучья, разводил большой костер и жаловался на то, что мужики этого не делают, захламывая лес, а штрафовать своих он не может. После мы приходили ко мне в избу и до полуночи сидели и пили водку в каких-то раблезианских количествах. Света у меня в доме тогда еще не было, в недавно выщепленной избе изо всех щелей сквозило, выдувая последнее тепло. Я затапливал русскую печь, мы садились перед ней, и Тюков рассказывал мне свою жизнь.

Судьба его была по-своему даже трагичнее, чем у дедушки Васи. Он был не менее его работающ, мастеровит и обстроил половину деревни, но сам ютился в бедной покосившейся зимовке вместе с женой, старухой матерью и двумя взрослыми детьми. Долгое время он не знал своего отца, хотя жили они в одной деревне. Сразу после войны тюковская мать, у которой было уже двое детей, а муж погиб на войне, сошлась с парнем по имени Долька, который был чуть ли не вдвое ее моложе (так что, сделал я тогда вывод, история деда Васи и Першихи вообще-то была для тех послевоенных лет довольно типичной — война ударила в самое больное место: женщин было много, а мужиков мало, и это неравенство одних невероятно унизило, а других развратило). Ни о какой женитьбе речи быть не могло, тем более что Дольку забрали на семь лет в армию. Незаконный сын, унаследовавший и фамилию, и отчество человека, погибшего на фронте года за два до его рождения, рос хулиганистым, или, как здесь говорят, шалью. В конце концов, когда его шалости показались чрезмерными, в воспитательных целях мальчика решили познакомить с папашей, который вернулся из армии.

Знакомство это, однако, Тюкова не исправило, может быть, наоборот, обозлило и глубоко ранило. Он любил выпить и погулять и ни в том, ни в другом не знал меры. Трезвый он был — золото человек, но пьяный — невыносим. От его многодневных запоев страдали и дети, и жена. Выпив, Тюков становился буйным, дрался, и однажды по пьяни ему отрубили нос.

Историю тюковской жизни я описал в рассказе «Галаша». Этот рассказ прочитал мой хороший друг, литературный критик, и сказал, что все ему понравилось, кроме истории с отрубленным носом:

— Это какая-то гоголевщина.

Возражать я не стал — но этот невыдуманный сюжет имел неожиданное продолжение, о чем я скажу чуть дальше.

Тюков любил со мной поговорить о жизни. Как и дедушка Вася, он принадлежал к очень странному и малочисленному сословию деревенских интеллигентов. Причем не таких, как школьный учитель, врач или агроном, — это была какая-то совершенно другая, маргинальная, интеллигенция. В покосившейся тюковской избенке, где не было ни полированных шкафов, ни зеркал, ни телевизора — неперменного атрибута всех деревенских изб, время в которых было теперь расписано по телесериалам, стояли книги. Он брал в библиотеке журналы и книги у меня.

Он был абсолютно честным человеком. При своей должности колхозного лесника, от которого зависело, где отвести делянку и кому сколько насчитать леса, он мог бы давно озолотиться, но с какой-то грустью Тюков говорил:

— Не могу я воровать и взятки брать! Воспитали не так.

В сущности, у него была совершенно собачья работа: вся жизнь в лесу, в любую погоду, осенью, зимой, весной — в дождь и стужу, летом — когда съедают комары. Не бывал он в лесу, только когда у него случались запои. Колхозное начальство смотрело на это сквозь пальцы — заменить работу Тюкова было нечем. Когда я ходил за грибами, в самых глухих уголках леса встречались следы его деятельности: посаженные ряды елочек, расчищенные завалы, крепкие квартальные столбы. Он показывал мне самые сокровенные лесные угоды, которые и местные жители не знали. Но все же сколь бы хорошо Тюков ко мне ни относился, он помогал с домом и баней главным образом потому, что у меня имелась водка.

Это были те годы, когда вся страна жила на талонах, которые к тому же еще и нерегулярно отоваривали. А я привозил водку из Москвы, накапливая ее несколько месяцев и побираясь у друзей. Я терзался, понимая, что спаиваю этого человека, пытался утешить себя тем, что если не я, то кто-нибудь другой ему нальет. Но все равно чувствовал вину перед тюковской семьей и со страхом ждал, когда его жена Лиза выскажет все, что обо мне думает.

Более удивительной женщины, чем Лиза, я не встречал. Бывшая школьная учительница, очень хорошая, любимая учениками и любившая свою работу, она со стыда уволилась из школы после того, как Тюкову отрубили нос. В ней точно присутствовал тот самый живой христианский дух, который я безуспешно искал в деревне. Лиза никогда не роптала, не жаловалась, а жила и жила, делала свое дело — сначала учительницей, потом работала на почте, а когда и оттуда ее уволили по сокращению штата, стала носить старухам хлеб в дальние деревни.

Напиваясь, Тюков иногда ее бил, и она ходила с синяками на лице. Но по деревне ни одной жалобы от нее не пошло. И остальные были к этому чувствительны и отдавали Лизе должное. Она была всеобщей любимицей. Так я понял еще одну особенность деревенской психологии: здесь любят и искренне сострадают тому, кто несчастен, но не жалуется слишком удачливых.

Однажды ко мне подошла тюковская мать и попросила:

— Алеша, не давай ты ему водки. Деньгами лучше заплати.

Она попала в мое больное место. Когда Тюков поставил сруб и пришел рассчитываться, я сказал ему, что водки у меня нет. Деньгами за работу заплачу, и даже больше, чем уговорились. Тюковская губа выпятилась и обиженно задрожала, как у ребенка.

— Больше ничего я тебе, Николаич, делать не стану.

И ушел, оставив меня с недоделанной баней.

Я понимал: дело тут не только в водке. Он обиделся на меня, потому что я вмешался в его жизнь и вздумал ему указывать. Видит Бог, я не хотел этого делать. Я почувствовал себя настолько усталым, что никакая баня мне уже не была нужна. В тот раз впервые я уехал из деревни не с

чувством сожаления, а с облегчением. То, что было для меня чистой радостью, превратилось в неудобноносимое бремя.

Так случилось, что я не был в деревне почти год, а снова приехал с тем самым другом-критиком, что читал «Галашу». Вечером, как водится, мы выпили и долго говорили, спорили и глядели на зимнее звездное небо, а с утра меня разбудил стук в дверь. Я открыл — на пороге стоял Тюков.

— Отравы-то не привез? — спросил он как ни в чем не бывало, но глаза его глядели в сторону.

— Вчера все выпили, — ответил я безжалостно.

Мой заспанный товарищ смотрел на безногого Тюкова раскрыв глаза.

— А «Галашу» я прочитал, — сказал Тюков угрюмо и даже как-то угрожающе.

Теперь обомлел я: публикуя этот рассказ в «Новом мире», я меньше всего ожидал, что в деревне Осиевской его кто-то, а тем более Тюков, прочтет.

Критик же ни слова не говоря полез за бутылкой.

— Ничего получилось, — сказал мой протагонист, сразу повеселев, — так если не знать, то даже интересно.

Что эта оценка выражала, я не уразумел, но самый большой стыд испытал при мыслях о Лизе, о которой в этом рассказе было сказано много личного, что Тюков по пьяни мне выболтал.

— Лизка-то разводиться со мной задумала, — продолжил он.

— Из-за рассказа? — побледнел я.

— Да нет, Николаич, не пугайся. Ты здесь ни при чем. Это еще до того она сказала. Сил нет у нее больше меня терпеть. Как же я теперь жить-то буду, Николаич?

Но добрая женщина не сказала мне ни слова в упрек, и с Тюковым она не развелась и продолжает нести свой крест.

## ХII

После того как Тюков прочитал мой рассказ, я окончательно похоронил идею не привозить ему водку. По сравнению с тем фактом, что его жизнь и жизнь Лизы сделались публичным достоянием, две-три бутылки роли никакой не играли. Моя дружба с ним возобновилась, и строительство бани окончилось. Оставалось только сложить печку.

Печки Тюков класть не умел, и сделать это вызвался его старенький отец, которого все по-прежнему кликали Долькой, Доляком, избегая называть полным и дико звучащим для России именем — Адольф. Отец и сын давно примирились друг с другом. Вместе выпивали, вместе работали, но большой теплоты в их отношениях не было. Ни разу Долька не побывал в доме у тюковской матери — вечно виноватой, работающей старухи, избегавшей смотреть в глаза невестке и, по-моему, еще больше Тюкова боявшейся, что Лиза подаст на развод и тогда Тюков точно повторит судьбу Першихинога Галаша.

У Доляка была семья, но он рано овдовел, дети разъехались, и старик жил бобылем на краю Осиевской, ближе всех к кладбищу. Он был к тому времени тяжело болен, но держал корову, сам ее доил и сдавал молоко в колхоз. Печку он мне сделал отличную, но оказалась она последней в его жизни: несколько месяцев спустя после того, как обсохла приречная глина, его отвезли на близкий погост, и парился я первый раз уже без него. Однако я забегая вперед.

Для того чтобы сложить печку, нужно было где-то раздобыть полсотни кирпичей. Но кирпича в магазине не было. И тогда местный пастух — худощавый мужик лет пятидесяти, ровесник Тюкова, но при этом инфантильный, как подросток, никогда не женившийся, а может, даже и не

знавший женщин, — пообещал мне, что достанет кирпич за бутылку. Я не очень серьезно к этому отнесся. Холостой «инфант» был пьяницей погорше Тюкова и более болтал языком и обещал, чем делал. Прошло месяца два или три. И вот однажды утром, когда я ушел на вырубку за малиной, он привез к нашему дому на лошади кирпич и потребовал водку. Жена пробовала ему отказать и неубедительно ссылалась на то, что хозяйина нет дома, а без хозяйина она ничего не может. Но пастух был настойчив. Его трясло со страшного похмелья, и водка ему была необходима как противоядие. Жена вынесла бутылку, стакан и закуску. От последней он отказался, залил в себя стакан и... упал как подкошенный. Дыхание остановилось. Широко открытые глаза бессмысленно смотрели в небо.

«Умирает», — подумала жена.

Пастух лежал на земле. Жизнь, казалось, едва теплилась в его шуплом теле. Рядом переминалась с ноги на ногу колхозная лошадь и скучным мутным глазом глядела на незадачливого кучера. Минул час, другой. Ему не становилось ни хуже, ни лучше. Жена боялась от него отойти. Наконец пришли две сердитые женщины. Они грубо подняли пастуха, кинули его на телегу, как мешок, и ни слова не говоря уехали. А к вечеру о нас говорила вся деревня...

Кирпич, как выяснилось, пастух украл на колхозном дворе — причем кирпич старый и никому не нужный. Но мне все равно пришлось идти в правление колхоза и объясняться. Заводить дело из-за полсотни кирпичей не стали, но в деревне отношение к нам переменялось.

Деревенские старухи, случалось, месяцами и даже годами обивали пороги правления, просили материала и работников, но им под всяческими предложениями отказывали. А тут приехал городской, с водкой — и сразу же ему все, а своим шиш. Полсотни кирпичей переросли в полтысячи, вся Осиевская перемывала нам косточки и простить завершения банной эпопеи не могла.

Жена моя, когда ходила в ларек, наталкивалась на недоброжелательные взгляды и осуждающий шепот милых моему сердцу северных старух. Ее демонстративно не замечали, и тюковская Лиза была единственным человеком, кто от нас не отрекся.

Я этого не ожидал. Мне казалось, что старые кирпичи мне в вину не поставят, и с этого момента в моем мировосприятии что-то нарушилось. Я понял, что как был для них чужим, так чужим и останусь. Ничего неожиданного в этом не было. Не кирпичи, так что-нибудь другое нас рано или поздно разделило бы. У них не было ничего, кроме покосившихся изб, комарья, разбитых дорог и заброшенности, а у меня — городская квартира, Москва, другая жизнь. Мы стояли на разных берегах, и даже общей юности, родни и могил, как у Плотниковой, у меня с ними тоже не было.

Однако последней каплей, переполнившей чашу умиления и изменившей мое отношение к деревне, стало другое: в избу стали регулярно залезать. Тридцать лет стояла — и никто ее не трогал, а стоило мне там поселиться, наведываться стали по нескольку раз в год.

Лазили пацаны — может быть, местные, может быть, те, кто приезжал сюда на лето.

— Дак шали-то, — говорила Першиха, хотя ласковое это слово мало подходило к здешней шпане.

Тюков пообещал, что разберется. После этого больше не залезали, а может быть, просто надоело и поняли, что взять нечего. Но я перестал относиться к деревенскому дому как к дому. Он сделался для меня просто местом, куда можно приезжать рыбачить, ходить по лесу за грибами или ягодами. А ощущение обетованной земли и обретенной родины пропало.

Оно осталось во мне как одно из самых дорогих и сокровенных воспоминаний, и я не испытываю неловкости за свои выпренные чувства. Они

были наивными, но искренними, и я благодарен судьбе за то, что это сердечное умиление у меня было.

Год от года жизнь там становится хуже и хуже. Не рождаются дети, умирают люди, многие кончают самоубийством. А у тех, кто остается, впереди ничего нет.

Тюковская дочка Света закончила школу. Умная, красивая девочка, она поехала учиться в Вологду в техникум, получила специальность — но работы там не нашла. Нет работы ей и здесь. Она сидит в этой тесной и темной зимовке, и какое ее ждет будущее, не знаю.

Когда я говорю со своими университетскими друзьями, преуспевающими в новой жизни, и они пытаются убедить меня в том, что в стране несмотря ни на что происходят перемены к лучшему, я рассказываю им о Светке Тюковой.

В последние годы в райцентре в Вожеге, как и везде, появились коммерческие палатки, люди с Кавказа покупают и увозят лес, торгуют. Есть какие-то договоры не то с финнами, не то со шведами. То, что не успели вычистить «товаришши», доделают господа.

А деревня живет своей жизнью. Или, вернее, своей смертью умирает...

Последний раз, когда я там был, случилось еще одно несчастье. Старший сын Нюры Цыгановой Леня, который развелся с женой и на радость матери вернулся в колхоз, вместе с безотказным Тюковым переставлял в соседней деревне двор. После этого, как водится, выпили. Идти домой было километра три. На полдороге, когда поднимались в крутую горушку, Леня упал. Тюков выбился из сил тащить его. Зашли в ближайший дом. Нюрино сына положили на печку — сами сели выпивать до утра. Несколько раз звали спящего присоединиться, но он молчал. Однако дурного никто не думал — просто сидели и пили. Наутро стали мужика будить, а он был уже холодный.

Рассказывая мне об этом по дороге на Большой Мох, Нюра долго кosterила ни в чем не повинного Тюкова, а потом горестно проговорила:

— Умер Леня. От факта сердца умер.

Деревня — это тоже факт моего сердца.



---

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

\*

## МЫ ПРАВИМ БАЛ

\* \*

\*

Скорый поезд, скорый поезд, скорый поезд,  
кто разрисовал твои вагоны?  
Это повесть, а быть может, совесть  
подошли к тебе на перегоне.

Глядя на проезжие пейзажи,  
я и сам схватился бы за кисти,  
на международной распродаже  
не было бы вещи шелковистой.

И ее оценщик бы поставил  
около Дега и Тинторетто,  
даже здесь не существует правил,  
мною предусмотрено все это.

Завышали б и сбивали цену;  
кто-нибудь купил бы, я надеюсь.  
Железнодорожную измену  
совершил бы я, как европеец.

Но, вагон, не трепещи, не бойся,  
не отдам на Сотби и на Кристи.  
Постучи по рельсам, успокойся —  
все сегодня высушены кисти.

Ты беги себе, куда захочешь,  
спят художники и пассажиры.  
Ежели колеса ты промочишь,  
то не будет транспортной поживы.

Вот и я, мой милый, засыпаю  
под твои раскаты, стуки, стыки,  
ничего пока не понимаю,  
я пока внимаю сон великий.

\* \*

\*

Допивай свой кофе, он последний  
или предпоследний, Боже мой.  
Ты стоишь в оставленной передней,  
и звонок — тебе пора домой.



На тебя наставлен сумрак ночи  
тысячью биноклей на оси,  
если только можешь, Авва Отче,  
чашу эту мимо пронеси.

Никогда ты больше не увидишь  
этот старый Люксембургский сад,  
на бульвар московский тихо выйдешь,  
только не воротись назад.

И когда за дальним поворотом  
ты опять увидишь Риволи,  
попроси тихонько: «Кто там? Что там?»  
Голосу внимательно внемли.

И тебе ответят из Парижа:  
«Это ты? А мы ведь ждем тебя!  
Плачь потише. Отвечай пожиже  
и не вздумай отступить, скорбя».

\* \*  
\* .

Горячий круассан и кофе с оранжадом  
под тентом, стянутым над Люксембургским садом,  
готовы подтвердить, что смерти нет как нет,  
она запуталась вовне среди планет.  
За шестьдесят пора учиться жить немногим,  
рублем царя Петра да стулом колченогим,  
и мне не разобрать от здешнего пайка  
птенца, чей выводок — холодная Москва.  
Ну да, придется встать и заплатить по счету,  
но все-таки пока нисколько не охота...  
«Анкор! Еще, анкор!» И красного вина,  
а что я не был здесь — то не моя вина.

### Наклон

В восемь часов над Миланом балкон —  
вот мое место.  
Жизнь начинает последний наклон —  
это известно.  
Как хорошо постоять, покурить  
мне над Миланом,  
но еще надо пути проторить  
к северным странам.  
Скоро увижу тебя, Амстердам,  
выйду на Рейн,  
вот и поеду я по городам,  
слаб и растерян.  
Сзади Италия, сбоку Париж,  
жми через Альпы!  
Что бы такое ты вдруг говоришь,  
как же попал ты  
в эту Европу, к этой гряде?

Выпал в осадок?  
 Шьет седина у тебя в бороде  
 чертов десяток!  
 Долго не видел я этих витрин,  
 этих соборов.  
 Помню, меня через Альпы водил  
 только Суворов.  
 Значит, сбываются вещие сны,  
 значит — терпенье.  
 Стой и кури на пороге весны  
 под песнопенье  
 баров, автобусов, тесных долин,  
 шопства, вокзальства.  
 Глянь вон туда — и Монблан-исполин  
 здесь оказался.  
 Видно далеко, до самой Москвы,  
 до Петрограда.  
 Песенку эту продолжают мосты,  
 парки, ограды.  
 И «BMW», и уютный трамвай,  
 в этом Милане.  
 Хватит, иди собирайся, канай,  
 «тикет» в кармане.

#### Размышления о коте Тимуре

Кот Тимур — сиамская порода,  
 почему ты спишь?  
 Почему в свои четыре года  
 ты не ловишь мышь?  
 Почему хватаешь ты объедки  
 с моего стола?  
 Говоришь, что мыши стали редки —  
 вот дела!  
 Кот Тимур — сиамская порода,  
 что в ночи  
 говорят тебе без перевода  
 скрипачи?  
 Слушаешь ты музыку кошачью,  
 слезы льешь,  
 иногда таинственно заплачешь...  
 Это ложь.  
 Кот Тимур, ты — Тамерлан средь кошек,  
 ты — Чингиз,  
 и тебе совсем не надо крошек  
 сверху — вниз.  
 Час настанет, двинитесь вы, кошки,  
 в свой Сиам,  
 если можно доверять немножко  
 вашим снам.  
 Будешь впереди на колеснице,  
 мон амур.  
 Что тебе еще, мой друг, приснится,  
 кот Тимур?

### У «Флориана»

Между Марко Поло и Доноло  
 тот же столик.  
 Снобы, торжествуя и долдоня,  
 то же стоят.  
 Вот и я в Венецию приехал,  
 а тебя здесь нету.  
 Я зову — и только эхо, эхо —  
 «нету, нету...».  
 Вот лишь в мутных зеркалах старинных  
 ты проходишь...  
 Так пойдем к Риальто и на рынок  
 и всего лишь  
 встретимся в ночи у «Флориана»,  
 поддадим серьезно.  
 Может, это будет слишком рано  
 или поздно.

### Танкер

По каналу Джудекки под перламутрово-матовым светом  
 уходил в Адриатику танкер, русский по всем приметам.  
 Я глядел ему вслед, обольщенный родным триколором,  
 и хотел получить ответ на вопросы, к которым  
 эта жизнь шестьдесят два года меня подводила,  
 но судьба, как всегда, опередила.  
 Ибо там на танкере сигнальщик взмахнул флажками,  
 и я, не зная азбуки, как бы вышел из рамы.  
 Но я знаю, что спрашивал танкер,  
 пока капитан раскуривал «Данхилл»,  
 пока серебряный дождь, изготовленный на Мурано,  
 летел в затылок этого каравана.  
 Ибо у танкера было только два вопроса:  
 «Кто виноват?» и «Что делать?».  
 И я осекся...

### Памяти Андрея Синявского

Покойся, покойся  
 в парижском холме.  
 Не бойся, не бойся —  
 ты снова в тюрьме.

Опять будет пайка,  
 и шмон, и обход.  
 И все-таки знай-ка,  
 мой друг, наперед.

Тюрьма не без срока,  
 и время придет,  
 и кто-то высоко  
 вдали запоеет:

«С вещами, с вещами...»  
 Кто двери открыл,  
 у тех за плечами  
 сияние крыл.

\* \*  
 \*

По долгим залам полумрака  
 шла венецейская страда.  
 Едва тащилась колымага,  
 и расступалась пустота  
 стеклянного дождя Мурано,  
 туманов, павших от Пьяццетт.  
 И было поздно или рано —  
 я б не решился дать ответ.  
 Гиганты там на наковальне  
 отсчитывали каждый час,  
 Сан-Марко был еще овальной,  
 еще причудливей как раз.  
 И если надо затеряться,  
 пропасть, погибнуть навсегда,  
 то следовало здесь остаться,  
 но это вовсе не беда.  
 Поскольку эта жизнь иная,  
 а первая уже была,  
 поскольку тропка пристыжная  
 тебя к лагуне привела,  
 поскольку этот свет и сумрак  
 не означают ничего,  
 а только призрак, только спутник,  
 бесчувствие и волшебство.

### Человек из бара

Никому я не пара.  
 Что друзья и семья!  
 Человеком из бара  
 я считаю себя.  
 По мостам и по кольцам,  
 по торцам и мостам  
 одинаково скользко  
 в этом месте и там.  
 Наливай мне скорее  
 двадцать раз двадцать грамм,  
 пожилого еврея  
 развали пополам.  
 Из Нью-Йорка к Милану,  
 а оттуда к Москве,  
 я еще вас достану  
 на своей полосе.  
 Я еще вас увижу:  
 Рим, Венеция, Сплит,

я еще по Парижу,  
 пока сердце стучит.  
 Я еще Ленинградом  
 от Фонтанки к Неве —  
 между раем и адом  
 в неживой синеве.  
 Я еще в Териоки —  
 и Бог знает куда,  
 пусть окончились сроки,  
 ничего, не беда.  
 Мы еще погуляем  
 двадцать раз двадцать грамм,  
 жизнь еще поволяем  
 с ерундой пополам.  
 Никому я не пара,  
 что друзья и семья?  
 Человеком из бара  
 я считаю себя.

## Гварди

Когда в искательном азарте  
я обошел музейный зал,  
не сразу обнаружил Гварди,  
на фоне прочих он пропал.  
Но только я его увидел,  
он заменил мне весь музей,  
им освещалась вся обитель  
в пестрейшей темноте своей.  
По полотну плыла гондола,  
лила лагуна ровный свет,  
вдали торговая контора  
товар считала тет-а-тет.  
И столько матового света,  
горячка, горечь и вокруг —

лагуны верная примета,  
сияние из первых рук.  
В июне это или в марте,  
не разобрать, здесь вечный зной.  
И падал на меня от Гварди  
свет, перламутром налитой.  
Как живопись обидеть словом,  
кончай водить своим пером.  
Часу в шестом, часу в лиловом  
я покидал музейный дом.  
Но только я глаза закрою,  
я вижу этот темный зал,  
но не Веласкеса, не Гойю,  
мне Гварди большее сказал.

\* \*  
\*

После круассана с малиновым вареньем,  
слушая Моцарта, представляешь, что  
жизнь не кончается светопредавлением,  
а превращается просто в ничто.

Белый кот спит на красной подушке,  
повизгивает чайник на плите —  
вот и вся моя жизнь бродяги и побирушки  
в окончательной простоте.

Но Моцарт поет в японском магнитофоне,  
и малинового варенья еще на целый глоток.  
Что же? Что же? Пускай мы сони,  
и жизнь увязла по коготок.

Но «Свадьба Фигаро», но горячие круассаны,  
а за окном — Латинский квартал.  
Бродяги, нищие, русские партизаны —  
мы правим бал.



---

---

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО

\*

## ДВА РАССКАЗА

### СУСЛИК

**В**есной мы, пионеры военного города Ярград, выходили в степь выливать сусликов из норок. Тихо за нашим отрядом ползла поливальная машина с хлорированной водой. Крутые бока ее были мокры, как бока зверя.

В нору, черно уходящую в глубь земли, мы лили из ведер воду, и та уходила стремительно, беззвучно и насовсем. И снова налили, и снова ушла она, будто по срочному важному делу, быстро и независимо. И снова черно зиял отверстый, по-детски круглый рот земли. И уже забыв про суслика, не веря, что когда-нибудь выскочит он из норы (а если и выскочит, то в Америке, испуганно озираясь среди небоскребов, — так насквозь уходила нора), мы лили воду просто так, потом весело-бесшабашно, потешаясь над собой и этой дырой, уходящей в никуда. Потом со злостью и отчаянием к этой глумящейся над нами, пионерами, тайне: заливали ей глотку, не давая продыху, — лили и лили, забыв, зачем льем.

И когда наша злоба и ненависть, нависнув над норой, стала огромной, молчаливой и плотной, как льющаяся тяжелой, плотной струей вода, когда воздух сгустился от этой общей злобы и стал отчетливо пахнуть хлоркой и потом — тогда вдруг из соседней норки выполз суслик.

Он выполз на божий свет мокрый, дрожащий, маленький, будто только родился у нас на глазах из чрева земли, — и застыл, очарованный.

Божий мир был цел и глядел на него.

Что ему там причудилось, в его извилистой земляной тьме, по которой, воя от ужаса, металась его детская душа и ее со всех сторон настигла наша человеческая хлорированная злоба, наша ледяная ненависть, просачиваясь во все закоулки и убежища: всемирный потоп? конец света?

Но мир был цел. Мир был целехонек. Он был даже лучше того, прежнего. Неуничтоженное солнце светило ярче, чем то, привычное. Неуничтоженное небо было голубее; и чище, серебряней звенела в спасенном мире польнь.

Подняв свою душу на задние лапы, он молитвенно сложил свои ручки на груди и, закинув голову, блаженно, подслеповато щурясь, поглядел на солнце.

Мир был цел.

Он тихо свершил свой намаз.

И только тогда поглядел он на нас, сгрудившихся над ним людей.

Он и на нас посмотрел сначала влюбленно, радуясь за нас, что мы живы, что вышли сухими из воды, целы и невредимы после такого потопа.

И еще раз посмотрел. Но уже не так: деловито огляделся и понял — не вырваться. И обреченно залег: берите. Главное, что мир — цел. И закрыл глаза.



В тот день мы, пионеры шестого класса «Б», вылили двадцать два суслика и вышли на первое место по заготовке шкурки.

## ХРЮША

Я возненавидела ее в первый же день. Возненавидела еще на станции, когда обнимала и целовала маму. От ситцевого выгоревшего платья мамы исходил острый неприятный запах, заставивший меня поморщиться.

— Ты ее еще не зарезала? — спросила я.

— Нет. А что, пахнет? — Мама испуганно начала обнюхивать свои плечи, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, приближая нос к ткани, быстро и коротко несколько раз вдыхая в себя воздух. Виновато и смущенно сказала: — Не замечаю я. Принюхалась, — и застыла на секунду.

Она часто вот так застывала, как птица: стоит — высокая, костлявая, некрасивые обожженные солнцем ключицы выпирают (она любила платья с большим вырезом, и сердце мое всегда накрывало волной злости и жалости, когда я глядела на ее ключицы), нескладная, с птичьими веками, из-за которых маленькие ее глаза казались всегда закрытыми, — застыла, будто забыла, где она, кто она, потом деланно зевнула (после такого зева — деланного — она обычно говорила что-то очень важное для нее, что не хотела говорить, но, поколебавшись, говорила как бы между прочим: так, мол, пустяк, — и я не любила эту ее маленькую хитрость, потому что знала: не пустяк это для нее).

— Вот и наши девчата на работе говорят: зарежь да зарежь. Связалась, говорят. Воняет от тебя свиньей этой, говорят. Вроде моюсь, моюсь...

Она испуганно посмотрела на меня. И снова окатило меня волной жалости и стыда. Я ведь знаю этих «девчат», с которыми она работает, толстых, гордящихся своей толщиной, белых, самодовольных, с певучими лицемерными голосами жен начальников — директоров магазинов, кафе и завскладов. Я ведь помню, как мы с ней купили позолоченные сережки за десять рублей, потому что они были точь-в-точь как золотые за двести у Ифтеевой — такие же в них камушки были вделаны сиреневые, как у майорши Ифтеевой. Я ведь помню, как она была счастлива и как долго они не замечали ее новых сережек, а мама сидела напряженно, выпрямившись, застыв, и уши, специально для этих первых в ее жизни — в пятьдесят четыре года — сережек проколотые, пунцовели и, казалось, вытягивались под тяжестью ставших будто килограммовыми сережек, — и вот заметили, радостно раскудахтались, всплескивали пухлыми руками, и короткие пальцы на руках растопырены, не сходятся из-за надетых массивных перстней, колец и колечек, а в глазах — холодное, недоброе, настороженное: «У Машки? Откуда?! У Маньки-то?!» — и у мамы тает лицо, оттаивают, как льдинки, губы и растягиваются в бессмысленно-счастливую улыбку, и она сидит такая счастливая, а они своими короткими пальцами дотрагиваются до маминых ушей, и маме больно, но она не подает виду, они снимают ее сережки, будто полюбоваться, а сами жадно ищут пробу — и не находят ее, и торжествующе переглядываются, и глаза их теперь радуются вместе с лицами и ликующими голосами: «Ну, Марья Степановна, разыграли! А мы и вправду...» Они теперь не лицемерили, радовались по-настоящему, снисходительно прощая Марье Степановне ее хитрость. А мама неестественно тонким голосом пыталась доказать, что сережки серебряные. И они ласково улыбались ей, как маленькой непонятливой девочке: «Проба-то, Марья Степановна, и на серебре ставится, а тут — ничего». Ифтеева сама, собственно-золоторучно, застегивала сережки на маминых ушах. А мама медленно-медленно горбилась, потом застыла, лицо застыло, из маленьких глаз, казавшихся закрытыми, по лицу катились слезы, затекали в губы, сложенные в длинную жалкую улыбку.

— Ну, пойдем, что ли, — как-то слишком грубо получается у меня.

— Может, на автобусе? — спрашивает мама.

И я точно в мгновенной вспышке увидела, как морщатся и отворачиваются в автобусе от мамы, пропахшей свинячьим навозом, мужчины, пахнущие вином и одеколоном, их вкусно пахнущие жены, их дети, пахнущие апельсинами, — и скривилась от мгновенной боли и стыда, будто это уже произошло. Никому, никому не позволю отворачиваться от мамы!

— Дотопаем. Какие наши годы! — Я быстро наклонилась над чемоданами, чтобы мама не заметила этой гримасы на моем лице.

Я будто убегала от нее с двумя тяжелыми чемоданами (не помогай, мне не тяжело, с одним тяжелее, для равновесия). И чем тяжелее становились чемоданы, чем больше уставали руки и чем сильнее сводило пальцы, тем быстрее я бежала короткими шажками, сбивая ногами и чемоданами пыль с лебеды и веников, которые наполовину закрывали узкую асфальтовую дорожку — по ней почти никто не ходил. Я слышала частое дыхание мамы, оно становилось все короче и отрывистей, и в какой-то момент мне показалось, что за мной бежит собака, и это неприятно поразило меня, и я побежала еще быстрее, не глядя под ноги и все ожидая, что споткнусь и упаду.

— Доча, — услышала я мамин голос и остановилась от неожиданности: так меня целый год никто не называл. — Давай отдохнем.

Я поставила чемоданы, они упали на веники и упруго покачивались. Я обернулась: мама подбегала ко мне, красное лицо ее ничего не выражало, кроме одного желания — добежать, волосы были растрепаны, платье от бега задралось выше колен и некрасиво втянулось между ног, загорелые колени выступали огромными коричневыми болячками, выше колен ноги безжизненно белели.

«Это моя мама», — вдруг подумала я, и снова — в который раз — жалость к ней, моей маме, и обида на кого-то за нее, такую жалкую, окатили меня, и отчаяние, что ничего не могу изменить, никого не могу наказать за то, что она, моя красивая мама, стала вот такой. Но когда она подбежала, часто, отрывисто дыша, в нос мне ударил тот же резкий неприятный запах, ставший еще более острым от запаха пота и поэтому совсем непереносимый.

— Ты! — закричала я и поняла, что бежала так быстро только для того, чтобы выкрикнуть ей это «ты», чтобы убежать от людей подальше и выкрикаться, убежать от этой жалости, стыда, отчаяния и любви к ней, освободиться от нее, выкрикивая: — Ты! Инженер! Посмотри, на кого ты похожа, посмотри! На тебя ведь стыдно смотреть, с тобой идти стыдно! Завела свинью! От тебя же свиньей воняет! Я ее зарезу, твою свинью! Колхозница! Денег тебе мало? Я работать пойду, слышишь? По помойкам ходишь, корки собираешь!

И пока кричит моя героиня, я объясню, почему кричит она, почему так беснуется. Город, в который она приехала на студенческие каникулы, — военный город. Гражданское население живет здесь в финских домиках, остальные же — в пятиэтажках. Город — а это настоящий город с площадями, памятниками и парками — имеет свои законы. В этом городе нельзя разводить кур, кроликов и другую живую нечисть. Но гражданское население финских домиков их заводит. Они как-то сами заводятся в садах и огородах и тайно живут на задворках города у колючей проволоки, которой окружен город и которую куры принимают за насест — колючие шипы проволоки им не мешают. Население время от времени штрафуются за такую нечистоплотность, куры и кролики на время эвакуируются из города. А потом опять заводятся.

И вот мать моей героини завела свинью. Теперь вам понятно?

Это что, бунт? Нет. Мать моей героини просто бедна. Ей одной, без мужа, надо обуть, одеть и выучить дочь на инженера: город презирает тех, кто не получил высшего образования. У города свои законы. И дочь их хорошо знает. Матери надо обуть, одеть и накормить внука — он появится в рассказе. Город презирает тех, у кого ребенок без мужа. Дочь знает это, но ребенок — завелся, без мужа. Это бывает.

Мать моей героини бедна. Но бедна особой бедностью. Рядом с женами офицеров, детьми офицеров, внуками офицеров, где не затеряешься со своей бедностью. Ты в этом городе со своей бедностью — как прореха на мундире, тебя отовсюду видно. Моя героиня даже во внутреннем своем монологе скажет: жены завскладами, жены начальников. Она не скажет: жены майоров и полковников. Она боится это сказать, она боится выдать военную тайну. Она нигде не скажет, как вошла в этот город. А войдет она в него через КПП, мать ей выписала пропуск. Она не посмеет об этом сказать. Она дочь этого Молчаливого Города, и она чтит его законы и тайны. Она готова быть бедной, но чтобы эта бедность была гордой и чистой. Мать завела свинью, и бедность стала позором. Больше я не вмешуюсь, промолчу. Я ведь тоже дочь этого города.

Я кричала долго, все время повторяя одно и то же, мне все равно было, что кричать, лишь бы кричать на нее, на эту жалкую женщину в стоптанных туфлях, на эту ненавистную женщину в выцветшем платье, на мою бестолковую маму, которую я любила изломанной, жалкой, бестолковой любовью больше всех на свете.

Я видела, как она растерялась, как сгорбилась, как втянула голову в плечи, будто била я ее по голове, как потом она неожиданно выпрямилась, поскуцнела лицом и застыла — застыла со скучным лицом и будто глаза закрыла, словно не слушает меня. Спит себе и видит скучный сон.

И я замолчала, не понимая, что случилось с ней такое. И когда я замолчала, она деланно зевнула и сказала скучным голосом:

— Ты потому так кричишь, что ничего не знаешь. Ты с нами не жила. А мы с Васькой всю зиму прожили, сама знаешь, какая зима была. А корки, что я по помойкам собирала, про то только я да Васька мой знаем. И у печки его отогревала, поросеночком был. Ты бы сейчас на него посмотрела! А то — корки... А резать его сейчас, когда зиму прожили, мне жалко.

И она замолчала. Обиженно и гордо посмотрела на меня.

— Зачем же ты его держишь? — удивилась я. — Если резать не хочешь? Дрессируешь, да?

— А резать его буду, когда срок подойдет всем свиньям, — в ноябре. Чем он других свиней хуже? Сейчас разве срок? — спросила мама, недоумевая, что такой простой вещи я не знаю.

— Не срок, — сказала я.

— Вот то-то же, — сказала мама, гордо-гордо выпрямившись.

И я, сбита с толку ее какой-то дурацкой логикой, прошептала: «Сумасшедшая», — и тут же поняла, что нет, не сумасшедшая, нет, и логика не дурацкая, и я не могу обвинять ее, судить и даже прощать, потому что давно не живу с ней, а живет она с Васькой, кроликами, собакой Феней, курицей, которая не приносит яиц, с вишнями, яблонями, смородиной — и у них там своя логика, и они понимают друг друга вполне, и Васька чем-то дороже ей, чем все девчата с ее работы, вместе взятые, и даже этот Васька, за которым она ухаживала и которого кормила, дороже ей сейчас, чем я, потому что все это — ее теперешняя жизнь. Все это я поняла. Но с этого момента возненавидела Ваську.

Мы повернули на нашу улицу, и будто кто заслонку печки открыл: в конце улицы сгорало солнце. Оранжево пылая, как раскаленный антрацит, оно не заходило, как положено, за горизонт, а слоилось на горящие куски, лежало на своих же пылающих обломках, медленно разрушалось, точно

помешиваемое кочергой. Это было мое солнце, это был мой закат, так непохожий на розовые стыдливые северные закаты, это была моя улица, где все мне было знакомо и любимо мною: и старые серебрянотелые тополя, уносящие плотные густо-зеленые листья ввысь; и молодые, с почти голыми (хороший был урожай!) ветками, вишни, посаженные здесь вместо белых и розовых акаций, вымерзших в холодный год; и картошка, наивно цветущая белыми цветочками, которая росла перед каждым финским домиком, за двором, между тротуаром и широкой асфальтовой дорогой, — росла вместо веников, которые тщательно выкосили в холерное лето; и соседи, встречающиеся нам, имена которых я научилась произносить вместе со своими самыми первыми словами, — соседи никуда не уезжающие, нестареющие (только дети менялись, росли стремительно, как тополя, и те, что катались в прошлом году на трехколесных велосипедах, в этом году прилаживали к своим велосипедам моторчики и с ревом проносились на самодельных мопедах до сухого клена, дальше которого ехать им запрещалось: там испокон веков играли в классики, а по классикам кругами катались малыши на трехколесных велосипедах...). Закат, улица, люди казались вечными. Я знала, что будут спрашивать соседи и что буду отвечать им я. Я узнавала их неприятные, ускользающие взгляды, когда они рассказывали о других соседях. Я будто все знала наперед, и самые поразительные известия — о том, что дядя Володя умер от рака через месяц после смерти своей жены, что дядя Гриша повесился, а тетя Рая бросила дядю Виктора после того, как прожила с ним тридцать лет, — я встречала с таким же, как у них, фальшивым удивлением и с фальшивой скорбью, будто слушаю давно знакомые истории, которые ничего не изменят в жизни нашей улицы, как не изменили ее ни холодная зима, ни холерное лето.

Я шаг за шагом, от встречи к встрече ввинчивалась в нашу улицу, как ввинчивается винт, ощущая оборот за оборотом несвободу резьбы и радость от этой знакомой несвободы.

И когда я увидела Ирку, мою соседку по дому, бегущую с пустым бидоном по другой стороне улицы, я, довольная тем, что все тут знаю и все тут знают меня и что можно орать громко на всю улицу, закричала: «Ирка! Займи мне очередь за молоком!» — и она на бегу приветственно взмахнула рукой, крикнув: «Займу!» Крикнула так просто, как будто я тут жила сто лет и никуда не уезжала.

А навстречу нам бежал зигзагами, раскинув руки, изображая самолет, мой трехлетний сын, как бегут дети к мамам, пришедшим с работы.

Я хозяйкой входила в свой двор, я улыбнулась, услышав знакомый сладковатый запах мочи моего сына у порога, я уклонялась от длинного тяжелого хвоста Феньки, который обрадовался мне, я хватала его за загривок и говорила ему: «У, крокодил, узнал!» — и он осторожно хватал мои руки зубами. Я сняла туфли и пошла в сад, пятками сквозь траву ощущая шлак, который мама зимой выбрасывала на дорожку. Дальше были настелены серые от дождей доски, и я, не поглядев под ноги, инстинктивно перешагнула через то место, где всегда торчал гвоздь острием вверх. Обернулась: гвоздь торчал по-прежнему.

Я молча постояла перед засохшей от старости яблоней и вспомнила слово «гадство».

«Вот гадство, — писала мама в письме, — засохла самая лучшая яблоня. Но подождем».

Засохла и совсем молодая черешня, которая вымахала, будто соревнуясь с тополями, выше антенны. Сначала засохли цветы — она зацвела впервые за пять лет, — замерзли в вышине и засохли, а потом долго не появлялись листья. Сейчас, в июле, стало ясно, что черешня засохла.

— Сама виновата, — сказала я ей укоризненно. — Дылда!

На меня пахнуло ветром, меня окатило острым неприятным запахом, я стояла не двигаясь, словно облитая из окон своего же дома, в своем саду

помоями. И помои продолжали литься. Ветер не думал менять своего направления, зловоние сгушалось, и тяжелое бешенство начало колыхаться во мне. Мой сад, где все мне знакомо, где каждый гвоздь и каждый запах на учете в моей памяти, — все пропахло этим чужеродным (и мама, и мама!) мерзким запахом, убившим нежные цветы впервые зацветшей черешни. Теперь я была уверена, что не от холода она погибла. Пять лет росла, чтобы зацвести, и из-за этой...

Я шла к ней нагнув голову, рассекая головой плотную волну запаха, глубоко вдыхала его в себя, чтобы еще больше ненавидеть эту свинью, чтобы ненавидеть ее, если она окажется даже симпатичной и добродушной. Я вдыхала этот запах с наивной надеждой, что воздух, пройдя через мои легкие, как через фильтр, снова запахнет перезревшими яблоками, укропом, будет пахнуть, как вечером пахнет трава, как пахнут нагретые за день толь на сарае и пыльные доски. Да, лучше пусть пылью пахнет.

Она стояла по живот в грязи и смотрела на меня. Один глаз ее был карим, умным, пристально-злым, другой — голубым, полуприкрытый короткими белыми ресницами: она словно подмигивала мне, эта свинья! Морда ее была как-то не по-свиночьи хищно вытянута, без жирных щек, в засохшей грязи. Во всем ее длинном худом теле было что-то голодно-хищное. Она начала мочиться тут же, где стояла, неестественно долго била из нее тугая прозрачная струя. Я знала, что свинью выращивают на двоих: половину маме, половину тете Гале, которая каждый день приносила ведро помоев, — и мысленно разрубала голову свиньи пополам, на голубоглазо подмигивающую и злую, умную.

— Вот так, — сказала я.

И вдруг свинья, встав передними ногами в деревянное корыто, наполненное грязной жижей, зарычала. Да, она именно рычала, грозно и одновременно безнадежно, как рычит дикий зверь, посаженный в клетку, когда к нему подходит человек. Веко с короткими ресницами над левым, голубым, глазом ее поднялось, и красный зрачок пристально и жутко глядел на меня. Потом она начала так же грозно и безнадежно грызть корыто, ее клыки были сочно-желты, как обнажаемая ими древесина.

— Наголодался, — услышала я мамин голос. — Потерпи, Васька, сейчас покормлю.

Мама хворостинкой начала выгонять свинью из корыта, та, зажмурив глаза, бестолково уклонялась от ударов, потом неловко попятилась, корыто опрокинулось. Мама деревянным кругом от бочки, перевесившись через перегородку, поправила его, бросила круг под ноги свинье и вылила ведро помоев в корыто. Свинья тут же снова встала в него передними ногами, погрузила по самые глаза свою длинную морду в помои, выдыхала с бульканьем воздух в воду, помои набухали, пузырились, свинья поднимала морду, с которой свисала бледно-зеленая, болтающаяся, как слюна, полоска вареного лука; криво жевала арбузные корки, будто беззубая, мокро чавкала; с шумом, плотноядно, будто это что-то съедобное, вдыхала в себя воздух и опять погружалась в помои. Задние ее ноги скользили и разъезжались на деревянном кружке, она напрягала мышцы ног, силясь удержать их, и спина ее от напряжения мелко дрожала.

Меня кто-то толкнул в бок, я обернулась: мой сын лез по перегородке смотреть свинью. Неожиданно он резко перегнулся вперед, и я, испугавшись, что он упадет головой вниз, сбросила его махом с перегородки и, испугавшись еще больше, накинулась на него, закрывая поцелуем его раскрытый так, что видно было влажное розовое горло, плачущий рот, его мокрые глаза; я целовала его руки, словно проверяя губами, что они не сломаны, и между его захлебывающимися рыданиями крикнула матери: «Вот такие свиньи и едят детей! Резать надо! Любуется!» И, схватив сына на руки, побежала в дом, уносила его, как уносит самка своего детеныша, беспрестанно целуя его, словно облизывая, — подальше от опасности.

И когда я бежала по деревянной дорожке, в пятку мне до самой кости впился гвоздь, и я, ослепленная болью, крикнула: «Резать!»

Резали Ваську через месяц. Резали вчетвером: мама, тетя Галя — маленькая, круглая, она трещала безостановочно, как сухая маковая головка на ветру, — я и дядя Коля. Дядя Коля забивал всех животных на нашей улице: бил кулаком в лбы кроликов, рубил курам и петухам головы, пристреливал больших и вороватых собак. Свинья на улице была одна, первая свинья, которую должен был убить дядя Коля. Одет он был во все то, что всегда надевал для такой работы: клетчатая рубашка, которую он никогда не стирал, испачканная во многих местах кровью, была расстегнута и открывала гладкую, дочерна загорелую безволосую грудь; из мятых вылинявших серых тегас, закатанных до колен, торчали худые белые ноги в войлочных чунях, казавшихся глиняными из-за высохшей грязи. Он проверял длинный блестящий нож о свой жесткий, как свиньячья щетина, чуб, нервно посмеивался.

— Веревку, Марья Степановна, приготовили? — спросил он.

— Веревку? Какую веревку? Ах да, веревку. — Мама заметалась, стоя на одном месте. Потом побегала к засохшей яблоне снимать бельевую веревку. Дядя Коля, обмотав ее вокруг ладоней, несколько раз дернул, и она, даже не натянувшись, оборвалась.

— Гниль. — Дядя Коля сплюнул, и плевок его точно угодил на оборванный конец веревки. — Я ж говорил тебе, Маша!

И мама снова заметалась, нырнула в сарай, бестолково крутилась там, наткаясь на гудящие тазы, а когда со звоном рассыпались бутылки, дядя Коля снова сплюнул:

— Канёва мать, а не Машка! Ре-е-зать собралась!

Мама нерешительно остановилась в дверях сарая, виновато протягивая кусок проволоки, словно боясь, что и это отвергнут, испуганно спросила:

— Коль, пойдет?

Он, скривив презрительно губы, осмотрел проволоку, мотнул головой:

— Пойдет. Держи! — и рубанул со всего размаха по проволоке ножом. Металлически заскрежетало, нож соскользнул, и уже не сдерживаясь дядя Коля закричал: — Крепче держи, говорят! Нож испортишь! С свиньями вас... — и, не договорив, опять со злостью ударил ножом по проволоке, удовлетворенно сплюнул. — Вот так.

Свинью решили выгнать из-за перегородки и тут, на чистой земле, повалить. Но Васька не выходил из своего дощатого домика. Забившись в угол, он грозно рычал. Не вышел он и тогда, когда мама налила ему помой.

— Чувствует, — сказала мама радостно. — Может, помыть его, Коль?

— Помыть, — хмыкнул дядя Коля. — Огнем помоем.

Он передал маме нож, отодвинул перегородку и по колену в зловонной жиже начал пробираться к домику. С хлюпаньем выдирая ноги, зло бормотал:

— Болото, охотничьи сапоги надо, ре-е-зать они собрались...

Он бил Ваську по рычащей морде до тех пор, пока он не повернулся к нему задом, и дядя Коля, быстро затянув на его ноге узел, начал дергать проволоку. Свинья переступала ногами, но не двигалась. Он дернул сильнее. Свинья, неловко подпрыгнув, начала медленно пятиться, потом развернулась и остановилась, тупо глядя на нас. Карий глаз ее, обычно живой и умно-злой, смотрел сейчас сонно-обреченно. Она опять зарычала, но коротко, как бы спросонья.

Дядя Коля бил ее по бокам, по заду, между глаз, но она только волнисто дрожала там, где били, похрюкивала после каждого удара и не двигалась, изо всех сил упираясь передними ногами в дощатый кружок, который все глубже уходил в грязь. В красном глазу ее тлело безысходное от-



чаяние, и он все набухал краснотой, расширился, накрывая голубизну, и смотрел уже бессмысленно и кроваво.

Внезапно свинья стремительно помчалась на нас, и мы от неожиданности отпрянули. Она промчалась метра три, на длину проволоки, и дядя Коля посиневшей рукой подсек ее, и она повалилась, визжа от боли и ужаса так, что звенело и дрожало в ушах.

Мы повалились на нее все разом, упираясь ногами в землю. Я с тазиком, чтобы собрать кровь, ползла по ее телу к горлу, ощущая, как перекачиваются ее напряженные мускулы, как каждая клетка ее хочет жить, как звенит ее тело изнутри от визга. Иногда она, собрав все свои силы, почти сбрасывала нас, и дядя Коля страшно кричал, перекрывая ее визг: «Где нож? Где нож?!» А мама бестолково размахивала длинным ножом перед нами, она тоже старалась удержать свинью и не замечала в своих руках ножа.

— Мама! Нож! — крикнула я и среди визга не услышала своего крика.

Но дядя Коля по моим губам догадался, что я кричу, и, развернувшись, приподняв одно плечо, а другим еще сильнее прижимая свинью к земле, отобрал у обезумевшей мамы нож и воткнул его в горло свинье, повернул его. Пронзительный визг превратился в хлюпанье, бульканье, под ножом мягко расплзлась плоть, образуя на горле полукруг, похожий на улыбку, и из него полилась в подставленный мною таз густая темно-красная кровь, от которой шел пар. Глаза свиньи, сначала широко открытые, тихо-тихо закрывались, и я успокаивала свинью:

— Вот и все, видишь, как быстро, сейчас, сейчас.

Тело ее изредка вздрагивало. Через двадцать секунд все было кончено. Я перелила уже сворачивающуюся кровь в чистую банку и закрыла пластмассовой крышкой.

Она лежала совсем другая, чем та, которую я привыкла видеть. Не было ни злобно-умного глаза, ни прищуренного левого, глаза ее были тихо закрыты. Не было хищной вытянутой морды, лицо ее, именно лицо, обмякло, было спокойно. Запекшиеся от крови губы были сложены в чуть заметную улыбку.

Я долго смотрела на нее. Но надо было делать дело.

Дядя Коля палил ее бок паяльной лампой. Грязь и щетина скручивались в черную стружку, а мы ножами счищали ее до белой кожицы. Паяльная лампа снова прохаживалась по этому месту, и белая кожа глянцево-желтела, смуглела, румяно запекалась.

Свинью перевернули на спину, живот ее был так грязен, что мама решила протереть его тряпочкой. И когда по бокам стекла грязная вода, мы увидели вдруг на мягком белом животе розовые, беззащитные соски, наивно и жалко торчащие. Это была она, а не Васька, мне ведь даже в голову это раньше не приходило: все Васька да Васька.

У нее было тринадцать сосков, на одной стороне — семь, на другой — шесть. Все соски были друг против друга. А один, непарный, был закрыт щетиной на груди. Живот опалили, счищали кожу неловко, и соски кровоточили. Потом опалили голову, и ее голова стала похожа на тысячи других, которые продаются на базарах и в магазинах, — аппетитно-тупая голова.

Около дяди Коли стоял мой сын. Он давно здесь крутился, с самого начала, но не было времени его отогнать. А еще была смутная мысль, даже не мысль, а ощущение, что мой сын не должен быть похож на женоподобных моих ровесников, которых тошнит от одного вида отрубленной головы петуха. Он должен быть мужчиной, чтобы смог сам зарезать свинью, пристрелить больную собаку и убить ударом кулака в лоб кролика, как дядя Коля. Поэтому я его не прогнала.

Разрезали живот. И мой сын, оцепенев, смотрел, как вываливаются из нутра жемчужные перекачивающиеся кишки, темно-красная дрожащая

печень, белый, в сиреневых прожилках, тугой скользкий желудок, и спокойно, как мне казалось, повторял: «Хрюшу зарезали, хрюшу зарезали...» (Откуда мне было знать тогда, что он это будет вспоминать целый год, потерянно повторяя: «Хрюшу зарезали», — и эта разрезанная хрюша будет сниться ему целый год, а может быть, целую жизнь?)

Меня раздражало его спокойствие. Раздражало свое спокойствие. И когда я увидела наполненное доверху внутренностями корыто, у меня мелькнула мысль, что эти внутренности тяжелее, пожалуй, чем мясо, и что выгоднее было бы продать свинью на бойню живым весом, чем возиться. То, что эта мысль могла прийти мне в голову в такой момент, ужаснуло меня, и мое спокойствие, какая-то душевная неподвижность начали угнетать меня.

Я ведь помнила, как мой крестный, ветеринар, резал свинью на ферме, на свиноферме, как визжала она, поднятая веревками на столб с перекладиной, как визжала вместе с ней я, как перерезали ей горло — и кровь хлестала, заливая ей живот, как обмякла она и висела будто распятая. Я помнила ее кровавую голову с ободранной кожей, с вывалившимися белками глаз, которые, когда мы приехали домой, стали лиловыми... После этого я возненавидела своего дядю, своего крестного.

Так почему же сейчас я так спокойна?

Я видела, как разрубили Ваську пополам. Разрубили голову.

Я торговалась с соседками, сбежавшимися купить мясо, и продавала куски по четыре рубля за килограмм, а не по три пятьдесят, как они хотели, — парное ведь мясо!

Я договорилась с соседкой: за то, что она промоет кишки, мы отдадим ей половину этих кишок.

Я задала корм кроликам, но они, всегда такие прожорливые, сегодня почему-то не выходили; я заглянула к ним. Они сидели у задней стенки друг на друге в три этажа и часто дышали-дрожали. Даже они почувствовали смерть!

Я делала все, что нужно делать, но меня грызло мое спокойствие, мешало мне спокойно делать то, что нужно было делать.

Я села около того, что было когда-то Васькой. На крольчатнике стояла банка с кровью, кровь уже совсем свернулась и, студенистая, темно-красная, похожая на чайный гриб, светилась на солнце.

На лебедь, испачканной кровью, гроздьями, как ядовитые ягоды, висели большие зеленые мухи. В корыте дрожала, словно живая, темно-красная печень.

И вдруг я снова увидела свинью, ее улыбку, которая как бы просила у меня прощенья за что-то такое, в чем была виновата перед ней я.

До меня донесся острый неприятный запах. Это потянуло ветром от Васькиного загона, и показалось, что Васька жив. А Васьки нет, но запах будет жить еще долго-долго.

Кто-то следил за мной, я чувствовала, следил за каждым моим взглядом, за каждым моим движением. Может, поэтому так раздражало меня мое спокойствие — ведь кто-то за ним следил. Я подняла голову и увидела сына. Он стоял у сарая. Он рассматривал меня наморщив лоб, мучительно пытаясь что-то понять. Взгляд его был совсем взрослым и чужим. Пристально и зло смотрели на меня его голубые глаза.

— Иди ко мне, — позвала я его.

Он не двигался. Я встала. Он начал пятиться. Глаза его были полны ужаса. Спинай он прижался к стене сарая, но продолжал все пятиться, вдавливаясь в серые доски, встав на цыпочки. На серых досках чернели его зрачки. Я хотела сделать шаг, но мне страшно было шагнуть.

Я шагнула. Он начал уходить от меня в сторону, спина его терлась о серые доски. Он был без майки, в одних трусиках, и я, испугавшись, что он занозит себе спину, рванулась к нему. Доски кончились, и он, не найдя

опоры, беспомощно качнулся назад, взмахнув руками, но устоял, развернулся и побежал, часто оглядываясь (все так же затравленно смотрел он на меня).

Я позвала его по имени. Он убежал. И еще не зная, зачем я это делаю, я побежала за ним.

Мы бежали по широкой асфальтовой дороге, сначала по нашей улице, я уже почти догнала его, но сорвала дыхание. Коротко и часто дышала я за его спиной, он должен был слышать мое дыхание, и оно его, наверное, поразило. Я увидела сначала удивленные глаза его, когда он оглянулся, но потом что-то изменилось в них, совсем немного, но теперь он смотрел на меня, как смотрят на бешеную собаку, — и побежал еще быстрее.

Он повернул на другую улицу. Я отставала. В любой момент из-за поворота могла выскочить машина.

— Подожди! — крикнула я, у меня не хватило дыхания, и вышло хрипло и тихо. Он убежал.

В любой момент из-за поворота могла выскочить машина.

— Сына! — крикнула я, задыхаясь. — Сына! — взмолилась я.

И он остановился. Повернувшись, он ждал меня. Волосы мои растрепались, жесткая прядь колола мне губы, и я закусила ее зубами; лицо мое было потно, и только одна мысль — добежать! — стучала в моих висках; мамины — не по размеру — старые ботинки врезались мне в кожу, в ботинках хлопала навозная жижа; мамино ситцевое платье задралось и втянулось между ног.

И когда до него было два шага, не больше, я остановилась, меня остановил его взгляд — холодный, ненавидящий взгляд моего сына. Голубые глаза его выцвели от ненависти и потому казались совсем чужими. Я стояла тяжело дыша, не смея приблизиться к нему. От меня резко и неприятно пахло потом и свиным навозом.

— Ты! — сказал мой сын, и я почувствовала, как пересохло его горло от ненависти. — Ты резала хрюшу! — Сухие губы его судорожно, гневно скривились. Потом уголки его губ медленно поползли вниз, медленно-медленно, будто это было очень больно, и он выдохнул: — Мамочка!

И мы кинулись друг к другу.

— Мамочка! — бился он, рыдая. — Не убивайте хрюшу!

И я молча все сильнее прижимала его бьющееся тело к своему телу, и я чувствовала, как кровь из моего сердца поднималась по горлу, обжигая его, не давая выдохнуть, взорвалась горячими струями в голове, расплавляя мозг, превращая его в кипящую лаву.

— Не надо убивать хрюшу!

«Правду, правду... не жалеть... надо, чтобы он знал правду», — эта мысль моя точно была записана большими корявыми буквами на бумаге там, у меня в голове, среди кипящей лавы, одна осталась, и я ее одну читала и сухим горячим шепотом, потому что горло мое было выжжено, проговорила сыну:

— Надо, надо резать, так надо, такая жизнь!

И он снова забился («Не надо резать, не надо!»), но теперь будто чужое тело билось в моих руках, извиваясь, пытаясь выскользнуть, и я напрасно все сильнее сжимала его: оно было чужое. И вдруг я увидела, как в голове моей от подступившей к нему лаве затлел тот лист бумаги — «Правду, только правду, не жалеть...» — и вспыхнул, и превратился в хрупкий черный лист, тихо шелестя, рассыпавшийся, и я поняла, всем телом поняла, что сын мой прав, что не надо, не надо! Я увидела, что этот кто-то — неопровержимо логичный, кто-то неизмеримо более умный, чем все мы, вместе взятые, знающий причины и следствия, начала и концы, распоряжающийся жизнью и смертью и оттого зачерстневший, немилосердный, несправедливый, не добрый, не злой, а просто равнодушный ко всему бухгалтер с пустыми глазами и серым лицом, сводящий баланс, —

этот безликий для каких-то там кредитов или дебетов, для своей бухгалтерской безошибочной математики, уносит моего сына, мою маму, меня и грустно, заученно говорит нам правду: «Так надо, такая жизнь!» И я закричала вместе с сыном: «Не надо, не надо!» — и чувствовала, что пока я буду так кричать, всю жизнь буду так кричать, то ничего не случится ни с моим сыном, ни с моей мамой: Тот не посмеет отобрать их у меня, они не умрут, пока я буду так кричать.

Мы прижались друг к другу и плакали. Я измазала кровью (руки мои были в крови) лоб сына и слюнями пыталась оттереть его, и измазала его еще больше, и целовала его лоб, и губы мои стали солеными.

Я чувствовала, как колотится мое сердце и как бьется в мое сердце — сердце сына. Я видела его мокрые глаза, и глаза его любили меня, и я любила их и знала, что такими счастливыми мы никогда больше не будем. И все сильнее прижимала к себе его рвущееся куда-то, захлебывающееся сердце.

Гудели машины, медленно и осторожно объезжая нас. Они не знали, что с нами ничего не может случиться и что такими счастливыми мы никогда не будем.

На нас бежала какая-то большая голубая нескладная птица. Я вгляделась. Это бежала моя мама. Она что-то кричала, рот ее открывался и закрывался, вены на шее вздувались. Но я не слышала, что она кричит, я почему-то слышала, как громко стучит ее сердце.



---

---

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ

\*

## АНГЕЛЫ ПУСТЬ НЕ СМОТРЯТ

### Курский вокзал

Ии — раз!  
Промежду лопаток  
резиновым демократизатором!  
Ии — два!! Повыше, по шейному  
жалкому позвонку,  
и — за дверь, в толчки, на мороз...  
Веничка Ерофеев  
ангелов попросил бы  
сюда не смотреть.  
Ии...

Третий удар, однако,  
не этот костлявый нищий —  
а я принимаю: третий —  
достаточнонеобходимый.

...Раз! Но меня нельзя  
ударить демократизатором,  
потому что, ударив,  
придется меня убить.  
Блюститель широкомордый,  
дурень, что ты наделал!  
Ты падаешь с перебитыми  
шейными позвонками.

Меня добивают в ментовке  
в счет 93 года,  
когда демократизаторы  
обыддили всю страну —  
в грязь лицом положили,  
приказали не двигаться,  
и оказалось, что можно  
быть «великим народом»  
лежа  
лицом  
в грязи.

Ха!  
Веничка, милый!  
Трезвость — покрепче водки.

Ангелы пусть не смотрят,  
как в грязи пузырится  
кровь моих гордых предков,  
вскипая и пропадая.

### След

Спортивный белый вертолет  
ползет над сединою бора,  
выслеживая волчий ход  
через поля, холмы, озера...

Сквозь все следы — след как струна  
из края в край искристой глади.  
Здесь — заповедная страна,  
здесь — не убий и не укради.

Он правит строго на восток,  
на Каргополье — не собьется —  
ведет основу сквозь уток.  
Спасется? Или не спасется?

Бреду с понурой головой  
след в след — в игольчатую опаль,  
но слышу я не волчий вой,  
а материнский дальний вопль.

Над полем у села Шатой,  
над мировой глухотою...  
Я кончу круглым сиротой.  
Я кончу полной немотою.



---

---

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ



## ЗАСНЕЖЕННЫЕ ДРОЖКИ

\* \*  
\*

Встречают по одежке,  
Проводят по стиху.  
Заснеженные дрожки,  
Прострелинка в паху.  
Судьба кой-как нарядит,  
А дале — пелена:  
Не выползина рядит  
И судит не она.

Увы тебе, Нащокин,  
Удушлив твой сюртук!  
Рахманиновский смокинг  
Набокову не туг.  
И встал стилияга в позу,  
Слюнями клок унял,  
И в аглицкую прозу,  
Как выползок, слинял.

А вот и наш приятель  
Привез мешок шмотья.  
Предмет слегка приватен,  
Но это как смотря.  
Ведь в кой-то век обнова  
У всех у нас в Москве:  
У Коли Старшинова,  
У критика Сарнова,  
У Берестова В.

Но чахнут наши песни,  
Хиреет альманах:  
Не пишется, хоть тресни,  
В коржавинских штанах.  
Итог слегка кошмарен —  
Ни бакса, ни строки.  
Увы тебе, Коржавин,  
Вези назад портки!

\* \*  
\*

Как на лужу воробьишка прилетал,  
Перемазался, по-русски причитал.

Лужа русская — отрава да мазут,  
Зобик сохнет, ушко глохнет, в жопке зуд.

Воду русскую толочь не растолочь,  
То ли дым над пепелищем, то ли ночь.

То ли сын за тем бугрищем, то ли дочь,  
То ли Китеж, то ли British, то ли Deutsch.

\* \*  
\*

Мошки говорят: все кусались.  
Вошки говорят: все кусались.  
Блошки говорят: все кусались.  
Кошки говорят: все чесались.

Дятлы говорят: все стучали.  
Зайки говорят: все молчали.  
Волки говорят: все урчали,  
Звезды-ордена всем вручали.

Взяхи говорят: все беручи,  
Рученьки у всех загребучи.  
Шлюхи говорят: все даючи.  
Пьюхи говорят: все блюючи.

Вол хрипит в ярме,  
Волк под мухой,  
А в дерьме старик со старухой.  
Воры говорят: все воруют.  
Крысы говорят: все уедут.

\* \*  
\*

Придет конечное время,  
Вздуются реки кровавы,  
Русское слово иссякнет,  
Сгибнут и твари и травы.

Мертвые сдвинут надгробья,  
Встанут, напрягши гортани.  
— Русское слово, не сякни! —  
Крикнут остатними ртами...

Нету, родимые, уха  
Слушать последние вопли.  
Нетути детушек, нету —  
В реках кровавых утопли.





---

---

# Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

КРИСТОФ РАНСМАЙР

\*

## БОЛЕЗНЬ КИТАХАРЫ

Роман

### 22. Начало конца

**О**н слышит свист зимородка и хриплое урчанье испуганного крапивника. А порой, когда случается задремать под болтовню деревенских ласточек и однообразные перепевы гаичек, будят его звонкие предостерегающие крики овсянки. Однако же он на обман не поддается: это скворцы, великие пересмешники, которые одинаково искусно передразнивают и дроздов, певчих и черных, и крик красной пустельги, и жалобу сыча, — и часто, как никогда за все эти годы, он слышит этой весной соловья, начинающего свои неистовые строфы меланхолическими переливами.

Он слушает птиц на рассвете, лежа без сна на своей постели в бильярдной или среди спящих собак на паркете большого салона. Теперь он часто ночует с собаками и каждый раз невольно улыбается, когда они во сне шевелят ушами в такт птичьему пению. А к нему тогда слетаются давние, знакомые имена птиц, будто спархивают из тех потерявшихся списков, которые он школьником вел в незаполненной отцовской книге для заказов: *малая серебристая цапля, белая чайка, горная трясогузка, полевой лунь и лебедь-кликун...* Но этой весной возвращаются не одни только имена, вернулась и способность, а главное, *охота* подражать птичьим голосам — подсвистывать, подпевать или просто по-особенному щелкать языком; иной раз выходило так похоже, что собаки недоуменно обнюхивали утонувшее в зарослях проволочное ограждение виллы «Флора»: куда же запропастились эти фазаны и куропатки?

Слух у него опять на удивление тонкий, как раньше, в первый год жизни, когда он, зачарованный голосами кур, парил в колыбели сквозь тьму. Порой он с закрытыми глазами сидит на веранде и треплет по загривку какую-нибудь собаку, чувствуя силу или слабость всякого животного в стае по одной только эластичности или ломкой сухости шкуры, и тогда ему мнится, будто слух, обоняние, кожа и кончики пальцев стремятся по-новому расшифровать мир как сочетание шершавых, потрескавшихся и гладких поверхностей, мучительных и умиротворяющих шумов и мелодий, ароматов и вони, прохладных, теплых, горячечно-жарких температур, дышащих и застывших форм бытия.

Он с трудом различает нежные, как дымка, включения в кристаллах, которые ему иной раз показывает Амбрас — подзывает к себе и подносит к глазам турмалин или нешлифованный изумруд. Но если Собачий Король дает ему свой экспонат в руки и камень согревается у него в ладони, он словно бы *чувствует* не только тончайшие вроски, но и само преломление света. Даже когда дефект зрения затемняет ему трепетные, парящие сады внутри камней, он все равно знает, о чем с таким воодушевлением говорит Амбрас. Тогда он ки-

вает, может быть, и чаще, чем требуется, чтобы отвести от своих глаз всякое подозрение. *Да, конечно, разумеется*; он видит, он все видит, что ему показывает Амбрас. И однако же — эту тайну Телохранитель бережет так, будто дело идет не только о его пребывании в Собачьем доме, но о его жизни, — он погружается во тьму.

Ведь такую, как у него сейчас, остроту слуха и чуткость пальцев, думает он, человек приобретает, лишь когда слепнет. А с тех пор как он похоронил кузнечиху в яме черной и бездонной, как сама земная глубь, в его взгляде зияет не *одна дыра*, с которой он успел свыкнуться, а еще и *вторая*, будто отражение этой глиняной ямы!.. И порой у затененного края своего поля зрения он вроде бы уже видит, как наплывает кромешная тьма, все укрывающий, непроницаемый мрак.

Наутро после похорон, когда холодное солнце поднялось над горами, оплеснув моорский берег искристым сиянием, снег тотчас продемонстрировал ему, что вторая дыра в его глазах не подлежит никакому сомнению. Он мог сколько угодно проверять на беспощадной белизне снежных полей свой прежде невредимый глаз — в то утро снег вновь и вновь демонстрировал ему *два слепых пятна*.

На следующей неделе, словно белизна тем самым исполнила свою задачу, зима сменилась оттепелью и растаяла в шумных дождях так рано и так быстро, как не случалось уже много лет. Горные склоны были испещрены белыми жилками ручьев, а в каменоломне с иных террас низвергались прозрачные вуали водопадов. Озеро затопило паромходную пристань и погрузочную платформу возле камнедробилки. Больше двух недель никаких работ на Слепом берегу не велось.

Но вот паводок сошел, подле камнедробилки снова обнажились отвалы и терриконы готового к отправке гранита — островки, которые мало-помалу слились в цепочку заиленных холмов, и тогда Собачий Король созвал у подножия Великой надписи общее собрание рабочих каменоломни и объявил пяти с лишним десяткам людей, что

*с завтрашнего дня*

на выемочных террасах будет трудиться только треть нынешнего персонала. Остальные получают в конторе расчет и могут искать себе новую работу на свекловичных полях, на лесоповале или в айзенауских соляных копях. Верховное командование приказало сократить добычу гранита...

Амбрас не добавил к своей *информации* ни утешительных слов, ни совета; после этой лаконичнейшей из всех своих речей он просто резко отвернулся от собравшихся, свистом подозвал дога, махнул рукой паромщику, велел отвести его в Моор, а уволенных и везунчиков оставил во власти потрясенного молчания.

Только когда Беринг, поневоле задержавшийся в каменоломне, вывесил на двери конторского барака поименный список уволенных, раздалась возгласы негодования. Телохранитель с трудом противостоял неожиданно яростному напору: *Кто составлял список? Кто определил имена? Какая сволочь включила меня в этот список?*

Беринг отталкивал рассвирепевших людей, норовящих сорвать список с двери, и сам разозлился на Амбраса, который был уже далеко от берега, недосягаемая фигура на камневозном понтоне. Почему Собачий Король бросил его одного в этой суматохе?

Хотя Телохранитель грозно стоял у двери барака и все видели у него за поясом пистолет, рабочие не отступали. Лишь когда рядом с Берингом появился мастер-взрывник, поднял повыше над головами мегафон и начал громко выкликать фамилии уволенных и раздавать конверты с деньгами, страсти на несколько минут как будто бы поутихли.

— Вы же видели, что все к тому идет! — крикнул в мегафон мастер. — С прошлой осени сидим на этих камнях, и никто их не покупает.

Беринг видел, некоторые из рабочих подобрали камни и зажали в кулаке — вооружились. Вот болваны! Неужто вправду не заметили, что уже который месяц с каждым днем росли не только вскрышные отвалы? Вдоль рельсов, по которым вагонетки катились от выемочных террас к погрузочной платформе, возле устьев штолен и вокруг ям с водой — повсюду высились терриконы, валы и кучи породы. У подножия Каменного Моря словно воздвигались новые горы, бастион, за которым постепенно исчезали транспортеры и воронки камнедробилки и даже нижняя строка Великой надписи: **ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МООР.**

Но эти горы породы были всего-навсего знаком того, что *моорская каменоломня иссякла*. С каждым выгрызненным из скал кубометром темно-зеленый гранит становился все более хрупким, его пронизывали трещиноватые жилы, бегущие так же путано и бессистемно, как и линии действия тектонических сил, которые в доисторических катаклизмах сбросили эту коренную породу, а затем в ходе эпох выдавили ее к поверхности сквозь мягкие линзы известняков Каменного Моря.

Там, где в лучшие времена, отпалив шпур, откалывали, резали и обрабатывали огромные блоки, теперь из-под кайла, канатной пилы и бура сыпались на вскрышные террасы только большие и малые обломки, мусор, который, пройдя через камнедробилку, годился разве лишь на то, чтобы засыпать выбоины на проселках и горных дорогах да возводить дамбы на болотистых прибрежных лугах.

На равнине же требовались блоки — да-да, блоки! — глыбы, из которых можно ваять памятники жертвам войны и все новые статуи мирносоца и его генералов. На равнине требовались каменные столпы для колоннад поминальных домов и плиты для мемориальных досок, огромные, как створки ворот. А щебень? Щебня и булыжника там внизу и без того хватало. С гор возить незачем. Со времени первого снегопада минувшей зимы большегрузные армейские транспорты в приозерье не появлялись. Щебень и булыжник как лежали, так и лежат.

Сперва говорили, что вывоз отложен в связи с *опасностью схода лавин* в ущельях, потом ссылались на угрозу *селевых потоков* во время снеготаяния, да и слухи о заминированных виадукках и предстоящих бандитских налетах тоже были уважительной причиной, объяснявшей, почему грузовой автопоезд с равнины в нарушение всех сроков никак не приходит. Правда была куда проще, и теперь, в шумном негодовании возле конторского барака, пропустить ее мимо ушей было невозможно: каменоломня будет закрыта. *Закроют ее! Вот увидите, закроют нашу каменоломню!*

Если б не благоразумие мастера-взрывника, Берингу в этот день только и оставалось бы, что обороняться от ярости собрания оружием. Именно мастер сумел настолько уговорить уволенных, что они выпустили из рук камни и по очереди стали подходить к *платежному столу*, получая там шершавые коричневые конверты с продуктовыми карточками и несколькими денежными купюрами — остаток заработка. Однако на все вопросы о закрытии карьера мастер отвечал, повторяя слова Собачьего Короля: работы в каменоломне на всех уже не хватает.

Что же, и дороги нигде больше не строят? И железнодорожные насыпи на равнине не нужны? Мастер пожимал плечами.

Ничего не попишешь, такая вот история с моорским гранитом. Десятки лет темная зелень этого камня была гордостью всего приозерья, ее даже увековечили на гербе региона как яркое поле для стилизованной под охотничий нож рыбы и шахтерского молотка... Ведь еще в минувшем году секретарь вешивал на доске объявлений экспертное заключение геолога: сравнимый по цвету темно-зеленый гранит, помимо сбросовых зон Каменного Моря, имеется только на одном-единственном участке побережья Бразилии. Кроме Моора — только в Бразилии! И все это теперь кончится?

— Не кончится, — сказал мастер, — изменится.

Верно, не кончится, подтвердил Телохранитель, с облегчением встречая каждую фразу, падавшую вместо града камней. Возможно, когда-нибудь при дальнейших вскрышных работах обнаружится новая компактная жила гранита, он, мол, сам слышал, как Амбрас говорил о временной приостановке...

— Так я тебе и поверил! — перебил его один из уволенных и плюнул на платажный стол.

Никто не верил таким утешениям. И никто — ни один завтрашний безработный и ни один везунчик — на камнедробилку нынче не вернулся. Как в забастовку, люди стояли среди куч щебня и гравия или сидели на траве под блекло-голубым весенним небом, сравнивали содержимое своих конвертов, заключали меновые сделки: продуктовые карточки меняли на шнапс и табак, — в последний раз поджидали «Спящую гречанку», которая, словно в обычный рабочий день, припыхтела лишь вечером, чтобы переправить их на моорский берег.

На сей раз и Телохранителю волей-неволей пришлось подняться на борт вместе с рабочими; Амбрас и паром так и не появились, он тщетно ждал их всю вторую половину дня. На обратном пути он стоял один у поручней и слушал ритмичное шлепанье колес — ни дать ни взять огромный барабан. Мастер-взрывник, исполнив все распоряжения Собачьего Короля, однозначно продемонстрировал, на чьей он стороне, и теперь сидел на корме вместе с рабочими.

Собачий дом уже тонул в глубоких сумерках, когда Беринг вернулся этим вечером со Слепого берега. Среди заросших клумб возле прудика с кувшинками стояла Лилина лошадь, щипала черные бадылья; узнав прежнего хозяина, она вскинула голову и заржала.

Лили еще здесь? Она же никогда не оставалась до поздней ночи. Беринг вошел в темный дом, мимоходом погладил собак, которые, виляя хвостом, выбежали ему навстречу, и еще из передней услышал смех Лили в большом салоне, а потом голос Амбраса, подзывающего дога.

Бутылка красного вина, остатки ужина — Лили и Амбрас сидели за большим столом, на котором вдобавок были рассыпаны камни, необработанные кристаллы, две коробки патронов, пачки мыла и чая, а еще — огромная, как цветочная ваза, снарядная гильза, из тех, что лишь изредка попадались в высокогорье подле разрушенных бункеров и осыпавшихся окопов. Неужто для этой меновой сделки им понадобилось прикрытие ночи? Военный хлам, ржавое оружие и десяток-другой патронов не интересовали теперь никого, даже карателей.

Амбрас как раз говорил: «...почему ты не отвезешь его в пансион?» — когда тяжелая дверь салона, впустив Беринга, громко захлопнулась от сквозняка. Нелепым, виноватым жестом человека, застигнутого на подслушивании, Беринг снова тихо открыл дверь и тихо закрыл ее, сделав вид, будто не стоял вот только что молчком на пороге, в незримости за пределами желтого круга света, — и все же не сумел скрыть смущения.

— Они говорят, каменоломню закроют.

— Добрый вечер. — Амбрас повернулся к Телохранителю, поднял бутылку — дескать, твое здоровье! — и отхлебнул глоток.

— Они говорят, каменоломню закроют, — повторил Беринг, не здороваясь.

— А что в этом ужасного? — Амбрас обмакнул в масло кусок хлеба и бросил серому догу, тот поймал лакомство на лету и мгновенно проглотил.

— Увольнения... Они говорят, это только начало. Совсем рассвирепели. Готовы были камнями меня забросать.

— Рассвирепели? Да они всегда такие. Ты их успокоил?

— Мастер-взрывник унял их... Это вправду только начало? А ведь вчера речь шла просто о временной приостановке.

— Нет такого рудника, котсрый бы однажды не иссяк. Всё когда-нибудь закрывается, любая дыра, даже зарубка, которую ты проделал в скале.

— Они боятся, что в таком случае в Моор скоро перестанут приходить транспорты с продовольствием, с медикаментами.

— Ну и что? — Амбрас говорил все громче. — У них же есть свекла. Виноград растет, в озере полно рыбы, а самые эффективные лекарства так и так делают из дикорастущих растений. Мы в лагере годами жрали брюкву...

— ...а нынче вечером выпили в одиночку уже вторую бутылку, — перебила Лили вскипающий гнев тем оживленным тоном, который опять заставил Беринга ощутить, как он далек от доверительности, какая существовала между этими двумя.

— Управляющий без каменоломни. — Беринг посмотрел Лили в глаза. — Что станет с управляющим каменоломней без этой каменоломни?

— ...и с его Телохранителем, ты это имеешь в виду? — подхватил Амбрас. — Не беспокойся, сударь мой, щебеночных карьеров и на равнине хватает.

— Мы что же, *уедем на равнину*? — Хотя Беринг только теперь разглядел, что Амбрас совершенно пьян, ему вдруг почудилось, будто он стоит на краю своего мира, у моря, которое знал лишь по картинкам. В точности такое же возбуждение охватывало его, когда он с закрытыми глазами сидел перед проигрывателем, слушая музыку Паттона. *На равнину*. Он покидал приозерье один-единственный раз, двенадцать не то тринадцать лет назад, когда даже дети и подростки присоединились к большому паломничеству в Бжезинку — на церемонию освящения поминального дома, величайшего из воздвигнутых в годы Ораниенбургского мира; из бревен и досок сотен лагерных бараков построили этот деревянный собор, на стойках и пятнистых стенах которого были выжжены имена, а то и просто номера миллионов погибших... Имена и номера — от фундамента до самого купола.

Паломники так и не добрались тогда до этого высокого, как башня, сооружения. Они, правда, одолели Ледовый перевал и, совершив с молитвами еще один дневной переход, уже видели в дымке глубоко внизу кукурузные поля, дороги и серый город, но затем по приказу коменданта района повернули назад, через перевал, потому что Армия проводила в этих местах облаву на мародеров и снайперов-одиночек. Но Беринг не забыл зрелища длинной вереницы ажурных мачт вдаль, как не забыл и прямую, точно стрела, линию, пронзающую поля, пастбища и перелески и временами серебристо взблескивающую на солнце; кто-то из паломников благоговейно сказал тогда: это, мол, рельсы *железной дороги*, и бегут они к морю.

— Да, сударь мой, мы уедем на равнину, если Армия предложит нам тамошний щебеночный карьер, — сказал Амбрас. — Мы уедем на равнину, если так захочет Армия.

— Ах! Господа переезжают! — воскликнула Лили. — Озерный воздух вам уже не на пользу?

— Что ни говори, воздух тут редееет, — сказал Амбрас. — Тебе бы тоже не мешало загода поискать новую башню. — И, приподняв бутылку, допил ее — за здоровье Лили.

— Новую башню? На равнине? Я на равнине и так часто бываю. Если уж уезжать, то куда-нибудь подальше. Далеко-далеко.

— Опять в Бразилию? — ухмыльнулся Амбрас.

— *К примеру*, в Бразилию, — очень медленно и серьезно проговорила Лили.

— Ну, тогда в добрый путь! — Амбрас уже откровенно смеялся.

— Ты небось аккурат туда и направляешься. — Беринг по обыкновению неловко включился в разговор. Он слишком туго соображал. Когда Лили и Собачий Король разговаривали между собой, он, как нарочно, умудрялся вернуть реплику или шутку совершенно не ко времени и не к месту. — Уже навьючила на лошадь заокеанский багаж?

— Я здесь из-за тебя. — Лили и на сей раз пропустила его шутку мимо ушей. — Целый час тебя жду. Я нашла твоего отца на Ледовом перевале. Он играет в войну.

## 23. Вояка

С мулом и лошастью Лили направлялась на равнину — выюки были набиты товаром на обмен, военными трофеями, красивыми окаменелостями и кристаллами — и в горах, в дневном переходе от Моора, неожиданно наткнулась на полуслепого кузнеца. Одет кое-как, ни пальто, ни одеяла, чтобы укрыться от ночной стужи высокогорья, ни провизии, ни даже спичек, чтобы развести костер.

Опускались сумерки, и Лили, как обычно, рассчитывала заночевать на Ледовом перевале, под защитой разрушенного форта. Четвероногие носильщики только-только миновали обомшелый купол какого-то бункера, который при захвате форта остался целехонек даже после прямых попаданий двух артиллерийских снарядов, как из развалин навстречу Лили вышел *Вояка* с перепачканным сажей лицом и крикнул: *Стой! Стой! Пароль!* Это был отец Беринга.

Он размахивал железным прутом и явно не мог решить, как ему поступить с этой штуковиной: держать ее как винтовку, как меч или все же просто как дубинку. На голове у него была помятая каска моорской пожарной команды, на шее — Железный крест, а на отворотах зеленой суконной куртки, которая точно для маскировки была вымазана глиной, блестели медали и ордена, а еще всякие значки и булавки в память о паломничествах, выставках мелкого скота и встречах ветеранов. *Пароль! Пароль!*

Лили не придержала ни лошадь, ни мула, продолжала ехать прямо на Вояку — тогда он поспешно ретировался за взорванную стену, которая стояла только на искореженной стальной арматуре. Лили засмеялась. Хотя в первую минуту она струхнула, а потом удивилась, что старик забрел в такую даль от озера, так высоко в горы, смеялась она, делая вид, что все это просто шутка.

Старик не узнал смеющуюся всадницу, которая, подняв руки вверх, приближалась к нему. Но когда она спешила возле его укрытия и через широкую брешь в его обороне протянула походную фляжку, все же опустил свою винтовку, меч, дубинку.

— Рябиновка, — сказала Лили.

Голос Вояка тоже не признал, однако смягчился.

— Идите в укрытие, барышня. — Он взял фляжку, отхлебнул большой глоток и, похоже, начисто запомнил насчет пароля. — Вот-вот начнется атака. Эти подонки хотят прорваться в Хальфайях. Это им не удастся. Никогда! — Потом он крикнул в зияющие чернотой руины форта: — Не стреляйте! Не стреляйте, она своя! — и, вскинув на плечо прут и не отдавая фляжки, зашагал между обломками железобетонных конструкций, как офицер на передовой, обходящий посты. При этом он сильным голосом выкрикивал в шахты и бойницы бункеров и каких-то подземных коридоров вопросы и приказы, а оттуда доносился лишь студеный запах прели и влажной земли. Хотя и пошатываясь, почти ощупью, двигался он в темных развалинах так деловито, так целеустремленно, что Лили привязала лошадь и мула к противотанковому ежу, а сама пошла за Воякой.

В конце концов ей пришлось мобилизовать все свое искусство убеждения и даже внушить старику, что она-де на самом деле связная из штаба его батальона и доставила ему приказ об отходе, — только тогда он согласился пройти с нею к ее лагерю, к подземной казарме рядового состава.

В этом пустом, погребенном под развалинами подвальном помещении Лили много раз ночевала, когда ездил на равнину: у нее был здесь тайник с запасом топлива, сена и консервов. Старик охотно помог ей разнудать и накормить вьючных животных и приготовить на спиртовке чай, кукурузную кашу и сушеную рыбу. Он словно бы на время отрешился от своих химер и вспомнил Лилины давние услуги и визиты на Кузнечный холм, однако же, когда связная сказала, что наутро препроводит его обратно в Моор, ответил коротко, по-военному: *Так точно. Слушаюсь, барышня!*

На ночь Лили устроила полоумного в своем спальном мешке, а сама вернулась в две попоны, но Вояка не дал ей спать: то он якобы услышал в развалинах *сигнал тревоги* и собрался наверх, к пулемету, то распевал солдатские песни, будто он не на фронте, а в казарме, на учебном плацу, — и заодно осушил фляжку.

На восходе солнца, который обозначился в темноте подземелья лишь узкой полоской света из вентиляционной шахты, он наконец заснул, и Лили стоило больших трудов разбудить его. Он успел забыть, что минувшим вечером она была его связной, и решил теперь, что она партизанка, которая захватила его, спящего, в плен; пришлось сочинить новый *приказ по части*, только тогда Вояка помог ей спрятать вьюки в одной из каменных каверн. Приказ гласил: устройте в форте склад и немедленно возвращайтесь в Моор.

В Моор? На озеро? Ни о таком населенном пункте, ни об озере с таким названием Вояка слыхом не слыхал. Но каких только названий он не читал в приказах, названий, которые вспыхивали в огне артобстрела и гасли вместе с этим огнем, — Эль-Агейла, Тобрук, Салум, Хальфайях, Сиди-Омар... Названия, не более чем названия. В итоге-то осталась одна лишь пустыня.

Стало быть, Вояка и на сей раз был послушен, разместил перевязанные свертки и узлы в стенных углублениях, а затем снова заложил эти углубления камнями и замаскировал мхом, — и внезапно в руках у него оказалась винтовка, приклад которой высовывался из седельной сумки. Взгляд его был слишком замутнен, чтобы *увидеть* гравировку и оригинальный магазин, но он узнал ее голыми руками, на ощупь. Английская снайперская винтовка. Такие он захватывал у противника, на перевале Хальфайях.

— Не трогай винтовку! — крикнула ему связная, партизанка, чужая женщина. — Винтовку мы возьмем с собой, — продолжала она уже куда мягче, помогая ему сесть в седло.

Притихший и все еще хмельной от рябиновки, сидел он на широкой спине лошади, сидел наконец так же высоко, как в войну, пока эта женщина, наверняка не имевшая отношения к его армии, привязывала поводья к вьючному седлу мула. На этом муле она и тронулась в путь, впереди него.

Горная тропа в Моор была скалистой и крутой, из глубины до них порой доносился шум ледниковых ручьев. Дважды Лили в самую последнюю минуту успела предотвратить беду: старик едва не сорвался с лошади в пропасть; тем не менее она избегала более отлогих путей по дну долин, чтобы стороной обойти шлагбаумы и контрольные посты, где могли поджидать солдаты, но с тем же успехом — бритоголовые и «кожаные». Хотя тот факт, что старик совершенно один добрался до Ледового перевала, свидетельствовал, что на сей раз у шлагбаумов никого не было, Лили не доверяла этому мирному затишью, как, впрочем, и мирному времени вообще, и предпочла легкой дороге свой обычный маршрут.

Но когда Вояка второй раз соскользнул с седла и только стремя, в котором застрял его грубый башмак, спасло бедолагу от падения в бездну, она пересела к нему на лошадь и приказала крепко за нее, за Лили, держаться, а вскоре он уронил голову ей на плечо и захрапел.

Под вечер они добрались до утонувшего в зарослях *моорского распутья*, искореженной снарядами сторожевой вышки у централизованного поста, до пустой железнодорожной насыпи, по которой некогда катили поезда — к моорскому побережью или к каменоломне. Тут Вояка вдруг выпрямился в седле, словно разбуженный лязгом стрелки, звоном металла.

— Красиво, — сказал он потом и, как ребенок, показал на раскинувшееся внизу озеро, темное и гладкое. — Красивое озеро.

Далеко на просторах этого озера — белый корабль, режущий зеркало вод расширяющимся конусом кильватерной струи: «Спящая гречанка» шла к Слепому берегу.

В этот вечер Лили не повезла полоумного на Кузнечный холм, а доставила его напрямик в моорский *стационар*, крытый гофрированным железом ба-

рак, где члены одной из общин кающихся худо-бедно оказывали первую помощь пострадавшим в каменоломне и жертвам налетчиков, а потом переправляли их в хаагский лазарет. Хотя на пять железных коек этого барака приходилось сейчас всего двое пациентов, санитар, который на столе возле двери играл с паромщиком в карты, сказал, что для маразматиков и помешанных тут места нет. А ежели Лили тем не менее намерена оставить старикана, пускай оставляет, но, во-первых, это кой-чего будет стоить, а во-вторых, самое позднее через три дня ей придется забрать его отсюда и отвезти в Хааг или еще куда. Пока Лили договаривалась с санитаром, от Вояки поплыл резкий смрад.

— Эва, под себя ходит, — сказал санитар, — в пору еще и пеленать его. За отдельную плату.

Вояка забрал себе в голову, что угодил во вражеский полевой госпиталь, и не пожелал расстаться ни с пожарной каской, ни с орденами, даже когда санитар повел его в *умывальную*, в закуток, где стоял деревянный чан и несколько жестяных ведер. Лишь после того, как Лили сказала, что по всем законам военного времени он теперь пленный и, если будет выполнять распоряжения санитаря, обращаться с ним будут уважительно, — лишь после этого Вояка уступил, позволил снять с себя каску, и ордена, и одежду. Потом Лили вручила санитару жевательный табак, шнапс и талон на канистру керосина и отправилась в Собачий дом.

— Я ей сказал, что твоему отцу не место в бараке для больных и в лазарете, его надо определить в пансион для ветеранов, — повторил Амбрас в этот вечер, когда Лили рассказала Телохранителю историю Вояки и их возвращения с Ледового перевала. Выполнив безмолвный приказ Собачьего Короля, Беринг откупорил еще одну бутылку красного и тоже присел к столу.

— В пансион? В Хааге? — спросил он.

В Хааге Союз бывших фронтовиков держал пансион для ветеранов, располагавшийся в помещении гостиницы, на фасаде которой по сей день красовалась белесая от непогоды вывеска — *Отель «Эспланада»*.

— Нет, я имел в виду не «Эспланаду», — ответил Амбрас, — не Хааг. Я говорил о пансионе в Бранде.

В Бранде? Но это ведь уже за перевалом. По ту сторону зональной границы. В Бранде начиналась равнина. Тому, кто собирался в Бранд, был нужен пропуск и уважительный повод, либо он должен был хорошо знать окольные пути, вот как Лили.

— Почему в Бранде? — спросил Беринг.

— Потому что в Бранде о нем позаботится Армия, а в Хааге старик долго оставаться не сможет, — ответил Собачий Король. — И он не сможет, и вообще никто.

Лили, наклонившаяся к лежащему под столом догу и шептавшая ему ласковые ребячливые прозвища, выпрямилась так резко, что собака тоже испуганно вскочила.

— Что значит «никто»? И он, и вообще никто. Что это значит?

Никто. словно ненароком обронив волшебное слово, заклинающее безлюдье, нехоженые дебри и пустыню, и поневоле взвешивая теперь, стоит ли говорить дальше, взять это слово назад или просто отмолчаться, Амбрас ответил после долгой паузы, во время которой слышно было только, как чешется дог:

— На озере... На озере никто не сможет остаться. В будущем году Армия объявит приозерье запретной зоной, *учебным полигоном*... Весь береговой район, все деревни вплоть до Айзенау, свекловичные поля и виноградники станут театром боевых действий для бомбардировщиков и танковых частей. Самолеты, артиллерия, инженерно-саперные и штурмовые подразделения — полный цирк на подходе...

— Это... это же... нет, не верю! — Лили, как и Беринг, просто потеряла дар речи.



Но Амбрас с пьяных глаз явно решил прежде времени разгласить тайну, доверенную ему и моорскому секретарю, и продолжал:

— Танки вспашут поля. Флот торпедирует «Спящую гречанку». В камышах заплещутся водолазы-диверсанты. Все ради подготовки. Все ради учебных тренировок. В любую минуту быть готовыми к бою...

— Они что, сбрендили? Совсем рассудок потеряли? — В порыве ярости Лили схватила свой бокал и швырнула в открытое окно, в ночь, где он упал то ли в траву, то ли в мох, потому что звона осколков, звона разбитого стекла слышно не было. Дог, словно учуяв близость незримого врага, метнулся следом за каплями вина к окну и лаял во тьму, пока Амбрас не прицкнул на него, громко чертыхнувшись. Беринг никогда еще не видел Лили в такой ярости.

— Сбрендили? Да. Вероятно. Вероятно, все скопом потеряли рассудок. — Одним взмахом руки Амбрас загнал собаку обратно под стол.

— А что будет с местными?! — воскликнула Лили. — Столько лет они не сдавались перед налетами и издевательствами бритоголовых — и чего ради? Чтобы в конце концов стать изгнанниками, по милости Армии, по милости своих защитников?!

— Местные? — сказал Амбрас. — В будущем году эти люди наконец-то смогут уехать туда, куда они рвутся черт знает с каких пор, — на равнину, понимаешь? На равнину, поближе к казармам, супермаркетам, вокзалам, бензоколонкам. В будущем году эти люди наконец-то смогут уехать из своих медвежьих углов. *Снимутся с места — и поминай как звали.* Приозерье упраздняют.

— А мы? Как насчет нас? — спросил Беринг торопливо, словно боялся, что заявление Собачьего Короля об *отъезде на равнину* окажется ошибкой, пустой пьяной болтовней. — Как насчет нас?

Амбрас еле ворочал языком. Поднял бутылку и помахал ею в воздухе как трофеем. Бутылка была пуста.

— Мы тоже уедем... Раз все уедут, то уедем и мы.

Разговор, все более громкий и бессвязный, закончился около полуночи, и Лили наконец покинула виллу «Флора». Впервые с тех пор, как Беринг стал в Собачьем доме Телохранителем, Лили уступила Амбрасу и засиделась допоздна, и Беринг с восторгом смотрел ей вслед, когда она верхом на лошади исчезла во мраке: еще два дня, и она снова пойдет через Ледовый перевал, в Бранд, и он будет ее сопровождать.

*Мы едем на равнину. Я еду с Лили в Бранд.* Собаки и их пьяный Король давно спали, а Беринг в эту ночь все сидел перед динамиками у себя в комнате и под гитарные переборы паттоновского оркестра размышлял о предстоящем путешествии. *Я еду с Лили в Бранд.* Ну а что с ними будет еще и его одержимый войной отец, так это ровным счетом ничего не значит.

Когда Амбрас предложил без проволочек, в ближайшее же время переправить старого Вояку за перевал, ведь в Мооре и без того хватает ветеранов и инвалидов, Лили, конечно, сперва наотрез отказалась: *нет, ни в коем случае.*

«Это не санаторная экскурсия в горы, — сказала она. — В такой дороге я не смогу постоянно за ним присматривать. А он падает с лошади. Его надо мыть. Надо менять ему белье, подкладывать клеенку. Мой спальный мешок он уже привел в полную негодность. Я привезла его обратно в Моор и больше ничего сделать не могу».

«А если *он* пойдет с тобой? — Собачий Король пришел от этой внезапной идеи в такой восторг, что даже рассмеялся. — Да, пусть Телохранитель идет с тобой! Пора ему на маневры! Пусть потренируется! Отработает отход на равнину. Вот и присмотрит день-другой за отцом, чтобы тот целый-невредимый добрался до армейского пансиона. Сказано ведь... почитай отца твоего и мать твою...» Последние фразы утонули в таких взрывах хохота, что Беринг ничего толком не понял. Разобрал одно слово — «почитай». И переспросил: «Почитай? Чего почитай-то?»

«Поедешь с ней! — реготал Амбрас. — Сдашь в Бранде полоумного и будешь сопровождать ее, а почитать тебе никого и ничего не надо, понятно? Никого и ничего. Я просто пошутил, дурень. О почтении вообще нельзя говорить всерьез».

#### 24. Дорога в Бранд

После камнепадов и паводка минувшей весны дорога на равнину почти не отличалась от русла какой-нибудь речушки. По таким дорогам мог проехать грузовик, военный вездеход или запряженная волами телега с высоченными колесами — но *лимузин*?

По давней трассе железной дороги, что вела сквозь укрытые плющом туннели и через виадуки, до Бранда можно было добраться пешим ходом или верхом всего за день-два, однако дороги в горах расчищали от каменных завалов, от снежных и селевых заносов исключительно для армейских нужд, а часовых на посты в устьях долин выставлять перестали, поэтому туннели на этом участке нередко представляли собой бандитские ловушки, из которых не было спасения.

Вот и пользовались горными тропами. А шли они через минные поля, взбираясь высоко-высоко, к самым окраинам ледников, где кишмя кишат трещины. В туман и непогоду сбиться с этакой тропы было легче легкого, а *сбиться с тропы* означало здесь — угодить в пропасть или подорваться на mine.

До отъезда в Бранд Беринг целых два дня мысленно карабкался по камням, ехал в горы то на автомобиле, то верхом на лошади, думая только об этой дороге, которую им предстояло одолеть сообща. Бессонной ночью он сидел у окна в своей комнате и в бинокль обшаривал взглядом темные хребты Каменного Моря, пока ему не чудилось, что среди светлых пятен скальных обрывов да осыпей и черных, непроницаемых клякс леса он различает тропы, святившиеся линии, *свой* путь.

— На машине? На какой еще машине? Ах, на «Вороне!» — Вечером накануне отъезда, выслушав предложение, с которым Беринг после долгих колебаний явился к ней в башню, Лили не раздумывала ни минуты: на «Вороне» в Бранд? Только этого и не доставало. Он, видно, понятия не имеет, какова эта дорога на равнину. Вот если б «Ворона» умела летать, перепархивать через ямы и селевые заносы, тогда конечно, а так она мигом перекорежит все свои оси. Нет, Лили решительно предпочитает любым другим средствам передвижения лошадь и мула. Пускай Беринг оставит свою «птичку» в Собачьем доме, а в Бранд поедет по старинке, верхом, потому что самый безопасный путь на равнину до сих пор ведет через давнишний форт, через перевал.

Хотя Беринг представлял себе *отъезд в Бранд* по-другому, драматичнее, как отъезд на машине в густой туче медленно оседающей пыли, он все же был точно в лихорадке, когда на следующее утро увидел среди исполинских сосен Лили, направляющуюся к Собачьему дому. Псы помчались ей навстречу. Она ехала верхом на муле и слушала по транзистору сводку новостей армейской радиостанции. Следом трусила лошадь без седока, *его* лошадь. Лили приехала за ним. Ночью был дождь. Копыта оставляли в мягкой почве глубокие отпечатки, маленькие колодцы, наполнявшиеся водой, зеркальца, в которых трепетал образ неба.

Амбрас, сидя в плетеном кресле на веранде, только кивнул с отсутствующим видом, когда Беринг этим утром прощался с ним — прощался так обстоятельно, будто уезжал не просто за перевал Каменного Моря, а в далекое-далекое путешествие: Телохранитель перечислил запасы в погребке, рассказал, что делать с генератором в случае поломки, и даже хотел просветить хозяина насчет недавних неполадок со стартером «Вороны», — Амбрас только кивнул и отмахнулся. Ни к чему все это. На Лилино приветствие он тоже едва ответил; когда они тронулись в путь, он сосредоточенно изучал какой-то инвентарный список из каменоломни.

Вилла «Флора» осталась позади. Напрасно собаки бросались на кованые прутья ворот и долго разочарованно лаяли вдогонку путникам.

— Ты захватил провиант для отца? — спросила Лили. — У меня хватит только на одного из вас.

— Вяленое мясо, сухари, сушеные яблоки, шоколад и чай, — ответил Беринг. — Достаточно для троих минимум на шесть дней.

— Это чересчур, — сказала всадница, — ведь твой отец останется в Бранде.

Возле больничного барака им пришлось спешиться и ждать. Санитар еще спал и открыл лишь после того, как Беринг, выкрикивая имя отца, вдоволь настучался и в дверь и в окна. В прошлом году бритоголовые в такой же ранний час устроили налет на барак и в поисках медикаментов и перевязочного материала расколотили все, чему не могли найти применения.

Санитар подстриг отцу волосы, побрил его и вымыл; теперь от старика пахло мылом и дезинфекцией, и сыну он показался таким же тошим и чужим, как тогда, в день возвращения, на перроне моорского вокзала. И, как тогда, пылал на лбу багровый шрам.

Старик снова был на войне, но не мог вспомнить ни связной, ни партизанки, которая несколько дней назад в горах взяла его в плен, и спутника этой женщины тоже не узнавал. Какая-то женщина. Какой-то мужчина. Он козырнул обоим штатским, видимо явившимся в лазарет за ним — чтобы доставить его обратно на передовую. Он ведь нездешний. Эта пустыня — чужая страна. На фронте, похоже, все спокойно. Шум сражения не указывал ему дорогу; дорогу знали штатские. Наверняка у них приказ препроводить его куда надо. Вояка готов ехать. Он взял из рук санитара свою каску, затем ордена, звякавшие в бумажном кулке, который он нипочем не пожелал отдать, когда штатский подсаживал его в седло.

Если он не хочет расставаться с этим железным хламом, сказал штатский, пускай, черт побери, наденет каску на голову и как следует затянет ремешок или хоть к поясу ее прицепит, а кулек с орденами сунет в седельную сумку, потому что руками — обеими! — надо будет держаться. Лошадь одна, и поедут они вдвоем... Этот штатский смеет ему приказывать?! Как бы не так!

Зажав в одной руке кулек, он другой рукой уцепился за штатского. Но штатский этим не удовольствовался. Вскочил к нему на лошадь, растопырился впереди, как барин, обернулся, пропустил ему под мышками веревку и крепко привязал к себе.

С самого детства Беринг не бывал в такой близости от отца. Он чувствовал на шее дыхание старика, и в ноздри ему проникал запах мыла, а после двух часов пути — еще и едкий, кислый запах пота. Но он не испытывал ни отвращения, ни давней злости на упрямство этого старикана, увязшего в воспоминаниях о пустыне и о войне. Свободно держа в руке поводья и поверх кивающей лошадиной головы высматривая на тропе ловушки и препятствия, Беринг разговаривал с отцом как с малым ребенком, то и дело спрашивал, не хочется ли ему попить, поесть или отдохнуть, в конце концов отвязал веревку и показал заросли соснового стланика, за которыми можно присесть и справиться нужду.

Мало-помалу Вояка уверился, что этот всадник, который кормил его и поил и не давал упасть с лошади, не иначе как солдат, добрый товарищ, ведущий его на битву. Он принялся бормотать всаднику в спину, остерегая его от белых туч пыли на Хальфайяхе, от мелкого, как мука, песка, что даже сквозь мокрые от пота повязки, закрывающие рот и лицо, проникает солдатам и караванщикам в поры и в глаза, ослепляет людей, сбивает с пути. Когда всадник приказывал отдыхать, он беспрекословно слезал с лошади, садился на камень. Когда приказывал пить, он пил, а когда говорил: *не болтай, замолчи ты наконец*, он тотчас затихал. Он выполнял все приказы всадника.

Лили на своем муле все время опережала их на четыре-пять лошадиных корпусов. Иногда она оборачивалась, окликала их, предостерегая от особенно обрывистого или ненадежного участка. Тропа стала круче и так сузилась, что

Берингу пришлось полностью сосредоточиться на том, как бы провести лошадь и вместе с отцом удержаться в седле.

Беринг мечтал, что в этой поездке будет часы и дни проводить наедине с Лили, воображал, как, покачиваясь на лошади, будет ехать обок с нею через Каменное Море на равнину, ночами сидеть с нею у костра, спать подле нее на камнях или во мху и слушать рассказы о Бразилии... Но теперь, в этом долгожданном путешествии, она была далеко впереди и бросала издали разве что лаконичные предупреждения, не имевшие никакого отношения к темноте, к той единственной опасности, что угрожала ему на самом деле. А попеременно с этими никчемными предупреждениями он слышал лишь бормотание отца.

Хотя Беринг уже не злился на полоумного, который превратил его жизнь на Кузнечном холме в сущий ад, а теперь все уши прожужжал своими военными воспоминаниями, разочарование в поездке временами было столь велико, что он не выдерживал отцова бормотания и говорил: *тихо ты, уймись наконец.*

Вояка старался быть послушным и тотчас исполнял любой приказ. Но каждое слово имело силу ровно до тех пор, пока он его помнил, а он забывал слова, приказы в считанные секунды, забывал *всё*, если ему не приказывали, не твердили одно и то же снова и снова. Память его достигала далеко в глубь пустынь Северной Африки, он мог описать даже небо над полями сражений и все еще помнил, какие облака предвещали песчаную бурю, а какие — дождь, но происходившее сейчас, сию минуту, забывал, будто ничего такого и не было. Его настоящим было прошлое.

*Тихо!* Едва он успевал услышать распоряжение всадника, как память о войне пересиливала повинование, и хотя после каждого приказа замолчать он осекался на полуфразе, на полуслове и на миг умолкал, но в следующую же секунду опять начинал говорить, говорить о пустыне, и о сражении, и о перевале Хальфайях, который мерещился ему впереди, в горах, где-то там, среди каменных пиков и туч. Туда, к вершинам! Туда им надо подняться. Преодолеть этот перевал.

— Тихо! Заткнись. Замолчи ты наконец.

Под вечер, на последнем подъеме, уже в виду развалин форта на перевале, они вышли к обширной осыпи. Пришлось спешиться и по каменному лабиринту медленно, долго вести животных в поводу к месту стоянки; пока добрались, начало смеркаться. Лили и на этот раз решила заночевать в подземной казарме *своего* бункера.

Беринга удивили размеры и оборудование этого тайного убежища; вход располагался в густых зарослях между железобетонными обломками и был так хорошо замаскирован, что Лили вдруг словно провалилась сквозь землю и, не окликни она его раз-другой, он бы нипочем не сумел пробраться внутрь.

Вояка, похоже, не помнил и об этом бункере, где всего несколько дней назад спал у костра и видел во сне подъем по тревоге, начало битвы. Но, складывая поленья для нового костра, помогая спрятать в зарослях мула и лошадь и пытаясь отнести вниз, в темноту, слишком тяжелое для него вьючное седло, он вдруг вообразил, что та ночь еще не кончилась, что он никуда не уходил, а все время оставался *здесь*, — и вдруг в руках у него вновь очутился приклад винтовки, торчащий из поклажи партизанки, и он вспомнил, вспомнил, что на перевале Хальфайях и вообще в годы войны простой солдат был не вправе прикасаться к оружию снайпера, и предупредил товарища:

— Ты не трогай винтовку. Такие винтовки трогать воспрещено, неприятностей не оберешься.

Винтовка? За всю дорогу Беринг даже и не заметил, что к седлу мула приторочена завернутая в дождевик винтовка.

— Винтовка! У тебя есть винтовка?

— А у тебя — пистолет, — отозвалась она. Бросила попоны к костру, на присыпанный песком пол, развернула винтовку, осторожно положила рядом с

попоной, а из дождевика сделала себе подушку. Вот здесь она и будет спать нынче ночью — мужчины пускай устраиваются по другую сторону костра. Рядом с нею будет только эта винтовка.

Когда Лили, чтобы приготовить чай и суп, подбросила в костер доски разбитого снарядного ящика, пламя яркой звездой затрепетало в линзе оптического прицела. Беринг впервые в жизни видел снайперскую винтовку. Может, Лили нашла эту штуковину в какой-нибудь заброшенной казарме и хотела выменять ее в Бранде или, как положено по закону, сдать армейским властям? Но когда он, смущенный и неспособный противостоять магическому притяжению, просто шагнул через костер и наклонился к оружию, Лили проговорила совершенно чужим, незнакомым голосом:

— Не трогай. Оно заряжено.

— Неприятности. Я ведь предупреждал, — буркнул Вояка. — Предупреждал.

Беринг сообразил только, что вопросы сейчас задавать нельзя, лучше сделать то, что ему поручила Лили: принести снежку. Он кивнул и вышел наружу, во тьму, набрать в чайник снегу, крупнозернистого сырого снегу, который все лето сохранялся в глубокой тени скальных расселин и карстовых воронок.

Наверху по горным плато и кáрам гулял ветер, гнал клубы тумана на глетчеры высочайших хребтов, пока их трещиноватый древний лед не исчез в волнующемся сером разливе. С чайником в руке Беринг стоял на снежнике, на ветру, и смотрел, как нагое высокогорье тонет в облаках и в ночи, что наплывала из бездны на перевал. Потом Лили окликнула его: где же вода? — и он спустился в бункер.

Лишь спустя несколько часов, когда они, сидя у костра в бункере, в этой дымной пещере, приготовили ужин и поели, а укутанный в одеяло Вояка, хватив из Лилиной фляжки пару добрых глотков шнапса, крепко уснул, все стало так — или почти так, — как Беринг себе и представлял: ночь в Каменном Море. Он был в укрытости форта, покоренного десятки лет назад, сидел вместе с Лили в этом подземелье у костра, отделенный от нее только опадающими языками пламени, был наконец-то с нею наедине.

Они пили чай из жестяных кружек. Смотрели в огонь, в жар угольев, и говорили, говорили об опасностях, подстерегающих путника в высокогорном безлюдье: о ненастье и внезапных туманах. О камнепадах и лавинах. И о снежных заносах, которые перекрывали скальные и ледниковые трещины, превращая рассеченный провалами ландшафт в чуть волнистую равнину, где каждый шаг был чреват падением в черную бездну.

Иные из спрятанных под порошей провалов и трещин так глубоки, сказала Лили, что, пока брошенный камень, с грохотом отбиваясь от стен, долетит до дна, можно сосчитать до двадцати и до тридцати, а то и больше. Завтра, сказала Лили, им предстоит пересечь плато, сплошь усеянное карстовыми воронками, *карстовое кладбище*: в эти провалы сбросили погибших беженцев из той группы, которая в последние недели войны шла этим же маршрутом, считывая обойти стороной заминированные дороги в долинах. Видимо, застигнутые неожиданной метелью, они сбились с пути и в конце концов замерзли. Саперное отделение союзников обнаружило трупы только через год с лишним после войны и похоронило их в карстовых воронках.

Чего проще — говорить о метелях, о каменных лавинах и тем более об огнях святого Эльма, чьи голубые гирлянды змеились в насыщенном электричеством предгрозовом воздухе на железных дорожных знаках и на стальных тросах висячих мостов, предвещая удар молнии. А вот о тускло поблескивающей рядом с Лили винтовке оба молчали, равно как ни словом не поминали об одиночках из числа бритоголовых и о бандах, которые, укрываясь от Армии, добирались до самой границы снегов и от которых по этой причине даже здесь, в высокогорье, никто не был застрахован. Беринг, блаженствуя подле Лили, забыл в эти часы о бандитской угрозе, а Лили молчала, чтобы не коснуться тайны своих охотничьих вылазок.

И о себе самих они тоже молчали. Когда говорили, казалось, будто единственная их забота и единственная страсть — Каменное Море. А когда молчали, в убежище становилось так тихо, что они слышали только потрескивание углей, дыхание спящего Вояки да звон собственной крови.

В неверном свете костра по лицу Лили пробегали глубокие тени, а порой дым, который мог уйти наружу лишь через низкий входной лаз да узкую световую шахту, до слез ел глаза. Порой в этих трепетных отблесках Лилины глаза были совсем не видны, и тогда Беринг переставал понимать, что заслоняет ее лицо — пляшущие тени или дыры в его взгляде. Он хотел света — сотню факелов, прожектора, лесной пожар, снежное сияние, — чтобы видеть ее глаза. Но здесь было лишь это зыбкое багровое мерцание, а полено, которое он подбросил в костер, оказалось сырым и сильно чадило.

Лили сидела по другую сторону костра, по другую сторону мира, и все же была близко как никогда.

Неужели это вправду *его* голос? Неужели это вправду *он*, нарушив долгое молчание, произнес ее имя, да так громко, что Лили вздрогнула от испуга? Ему почудилось, что и это имя, и все прочие слова произнеслись *сами*, просто воспользовались его дыханием, его голосовыми связками, его горлом — вот так же порой пролетали сквозь него и птичьи голоса, становились внятны через посредство его тела, через его уста, при том что он не прилагал к этому ни особого желанья, ни особых усилий. Вот так же как он порой слышал из собственных уст пересвист, *напев* черного или певчего дрозда, словно бы вчуже, — так он говорил и сейчас.

— Лили!

Она задумчиво смотрела в угли костра. Предостерегающий окрик и тот едва ли бы смог с большей внезапностью вырвать ее из размышлений.

— Что случилось?

— Я... у меня есть секрет.

— У меня тоже, — медленно сказала она. — У каждого есть свой секрет. Людей без секретов не бывает.

— Но я свой не выбирал.

— Тогда раскрой его. Выброси. Ступай наружу, напиши на снегу, на камнях.

— Не могу.

— Всякий может.

— Я не могу.

— Почему не можешь?

— Потому что... потому что я... я слепну.

Теперь, когда ужасное слово было произнесено, голос оставил его и вдруг навалилась усталость, от которой все в нем сделалось вялым и тяжелым. Он сидел на холодном песчаном полу и невольно опирался на руки, сопротивляясь потребности упасть наземь и уснуть. Глаза у него слипались. Он хотел продолжить разговор, сказать что-то еще, но голос оставил его. Сам того не желая, он ухмыльнулся. И даже не знал, что ухмыляется.

— На слепого ты совсем не похож, — сказала Лили и улыбнулась, словно в ответ на шутку, и только теперь заметила его состояние, его изнеможение. Беринг не мог сказать больше, чем только что сказал. И Лили увидела, что слезы на его глазах вряд ли от одного лишь едкого дыма.

Разделенные костром, они сидели в ночи, и с минуту казалось, что она вот-вот встанет, и опять подойдет к нему, и опять обнимет, как в тот вечер на моорском кладбище, когда он хоронил мать. Но она осталась на своей стороне костра и долго, пристально смотрела на Беринга.

— Что происходит с человеком, когда он слепнет? — спросила она затем и так энергично перемешала палкой угли, что вверх взметнулась целая туча искр и пришлось ладонью заслонить от них глаза. Она дважды повторила вопрос — и потом молча ждала, когда разожмутся тиски, которые сдавили Берингу гор-

ло, не давая произнести ни слова, он мог разве что пискнуть, каркнуть, закричать по-птичьи.

И вот Беринг начал-таки рассказывать о концерте на летном поле, о ночи, когда Лили обнимала его не просто из сострадания. Но говорил он не о ее ласке, а только о возвращении домой из Самолетной долины, о поездке на «Вороне», описывал — поначалу запинаясь, потом все торопливее, будто опасаясь вновь потерять голос, — тени и выбоины, что *выпорхнули* тогда из светового конуса фар и слепыми пятнами застряли в поле его зрения. Он раскрыл свой секрет. Поискал глаза Лили и нашел только тень.

— Что мне делать? Амбрас не должен узнать об этом.

— ...не должен?

— Ни в коем случае. Ни слова!

Лили не стала расспрашивать дальше. Получше укрыла Вояку, который во сне откатился от костра в темноту.

— Черные пятна вовсе необязательно означают слепоту, — сказала она немного погодя. — Если погода не испортится, завтра мы будем в Бранде. В тамошнем Большом лазарете есть знакомый санитар; бывало, он доставал лекарства для моорского секретаря. Как знать, вдруг он сумеет тебе помочь... Ты не слепнешь. Если *ты* слепнешь, то я глухну. — И она опять улыбнулась.

Оживленная уверенность, которой Лили старалась утешить Беринга, не принесла ему утешения. Она не поверила ему? Неужто она теперь даже не способна понять, что ему страшно? Страшно сознавать, что близок день, когда он будет передвигаться ошупью, как его отец.

— Я не хочу становиться инвалидом, — сказал он, повернув голову к спящему Вояке. — Не хочу быть таким, как он.

— Несколько дней назад *он* в одиночку добрался сюда.

— А Амбрас? — Не сводя глаз со спящего, Беринг принялся чертить пальцем на песчаном полу линии, широкие дуги, одну за другой... Амбрас, наверно, тоже знает этого санитаря? Стало быть, рано или поздно, из радиограммы или ненароком оброненного замечания секретаря, он тоже узнает, как обстоит с глазами Телохранителя.

— Он не знает его, — сказала Лили. — В Бранде у каждого свои друзья... К тому же никто не посылает из Большого лазарета радиограммы о дефектах зрения. Там хватает недугов пострашнее.

В той же прострации, в какой чертил дуги, Беринг стер их, проведя ладонью по земле. Надо же, так говорить о его страхе! И все же он кивнул. Ладно, он последует ее совету. В брандском госпитале, который приозерная глухомань и в третьем мирном десятилетии по-прежнему именовала *Большим лазаретом*, лечили только солдат или фаворитов Армии. Больным, не имевшим на равнине покровителя, оставалось обращаться в барачные лазареты Красного Креста в Мооре либо в Хааге или же искать помощи у какой-нибудь айзенауской знахарки; каждому страдальцу, что приходил в ее закопченную каморку, она клала на лоб ладони, бормотала неразборчивые заклинания и, окуная в какое-то варево птичью кость, рисовала на теле целительные знаки.

— Завтра будем в Бранде, — повторила Лили. — На того человека в лазарете можно положиться... Или ты предпочел бы навестить айзенаускую солеварку?

Беринг подышал на замерзшие пальцы и проговорил, обращаясь скорее к своим ладоням, нежели к Лили:

— В Айзенау я... уже был.

Хотя пламя костра мало-помалу опадало в уголья, Лили не притронулась к дровам, сложенным возле ее ног. Огонь погас. Из световой шахты в подземелье тоже проникала одна лишь тьма. Чернота, обступившая их, была непроницаема, как в недрах горы.

Долго еще они сидели в тишине, но оставили и разговор, и свои секреты, даже доброй ночи друг другу не пожелали. Каждый на своей стороне кострища слышал, как другой укладывается спать, устраивается поудобнее на покры-

том трещинами полу бункера. Завтра они будут в Бранде. В Бранде. Если только ветер, гудящий, словно орган, в шахтах и подземных коридорах форта, так и не уляжется и не нагромоздит у стен Каменного Моря еще больше туч, снеговых туч. На равнине было лето. Но здесь, наверху, этой ночью, пожалуй, выпадет снег.

Завтра на равнине. Беринг видел вздымающиеся к безоблачному небу высокие, словно башни, ажурные мачты высоковольтных линий, видел серебристые ленты железной дороги и поток машин, текущий на просторе от горизонта до горизонта. Небо словно бы расшито стремительными узорами птичьих стай, и нет на нем ни единого слепого пятна, а свет такой яркий, что Беринг невольно заслони́л глаза... и вдруг почувствовал на плечах руки Лили, на шее — ее дыхание... но нет, все это было уже во сне.

## 25. Убить

Тропа через горы была усеяна ракушками. Уже пять часов шли путники в Бранд по испещренному карстовыми воронками плоскогорью восточнее Ледового перевала, а под копытами лошади и мула все еще переливался радужными бликами перламутр тысяч и тысяч окаменевших морских ракушек.

На жаргоне контрабандистов и работяг из приграничной зоны, которые порой пересекали это голое, безлесное плато, такие ракушки, намертво вросшие в серебристо-белые известняковые скалы, назывались *конскими следами*, потому что размером и формой напоминали отпечатки копыт. Реликты древнего моря, они были рассыпаны по мощным каменным плитам и осыпям, точно серебряные отливки следов огромной исчезнувшей конницы. В прошлые годы Лили иной раз вырубала из известняка особенно красивые *следы* и на равнине выменивала на дефицит. Сейчас она, не обращая внимания на эти красоты, вела мула напрямик по перламутру, и спутники с трудом поспевали за нею.

Вопреки всем ночным приметам, грозившим непогодой, день выдался мягкий. В лучах янтарного солнца даже камни осыпей сверкали как самоцветы. Снегопада не случилось, ветер только обсушил горы от сырости туч и еще до рассвета утих. Высоко над путниками, между утесами и черными обрывами Каменного Моря, точно исполинские, парящие над бездной скаты, завиднелись теперь фирновые бассейны и глетчеры, а небо над льдистыми плюмажами высочайших пиков было насыщено такой темной синью, что порой Берингу мнилось, будто на нем видны звезды.

Когда Лили спешивалась, чтобы осторожно провести мула по краю внезапно развернувшейся впереди трещины или карстовой воронки, Беринг тотчас следовал ее примеру, Вояка же, точно полководец, сидел на коне, возвышаясь над своей пехотой: привязанный между вьюками (теми самыми, что несколько дней назад были спрятаны в форте, а нынче на рассвете вновь извлечены из замаскированных тайников и приторочены к седлам), старик *ехал верхом* даже на самых опасных участках пути и молча либо рассуждая сам с собой отдавался ровному покачиванию своего последнего путешествия по Каменному Морю.

Как часто до войны он ходил этой дорогой в Бранд, а в первый военный год — на перевал, в казематы форта, где трудился на кузнечных работах, пока роковая цепочка приказов не оторвала его от дома и родной деревни и не забросила в конце концов в пустыни Северной Африки.

Хотя Вояка давным-давно забыл все, что не имело отношения к войне, — свое имя, свой дом, даже своего сына, — он бы, наверно, и теперь в одиночку, ведомый только инстинктом, отыскал эту дорогу через горы и сумел без посторонней помощи, вслепую, но безошибочно, добраться через Ледовый перевал до самого Бранда.

Но он, крепко связанный и привязанный веревками, тоже вроде как вьюк, сидел на лошади, покачивался вверх-вниз, вправо-влево, клонился к каменис-



той тропе в такт неровной поступи коняги и все же оставался в цепком плену веревок и не мог упасть, даже когда крутой скальный уступ вынуждал животное присесть на задние ноги. Он чувствовал, как незримые силы со всех сторон дергают его, тянут, хотят столкнуть в глубину, в черные провалы, что разверзались под копытами, а потом все же оказывались слева и справа от его пути.

— Я хочу сойти с лошади, — твердил он. — Хочу слезть. Идти пешком. Я упаду.

— Не упадешь, — говорил Беринг, поднимая взгляд на отца и тотчас невольно зажмуриваясь, так слепил глаза этот янтарный свет. — Не упадешь. Ты просто не можешь упасть.

Навьюченные, как горстка уцелевших, которая тащит с собой спасенный скарб погибшего каравана, шли путники в Бранд по дну высохшего моря, чьи подводные луга, ракушечные отмели, коралловые рифы и бездны задолго до начала истории человечества были подняты ввысь, к небесам, могучей силой тектонических катаклизмов и в ходе эонов преобразились в вершины и ледяные поля горной системы.

Когда дорога позволяла Берингу сесть к отцу на лошадь, старик опять бубнил ему в спину свои сумбурные воспоминания о пустыне, бесконечные, монотонные заклинания войны. Но теперь Беринг уже не запрещал ему говорить, ничего вообще не приказывал — пускай мелет языком сколько влезет, — иной раз даже прислушивался и улыбался, когда старик болтал о верблюдах. Лили молча ехала впереди.

Сияющим и мирным казалось в этот день Каменное Море, но когда Лили останавливалась и осматривала в бинокль залитое ярким солнцем безлюдье: нет ли где опасности, — Беринг видел в ее настороженной, чуткой позе всего лишь знак того, что все они, независимо друг от друга, занесли в этот мирный край что-то чужеродное, что-то непостижимое, зародыш зла, которое всегда вырывалось на волю там, где люди были наедине с собой и себе подобными.

Спустя четыре с лишним часа после отъезда с перевала — они как раз довольно бодро, вплотную друг за другом, рысили по длинным обомшелым террасам, зелеными полосами прочерчивавшим белые известняки, — Лили так внезапно и резко осадил мула, что он, фыркнув, стал на дыбы. Берингова лошадь, напивавшая сзади, мотнула головой в сторону и лишь с большим трудом избежала столкновения.

Мишистые террасы вели в глубь карстового поля, о котором Лили рассказывала прошлой ночью у костра. Привинченная к утесу железная доска с почти неразборчивой от ржавчины надписью напоминала, что в этих бездонных провалах Армия похоронила останки беженцев, застигнутых снегопадом и замерзших здесь в последние недели войны...

Но причиной внезапной остановки были не эти зияющие, навеки открытые могилы, а совсем другое: бросив взгляд в укрытую от ветра ложбину на краю карстового поля, Лили заметила там, всего метрах в тридцати, две скрюченные фигуры. Бритоголовые!

Похоже, они пытались развести костер.

— Здесь я их никогда еще не встречала, — сказала Лили так тихо, что Беринг не разобрал ни слова. Он тоже заметил этих двоих, когда лошадь резко посторонилась, и предостерегающе ткнул локтем бормочущего отца. Но старик не понял тычка, не увидел чужаков и принялся громко бранить Беринга; умолк он лишь после того, как Лили шепнула ему волшебное слово, смысл которого любой вояка разумел хотя бы и в величайшем смятении: *Враги!*

Старик разом выпрямился и замер на влажной от пота спине лошади, как и передний седок, за которого он по-прежнему крепко цеплялся. Но отступить незамеченными было уже невозможно — опоздали. Бритоголовые обернулись к ним в ту самую минуту, когда Лили шепотом дала им название.

*Враги.* Они еще ни разу не виделись — и все же узнают друг друга. Не сводят друг с друга глаз. Хватаются за оружие, как утопающий за соломинку:

Лили — за винтовку, бритоголовые — за топор, за камень для пращи, за дубинку, на конце которой поблескивает лезвие серпа.

Только привязанный к вьюкам Вояка сидит на лошади с пустыми руками. Теперь, в первый и последний раз в жизни, он офицер, полковник, генерал! Ему оружие не требуется, он лишь расцепляет руки, отпуская переднего седока: *вот он-то*, седок этот, *и есть* его оружие, уже и пистолет достал.

Выхватить пистолет из-за пояса и снайперскую винтовку из маскировочного футляра (то бишь свернутого дождевика) можно без особого шума, да и подобрать с камней топор или серп — тоже, разве только легкий звон послышится.

Но какая тишина воцаряется между врагами, какая мертвая тишина, когда этот звон и шорох умолкают и между ними лежит уже одно только голое *поле боя*, каменная ложбина, поросшая мхом и продырявленная карстовыми воронками.

Тишина. И внезапно Беринг вновь как наяву слышит лязг стальной цепи, топот сапог по дощатому полу кузницы, вновь слышит хохот преследователя и видит смеющееся лицо, высвеченное вспышкой дульного пламени и гаснущее затем во мраке лестницы.

Сейчас перед ним снова враг, и он медленно, однако без колебаний наводит на него пистолет. На сей раз враг не хохочет и находится не так близко, как в ту апрельскую ночь, так близко он никогда больше врага к себе не подпустит... И в остальном все тоже совсем иначе, не как тогда, на Кузнечном холме.

Ибо то, что Беринг против солнца различает лишь постепенно, по мере того как проходит ослепление, вызывает у него не ужас, а ярость. И эта ярость понуждает его не бежать, не обороняться, а нападать.

*Сволочи!* Один из бритоголовых смахивает на птицу, он весь будто в белокоричневом оперении. На плечах у него болтаются связанные куры — живые куры, связанные в длинный трепещущий шарф! Связанные лапы, связанные крылья, болтаются они на плечах «кожаного», и клювы у них, наверно, тоже связаны, потому что птицы молчат: так воры тащат свою добычу, так в многодневных переходах по безлюдью сохраняют мясо свежим до самого забоя. Куриные воры!

Быть может, где-то на дальних выселках высоко над озером из-за этих кур убили хutorянина, и лежит он там который уж день возле покосившегося от ветра пустого курятника. На мгновение Берингу вспоминается кузнечиха, ее мягкий голос, когда она выходила к воротам и скликала из «железного сада» кур, на кормежку... Но потом он видит уже одних только связанных кур. И это зрелище приводит его в бешеную ярость.

Он словно чувствует эти пути на себе, чувствует, как с каждым покачиванием собственная его тяжесть заставляет тонкие веревки врезаться в плоть, а крыльями не взмахнешь и тяжесть не уменьшишь. Крылья связаны или переломаны, клювы тоже связаны. Он чувствует и крик, который не может вырваться из насильно закрытого горла и отбивается внутрь, в легкие, в сердце, и там раскалывается, мучительно и неслышно. Птицы с кляпами!

В синеватых от татуировки физиономиях этих врагов он видит теперь то самое единственное, потухшее апрельской ночью лицо, а в курах — спутников, близких знакомцев своего первого, парящего года во тьме. *Эти* куры унимали его тогда. Теперь они безмолвны. Их вопрошающие, квочущие голоса утешали его, и провожали в сновидения, и оставались все эти годы так же близки ему, как собственный голос.

*Сволочи!* Теперь и второй бритоголовый поднимает с земли связку перьев и лап — она размером поменьше, кур только четыре, — перекидывает ее через плечо и... отворачивается. Решил удрать? А потом, грузнее и медленнее от большего пернатого груза, обращается в бегство и его дружок.

Эти бритоголовые подонки удирают!

И тут Беринг опять слышит смех — хихиканье. Это Лили. Она положила винтовку перед собой на луку седла, как балансир, и хихикает, и со смехом машет рукой вслед беглецам. Она давно поняла, что эти двое подобрали оружие не для драки, а для бегства и что в здешнем безлюдье они вдвоем, без численного перевеса банды. Вероятно, они даже не разведчики — разведчики не обременяют себя добычей, — а так, одиночки, изгои, нарушившие устав какой-то шайки убийц. При неожиданном появлении всадников они, похоже, первым делом углядели тусклый блеск винтовки, а по былым столкновениям с Армией наверняка знают, что единственный выигрыш, возможный для них в теперешней ситуации, — это собственная жизнь. Ради этой жизни они и бегут. И как бегут! Куры пляшут у них на плечах и на спинах, бьются о черную расстрекскавшуюся кожу. Потерянные пушинки порхают в янтарном воздухе.

В смехе Лили нет торжества, только облегчение. Хотя предупредительного выстрела не было, она видит: тут действуют тот же страх и те же толкающие к бегству силы, какие она наблюдала лишь в своих охотничьих экспедициях, в оптический прицел, — и только после смертельного выстрела.

И вот в этот дивный миг победы, достигнутой играючи, без малейшего усилия, винтовка выскальзывает у Лили из рук, она даже не успевает вцепиться в ствол — оружия нет. Она так увлеченно следила за беглецами — смешно ведь, ковыляют под своим грузом, точно несущки! — что не заметила, как Беринг, обуреваемый яростью, которой она тоже не заметила, прыгнул с лошади.

Беринг намеревается... он никак не *может* дать похитителям кур уйти. Однажды от него уже сбежал во тьму такой вот бритоголовый, морда с разинутым ртом, которая после являлась ему по ночам. Он хочет навсегда погасить, стереть это видение. Хочет увидеть, как куры захлопают крыльями, хочет услышать их голоса, а видит, как шаг за шагом увеличивается расстояние между ним и его врагами, и понимает, что пистолет не сумеет донести до цели его ненависть.

Чтобы погасить, стереть эту морду, нужна винтовка. Лилина винтовка.

Два прыжка — и он возле ее мула, без слов хватает винтовку, рвет к себе и вот уже следит в прицел за беглецами, меж тем как Лили опускает руку, схватившую пустоту.

Лили опускает руку. Недвижно сидит в седле. Верить ли тому, что видят ее глаза? Беринг подбегает к каменной глыбе, к выступу скалы, к обомшелой опоре для винтовки, опускается на колени, устраивает ствол на моховой подстилке и берет бритоголовых на мушку. Он решительно и неколебимо готов к убийству, ведь именно так лежит в засаде *она сама* во время своих охотничьих экспедиций. Этот стрелок — она, *она сама*. И целится он в удирающих похитителей из *ее* винтовки.

Лили хорошо знакома дрожащая картинка, которую стрелок наблюдает в линзах оптического прицела. Так и кажется, будто Беринг видит в этих линзах только картины из ее памяти, *ее* тайну, воспоминания о неосмотрительном, смешном ковылянье жертвы, не подозревающей о стигме перекрестья прицела, которой отмечен его лоб, грудь, спина. Вон там, точнехонько на линии выстрела, улепетывает обвешанный курами бритоголовый и воображает, что уже почти спасен, почти в безопасности, а между тем попросту бежит в белом колесе, которое крутится лишь навстречу смерти.

Лили больше не в силах смотреть на все это. *Ты что, с ума сошел?* — хочет она крикнуть стрелку. *Они же совсем безобидные, они же удирают, бегут прочь, оставь их, пусть бегут!* Но и силы ее, и голос — в плену у этого двойника-охотника, ее собственного двойника. И двойник этот глух и слеп ко всему, что не относится к убийству.

Охотник? Это не охотник. Это душегуб, убийца, не лучше своих татуированных врагов, в которых он сейчас

стреляет.

Гром вырывает Лили из оцепенения. Эхом давних выстрелов, произведенных ею самой месяца и годы назад, возвращается с гор этот ужасный гром.

Лили зажимает уши и все равно слышит не только быструю очередь выстрелов, но и металлические щелчки подающего механизма, а потом даже высокий, чуть ли не веселый звон, с каким стреляные гильзы разлетаются по камням. Шум убийства проникает сквозь прижатые к ушам ладони. Теперь и Лили спрыгивает с мула.

Беринг никогда еще не держал в руках такого оружия, и все же действия его так уверенны, будто это и не винтовка, а какой-то давно знакомый кузнечный инструмент или рычаг управления одной из развалюх в «железном саду»: он стреляет, рычаг подачи под его рукой так и ходит туда-сюда, летят наземь стреляные гильзы, а палец уже опять на спуске. Он стреляет. Досылает патрон. Стреляет.

Стаккато выстрелов трещит в ушах, рвет слух пронзительной болью, по ту сторону которой наступает глухота, где нет больше ни голосов, ни боли, ни звуков, один лишь нескончаемый, напевный гул в недрах мозга.

Беринг отстреливает пять патронов, и стреляет не только по своим врагам, но и — с куда большей ненавистью — по темному, пляшущему пятну, по дыре в своем мире, в которой уже почти исчезли его все уменьшающиеся мишени.

Первая пуля бьет в камень. Куриные воры, теперь уже в панике, мчатся дальше. Два следующих выстрела тоже лишь вышибают фонтанчики осколков известняка и перламутра на пути их бегства.

Только после четвертого выстрела — или после пятого? Они прозвучали почти одновременно, поэтому невозможно сказать, который из них попал в цель, — один из беглецов, тот, чей пернатый груз тяжелее, вскидывает руки вверх, словно решил взлететь.

Но он не взлетает. Он падает. Падает в туче перьев и пуха, широко раскинутые, трепещущие руки ударяются о камни.

Беринг совсем близко к своей жертве, он неотрывно глядит в прицел, а видит — *Амбраса*. Второй враг молча, в смертном страхе бежит все дальше, скрывается в глухомани, Беринг же думает об Амбрасе. Будь Амбрас на месте упавшего, сумел бы он поднять руки так же высоко над головой? Освободил бы его этот выстрел от увечья? Освободил бы навсегда?

Теперь, наконец сразив свою жертву, Телохранитель думает о хозяине. О врагах он больше не думает. Потому что теперь рядом с ним Лили. Она хватается за волосы, вырывает за волосы из глухоты, выбивает винтовку у него из рук и кричит: *Прекрати, прекрати, мерзавец, прекрати немедленно!*

Негодующий этот крик, который ничего уже не остановит и не спасет, — последнее, что слышит в своем мире сраженный, наверно думая, что вся ярость крика адресована ему, ему одному, ведь пока на него дождем сыплотся взметенные выстрелом пушинки, пока стекленеют глаза, чтобы навсегда остаться открытыми, он медленно, бесконечно медленно обращает лицо, взгляд к этой далекой кричащей женщине.

Но ни женщина, ни стрелок рядом с нею, прикрытый скальным выступом и незримый для сраженного, не видят его невероятного усилия. Они видят только друг друга. Не сводят друг с друга глаз. Ненавидят друг друга. В этот миг они расстаются навсегда, вот так же, как он, бритоголовый, куриный вор, умирающий птичечеловек, расстается сейчас с ними и со всем на свете.

## 26. Свет Нагои

Огни, несчетные огни: лучи прожекторов, что скользят мимо друг друга и перекрещиваются; пальцы света, протянутые в ночь, тонущие в ней и опять, в другом уже месте, возникающие из мрака. Красные сигнальные огни. Мигалки. Строки, глыбы, трепетные узоры освещенных окон; тучи искр! Пронизанные светом башни и дворцы — или это многоэтажные дома? Казармы? Вы-

кройки из света: растянутые в бесконечность светящиеся трассы ночных улиц и проспектов; расшитые искрами посадочные полосы, спиральные туманности. Огни текучие, огни скачущие, мерцающие, мягкие, теплые и ослепительно голубые; витые огненные гирлянды и огни, тихо и едва приметно пульсирующие, как звезды — сверкающие сквозь термические вихри и течения звезды этой летней ночи.

Первое, что увидели на равнине направлявшиеся в Бранд путники, был световой хаос. Беринг почувствовал, как злость на Лили и напряженная сторожка, с которой он целый день высматривал бритоголового беглеца или шайку, обуреваемую жаждой мести, преобразуются в облегчение, даже в восторг. Карстовое поле, всю дорогу мелькавшее перед глазами, будто лошадь бежала на месте, внезапно оказалось далеко позади, так же далеко, как Моор, как Собачий дом; так же далеко, как все то, откуда он явился. Там внизу раскинулся Бранд.

Наконец-то Бранд.

Пока они шли с карстового поля, Лили сделала один-единственный привал возле водопада, чтобы напоить мула: если бритоголовый беглец все-таки был разведчиком, тогда им *необходимо* сегодня же попасть на равнину. И они ехали, ехали до самой ночи, по голым отрогам Каменного Моря, пологим склонам холмов, затем по крутому серпантину дороги — ехали навстречу огням Бранда. Дорога была хорошая.

Они как раз добрались до безлюдного контрольного поста, миновали темное, укрепленное мешками с песком караульное помещение и открытый шлагбаум, когда из искристой глубины — сперва поодиночке, потом все стремительней и гуще — ударили вверх снопы огня, воюющие пламенные шары. Лилин мул шагал спокойно, подчиняясь железной хватке хозяйки, но лошадь Беринга едва не понесла: словно защита для нее была лишь там, где мул ставил свои копыта, она бросилась вперед, к всаднице.

— Там что, бой?.. — сказал Беринг как бы себе самому и, успокаивая, потрепал лошадь по шее. — Значит, бой.

— Бой? — Не отрывая взгляда от огня, Лили вертела ручки транзистора. Треск и шорох помех из динамика слабее не становился. — Там не бой. Там праздник. — После стольких часов молчания ее голос был совсем другим, незнакомым.

В полном молчании — после стрельбы на карстовом поле Вояка тоже будто навсегда онемел — ехали они весь день, и весь вечер, и ночью, и в молчании добрались до горных окраин, и молчали, даже когда в устье долины внизу неожиданно распахнулась чудесная панорама равнины. Молчали, хотя волны света вздымались к ним во тьму, словно стояли они на утесах над беззвучным прибором.

— Праздник? — спросил Беринг. — Какой праздник?

Оглушительный грохот огненных снопов почти не отличался от выстрелов на карстовом поле. И *это* — шум праздника? Тогда, может, и случившееся среди карстов тоже праздник? Праздник, победа над бритоголовым похитителем кур?

Там, наверху, Лили обзывала его убийцей, сбрендившим на стрельбе кретином, для которого самое лучшее оружие — кувалда, а он молча вытащил из-за пояса нож и шнурок за шнурком, узел за узлом перерезал путы, освободил перепачканных кровью кур от их мучителя.

*Я, я убил этого подонка.*

В воспоминаниях он снова волочит, тянет, перекачивает труп к краю зияющего каменного провала и сталкивает его вниз, и не чувствует при этом ничего, кроме отвращения к большой, облепленной перьями стреляной ране на шее убитого. Какое оно тяжелое, это безжизненное тело: сначала шлепая, потом как кусок сырого дерева бьется оно в своем низвержении во мрак о каменные выступы, о стены провала и, уже незримое, все равно посылает отвратительный шум своего падения наверх, в этот мир. *Я победил этого подонка.*

А после, когда освобожденные птицы с переломанными крыльями и изодранными лапамиковыляют прочь, в карст, словно копируя бегство своих мучителей, он, *победитель*, ведет лошадь обратно на поле битвы; стаккато выстрелов повергло ее в панику, и вместе с привязанным отцом она кинулась прочь, чтобы где-то в каменной дали щипать с утесов лишайник и мох. Как криво и безмолвно сидит на лошади отец в своих путах, безмолвно, словно выстрелы наконец-то перебросили его обратно в реальность и на фронт, где не только шум войны, но и его собственный голос и вообще все голоса умолкли навсегда.

И когда победитель с лошадью в поводу добирается до поля битвы, он видит Лили — она стоит на краю тьмы, у бездонной могилы его врага. В руке у нее винтовка. Потом она медленно вытягивает эту руку, далеко от себя, — роняет, нет, бросает оружие в пропасть! Лязг, треск и стук слышны наверху дольше, чем падение трупа. Потом она садится на мула, а на него, Беринга, даже не оглядывается. Но он не может сразу последовать за ней. Он должен, *должен* еще раз подойти к провалу, к могиле, к каменной дыре, ведь никак нельзя оставить под открытым небом мертвую курицу, чьи крылья и грудь пробила пуля, прежде чем вошла в горло врага.

Превозмогая тошноту, он поднимает растерзанный труп и сбрасывает вслед за мертвым врагом. Все та же давняя тошнота, как раньше, когда кузничиха щипала над ведерком с кипятком зарезанную курицу. Птица беззвучно исчезает в глубине. А когда победитель наконец вскакивает на лошадь к безмолвному отцу, на поле битвы остаются лишь пушинки и перья да путаный, обрывающийся на краю провала след перемешанной крови человека и птицы, высыхающий знак на пути в бездну.

— Что они там празднуют? Что у них за праздник такой? — опять спросил Беринг — в пустоту. Лили, слегка ударив мула пятками, снова была далеко впереди.

Всю дорогу с карстового поля до огней Бранда она ехала впереди, далеко — не догонишь; порою лишь звуки радио, разрываемые шумом помех, были ему путеводным знаком в лабиринте стланика, скал и кривых, скрюченных сосен, а затем просто во мраке. Потеряв Лили из виду, он замирал и прислушивался к дебрям. И тогда принесенные ветром обрывки шлягеров, рекламных сюжетов и последних известий указывали ему дорогу. По коротким интервалам между выпусками новостей и возбужденным голосам дикторов он решил, что новость, которая стараниями коротко- и средневолновых радиостанций врывается в самую тишину Каменного Моря, касается не иначе как сенсации или катастрофы. Дважды он попытался нагнать Лили, приблизиться к этим возбужденным голосам. Но Лили держала дистанцию.

*Japan... victory in the Pacific... theater of war on the Honshu island... impenetrable cloud of dust hides Nagoya after single bomb strikes... nuclear warhead... flash is seen hundred and seventy miles away from Nagoya... Japanese emperor aboard the battleship USS Missouri... unconditional surrender... smoke seethes forty thousand feet...<sup>1</sup>*

Нагоя. Хонсю. Война в Японии... На таком расстоянии Беринг скорее угадывал содержание новостей, чем понимал, да и угадывал не больно-то много: речь, похоже, опять шла о той азиатской войне, ужасы которой вперемежку с картинами других войн и других боев в неведомом далеке мелькали на телеэкранах моорского и хагского секретариатов, еще когда он был школьником. Телевизор в разворванной библиотеке виллы «Флора», так часто освещавший одних только спящих собак, часами передавал в ночь военные картины. Война в джунглях. Война в горах. Война в бамбуковом лесу и война в паковых льдах. Войны в пустыне. Забытые войны. Война в Японии; одна из многих: ведь все

<sup>1</sup> Япония... победа на Тихом океане... театр военных действий на острове Хонсю... непроницаемая пылевая туча скрывает Нагою после взрыва одной-единственной бомбы... ядерная боеголовка... вспышка была видна на расстоянии 170 миль от Нагои... На борту американского линкора «Миссури» японский император... безоговорочную капитуляцию... клубы дыма достигли высоты 40 000 футов... (англ.)

эти фронтовые сводки неизменно кончались напоминаниями о благах Ораниенбургского мира, каковых побежденные сподобились благодаря доброте и мудрости великого Линдона Портера Стелламура. Нет, такие сводки и заявления никого в Мооре уже не трогали. Отчего же Лили который час подряд слушает эту армейскую трепотню?

*...harnessing of the basic power of the universe... atomic bomb... бубнил голос диктора... the force from which the sun draws its powers has been loosed against those who brought war to the Far East... surrender... unconditional surrender...<sup>2</sup>*

Но Беринг и в третьем мирном десятилетии мало что понимал на языке победителей, так, несколько команд да отдельные слова и фразы из песен армейских ансамблей, вот и ехал в полном восторге под сенью огненных букетов фейерверка навстречу ярко освещенному, лучезарному Бранду и знать не знал, что в те дни, когда он путешествовал по Каменному Морю, на острове под названием Хонсю погиб целый мир.

*Нагоя.* Один на один с кошмаром, который в последних известиях носил это имя, Лили далеко опережала своих спутников: каждому тайфуну свое имя, захлебываясь голос транзистора, Нагоя станет отныне именем величайшего огненного урагана в истории войн. Японский император покинул дворец и в сопровождении своих разбитых генералов прибыл на борт американского линкора «Миссури». Там он долго и молча кланялся, а затем подписал безоговорочную капитуляцию. После двадцати с лишним лет войны — безоговорочная капитуляция!

По стальному мосту, который был ярко освещен высокими, как мачты, фонарями, мул поспешал к первым домам Бранда; помехи в эфире вдруг исчезли, и Лили убавила громкость. Между сообщениями о японской капитуляции и отрывками из лающих речей армейские радиостанции передавали не только марши и гимны, но чаще всего, уже много часов кряду, новомодный шлягер: *Lay that pistol down, babe, lay that pistol down...<sup>3</sup>*

За мостом высились складские постройки, опоясанные бегучими строчками разноцветных неоновых надписей, а перед ними — длинные ряды грузовиков. Лили остановила мула возле огромной машины, груженной катушками с кабелем, и впервые за долгое время оглянулась — посмотреть, где ее спутники. Они были далеко, еще на том берегу реки, которая черным потоком шумела под огнями моста. Беринг видел, что Лили остановилась, и помахал рукой. Она никак не ответила, но ждала. Теперь наконец-то ждала его.

Машины! *Trucks!* Никогда еще Беринг не видел такого множества грузовиков. Словно эта поблескивающая вереница огромных грузовиков, самосвалов и седельных тягачей выстроилась возле складов исключительно в честь его прибытия на равнину; он проехал по мосту к автостоянке, борясь с искушением спешиться и как следует рассмотреть каждый автомобиль.

Отец отнесся к автомобилям так же равнодушно, как к фейерверку и празднику, шум которого долетал до самой реки. В световом зареве по ту сторону складов теперь отчетливо слышалась маршевая музыка; какой-то трассирующий снаряд с воем взмыл над гофрированными железными крышами, но старик ни о чем не спрашивал, вообще не говорил ни слова и уже не держался за сына, просто сидел на лошади опустив руки, усталый, бесконечно усталый всадник. Лишь один раз он поднял голову, когда на фоне праздничного шума вдруг оглушительно лязгнуло железо: грохнув сцепками, тронулись с места вагоны, звякнули стрелки, взвизгнули тормозные башмаки. А потом, будто видение забытых времен, мимо складов пропыхтел локомотив и так быстро исчез во мраке, что даже у Беринга на мгновение мелькнула мысль: неужто обман зрения? Но ведь сомневаться не приходилось. Между складами

<sup>2</sup> ...используя первозданную силу Вселенной... атомная бомба... сила, из которой солнце черпает свою мощь, выпущена на свободу против тех, кто принес войну на Дальний Восток... капитуляция... безоговорочная капитуляция... (англ.)

<sup>3</sup> Детка, брось пистолет... (англ.)

бежали блестящие рельсы. За этими бараками находился Брандский вокзал. Поезда шли из Бранда в широкий мир.

Лили только небрежно кивнула, когда Беринг спросил: *железная дорога?* — спросил как человек, который учится выговаривать новое слово. Она жестом показала во тьму, где исчез локомотив: *вперед, вниз по склону, потом через насыпь...* Она знала короткий путь между запасными путями и централизованными постами, ведущий к центру города, к казармам, к *Большому лазарету*. Хотя в ее голосе уже не чувствовалось той ненависти и презрения, какие она выплеснула на Беринга среди карстов, теперь она только отдавала распоряжения, приказывала: *Вперед. Стой. Дальше...*

Прежде чем всадники рискнули выбраться с безлюдной привокзальной территории в ликующий Бранд, Лили позволила Беринговой лошади подойти совсем близко к мулу: *Стой*. Там, впереди, под этой вот погрузочной платформой, Беринг должен оставить свое оружие. Там, под присыпанной угольной пылью чугунной крышкой, был тайник, которым она не раз пользовалась именно с такой целью. Если военный патруль обнаружит у гражданского оружие, не помогут ни пропуск, выданный моорским секретариатом, ни охранная грамота Собачьего Короля. Бранд — это не Моор. В Бранде королей нет. В Бранде властвовала Армия. И стены тут имели глаза.

И *это* оружие выкинуть? Похоронить в грязной дыре под железнодорожной насыпью бесценный пистолет майора Эллиота, пистолет Собачьего Короля, *его* пистолет? Нет, на это Телохранитель не согласен. Пусть даже Лили навек его возненавидит, а Собачий Король вышвырнет на улицу, пусть защищать и спасать будет нечего, кроме собственной шкуры, он больше никогда, никогда не отдаст себя на произвол этого мира безоружным. Он хорошо прятал свое оружие. Оно было секретом его силы, его превосходства: он мог атаковать, а не просто бежать, не просто обороняться. Он мог ранить. Мог парализовать. Мог убить. Нет, *он* поедет при оружии и в Большой лазарет, и даже в главный армейский штаб. Да и какой военный патруль вздумает в такую ночь цепляться к ездоку на крестьянской коняге, с кучей узлов и вдобавок со стариком, устало поникшим за спиной? Бранд ликует, празднует. А таких убогих ездовиков вообще много.

*Много?* Лили небрежно махнула рукой назад, на рельсы и автостоянку. Верховых много лишь там, где нет железных дорог, шоссе, автомобилей. Бранд — это не Моор... Беринг, стало быть, не желает ни на день расстаться со своим оружием? Ладно. *Едем дальше*. Ее дело — предупредить.

К Большому лазарету они ехали словно через торжествующий победу военный лагерь. В котлах походных кухонь, вокруг которых толпились гражданские и солдаты, дымились острые, пряные супы и пунш. В толчее говорили даже, что у главных ворот Казармы имени Стелламура раздают легкое баночное пиво.

На этих площадях, на этих улицах каждый был победителем. Иные из них предлагали моорским ездокам стаканчик шнапса или пунша, а когда Лили отвергала их приглашения, выкрикивали им вслед шутки и пили за здоровье бедняги мула, которому приходится везти такую цацу. *Дальше*. Беринг понимал, что эти крикуны оскорбляют Лили, но не делал ничего такого, что обязательно сделал бы в Мооре, случись там подобная ситуация. Он не вступался за Лили. Не грозил крикунам. Проезжал мимо, как будто всего-навсего следовал за какой-то чужой женщиной, которая знает город и показывает ему дорогу.

В суматохе этого народного праздника человек с оружием, пожалуй, остался бы незамеченным, даже если бы прятал свой пистолет не так тщательно, как Телохранитель Собачьего Короля. Лили ошиблась: здесь *были* и другие всадники. Не только конная армейская полиция, перед которой толпа расступалась, не переставая при этом пить, разговаривать и смеяться, но еще и целая кавалькада — караван! — и лошади, ослы и мулы у них нагружены ничуть не меньше, чем у приезжих из Моора. Беженцы, что ли?



Среди городского блеска Беринг быстро потерял этот караван из виду. *Бранд* — это было стремительное мелькание картин: хотя фейерверк погас и только одиночные ракеты взлетали над крышами, все улицы, дома и площади оставались ярко освещены. Продолжали свой бег неоновые надписи, качались над перекрестками светофоры, мигали цветными огнями над толчеей, в которой дрейфовали украшенные флажками джипы и лимузины — гудящие катера в медлительном потоке голов, плеч, лиц. А высокие фонари на проспекте освещали даже кроны деревьев, где одни спящие птицы, только свет зря пропадает. Везде и всюду электрический свет!

Бранд так безоглядно растрчивал свой свет, что от него словно бы даже пятна и дыры в Беринговом взгляде посветлели и превратились просто в замутнения, отливающие из темного в серый и по краям уже прозрачные. В Бранде бензоколонка и та сияла будто храм, и все богатство и изобилие равнины было выставлено в витринах или в лучах прожекторов: тут — освещенный фонтан, брызжущий искрами водомет; там — рассеченный неоновыми штрихами фасад и усыпанные мигалками антенные мачты... А в огромной, как театральная сцена, витрине какого-то универсального магазина, среди пирамид дотоле невиданных фруктов, манекенов в блестящих пижамах, разноцветной обуви, коробок с конфетами и посеребренной арматуры, из хаоса предлагаемых товаров выростала стена света, мерцающий бастион сплошных телеэкранов! Стена светящихся картин.

*Едем!*

Нет уж, сейчас Беринг *не мог* не остановиться. Подтолкнул отца. *Гляди*. Но старик слишком устал. Даже головы не поднял. Не слышал его.

*Гляди*. На всех экранах этой стены — их насчитывалось больше трех десятков — был праздничный город: все дома во флагах. Улицы и переулки украшены лампами. Пагоды. Сады. Деревянные храмы. Потом — люди у конвейеров. Люди в огромных цехах. Фабрики. Порт — краны, элеваторы, маяк, военные корабли, волнорезы. Гребни прибоа.

Из целой батареи динамиков у края витрины тархтел все тот же голос, что слышался из Лилина транзистора; гремел над головами шумящей публики, которая мало-помалу собиралась у витрины, привлеченная болтовней диктора и картинками.

*Едем.*

И вдруг праздничный город и порт исчезли под солнцем, которое взошло и тотчас опять утонуло в облачном столбе, утонуло в исполинском грибе, что стремительно выростал из недр земли к небу, разодрал это небо и, казалось, вздымался уже в черноте космоса... Стена потемнела, а когда замерцала вновь, на ней возникло пылающее море, обугленное побережье: тлеющие пни деревьев — и никаких развалин, только фундаментные стены, фундаменты до самого горизонта. Черные руки кранов, отломанные лопасти ветряка или турбины, металлическая статуя — не то божество, не то полководец, — оплавленная, растекшаяся, чуть не наполовину превратившаяся в черную окалину. Людей нет. Нигде.

А потом, под аплодисменты зрителей возле витрины, которым эти картинки не иначе как были давно знакомы, по корабельному трапу поднялся на борт маленький сутулый человек в черном фраке; окруженный военными в орденах, он сел за ломберный столик и что-то написал в какой-то книге. Публика улюлюкала. Потом сутулый человечек во фраке погас, и под звуки американского гимна еще раз вспыхнул свет Нагой — молния, обернувшаяся звездой, которая, стремительно разгораясь, превратилась в слепяще-белую нвовую и на максимуме блеска застыла в стоп-кадре.

Едем! Беринг еле-еле оторвался от этого света, который пронизал и осиял даже дыры в его взгляде. Как бывало в кузнице, он словно бы вперился в электрическую дугу сварочного аппарата, в ярчайшее, мучительное сверкание, и даже сквозь сомкнутые веки мог различить контуры какой-нибудь детали

или собственной руки. Лишь когда образ взрывающегося солнца стал попросту фоном, кулисой для диктора в военной форме, читавшего новости на языке победителей, Беринг отвернулся, поискал глазами Лили и увидел ее далеко впереди, почти в самом конце улицы, перед освещенной аркой, над которой горел красный неоновый крест. Большой лазарет. Они были у цели.

Толпа возле витрины начала расходиться. Диктор зачитывал имена и цифры, в Бранде явно уже всем известные. Энергия бомбы в *мегатоннах*. Приблизительное число убитых. Количество домов, разлетевшихся в пыль. Температуры обугленной земли... Совершенно ничего нового.

Один только он, направляясь к красному неоновому кресту и уже оставив позади мерцающую стену в витрине, пребывал в неведении, но все же медленно, мало-помалу начал соображать, а когда лошадь в толчее чуть не налетела на продавца лотерейных билетов, наклонился к нему с седла и спросил про слепящий свет, и про город, и про имена, которые и выговорить-то сумел с большим трудом.

*На...го...я?* Лотерейщик не собирался тратить время на какого-то цыгана, скотника, конюха или как его там, да и вопросов его толком не понимал. На-го-я? Кто ж ее не знает? В какой дыре он намерен торчал? Или оглох напрочь? И ослеп? Бомба. Третьего дня. Император. Капитуляция!

Лотерейщик бросал незнайке на лошади обрывки устарелых новостей, вроде как лозунги, и захохотал, видя, что всадник все еще не понимает:

— Ты чего, с луны свалился? Мир, парень, мир! Они всех разбили. Это — мир с Японией. Они победили!

## 27. Болезнь Китахары

*Волчья пора.* В Мооре эти послеполуночные часы называли волчьей порой... Надо же, теперь — и вспомнить Моор.

Лили не было. Она спала где-то в этих домах. Лежала в темноте за каким-то из этих окон. Одна. Или в объятиях незнакомца. Он не знает.

И отца не было. Отец лежал как бы похороненный под армейскими одеялами в начале длинного ряда стальных коек, в одном из барakov Большого лазарета. Это он знает. Сам видел. Сам оставил старика в огромной пустой палате. Под этими одеялами.

А мул? Лошадь? Лили и лошадь забрала с собой. Где она, эта лошадь, которая несла его через Каменное Море на равнину и согревала своим большим телом? В конюшне? В сарае? Есть ли в Бранде вообще конюшни, при таком-то количестве машин?

Уже далеко за полночь, среди праздника, в суматошной толпе, которая толкала его, и увлекала за собой, и успокоилась лишь к утру, Беринг сообразил, что остался в одиночестве. Он куда-то плыл в этой толчее, допивал из кем-то забытых стаканов шнапс и холодный пунш, доедал, опережая бродячих собак, мясо с картонных тарелок, сидел среди пьяных на складной лавке у импровизированной эстрады, ненадолго заснул сидя, резко проснулся, и опять плыл в людском потоке, и все время норовил держаться поближе к джипам, грузовикам и лимузинам, припаркованным прямо на улице, без охраны: машины, машины у каждого дома. Да, он был на равнине. Добрался-таки. *Был* в Бранде, поздней ночью, в окружении людей, голосов, света, музыки. Но — один.

Как называется то, что он чувствовал теперь, наконец-то достигнув цели? *Тоска*? В таком случае, он тосковал теперь по черному берегу озера. По тишине в ночной вилле «Флора» и по горячим телам собак, которые так часто жалась к нему в вольчьему пору. Амбрас, поди, сидит сейчас на веранде в своем плетеном кресле? Здесь ночь дышала мягким летним теплом. А там, наверху?

Порой праздник выплевывал его. Тогда он, словно попрошайка, съездившись сидел возле какой-то фабричной проходной, старался расшифровать автобусное расписание в стеклянном убежище остановки, забредал из тупиков

куда-то на задворки, с любопытством копался в мусорных баках, пока не распахивалось какое-нибудь окно и опасливый голос не гнал его прочь, на улицу, в сияние искусственного света.

У подъезда какого-то *кинодворца*, из вентиляционных шахт которого доносились музыка и драматические голоса, он споткнулся от усталости, упал и, блаженно растянувшись на истоптанном газоне, подумал, что надо бы все же вернуться в Большой лазарет и воспользоваться любезностью вахтера, предложившего ему там ночлег.

*Любой топчан в четвертом блоке. Любой. В четвертом блоке. Седьмой барак, четвертый блок. Он пока что пустует.*

Вахтер, бывший горняк из Ляйса, передал пропуска в стеклянное окошко, похлопал Беринга по плечу и словоохотливо рассказал, как много лет назад удрал из Ляйса и устроился на работу при Армии, а потом стал расспрашивать Беринга о Мооре и о каком-то рыбаке, которого тот не знал, и говорил не закрывая рта, сыпал вопросами и вскользь обронил, что *четвертый блок* предназначен для эвакуированных из Моора, ага, там-то моорских и разместят, когда Армия развернет в приозерье учебный полигон. Сержант — он сидел у письменного стола за стеклянной перегородкой проходной и поздоровался с Лили как с давней знакомой — поставил на их пропуска печать и в конце концов прищипнул на говоруна, пролаяв приказ, который Беринг понял как *заткни писть*.

*Четвертый блок.* Нет, в эти пустые бараки его даже самая невероятная усталость не загонит. Он что, бродяга, который поневоле выпрашивает у Армии одеяло да тарелку супа? Остатки водки из картонных стаканчиков согревали его. И пунш согревал. Он — телохранитель Собачьего Короля. Он — охранник человека, который наводит ужас на весь Моор; нет, он — *причина* этого ужаса.

— «Не бойтесь». — Он заплетающимся языком изрек фразу из кузнечихинской Библии и нащупал спрятанный под курткой пистолет. *Не бойтесь.* Нет, до утра он в Большой лазарет точно не вернется. Четвертый блок. Он все ж таки на равнине. В сердце всей роскоши. Чего он забыл в каком-то лазарете? В казарме. Лучше уж спать на сырой траве, пропитанной разлитым пивом и вином, слушать голоса из черных шахт вентиляции и чувствовать, как тебя обнюхивают чужие собаки.

Он закрыл глаза, но тотчас же опять открыл, потому что стоило опустить веки — и весь исчезающий из виду мир закружился вокруг него. Он был пьян. Тьма вертелась вокруг таким бешеным вихрем, что ему стало плохо.

— Смирно! — передразнил он голос, слышанный где-то во дворах Большого лазарета, быстро открыл глаза и так усиленно сосредоточился на собственном языке, чтобы он не заплетался, что губы от этого стали совсем узкими, не рот, а клюв: — Внимание! Глаза-а о-от-крыть!

Он хихикнул. Лежал на влажной земле и от изнеможения даже заснуть не мог. Но когда коловращение мира и дурнота отступили, внезапно опять, как судорога, навалилась ярость, которая завладела им тогда, у проходной лазарета, и снова погнала в ночь.

Четвертый блок! Может, в этом блоке стоят красивые равнинные гостиницы, о которых мечтали моорские, раскапывая руины «Бельвию» в поисках глазурированных изразцов и других еще пригодных стройматериалов? В этом полном огней городе он на каждом шагу натыкался на новшества, о которых эти болваны в Мооре и Хааге понятия не имели. Лили! Лили, конечно. Она все знала. Сдала двух полуслепых придурков в Большой лазарет и отбыла в какой-то из этих многоэтажных домов, сияющих будто маяки, — и ведь каждый из них проливал в ночь куда больше света, чем весь Моор.

Лили. Может, она ночевала в четвертом блоке? Как быстро она исчезла из проходной. *Завтра утром вернусь.* Лили. Она все это знала. Всегда знала, что вся эта дерьмовая болтовня об искуплении, осознании и памяти — огромная ложь. *Никогда не забудем. На наших полях произрастает грядущее.* Все ложь.

Автомобили, рельсы, взлетные полосы! Линии высокого напряжения, универсальные магазины! Мусорные баки, полные деликатесов, целые котлы пунша — и столько мяса, что на нем уличные кабысдохи и те отжирались: это было *искупление*, это была кара, которую великий мироносец назначил равнине? Это была кара? Да? Дерьмо чертово.

Что же, на равнине не было барачных лагерей? Не было известковых карьеров, забитых трупами? А Бранд, и Халль, и Большая Вена, и всякие другие так называемые *зоны восстановления* на карте в моорском секретариате не посылали солдат на войну против Стелламура и его союзников? Может, вся армия стелламуровских врагов только и состояла что из обитателей десятка продуваемых ветром деревушек в глуши высокогорья, может, только в тамошней глухомани и верили в *окончательную победу*, верили до тех пор, пока эта армия не была втоптана в землю?

Тогда, пожалуй, вполне справедливо, что Моор и приозерье все еще *искупают свою вину*, теперь, через два с половиной десятилетия после войны, все еще искупают вину, меж тем как на равнине устраивают фейерверки и в каждом переулке стоят вереницы лимузинов?

Всё для памятников, всё для поминальных домов и мемориальных досок! — ведь именно так твердили, когда отправляли из моорской каменоломни на равнину исполинские глыбы гранита, в те времена, когда этот гранит еще был безупречно плотным, а не хрупким и пронизанным трещиноватыми жилами. Всё для мира. Всё для великого дела памяти... Дерьмо.

Где же эти мемориальные доски? Памятники? Надписи? Здесь полно кичливых фасадов, на веки вечные одетых до блеска отполированным гранитом, но это уж никак не *Храмы памяти*, которые превозносил по праздникам в своих речах моорский секретарь, — и там внутри не было ни горящих свечей, ни факелов, ни каменных глыб с выбитыми на них именами, ни мемориальных досок с изречениями мироносца, как в поминальных домах приозерья, там было... черт его знает, что было в этих дворцах — сейфы, товарные склады, казино, армейские бордели и прочая, и прочая.

То, что и здесь нашлась *площадь Мира* с памятником Стелламуру посреди не, в лучшем случае напоминало только, что Высокий судья в своей резиденции на острове Манхэттен день ото дня все глубже погружался в старческий маразм. *Никогда не забудем!* Этот престарелый болван сидел в инвалидном кресле, дважды в год запинаясь бубнил по бумажке речи, и притом — даже собственного имени, наверно, уже не помнил.

— Все враки! — крикнул Беринг огромному, во всю стену, плакату, на котором виднелась увеличенная до великанских размеров фигура какого-то киношного героя. — Все враки!

Пускай моорские или айзенауские кающиеся мажут свои дурацкие физиономии сажей хоть сто раз лишь потому, что какой-нибудь закабаленный Армией секретарь отвалит им за это дополнительные талоны на табак и кофе или мешок бобов, но так или иначе там еще *были* эти треклятые процессии. И пускай Великая надпись в каменоломне исчезает среди гор щебня, зарастает мхом и постепенно разваливается, но *вместе с нею* разваливаются «Грандотель», «Бельвю», «Стелла Полярис» и все эти виллы и Собачьи дома! *Разваливаются!* А не встают из руин разукрашенные неоновыми надписями и одетые полированным гранитом, как башни Бранда!

Хорошенькая справедливость: равнина искрится и сияет, как сплошной увеселительный парк, а наверху, у моорской пристани и под каменными обрывами Слепого берега, по годовщинам до сих пор поднимают черные флаги и развешивают транспаранты. *Никогда не забудем. Не убивай.* Bravo! Эти олухи из общин кающихся еще и потом часами талдычат такие заповеди и таскают на вышитых транспарантах по полям, а по фасадам Бранда рекой течет световая реклама. В Мооре стоят развалины. В Бранде — универсальные магазины.

Великий искупительный спектакль мироносца Стелламура, как видно, разыгрывается лишь там, где иных событий разыгрывается не больно-то много, а никакой выгоды не извлечешь. Многая лета Высокому судье Стелламуру!

— Пшел отсюда, кабысдох! — гаркнул Беринг и треснул кулаком по морде кудлатого терьера, который хотел облизать ему лицо. Собачонка с визгом убежала в ночь.

Где-то в этом мраке, высоко-высоко в Каменном Море, лежал Моор, усталый, утонувший в прошлом, а Бранд между тем купался в электрическом сиянии прекрасного будущего.

А будущее Моора? Скоро и Моор вспыхнет огнями — молниями дульного пламени, разрывами гранат, столбами огня... *Четвертый блок. Район цели Моор. Стратегический плацдарм Моор.* Это было будущее. Артиллерийскими снарядами — по руинам «Гранд-отеля». Ракетами — по «Бельвю». Бомбами — по водолечебнице, по метеобашне, по вилле «Флора»... Будущее Моора и всех глухих приозерных деревушек походило только на ночь той бомбежки, которая у него, работника в Собачьем доме, значилась в пропуске как дата рождения. Будущим Моора было прошлое.

*Никогда не забудем.*

Всё забудем.

Он спит, что ли?

И просто видит свое изнеможение во сне? И ярость тоже?

Беринг не пошевелился, когда по окончании последнего сеанса в кино-дворце зрители, смеясь, долго через него перешагивали. Ему снились собаки. Снилось, как стая Собачьего Короля набрасывается на жратву, которую он из вечера в вечер швырял половником в миски. Он лежал на влажной земле и как раз швырял в эти миски последнюю порцию, когда побитый терьер снова подкрался из темноты, припадая к земле, осторожно, и медленно вытянул у него из той руки, в которой был зажат половник, пластиковый пакет с объедками.

Собака чуюла, что противник крепко спит, и не убежала с добычей, а разорвала пакет рядышком с ударившим ее кулаком и жадно проглотила куски бутербродов, сардельки, соленое печенье и даже сушеные груши, подобранные Берингом с праздничных столов победителей.

Ограбленный проснулся, когда уже серел рассвет, проснулся от резкого пинка и увидел прямо перед собой черные шнурованные ботинки, а потом, высоко над этим кожаным блеском, темные на фоне светлеющего неба, — два лица, глядящие вниз, на него.

Военная полиция.

— Документы! — приказало первое лицо.

— Ты откуда? — спросило второе.

— Откуда... Я? — Пронзительная головная боль вернула Берингу память о том, где он находится. Он повернулся на бок, громко зевнул и потянулся, как собака, — и получил новый пинок в спину.

— Вставай!

Одежда у него промокла от росы. Злой, скрюченный от ночных неудобств, стоял он перед солдатами, потирая спину, и вдруг заметил обрывки пакета с едой.

— Вас что, по-прежнему плохо кормят? — Ему хотелось есть. Солдаты его не поняли.

Пропуск тоже отсырел. Патруль потребовал только пропуск. Охранная грамота Собачьего Короля их не интересовала.

Беринг разгладил письмо, сунул его в карман куртки и вдруг почувствовал холодную тяжесть пистолета.

Но солдаты потребовали только бумажку. Бродяг они не обыскивали.

Они хоть представляют себе, откуда человек приехал, если в пропуске у него значится *Моор? Место рождения: Моор.* Ведь они понятия не имеют. Он мог бы мгновенно выхватить из-под куртки пистолет и пристрелить обоих. А они и понятия не имеют.

— Из Моора?

— Из Моора, — сказал Беринг.

Тот из них, что потемнее, кивнул, вернул ему пропуск, щелкнул пальцами по своей каске и сел в джип, антенны которого пружинисто раскачивались, как удилица у тех, кто ловит на муху. А потом колеса вдавили обрывки пакета с едой глубоко в мягкую землю.

На негнувшихся ногах Беринг подошел к витринам кинодворца, где маленький фонтанчик неровными струйками плевался в металлическую раковину; там он вымыл лицо и шею, а поскольку испытывал нестерпимую жажду, еще и напился воды, на поверхности которой плавали черные листья. От гнилой жижи саднило горло, щипало глаза.

Щипало глаза.

Надо вернуться в лазарет. *Моррисон*. Вчера в проходной Лили спрашивала про какого-то Моррисона. А вахтер из Ляйса засмеялся: дескать, у *дока Моррисона* уже не один слепец прозрел. Он должен найти этого Моррисона.

По дороге Беринг заблудился. Снова и снова выходил к реке и все время видел стальную конструкцию моста, по которому вчера вечером впереди него проехала Лили, в туманной дали. Он что же, умудрился за ночь так далеко забрести? Неужто и впрямь его ночлег в затишь у огромного плаката был за тридевять земель от той больничной палаты, где он оставил своего отца? Потухший город лежал под утренним солнцем. Электрические гирлянды, местами еще горящие в кронах деревьев и на фасадах домов, на фоне этого ослепительного света казались тусклыми и бессильными. И ведь улицы, площади... весь Бранд по-прежнему кипел возбуждением.

*Победа! Катитулация!* Повсюду автомобили, легковые и грузовые. Повсюду люди: пошатываясь, ковьяют последние из вчерашних гуляк, с каменными лицами шагают на работу «ранние пташки», спешат поставщики, шоферы, чертыхаясь и отчаянно нажимая на клаксон, прокладывают себе дорогу, а главное — множество солдат. Шагают строем по улице, мчатся куда-то в открытых кузовах автомобилей, при полной боевой выкладке, а то и просто кучками слоняются по улицам — размахивающие руками, хохочущие воины после выигранного сражения... Иные прикрепили к пилоткам или к камуфляжным сеткам касок фотографии женщин, а на антенне одной из бронированных боевых машин развевался флаг, на котором красной сигнальной краской было намалевано грибовидное облако. Облако Нагои. Как «речевой пузырь» комикса, оно обрамляло короткое, выведенное детскими печатными буквами требование:

### TAKE US HOME.

Армия хотела домой. Армия Стелламура, которая десятки лет вместе с разными союзниками сражалась на великом множестве фронтов, путаной сетью пересекавших все параллели и меридианы, и побеждала, и установила здесь Ораниенбургский мир, там — Иерусалимский, Мосульский, Нячангский или Кванджуский, Денпасарский, Гаванский, Лубангский, Панамский, Сантьягский и Антананаривский; мир, повсюду мир... в Японии эта Армия даже императора поставила на колени и в знак своей непобедимости зажгла гриб в небе над Нагоей. А теперь, теперь эта Армия наконец хотела домой. *Take us home.*

При всей чудовищности адского взрыва, отсвет которого можно было видеть на телеэкранах в витрине магазина или в киножурнале «Новости недели» и даже на плакатах сэндвич-менов, пробиравшихся сквозь утреннюю толчею, — для местных жителей и для оккупантов Бранда грибовидное облако Нагои было, похоже, всего-навсего символом победы над последним врагом в этой *мировой войне*. Ну а что еще, кроме *мира* во всем мире, может прийти на смену такой войне?

Во всяком случае, человек в белом, стоявший на парковой скамейке в позе проповедника и что-то кричавший в мегафон плывущей мимо толпе слушате-

лей, снова и снова возносил хвалу долгожданному вечному миру, ведь в мирное время снова покроются цветами и травой и поля сражений, и зоны оккупации, а в конце концов и пепел Японии. *Ораниенбур! Иерусалим! Басра! Кванджу! Нячанг! Мосул!*.. — названия многочисленных перемирий и мирных соглашений звучали из его мегафона точь-в-точь как литании кающихся среди моорского камышника. Но огненный знак Нагои! — кричал проповедник. Огненный знак Нагои был восходящим солнцем *мира во всем мире*. Ведь если наконец пришло время, когда разрушительная сила одной-единственной бомбы способна принудить к капитуляции самого упорного врага, то впредь достаточно будет только пригрозить ядерным пожаром, да что там, просто напомнить о Нагое, чтобы разжать любой кулак и в зародыше придавить любую войну!

— Ура! Правильно! Виват! Да здравствует Стелламур! — гаркнул один из слушателей, обвешанный игрушками, бумажными розами и прочими стрелковыми призами минувшей праздничной ночи; в давке его толкнули, и в поисках опоры он ухватился за Беринга, буквально повиснув у него на шее. Тот в сердцах отпихнул гуляку. И так голова гудит. Беринг отвернулся от криков проповедника, но еще долго слышал за спиной имена многих и многих перемирий, пока собственные его шаги и шаги толпы не заглушили все голоса. Он шел, и мусор минувшей ночи хрустел под ногами — битые бутылки и бокалы, раздавленные картонные стаканчики. Улицы и площади были усеяны осколками. Каждый шаг словно по осколкам льда.

Когда он наконец отыскал красный крест над аркой Большого лазарета, солнце стояло высоко над крышами. Над горами на юге громоздились башни грозовых туч. В Мооре сейчас, поди, ненастье; иные собаки при первом же рыке грома прятались в темных коридорах виллы «Флора».

Неоновый крест потух, и вчерашний сержант, который этак доверительно беседовал с Лили, тоже исчез. О Лили — ни слуху ни духу. Только ляйский горняк еще сидел в проходной за раздвижным окошком. Приветственно поднял руку, с ухмылкой отсалютовал:

— Ну как праздник?

Беринг на приветствие не ответил и о минувшей ночи ни слова не пророчил, только спросил о Лили. А потом о Моррисоне.

— Эта, из Моора? Кто ж ее знает, — сказал вахтер. — А Моррисон нынче еще не появлялся. Тоже небось заплутал этой ночью. Диво ли... Они ж все...

— Когда он придет? — перебил Беринг.

— Хочешь — подожди вон там. — Вахтер показал на побеленное одноэтажное строение, утопавшее в цветущем дреке. — В бараке для слепых. Там уже другие ждут.

Незадолго до полудня пошел дождь. Теплый, шумный летний дождь, который смывал цветы с кустов дрока и первые желтые листья с клена, затенявшего арку Большого лазарета. Беринг сидел на складном деревянном стуле среди пациентов с повязками на голове, на глазах или в темных очках и сквозь зарешеченные окна *барака для слепых* смотрел на дорогу, по которой вчера вечером провожал отца в четвертый блок. Город в городе; Большой лазарет — это город в городе, так сказал вахтер, больные и раненые из трех разных зон, вдобавок еще переселенцы, столько горя, столько нищеты...

Он что, единственный гражданский в этом бараке? Иные из ожидающих тихонько переговаривались между собой на языке Армии, иные — на диалекте равнины. Все они были в одинаковых халатах, в одинаковых рубашках — больничная одежда. К нему никто не обращался. Похоже, он единственный не имел видимых повреждений глаз.

Зря он не остался ждать Моррисона в проходной с ляйским говоруном, все лучше, чем среди этих людей с большими — или пораненными? — глазами. Но дождь, за завесой которого пропала даже близкая проходная, и цепенящая сонливость не давали ему встать и выйти наружу. Да и куда идти? Куда — без Лили? Разве он лучше ориентируется в одиночку на горных тропах Каменного Моря, чем в одиночку же на улицах Бранда? Сколько времени ему

потребуется, чтобы в одиночку, пешком добраться до Моора? Моор был в другом времени. Моор был над облаками.

— Значит, это ты из Моора.

Беринг закемарил. И не видел, что дверь открылась, не слышал, как внезапно усилился шум дождя, не слышал приветственных возгласов, которыми ожидающие встретили вымокшего до нитки пришельца. Беринг был высоко-высоко, совсем один в Каменном Море.

А сейчас перед ним стоял приземистый кругленький человек в наброшенном на плечи плаще, под которым виднелась форменная тужурка.

— Моррисон? — Беринг встал.

— Кто ж еще? — отозвался человек. Он еле-еле доставал Берингу до подбородка.

— Доктор Моррисон?

— *Санитар* Моррисон. Эти вот слепцы только и величают меня *доком*. Впрочем, они как-никак смекнули, что Моррисон выполняет работу доктора... Эй, Карти, — окликнул он через плечо, не сводя глаз с Беринга, — скажи-ка господину из Моора, кто лечит твои паршивые глаза и кто тебе гарантирует, что ты лучше прежнего разглядишь свою мисс Америку?

— Сэр, док Моррисон, сэр! — засмеялся человек с широкой повязкой на обоих глазах.

— Моорская женщина нет-нет да и привезет с гор какой-нибудь сюрпризец, — сказал Моррисон, неотрывно глядя Берингу прямо в глаза; тот не выдержал и даже потупился. — Ты прикинь, Карти, на сей раз она привезла к нам моорского парня, который якобы слепнет. Моорская женщина говорит, он, мол, решил, что слепнет.

Тот, кого Моррисон называл Карти, молчал. Среди пациентов послышались смешки.

Ошеломленный Беринг стоял как истукан перед человечком в форме и оказался не способен пошевелиться, даже когда санитар внезапно подошел к нему вплотную и быстрым, уверенным движением пальцев широко раскрыл ему глаза, словно проверял зрачки у потерявшего сознание или у мертвеца.

Дуновение воздуха, холодок высыхающих слез — Берингу стало почти больно, но не успел он собраться с духом и, защищаясь, вскинуть руку или хотя бы отвернуться, как Моррисон уже оставил его в покое.

— Моорская женщина правильно говорила? Ты решил ослепнуть?.. Тогда пошли со мной.

Естественность, с какой этот приземистый, кругленький солдат ощупывал его и притом во всеуслышанье толковал о сокровеннейших вещах, вогнала Беринга в краску. Он безмолвно стоял среди пациентов, а они смотрели на него всеми глазами, которые не прятались под бинтами и не заплыли. И все-таки даже в эти минуты крайнего замешательства он испытывал и странное облегчение: как будто от одного лишь присутствия этого маленького человечка не только его потаеннейшие страхи, но и вообще любая тайна стали мелкими и безобидными; он бы не удивился и спроси его Моррисон о погребенном в скалах похитителе кур или о снах, мучивших его, когда он лежал в салонах виллы «Флора» между спящими собаками.

Этот санитар знал страх слепоты. Знал и моорские обстоятельства и о Лили говорил как о давней приятельнице... Но единственное, чем он интересовался со всюю страстью — в этом Беринг убедился нынче утром в Большом лазарете, — был человеческий глаз.

— Чего ждешь? Пошли, — нетерпеливо сказал Моррисон и, взяв своего пациента за плечо, вышел с ним в узкий коридорчик, где поблескивали мокрые следы.

Беринг не стряхнул руку санитара, точно растерянный ребенок, позволил отвести себя по коридору в комнату, больше похожую на кладовку: среди множества стеклянных шкафчиков, демонстрационных таблиц, стеклянных, все-



возможного размера, моделей глаз, среди книжных стеллажей и загадочных инструментов в ней едва нашлось место для стола и двух стульев.

— Садись.

На столе — это была лежащая на ящиках с книгами тяжелая стеклянная пластина — громоздились стопки журналов и пачки каких-то бумаг. Дождь громко стучал в единственное окно. Между горами бумаг виднелась разноцветная стеклянная модель человеческой головы; шары глазных яблок спокойно лежали в стеклянных глазницах.

— Не мешало бы, — сказал Моррисон, щелкнув стеклянную голову по лбу, — чтоб все было прозрачным. Глаза-то на что. *Глаза!* Понимаешь, это единственное в нашем организме, что позволяет сделать вывод о такой штуке, как сознание. Закрой глаза — и ты уже выглядишь трупом, и твой вид наводит лишь на мысли о мясе, бойне, развесном товаре... Сиди, сиди, мой мальчик. Посмотри-ка сюда, нет, не на карту, на таблицу, *сюда...* что ты видишь? Говори вслух, что видишь.

Если в приемном покое и в коридоре Моррисон задавал вопросы и, не дожидаясь ответа, продолжал говорить, то теперь, среди этого беспорядочного скопища медицинских приборов, муляжей и книг, он стал внимательным слушателем, который кивком сопровождал каждое слово, прочитанное Берингом на таблице: строчка за строчкой санитар, кивая, провел своего пациента сквозь строй все более мелких значков до самого конца бессмысленного текста, служащего только для проверки остроты зрения.

Беринг читал. Сперва бойко, потом все медленнее. И меж тем как мельчающие буквы расплывались у него перед глазами или тонули в провалах его взгляда, он невольно перешел от чтения к рассказу, начал описывать затемненные зоны своего поля зрения, второй раз после отъезда из Моора открыл тайну своего дырявого мира.

Моррисон кивал. И, похоже, ничему не удивлялся. Ему такие миры не в новинку. Что бы ни описывал Беринг — радужно-расплывчатый край и темную середину глазного изъяна или искривление параллельных линий на белом поле таблицы, — Моррисон кивал, иногда вставлял уточняющий вопрос или *дополнял* описание симптома, если Беринг запинался. Моррисон все знал.

Словно загипнотизированный уверенностью и решительностью, с какой этот маленький человек взялся за его тайный недуг, Беринг исполнял все команды: уперся подбородком в металлическую подставку, прижался лбом к прохладному ободку. Смотрел в огневой фокус зеркальца. Потом в лучи щелевой лампы. Не двигался, только моргал, когда Моррисон пипеткой закапал ему в глаза анестетик, расширяющий зрачки и делающий роговицу нечувствительной к болезненному обследованию. Моргающие веки омыли глаза наркотическим раствором и затанули радужку пеленой, сквозь которую Беринг различал уже одни только тени. Зрачки стали огромными, как у охотника ночью. Он чувствовал лишь нажим, но не иссушающий холод *трехзеркальной линзы*, когда санитар устремил взор в черные колодцы его глаз.

Глаза самого Моррисона прятались за шлифованными линзами офтальмоскопа, но открытый его рот был так близко, что Беринг чувствовал запах чужого дыхания.

— Фовеальный рефлекс ослаблен... метаморфопсия... сливающиеся отеки сетчатки... субретинальный экссудат... — Пока луч щелевой лампы скользил по главному дну пациента, Моррисон начал в загадочном монологе бормотать названия симптомов и рефлексов, точно составляя из этих слов мозаику недуга: — Точки просачивания в макулярной зоне... центральный очаг справа, парацентральные очаги слева... Микрופсия... Ярко выраженная скотома...

Беринг не понимал ни слова. Он думал о кузнице. Ведь так же вот рассуждал сам с собой, проверяя узлы испорченного механизма. Как он устал. Сонным взглядом смотрел в огонь: тень за слепым стеклом. Тень во льду. Наверно, и отец, когда зрение год от года слабело, тоже учился видеть мир таким отрешенным, таким неразборчивым и проклинал то, что видел: *Прочти-ка эту*

треклятую листовку, я сам не разберу. Что написано на этой коробке, на этом плакате, я не вижу, черт побери. Читай вслух.

— Ретинопатия... Chorioretinitis centralis serosa...

Теперь бормотание Моррисона смахивало на латинские литании из кузнецихина молитвенника.

— Эй, не спи. Ты что же, спишь с открытыми глазами? Вот ведь — спит с открытыми глазами. Ну-ка засучи повыше рукав. Давай-давай.

Не меняя позы, наклоняюсь вперед, к подставке и трехзеркальной линзе, к свету, Беринг закатал рукав куртки. Укола инъекционной иглы он почти не почувствовал.

— Это просто краситель. Специальный краситель, — услышал он голос Моррисона, ощущая, как что-то ледяное и жгучее растекается по жилам. — Контрастное вещество. По вене, через сердце и сонную артерию, оно попадет прямоком в твои глаза, и мне будет лучше видно дырки в нижних слоях твоей сетчатки. Безобидный фокус. Пожелтеешь на час-другой. Пожелтеешь, и все. Потом краситель растворится в системе кровообращения. Кровь опять отмоет тебя добела... Теперь положи голову на плечо; на плечо, слышишь?..

Беринг повиновался. Откинулся назад. Закрыв глаза. Дырки в сетчатке. Значит, все-таки дырки. Он чувствовал, как на лбу выступает пот.

Несколько минут слышалось только дыхание санитаря да шум дождя. Потом Моррисон опять велел ему смотреть в линзы. На свет.

— Ну вот, — сказал он, и каждое слово Беринг ощутил как холодное дунение на лбу. — Красные облачка. Отчетливые красные помутнения. Не двигайся. Сиди спокойно.

— Облачка? — сквозь зубы проговорил Беринг. Тяжесть головы, тяжесть мозга, глаз, скул прижимала подбородок к подставке и не давала разжать челюсти. — Какие облачка?

— Грибовидные. Грибовидные облачка, — сказал Моррисон. — Или медузы. Видел, как медуза парит в сумеречной морской пучине?

— Я никогда не был на море.

— Совершенно отчетливо. Прелесть какая. — В голосе Моррисона звучала радость первооткрывателя. — *The smokestack phenomenon*. Феномен дымовой трубы. Дымное облако... Никогда не был на море? Но японские кадры видел? Грибовидное облако Нагой? Медуза, облачный гриб. Сам выбирай, какое сравнение тебе нравится больше. Отеки твоей сетчатки, пятна в твоих глазах одинаково похожи на то и другое. Форма медузы или гриба — типичный признак.

— Признак чего? Что у меня с глазами? Какая это болезнь? — Беринг невольно выпрямился, а санитар уже не стал возвращать его в скрюченное положение, убрал линзы, встал и выключил свет. Действие анестетика мало-помалу слабело, туманная пелена редела, но лицо Моррисона пока что виделось Берингу светлым овалом с темными пятнами рта и глаз.

— Хочешь знать, что у тебя за болезнь? — сказала расплывчатое лицо. — И спрашиваешь меня? А спрашивать-то надо себя, мой мальчик. На что глядит такой, как ты? Что нейдет у такого, как ты, из головы? Я видел подобные пятна в глазах у пехотинцев и снайперов, у людей, которые малость свихнулись в своих противотанковых рвах либо неделями лежали в засаде за вражескими позициями и перекрестье прицела мерещилось им уже и в бритвенном зеркальце, на собственной физиономии, понимаешь?

Страх, ненависть, железная бдительность — вот что проедает этим людям дырку в глазу, дырки в сетчатке, негерметичные участки, *проницаемые точки*, сквозь которые просачивается тканевая жидкость и, скапливаясь между оболочками глазного яблока, образует подвижные грибовидные облачка, дырки во взгляде, называй как хочешь, мутные пятна, постепенно сливающиеся и заменяющие обзор.

Но ты-то? Ты-то на что тарачишься? Ты ведь не солдат-окопник и не снайпер-одиночка. Или? У себя на верхотуре, в Мооре, вы же разве только свеклой да камнями пуляете. На свеклу, что ли, тарачишься? Или врага дер-

жишь на прицеле рогатки? С невесты глаз не сводишь? Не сходи с ума. Короче, что бы там ни было, бросай ты это дело. Гляди куда-нибудь еще.

— А совсем темно может стать? Что происходит с такими людьми? — Беринг опустил рукав куртки и стер им пот со лба. — Они слепнут?

— Слепнут? Ну что ты. Никто из них не слепнет. Видят темные пятна, выползают из своих укрытий, из окопов и, напуганные темнотой, прибегают сюда. Кс мне. Как ты. А потом сидят там же, где сейчас ты. И смекают, что уцелели, что прежде всего, и пока что, и как-никак уцелели, понимаешь? Тогда они успокаиваются. И что происходит? Облака рассеиваются. Не сразу. Но со временем. В течение недель, иногда месяцев. Муть рассеивается, острота и четкость зрения возрастают, а в итоге на сетчатке остается не более чем два-три легоньких следа страха. Вот и все. Я был тому свидетель. За три десятка лет лазаретной службы насмотрелся. И с тобой будет так же.

— А теперь? Что мне теперь делать?

— Ничего, — сказал Моррисон. — Ждать.

— Но пятна... Их стало больше.

— Их всегда становится больше. А потом они исчезнут.

— А если нет?

— Тогда ты один такой на тысячу, — ответил Моррисон. — Тогда, значит, я ошибся, и ты исключение. И тогда станет темно. Навсегда. И до конца дней ты будешь видеть мир как сквозь зачерненное стекло. Но ты не исключение, мой мальчик. Ты тоже просто один из многих. С такими глазами, как твои, я еще ни разу не ошибался. Делай что хочешь. Клади на глаза цветки морозника или глотай по утрам горсть таблеток, бегай в полнолуние по кругу или выкопай яму и сто раз произнеси туда название своей болезни. Все, что тебе нужно, — это время. Ты должен только ждать...

— А название? Ну, чтоб в яму... Сто раз *какое* название?

— Гриб или медуза. По латыни или по-японски. Выбирай: *Chorioretinitis centralis serosa*, если у тебя хорошая память. А если у тебя и память дырявая, вспомни японского врача, по имени Китахара. Он описал это помутнение еще задолго до твоего рождения. Выпей рюмочку за его здоровье, успокойся, а пятна свои называй просто *Китахара*, мой мальчик. *Болезнь Китахары*.

## 28. Птица в огне

Беринг мчался под дождем. Несся как вихрь по дороге, мимо барачков Большого лазарета, мимо пустых носилок и инвалидных колясок, забытых на улице в потоках ливня, и нет-нет да и подпрыгивал на бегу, будто хотел взлететь или дотянуться до ветки, что качается над головой, до плода. Но там, куда тянулись его руки, не было ни веток, ни плодов, только темное, шумящее небо.

Беринг мчался, и с каждым шагом, с каждым ударом пульса сердце качало по жилам окрашенную кровь и загоняло крохотные частички в глаза, еще не вполне отошедшие от моррисоновского наркотика. Желтокожий, весь, до кончиков пальцев, выкрашенный контрастным веществом, мчался он по дороге и видел ее перед собой как никогда расплывчато и неясно, а все ж таки не мог удержаться от смеха. Его разбирал смех. Он был счастлив.

Болезнь Китахары. От этой японской болезни он не ослепнет. Не ослепнет! Док Моррисон обещал. Дыры в его мире исчезнут. Надо только ждать. Запастись терпением. И облака, затемняющие поле зрения, посветлеют и исчезнут, словно высушенные искусственным солнцем Нагои. Время. Ему нужно только время. Помутнение взгляда преходяще, как этот утренний ливень, чьи водопады промочили его до самой желтой кожи. Все светлее и светлее. Могут пройти недели. В худшем случае месяцы. Но он не исключение. Он — один из многих. Док Моррисон обещал.

Беринг мчался. Только когда одышка заставила его замедлить бег и в конце концов остановиться, он понял, что бежал не в ту сторону. Он хотел выбраться

из лазарета. В Бранд. На волю. Но из потоков дождя перед ним возникли не ворота, а метровой высоты указатель, где стояла всего одна цифра — 4. *Четвертый блок.* Будущее Моора. Ошалев от счастья, он ошибся направлением. Выскочил из барака для слепых и побежал по той же дороге, по которой шел вчера с отцом и которая предстояла всем моорским; камнеомы, солевары, углежог и свекловоды приозерья — все они, думая, что дорога ведет их на волю, к богатствам равнины, попадут в четвертый блок Большого лазарета.

А эта вот черная и грозная глыба под дождем — не иначе как барак, где в начале длинного ряда железных коек лежит под армейскими одеялами его отец? Вчера вечером в темноте этой палаты было прохладно, прохладнее, чем снаружи, под ночным небом, и темнота пахла мастикой, инсектицидом и дезинфекцией. Нет, неохота ему опять идти в эту палату. И сейчас, и вообще. Вояка находится под опекой Армии. А Беринг — на пути к свободе. Все еще тяжело дыша, он уже хотел повернуть и вдруг невольно снова рассмеялся: вслепую — и не в ту сторону.

Медленно поворачивая обратно, он вдруг на самом краю обзора заметил словно бы движение в одном из окон барака, тень за пеленой дождя. За испещренным путаными струйками стеклом стоял старик. Вояка. Отец. Закутавшись в одеяла, стоял у окна. И поднял руку. Помахал. В руке у него был платок или какой-то светлый лоскут, и он размахивал им, медленно выписывая широкие дуги, словно стоял у корабельных поручней и махал удаляющейся, тонущей земле.

Но нет. Никто там не стоял. Просто раздувалась на сквозняке штора, равное жалюзи. Беринг смахнул с глаз капли дождя. Окно было темным и пустым. Он отвернулся. И опять побежал. Но больше не подпрыгивал и не тянулся к незримым веткам и плодам — просто мчался, бежал прочь.

— Ты можешь лететь!

Лили не поздоровалась и не спросила ни о минувшей ночи, ни о доке Моррисоне. Первое, что она крикнула, когда Беринг, подчинившись знаку незнакомого солдата за раздвижным окошком, вошел в проходную у ворот лазарета, было:

— Ты можешь лететь!

Лили сидела одна среди солдат. Она украсила себя нитками речного жемчуга и перьями, как на праздник. Караулка была набита битком. Но говоруна из Ляйса не видно. От густого запаха мокрой одежды, сигаретного дыма, шнапса и кофе у Беринга перехватило дыхание. Десяток с лишним солдат сидели и стояли вокруг письменного стола, на котором вчера вечером сержант штемпелевал пропуска. Но теперь документы промокшего штатского никого не интересовали. Тот, кто жестом велел Берингу подойти, опять увлеченно разглядывал крупный, с кулак, кристалл и даже головы не поднял, когда Беринг остановился перед ним. Солдат просто выполнил просьбу Лили. Это Лили приказала ему подойти. Лили позвала его.

На столе был разбросан меновой товар: до блеска отшлифованный штык, погоны, поясные пряжки, серебряный орел в пикирующем полете, ордена — находки, извлеченные на полях давних сражений из верхних слоев земли, но среди них и жучок в капле янтаря, необработанные изумруды, дымчатый кварц, перламутр, ископаемые из Каменного моря. Здесь шла торговля. Снаружи, у въездного шлагбаума, заржала лошадь. Лилины вьючные животные с фуражными торбами стояли под дождем. Без вьюков.

— У тебя есть полчаса, — сказала Лили. — Через полчаса стартует вертолет курсом на Моор. Гости из Армии к твоему Королю. Армия возьмет тебя с собой. Можешь лететь, или ступай в Собачий дом пешком, один. У меня тут дела, еще на несколько дней, да и не нужен ты мне на обратном пути... Он, видите ли, любитель пострелять, — неожиданно сообщила она своему ближайшему соседу, какому-то белокрысому типу, показав на Беринга. — Лупит по всему, что двигается.

Лили что же, под хмельком? От пинка какого-то солдата пустая бутылка прокатилась по полу и со звоном ударилась о приклад стоящей возле стены автоматической винтовки.

— Он стреляет? — переспросил белобрысый; на куртке у него виднелись черные капитанские шевроны. — Чем же это?

— Камнями, — ответила Лили, без улыбки глядя в глаза Берингу. — У них с Королем там целый берег — сплошные камни.

Беринг выдержал Лилин взгляд. Остатки моррисоновского наркотика, все еще туманившие обзор, защитили его от этого взгляда.

— Ну так как? — сказала она. — По воздуху или пешком? Капитан доста- вил тебя в Моор.

*Полет?*

Нет, это был не полет.

Часу не прошло, они были уже высоко над Брандским *аэродромом*, высоко над первыми складками Каменного Моря, но чувствовал Беринг вовсе не упоение первым в своей жизни полетом, а разочарование: ну подняли его ввысь, ну сидит он в темной коробке, продырявленной иллюминаторами, смердящей нефтью и потом, содрогающейся от надрывного грохота бешено крутящегося ротора, — все это имело касательство к обычной механике с ее ограниченными возможностями, с ее инерцией и оглушительным шумом, но не к настоящему полету, не к волшебству полета птицы, который создавал один-единственный звук — свистящий шорох неба в маховых перьях.

Зажатый среди солдат в камуфляже, Беринг сидел в бронированном ар- мейском вертолете и думал о птицах моорских камышников — о ласточках-бе- реговушках, которые с распахнутым клювом так стремительно прорезали по вечерам столбы мошкары, что глаз был не в силах уследить за их полетом.

Полет. В другой день и в других обстоятельствах он бы, наверно, пришел в восторг уже от одного зрелища мокрой от дождя, поблескивающей шеренги боевых самолетов на Брандском аэродроме — истребителей-бомбардировщи- ков, у которых обтекатели были разрисованы звериными глазами и оскаленны- ми клыками. А перед одним из ангаров — пожалуй, раза в три больше крытой простреленным гофрированным железом развалохи в моорской Самолетной долине — он видел звено вертолетов, спокойную стаю темных боевых машин; лопастями несущих винтов, стволами бортовых пушек, костылями и стабилиза- торами они здорово смахивали на исполинских насекомых. Обитатели при- озерья видели такие, только когда во время карательной экспедиции или ма- невров отряд этих мрачных чудовищ на малой высоте проходил над камышами.

Но что такое Брандский аэропорт, что такое все эти движки, радиомаяки и летательные аппараты рядом с обещанием дока Моррисона, что пятна в бе- ринговском поле зрения опять исчезнут и по крайней мере в глубинных слоях его сетчатки все опять будет как раньше, до первой сумрачной тени.

В иллюминаторах темнела синева. Будто бешено вращающиеся лопасти винта вспороли дождевые тучи — иллюминаторы стали вдруг темно-синими. И ослепительный солнечный свет хлынул в кабину, в которой Беринг не ле- тел, но был в плену.

Он приготовился услышать приказ, запрет, когда, пошатываясь, встал, пе- решагнул в вихревой тряске через винтовочные приклады и солдатские баш- маки, прижался лбом к стеклу бокового иллюминатора и устремил взгляд в глубину. Но ни один из трех с лишним десятков посланных в Моор солдат не обратил на него внимания. Ни один не говорил. Не пытался перекричать рев мотора. Не запрещал ему смотреть в глубину.

Голые, озаренные солнцем, известково-белые, скользили внизу скалистые дёбри и плоскогорья Каменного Моря, шумным потоком катились глубоко внизу обратно, в Бранд, который был уже далеко позади, за облачными грядо- ми. Из стекла... Будь пол в вертолете из стекла, таким прозрачным, каким доку Моррисону виделся в мечтах весь мир, тогда, быть может, разочарован-

ный желтокожий пассажир обнаружил бы в этой исполинской панораме что-то от вольного полета. А так он лишь оставил на стекле жирный след своей кожи, едва заметные замутнения, и неотрывно смотрел вниз на беслесную каменную пустыню.

Порой ему чудилось, будто он узнаёт кары, скальные обрывы и снежные поля: там внизу, у подножия этого утеса, у подножия этого обрыва, там внизу, по этому склону, он шагал и ехал с Лили и отцом, вчера, тогда, в другом, давно ушедшем времени.

Но теперь!.. Ему показалось, что он падает. Они падают! Он искал опоры, схватился за пустоту. Солдат, сидевший за ним, что-то крикнул. Он не понял ни слова. Косая черта горизонта прорезала иллюминатор, опрокинулась, стала вертикалью. Беринг почувствовал, как собственный инертный вес стремится оторвать его от этого зрелища. Он до крови расшиб руку о какой-то острый металлический выступ и в последнюю минуту нашел-таки надежную опору. Окоем опять лег горизонтально. Падение было всего лишь пилотажной фигурой, петлей спуска на низкую высоту. Тень вертолета мчалась по изломанным скалам — и вдруг все солдаты кинулись к боковым иллюминаторам.

Там, внизу, по краю вытянутого фирнового поля, бежали в укрытие семь не то восемь фигур, прятались за валунами, в панике заползали в каменные расселины и ямы, лишь бы удрать от боевой машины, которая летела от солнца прямо на них.

В секторе обстрела осталась только корова, пятнистая, коричневая с белым, слишком большая и тяжелая — такая быстро не удерет. В не меньшей панике, чем ее погонщики, она, волоча за собой веревку, грузными скачками спешила к снежному полю и, едва ступив на фирн, тотчас провалилась по самую шею. Рев ее утонул во взметнувшихся под вертолетом фонтанах ледяных кристаллов.

Солдаты смеялись — над паникой незадачливых ковбоев там внизу, над застрявшей в снегу коровой... а кое-кто, пожалуй, смеялся и от облегчения, потому что капитан не дал приказа атаковать. Смеясь, они вновь упали в синеву: пилот изменил курс. У Армии есть дела поважнее, всякие там жалкие похитители скота ее не интересуют.

А потом, вот только что далекий и мерцающий, как мираж, навстречу им с гор словно бы хлынул водный поток, фьорд, обрамленный каменными кручами и камышовником. Озеро. Вот только что они еще были глубоко в Каменном Море, а теперь мчатся высоко над зелеными волнами, и впереди разбегаются беспорядочные, блестящие следы воздушных вихрей, и уже поворачивается перед глазами Слепой берег, террасы каменоломни... С высоты все виделось легким и блестящим: ветшающая Великая надпись, будто вырезанная из шелковой бумаги, ржавые рычаги транспортеров возле вскрышных отвалов, потом набережная, развалины «Бельвю» — все возникало под ними и исчезало... водолечебница, каштановая аллея, «Гранд-отель», белые стены в по-осеннему ясном свете. Светлый и легкий, как пушинка, сияющий, как древле обетованная земля, бежал моорский берег навстречу вернувшемуся домой Телохранителю. И внезапно бездна явила ему одну-единственную картину, которая сказала, что он опоздал.

Над пароходной пристанью расползлся смолисто-черный дымный гриб, а посреди этого дыма в языках пламени лежала «Ворона», лежал символ Собачьего Короля, искусное создание Беринга, угодившее в аварию, открытый капот — как разинутый клюв. Там внизу, в кольце зевак, бессильных помощников или поджигателей, так близко к воде и все же в негасимом костре, горел единственный лимузин, развезжавший по моорским выбоинам в годы Ораниенбургского мира, горел, как может гореть только запроваленная горючим и маслом, шеголяющая пластиком, белой резиной и летучими, легковоспламеняющимися красками машина.

Заход на посадку, грузное, неторопливое приземление на плацу перед секретариатом показали Берингу невыносимо медленными. Зеваки, которые

уже сломя голову мчались с пристани на плац, к новой сенсации, и те были чуть ли не шустрее вертолета. Беринг видел, как они бегут, и останавливаются, и глядят вверх, и бегут дальше. А ведь должны бы лопатами кидать в огонь песок, песок и землю! Ну, быстрее вниз, быстрее! Почему пилот сейчас не послал машину в пике, как давеча, из-за этих паршивых ворюг? «Ворона» же горит!

А солдаты? Неужто не понимают, что именно сейчас, сию секунду, они до зарезу нужны на пристани? Беринг хотел показать им свое горящее творение, птицу в огне, и ткнул пальцем вниз, треснул кулаком по стеклу бокового иллюминатора, по металлическим ребрам холодной брони. Но солдаты видели вещи и похуже горящего автомобиля, и кивали, и смеялись, пока один из них, уже при посадке, не сообразил наконец, что этот желтокожий шпак вне себя, то ли от злости, то ли от ужаса. Он схватил рассвирепевшего Беринга за рукав, пытаясь усадить его на лавку к другим солдатам. *Hey, man! Cool, man! Sit down, man!*<sup>4</sup> — а потом пролаял и команду на здешнем языке, резкий звук, который означал то же самое: *Сиди!*

Но Беринга было не удержать. Он вырвался из рук солдата, споткнулся о ящик с боеприпасами, когда машина коснулась земли, ударился головой о чью-то каску, грохнулся солдатам под ноги, встал и протолкался к открытому уже люку — и в числе первых выскочил в пыльную тучу на плацу.

Там, словно в песчаной буре среди пустыни, стоял моорский секретарь, приветственно махал костылем, а другую руку, не то козыряя, не то придерживая зеленый картуз, прижимал к виску. Никого из моорских в пыльной туче видно не было.

Беринг промчался мимо секретаря, глаза жгло, а он бежал — через плац, к дымному грибу у берега, — и вдруг в стихающем громе ротора услышал знакомый голос. Голос хозяина.

Он не понял, что кричал Амбрас. Понял только, что крик был не просьбой о помощи, а приказом и что адресован этот приказ был ему, ему одному. Он остановился, ищащим взглядом посмотрел вокруг.

Лопастни ротора вращались теперь медленно, как вентилятор под потолком конторского барака в каменоломне летним днем. Пыльная туча улеглась и открыла Телохранителю собравшийся на почтительном расстоянии Моор. Поодаль от толпы зеваяк он наконец-то увидел своего хозяина. Амбрас стоял в дверях секретариата — дог рядом, словно прирос к порогу, — и жестом велел Берингу подойти.

*Иди сюда!*

Беринг повиновался. Амбрас вроде как цел и невредим.

*Давай. Быстрее.*

Беринг подошел к Собачьему Королю почти одновременно с белобрысым капитаном, который в сопровождении двух военных полицейских и жестикулирующего секретаря прошагал вдоль сборища зеваяк как мимо роты почетного караула. Солдаты разгружали вертолет, протащили через плац черные ящики, два пулемета, один миномет.

Амбрас уже протянул руку навстречу капитану, но еще прежде, чем поздороваться с офицером на языке победителей, крикнул Телохранителю: *Останься здесь!*

— Останься здесь! Эту штуковину уже не спасешь. Они хотят нас убить. И «Ворону» они подожгли.

## 29. Ярость

*Браво. Пусть-ка теперь и большой барин опять пешком по набережной шлепает. Пусть-ка побегает наперегонки со своими кабысдохами, от Собачьего дома в секретариат, и на пристань, и обратно — да куда хошь. На «Вороне»-то он бы*

<sup>4</sup> Эй, парень! Спокойно, парень! Сядь, парень! (англ.)

прямохонько в ад и отправился. Горела тачка прямо как канистра с бензином. А пожарных не видать и не слышать. Вот беда.

Еще чего недоставало. Армейскому шпику воду таскать — чего доброго, руки сожжешь до пузырей да все волосы на голове спалишь, а чего ради? Чтoб этот шпик развезжал по деревням на лимузине?! Его пожар, пусть бы сам и тушил. А ОН хоть что-то делал? Пальцем не шевельнул. Стоял возле горящей тачки, держал за цепь дога, чтобы и этот еще не удрал от него, как паромщик, как мастер-взрывник и остальные, просто стоял, тупо смотрел в огонь, а потом заполз в нору, в секретариат.

Однако ж будут неприятности. Говорю вам, будут неприятности, ой будут. Может, зря это...

ЧТО — зря?

Поджигать «Ворону».

Так мы ж не поджигали. Разве МЫ ее подожгли?

Все ж таки стояли и смотрели, как эти пьяные камнеомы перевернули тачку и сунули в бензобак запальный шнур.

Ну и что? Инструкцию им надо было прочесть, так, что ли? Дескать, пользоваться открытым огнем запрещено! Может, уже и смотреть нельзя на горящую тачку — вон ведь сколько всего каждый день загорается? Глаза надо было завязать? А ОН, по-твоему, хорошо поступил, когда прибил к стенке секретариата этот плакат и был таков? Это, по-твоему, хорошо, да? Прибил этот вонючий плакат и ушел, сел спокойненько на свой паром и собрался в каменоломню, будто присобачил к доске самое что ни на есть обыкновенное объявление, афишу какого-нибудь водного праздника, чтоб его черти съели! Шлепнул нам под нос приказ об эвакуации и отплыл в каменоломню!

Но ведь камнеомы-то и твердили без конца, мол, ВПЕРЕД И КУДА ПОДАЛЬШЕ, и чем скорей, тем лучше, на равнину, в Бранд, в западные зоны, в Америку, куда-нибудь, только подальше отсюда...

Конечно, на равнину, конечно, в Бранд, без пропуска в Бранд. Но не так же! Очистить дома в течение месяца! Карьер закрыт, все приозерье оцеплено, как район эпидемии! А все потому только, что Армии нужен новый ящик с песком, новый учебный полигон.

Полное дерьмо. ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ПОЛИГОН. На кой черт теперь маневры-то устраивать? Сработало ведь. Нагой... так, что ли? Где они одержали победу? Опять же победили, там, в Нагое этом. Пол-Японии враспыл пустили, сами говорят, это-де последние жертвы, отвоевались, теперь все спокойно — и аккуратно на завтра же объявляют все приозерье, все горы стрельбищем, потому что надумали теперь играть в войну...

А мы? Нам, дуракам, позволяют собрать манатки, как в войну, собрать манатки и в два счета очистить территорию.

И кто у них сызнова на побегушках? Все он же, шпик этот. Собачник говенный. Пришпандорил к стенке МОТАЙТЕ ОТСЮДОВА и С ГЛАЗ ДОЛОЙ, а потом удивляется, что ему красного петушка подпустили. Вишь, ушел, взгромоздился на свой паром и всю дорогу небось подсчитывал, сколько выручит у первого встречного жида-старьевщика за весь этот железный хлам из карьера...

Ну не больно-то долго и подсчитывал. Пришлось ведь на всех парах возвращаться, потому как на пристани полыхнуло. Огонь на крыше. «Ворону» жарят! И на всех парах обратно.

Притом ему еще повезло, тачка не взорвалась у него под задницей. Вот бы был фейерверк, если б камнеомы спалили его вместе с этими собачищами, — любо-дорого смотреть! Может, хоть теперь допрет своими собачьими мозгами, что с нами так-то нельзя: объявить, что все будет продолжаться — и карьер будет работать, и камнедробилка, потихоньку, но будет! — а через два дня пришпандорить к стенке эту дерьмовую бумажонку...

Но ведь приказ идет от верховного командования. А он как-никак управляющий. Это они присобачили приказ к стенке — его рукой. Послали его в самое пекло, как он посылает в пекло кузнеца.



Он — управляющий? Управляющий чем? Чем он управляет-то? Отвалом, кучей камней — этим он управляет?! Дерьмо. Управляющий. Пес он паршивый, и обходиться с ним надо как с паршивым псом. Наподдать ногой, булжжником по башке, огоньку под задницу — и дело с концом.

А толку? За ним Армия стоит. Укокошишь одного ихнего, так мигом десятком других заявится. Да и этого одного разве только с третьего раза и уложишь, правда-правда. Живучий, пес. Лагерь и тот его не угробил — стало быть, не так-то это легко. Врежь ему по морде, подожги дом — утрет кровь, стряхнет пепел, твякнет в рацию, и пожалуйста: Армия уже тут как тут, уберет мусор, тачку новую даст, домишко новый отведет... Пострадали от пожара? Ранены? Имеете удостоверение жертвы репрессий? Ах вот как, еще и лагерный номер на руке? Будьте любезны, вот вам компенсация, вот возмещение за моральный ущерб. И пошло-поехало сызнова. Старая песня. Наизусть ее знаем.

А когда у нас горит? Когда бритоголовые швыряют нам в окна факелы, крадут наших баб и угоняют скотину? Дерьмо. Хрен кто поможет. Ваше, мол, отродье, и все тут.

Сколько ж времени его тачка горела? Минут десять? Пятнадцать? Не успела как следует разгореться, живо целая полурота заявилась на этой летучей жужжалке, да еще и Телохранителя ему доставили.

Телохранитель — смешно, право слово. Кузнецов мальчонка — Телохранитель. Дать ему хорошую затрещину и загнать обратно к наковальне — вот и вся недолга. Видали его? Мчался через плац как перепуганная курица, пока хозяин не свистнул...

Перепуганный! Как бы не так. Ты с ним ухо остро держи, послушай доброго совета. Он ведь даже на рыбалке с пистолетом не расстается. И озлиться может почем зря.

Он? Озлиться? Его ж кузнечиха воспитывала — на свечах да образках Пречистой Девы. Чуть что не купала в святой воде.

Держи с ним ухо остро. Собачий Король его переломил. На свою сторону перевел. В жратву хрен знает что подмешивал.

Ой! Никак тут кто-то струхнул. Возьми да пошли ему валерьянки и сахарной ваты: дескать, прощенья просим, но «Ворона» ваша, должно, малость высокомерно залетела. Не иначе как шибко к солнцу приблизилась. Вот и полыхнула. Горела ровно канистра с бензином, птица-то. Ровно канистра с бензином. Так что вы уж простите. И в добрый путь.

Смейся, смейся. А я тебе говорю: держи с ним ухо остро. Ты хоть раз ему в глаза смотрел?

В глаза? Тебе что, делать больше нечего? Я лично на такого говнюка смотреть не стану, хоть он выложи целый ящик кофе и табаку. Я на говнюков не смотрю.

Ну-ну. А вот я смотрел ему в глаза и скажу: глядит он на тебя как зверь какой, глаза у него звериные... Аккурат волчьи.

В первую ночь после возвращения с равнины Беринг так и не смог заснуть. От постели невыносимо воняло псиной (в его отсутствие стая оккупировала комнату, пришлось силой восстанавливать старые границы). Невыносимо трещал паркет, невыносимая духота стояла в коридорах виллы «Флора» — весь этот спящий дом был невыносим, и Беринг ушел на улицу.

Тихо, как зверь на охоте, крался он через парк, шагал под черными канделябрами исполинских сосен, патрулировал вдоль проволочного ограждения, утонувшего в дебрях диких роз, плюща и чертополоха, постоял у ручья, прислонившись к стенке дощатого домика с турбиной и слушая басовое пение ротора, потом спустился по длинной лестнице к запущенному лодочному сараю и при первом же подозрительном шорохе, который померещился ему в непроницаемом мраке у ворот, поспешил обратно.

Он бы очертя голову кинулся на любого чужака, на любого агрессора, да еще и сцепился бы с собаками из-за того, кому первому вонзить свое оружие — в жир, в мускулы, в плоть врага. Минувшим вечером, когда Амбрас, то

и дело прикладываясь к бутылке, изучал за кухонным столом чертежи камнедробильного агрегата, сам он работал в гараже за верстаком: из телескопической пружины вибрационного грохота — он притащил ее из каменоломни — сделал крепкий стальной прут и к этой ручке привернул один из кованых стальных когтей с радиатора «Вороны». Этот коготь, прокаленный, еще горячий, он отпилил от останков «Вороны», зачистил напильником и долго шлифовал, пока не добился, чтобы лезвие стало острым, как у выкидного ножа. Против моорского поджигателя пистолет ему не нужен. Этим вот когтем он выбьет, вырвет из кулака запал.

Но когда Беринг, запыхавшись, добрался до подъездной дороги, до исплинских сосен, которые чернее ночи высились на фоне беззвездного неба, там уже царил тишина. У пруда с кувшинками, под соснами, в зарослях возле спящего дома все было объято покоем. Собачья стая и та молчала.

Он позволил нескольким собакам пойти вместе с ним в дозор. И хотя даже в потемках хорошо их различал, все ж таки ни команд шепотом не подавал, ни амбрасовскими ласкательными кличками не называл. Не поощрял своих спутников, не трепал по холке, не хвалил, но и домой не гнал, а разрешал бежать рядом и с каждым шагом все глубже погружался в свою глухую ненависть. Док Моррисон обещал, что дыры во взгляде просветлеют и в конце концов исчезнут. Стало быть, он мог обещать поджигателям, что разыщет их хоть дома, хоть в каком укрытии или тайнике. Он поклялся разыскать их. Сам того не замечая, Беринг говорил вслух.

Собаки насторожились: чего он хочет? Не поймешь — бормочет какую-то невнятицу. Они бежали рядом, то и дело приостанавливались, вывесив язык и часто-часто дыша смотрели на него, а один из короткошерстных метисов, в жилистых пятнистых телах которых как бы сосредоточилась сила и злобность, нюх, страсть к охоте и все прочие свойства стаи, в замешательстве затаивался, и тотчас во мраке — близко и далеко-далеко — на минуту-другую поднимался неимоверный лай и вой. Беринг внимания на это не обратил. Точно оглох. Целиком ушел в воспоминания: снова ползли по стальному корпусу «студебекера» швы сварки, снова вспыхивали и гасли огненные следы его труда, превратившего развалюху в воплощенную мечту. Железный прут в руке казался ему ручкой сварочного аппарата времен Большого ремонта, он опять варил швы, один за другим, опять обрабатывал дверцы кувалдой, придавая им форму крыльев стремительной птицы в пикирующем полете, опять выковывал клюв и когти радиаторной решетки, выковывал десятки, сотни когтей и вонзал их в глумливые физиономии Моора, в виски, щеки, глаза этих ухмыляющихся рож, которые промелькнули перед ним в пыльном вихре посадки, рвал и кромсал все, чем запомнился ему час возвращения. Он скорбел о своей машине.

Завершив обход и в девятый, десятый, одиннадцатый раз шагая мимо деревянных колонн веранды, мимо изъеденных непогодой фавнов парадной лестницы, он ударял прутом по краю пустого бассейна, окруженного танцующими нимфами, выстукивал короткие, жесткие сигналы своей бдительности на проржавевших фигурных водостоках, дождевых желобах, а то и на замшелой голове фавна. Ставни музыкального салона были открыты. Если Собачий Король лежит без сна в своем логове, пусть слышит, что и Телохранитель не спит и жаждет изловить его врагов и отколотить их и задавить всякую искру, коль скоро она перескочит из Моора в его погибающее королевство... Пусть Армия на подходе и оставаться в приозерье больше нельзя и всем им придется исчезнуть, всем — камнеломам, солеварам и капканщикам, а равно секретарям и агентам, — он, Беринг, телохранитель Собачьего Короля, даже сейчас, во мраке, чувствует, как к нему возвращается прежняя зоркость, и будет оборонять виллу «Флора» от моорских вплоть до дня и часа отъезда и не упустит случая отомстить поджигателям за гибель «Вороны».

Единственный свет, который и теперь еще поверх набережной и развалин гостиниц добирался на высоту виллы «Флора», шел от бивачных костров возле «Бельвю». Порой долетало и далекое урчание какого-то агрегата, в зависи-

мости от направления ветра то громче, то опять тише. Но и в бинокль Беринг не обнаружил других видимых знаков присутствия Армии — только этот неспокойный красный отблеск в кронах платанов над гостиничной прачечной. Как несчетные карательные экспедиции до них, так и солдаты белобрысого капитана поставили свои палатки под черными балконами и пустыми глазницами окон некогда самого фешенебельного из прибрежных отелей. Однако на сей раз, устроив лагерь, они не развернулись в цепь, чтобы прочесывать окрестности в поисках убийц и бритоголовых бандитов. А ведь на сей раз, черт побери, вовсе незачем ходить для этого в горы, в глухомань, достаточно руку протянуть, чтобы взять поджигателей под стражу, прямо у них дома или хоть на плацу, — только вот на сей раз им было плевать на врагов Собачьего Короля, пусть даже это и их враги тоже.

Когда вертолет в туче пыли опять поднялся в воздух, набрал высоту и, превратившись в темную гудящую точку, исчез над снежниками Каменного Моря, эти солдаты, точь-в-точь как усталый отряд инженерных войск, принялись укреплять подручными материалами шпунтовые сваи паровой пристани и укладывать поверх настила железные листы — для проезда техники. И меж тем как «Ворона» догорала и дым черными клубами плыл над озером, а капитан и Собачий Король штудировали в секретариате оперативную карту, расчерчивая приозерье красными волнистыми линиями и кругами и прихлебывая секретарский самогон, Беринг молча ждал у открытой двери и слушал, как эти двое разговаривали на языке победителей — и даже смеялись. Понял он только, что Амбрас костер у пристани тоже ничуть не интересовал и что он «в упор не видел» толпу зевак на плацу, поджигателей, своих врагов.

«Птица нам больше не нужна, — сказал Амбрас, сказал *ему*, вернувшемуся с равнины, чтобы защитить эту птицу и весь Собачий дом от вандализма, и зависти, и алчности Моора. — Птица нам больше не нужна. Мы поедем на тягачах, в бронемашине, в джипах... С завтрашнего дня можешь выбирать. Армия уже на подходе. Ты вернулся с передовым отрядом, понимаешь, это просто передовой отряд».

Завтра. Армия. Птица нам больше не нужна. Армия на подходе. И прибьет она не через месяц и не через год, как всего несколько дней назад говорил сам же Собачий Король. Она прибьет *завтра* и предъявит свои права на земли, завоеванные десятилетия назад. Потому что теперь, когда последние вооруженные противники сгорели в огне Нагой или разбежались, когда уже нет такой силы, которая в состоянии атаковать Армию мироносца или хотя бы оказать ей сопротивление, — теперь воинам Стелламура нужны горы, озеро, холмы, Каменное Море, чтобы в беспрестанных маневрах, на искусственных полях сражений поддерживать свою боеготовность впредь до того часа, когда новый, безмянный еще враг вырвется из руин угасших городов, из руин будущего.

— Пускай приходят. Пускай себе приходят, — бормотал Беринг, а собаки недоуменно слушали. Пускай приходят, мироносцы эти, и перепахивают своими маневрами весь здешний край до самой зоны лесов и даже до ледников. Ему плевать. И пускай моорские, а с ними прочие обитатели этого треклятого побережья, все эти поджигатели и отродье поджигателей не смогут больше отличить свои поля и выгоны от горных дебрей, а свои последние поломанные машины — от выжженного остова, который валялся теперь у пристани таким холодным памятником злобы.

Ночь миновала в морозной тишине, а утро застало Беринга на веранде: он спал в плетеном кресле Собачьего Короля, спал, невзирая на холод, только дыхание белыми облачками пара таяло в воздухе. На прибрежных лугах искрился иней. Настала осень.

Разбудил Телохранителя далекий рокот; в первую минуту он было решил, что слышит мотор «Вороны», и так резко вскочил, что наступил на железный коготь, который во сне выронил из рук. Споткнулся и упал прямо на собак, дремавших возле кресла. Рокот нарастал, но Беринг еще прежде, чем поднялся

на ноги, успел сообразить, что слышит не один мотор, а сразу много. Так могла рокотать лишь Армия. Победители Ораниенбурга и Кванджу, триумфаторы Сантьяго и Нагои — колонна автомобилей для эвакуации, тракторов, грузовиков, танков и джипов шла вдоль камышовников к Моору... А Моор, жители которого собралась на плацу, где колонна в конце концов и остановилась, — Моор вспоминал: этот грохот, этот лязг, эти запорошенные пылью солдаты, глядящие в пространство, будто глухие к любому зову, а уж тем паче к любой просьбе, — все это было как в последние дни войны, нет, это *и была* война.

— Армия дает, Армия и берет, — прокаркал этим утром из динамиков на плацу голос капитана; Беринг тщетно искал хозяина в салонах и коридорах Собачьего дома и даже в парке, потом бросился следом за колонной к плацу, к секретариату, бежал сломя голову. Там он наконец-то нашел Собачьего Короля, в обществе капитана. Оба они стояли на танке. Но только капитан держал в кулаке микрофон и пытался перекрыть грохот техники. *Армия дает, Армия и берет.* Хвала Армии!

Моор стоял напротив оккупантов — беспорядочными ропшущими кучками. Никакого приказа насчет общего сбора на плацу не было, но все больше и больше народу спешило туда по улицам и переулкам. Тем, кто из любопытства явился пораньше, вскоре пришлось сдерживать напор вновь прибывших, иначе бы их самих припечатали к гусеницам и колесам или еще того хуже — к кордону пехотинцев, которые в любую минуту могли открыть огонь.

Точь-в-точь как комендант начального периода оккупации, капитан стоял у башни танка и временами прерывал свой крик, чтобы указать шоферу армейского грузовика или эвакуационной машины место парковки. На глазах у Моора колонна совершала перестроение, словно для боя. Дизельный чад туманил обзор. Грохот моторов мало-помалу слабел. И вот уже слышен один только голос из динамика. Но большую часть того, что он выкрикивал, можно было и так прочитать в листовках, которые двое солдат разбрасывали с платформы грузовика.

Армия предъявила права на свои трофеи. Через несколько десятилетий после побед в Каменном Море и на равнине Армия наконец предъявила права на завоеванную в жестоких боях территорию. Ей понадобилось озеро, альпийские луга, верховые болота. Весь этот горный массив. И явилась она не только затем, чтобы превратить здешнее безлюдье в войсковой полигон и наконец-то поставить на службу миру, теперь она требовала вернуть все, чем до сих пор щедро снабжала Слепой берег: все машины и механизмы для добычи и обработки гранита, канатные пилы, дробилки, транспортные ленты, тяговые лебедки, вагонетки... всё-всё. Армия не хуже приозерного населения знала, что моорское гранитное месторождение иссякло: мелкие камни, вскрышная порода, гнилые стенки по всем направлениям выработки...

Вот почему техника и машины, кричал капитан, будут гораздо полезнее великому стелламуровскому делу памяти и миру во всем мире в других, экономически более выгодных, местах, чем здесь, на этом *стрельбище*, в которое по воле мирноосца и его генералов будет превращена моорская каменоломня. И наверно, кричал капитан, Армия требует не слишком много, в обязательном порядке ожидая от бывших пользователей здешнего машинного парка — в конце срока аренды и, так сказать, в знак благодарности — помощи при демонтаже и отправке техники и при строительстве военно-учебного лагеря, барачного лагеря в каменоломне.

— А в качестве вознаграждения верховное командование предоставит каждому из вас свободный проезд на равнину. Каждый из вас получит кров, работу и новую жизнь на равнине! Армия дает каждому из вас больше, куда больше, чем вы все заслуживаете!..

Принудительные работы. Иные из собравшихся, не видя капитана — его заслонял автомобиль или спины соседей по толпе, — вообразили, что слышат из динамиков голос майора Эллиота, и спрашивали: *Он что, вернулся? Этот псих опять вернулся?*

Псих? Что один, что другой. Человек, который там кричал, драл глотку, был враг — это сомнений не вызывало. Такой же враг, как Собачий Король. Как секретарь. Как кузнец и все эти перебежчики, все эти предатели.

Моорские наклонялись за листовками и все-таки не решались расправить скомканные бумажки. Не смели ни запротестовать, ни возмутиться. Стояли недвижно и безмолвно. Враг держал их на прицеле орудий и винтовок. Вчера бы они не побоялись спалить Собачьего Короля и побить его камнями. Но сегодня... Сегодня этот Король восседал рядом с белобрысым капитаном, в окружении вражеской Армии.

Беринг стоял совсем близко от солдат, так близко, что словно бы чуял запах ружейного масла, а видел своего хозяина в эти часы точь-в-точь как остальные моорцы: молчаливый человек высоко на танке, возле оружейной башни, грозный, далекий, неприступный, непобедимый. Когда за тобой такая могучая сила, никакие телохранители не нужны. И что бы ни крикнул в микрофон начальник этой могучей силы, капитан, что бы ни приказал Моору — построить лагерь, выйти на работы в каменоломню или просто исчезнуть, — все будет исполнено беспрекословно.

### 30. Пес, Петух, Надсмотрщик

Эпоха мемориальных торжеств миновала. То, что именем Стелламура и по приказу белобрысого капитана происходило на Слепом берегу в ближайшие дни и недели после прихода Армии, было уже не искупительными ритуалами и не имитацией принудительных работ, как при майоре Эллиоте, это была работа, самая настоящая: демонтаж конусных и молотковых дробилок, доставка многотонных кулачковых валов и колодок из марганцовистой стали от карьера до грузовой пристани. Теперь всякая ноша имела свой реальный вес и вправду была ношей, а не просто муляжом, как «гранитные блоки» на стелламуровских торжествах времен Эллиота; и никакие полковые фотографии не вертелись рядом с измученными людьми, снимая для архивов скрюченные спины и серые, запяленные лица... Ничто не кануло в *прошлое*, ничто уже не было просто памятью, все было *сегодня, сейчас*. Если кто-то из носильщиков валился на колени у подножия Великой надписи, то от изнеможения, а не по приказу фотографа или распорядителя. И если какой-то солдату или овцеводу в нерабочие дни принимался освобождать свой дом в Мооре или в Хааге, то пустые комнаты, потрескавшиеся стены, узлы, громоздящиеся в прихожей, напоминали уже не о прошлом, не о давнем бегстве и не о давних изгнаниях — нет, только о будущем. А будущее было — прощание с Моором.

*Ты... и ты, да, вот ты и еще ты, эй, я тебя имею в виду, подите сюда, и ты тоже, ну, живо!*

Если с утра на пристани собиралось недостаточно *добровольцев*, готовых переправиться на «Спящей гречанке» к Слепому берегу и заняться демонтакными работами, по деревням громыхали грузовики *призывной команды*, увозившие трудоспособных мужчин. Каждый вечер по распоряжению капитана возле секретариата вывешивали объявление: большие яркие цифры сообщали, сколько человек должны завтра явиться на работы; капитана не интересовало, каким образом деревенские наберут добровольцев — по жребию, уговорами или угрозами. Главное, чтобы утром на пристани было нужное количество людей; если не хватало хотя бы двоих, за дело бралась *команда*, и тогда подсчетов уже не вели, набивали *полный* кузов, а часы опоздания, связанные с задержкой, нужно было отработать в каменоломне сверхурочно. Смена продолжалась иной раз до глубокой ночи. За работу не платили. После этих изнуряющих дней в Мооре часто случались драки: кое-кто пытался увильнуть от каменоломни, тем самым взваливая свою обузу на других, вот собственные соседи и отлавливали таких и нещадно били.

А работы на Слепом берегу — непочатый край. Один демонтаж узкоколейки чего стоит, ведь надо выворотить из скалистого грунта семь веток, ведущих

от грузовой пристани к семи разным отвалам, как *тогда* выворачивали стрелки и рельсы у моорского распутья. Только на этот раз надрывались на разборке не татуированные армейские штрафники. День за днем понтон ходил через озеро с таким тяжелым грузом металлических деталей, что при самом простейшем маневре вода перехлестывала через борт. Всего неделя прошла с начала демонтажа, а гигантская, растущая гора металла уже дожидалась отправки на равнину: барабанные грохоты, опорные катки, противовесы и спускные желоба из листовой стали, решетчатые ящики, бурильные агрегаты, цепи, канатные пилы и даже гофрированные железные крыши камнедробилки, из которой в минувшие годы с шумом сыпался гравий и щебень всевозможного калибра — материал для равнинных дорог и насыпей, — громоздились теперь у пристани чудовищной имитацией утонувшего в земле «железного сада» при кузнице.

С каждым днем холодало. Утром Собачий Король и Телохранитель иной раз стояли на пристани закутавшись в армейские шинели, пока сержант строил носильщиков в шеренгу и приказывал рассчитаться по порядку номеров. Что бы теперь ни требовалось сделать в каменоломне или по дороге туда — солдаты всегда были поблизости, гарантируя, что *в пределах досягаемости огня* всякое указание Собачьего Короля или Телохранителя будет исполнено как приказ. Сам капитан редко появлялся на Слепом берегу. Сидел в Мооре, играл с секретарем и кое с кем из армейских агентов в покер, а всех деревенских просителей, ходатайствовавших насчет послаблений в работе или других льгот, отсылал к Собачьему Королю. Тот, однако, был так же глух к просьбам и жалобам, как и Армия, вместо него с этими людьми объяснялся Телохранитель. Беринг отказывал в просьбах. Беринг распоряжался. Беринг грозил. Под защитой Армии Беринг мстил за сожжение «Вороны». И хозяин предоставлял ему такую возможность. Хозяин сидел в конторском бараке и писал реестры.

В эти дни демонтажа и «очистки» домов и деревень, во время превращения каменоломни в армейское стрельбище власть на Слепом берегу, казалось, потихоньку перешла от Собачьего Короля к Телохранителю. Ведь это *он* ухаживал за камнерезными пилами, транспортерами, агрегатами, и, бывало, чинил их, и знал механизм конусной дробилки ничуть не хуже, чем механизмы собственных творений. И теперь он с мучительной тщательностью следил, чтобы каждый маховик и каждый шарнир были аккуратно сняты, снабжены номером, аккуратно погружены на паром, переправлены через озеро и уложены возле пристани под навесом из гофрированного железа. Если кто-то из грузчиков ронял хотя бы противовес или просто железную болванку, он впадал в бешенство. Добровольцы начали бояться его. Ведь под прикрытием и защитой Армии, столь же недосягаемый, как и его хозяин, Беринг с каждым днем, с каждым приступом ярости становился все более непредсказуем в своих поступках.

*Пес* — так называли его теперь между собой добровольцы, *Пес* или *Петух*, а иной раз просто *Надсмотрщик*. И действительно, он, как спущенный с цепи сторожевой пес, метался от отвалов к камнедробилке, от камнедробилки к грузовой пристани и обратно, беспрестанно понукая всех к работе и свирепея молотом стальным прутом по откаточным рельсам и ржавым перегородкам, и действительно походил и на петуха, когда срывающимся голосом выкрикивал указания грузчикам на отвалах и при этом угрожающе вскидывал вверх стальной когтистый прут.

А потом этот Петух, этот Надсмотрщик, этот Пес вдруг на минуту-другую, точно окаменев, застыл перед изъеденной ненастьями гнилой стенкой у подножия Великой надписи, или у пристани, или у белесых от пыли стен камнедробилки и смотрел в пустоту, скользил дырявым взглядом по скалам и расцелинам, по серой воде, сосредоточенный на слепых пятнах, которые поднимались и опускались при всяком движении глаз; он как будто бы уже замечал первые признаки исполнения моррисоновского прогноза: пятна чуть посветлели. Сделались прозрачны по краям. Свет и вправду возвращается? Пятна убывают в размере. Док Моррисон не ошибся. Док Моррисон наверняка прав. Острота зрения восстановится.

Но стоило Берингу выйти из оцепенения и вновь увидеть вскрывшие отвалы, грузовую пристань и добровольцев, как тотчас просыпалась и бешеная ярость. И однажды холодным солнечным осенним днем, когда лужи в тени сходней до самого полудня были затянуты тонкой корочкой льда, Беринг жестоко избил своим стальным прутом строптивного носильщика, хаагского ломового извозчика, который объявил, что какой-то там *сопьяк, шлюхино отродье, вражий прихвостень* ему не указчик. Беринг так неожиданно обрушил на него град ударов — по груди, по голове, по плечам, — что бедняга даже руками не успел защититься, покачнулся под яростными тумаками, упал на колени и скорчился, обливаясь кровью. Телохранитель опомнился, только когда Амбрас выскочил из конторского барака и гаркнул:

— Прекратить!

Солдаты-охранники, которые, сидя у костра, закусывали тушенкой, подхватили винтовки и встали — но тотчас опять уселись на камни, увидев, что инцидент исчерпан: двое грузчиков помогли избитому подняться на ноги, а Надсмотрщик по знаку управляющего исчез вместе с ним в бараке.

— Что с нами будет? — спросил в этот день Беринг после долгого молчания. — Куда мы поедем?

Он сидел в бараке у стола и смотрел в глаза хозяину. Между ними на грязной дощатой столешнице лежал когтистый прут. Амбрас оттолкнул это оружие, на котором высыхающая кровь строптивца была уже почти неотличима от следов ржавчины, *спихнул* со стола Берингу на колени и повторил те же слова, какие мог сказать в ответ любой из добровольцев:

— Мы поедем туда, куда велит Армия.

— В Бранд?..

— ...и дальше. По следу камня. Куда-нибудь, где еще есть камень, понимаешь, *камень*, а не гнилье, щебень и отвалы.

— Когда же?

— Когда все здесь закончим. А теперь ступай. Дай этому парню бинт и пластырь и скажи остальным, чтоб не перегружали понтон, как вчера. Все, ступай.

*По следу камня.* И только? Собачий Король ничего больше не знал о планах Армии и о собственной судьбе? Он же чуть не каждый день виделся с капитаном. И должен бы знать много больше. Но сколько Беринг ни спрашивал, Амбрас отвечал туманными намеками или молчал, словно это секрет или ему уже совершенно безразлично, куда его бросит жизнь. *Куда-нибудь. Возможно. Вероятно. Как знать. Оставь меня в покое. Убирайся. Ступай отсюда.*

Уже два раза Беринг, преодолев отвращение, составлял фразы на языке Армии и спрашивал капитанского шофера, а потом и охранников в каменоломне о планах верховного командования, о будущем. Но солдаты лишь пожимали плечами и мотали головой или прикидывались, будто не понимают его. А Лили, которая могла все получить у Армии и все разузнать, — Лили в эти дни не появлялась. А больше... больше никто с Телохранителем, с Надсмотрщиком не разговаривал.

С тех пор как Беринг один, без Лили, вернулся с равнины, в Собачьем доме почти все время царило молчание. Амбрас, измученный болями в плечах, был мрачный, чужой, как бы отрешенный, — или это Телохранитель так изменился там, на равнине, что им с хозяином стало совершенно не о чем говорить.

Вечерами оба нередко молча сидели в Большом салоне виллы «Флора»: один — над своими реестрами, другой — над чертежами машин. В эти часы они даже с собаками уже не говорили. В каменоломне каждый делал свое дело, а в конце *смены* они безмолвно стояли у поручней понтона, безмолвно шли с пристани к Собачьему дому, безмолвно шагали по сосновой аллее, хранившей теперь лишь следы лап и башмаков. Иногда у пристани их поджидал капитан в джипе. Но и тогда они доезжали только до секретариата, а после *обсуждения обстановки* в Мооре — только до кованых ворот парка виллы. Капитан боялся собак.

Как и раньше, Берингу иной раз приходилось вычесывать пыль из хозяйских волос и даже вместо Лили промывать целебным отваром шрамы на спине, но никогда больше между ними не бывало такой доверительности, как до поездки в Бранд. Лили куда-то подевалась. Без нее попытки завязать беседу порой обрывались после первой же фразы.

И все-таки Беринг не ощутил ни облегчения, ни радости, увидев в то утро, когда выпал первый снег (и опять растаял под холодными лучами солнца), Лилина мула: он щипал траву на набрякших талой водой прибрежных лугах около водолечебницы. Они с Амбрасом как раз спускались по тропинке к набережной. Амбрас смотрел себе под ноги и, похоже, не заметил мула, пасущегося под липами у домика берегового зрителя. Они молча прошли мимо черных от копоти руин — крытая галерея без крыши, ряды пустых окон, из которых густо росли кусты; миновали метеобашню. Оттуда не доносилось ни звука. Только Амбрасов дог вдруг замер, будто учуяв знакомый запах, но потом устремился за хозяином, который ни на секунду не замедлил шаг. Беринг поежился. Мул был расседлан, но стреножен. Сомнений нет: Лили вернулась. И вместе с нею вернулась память о перьях и пушинках, падавших, точно снег, на смертельно раненного куриного вора, о еще теплом трупце, что, глухо ударяясь о каменные выступы и черные карнизы, низвергался все глубже и глубже в бездну Каменного Моря, а главное, вернулась память о ненависти в глазах Лили, о боли, какую ощутил он, мужчина, которого она в давние времена обнимала и целовала, а тогда за волосы рванула от прицела к осознанию угасшей любви. *Прекрати, прекрати, мерзавец, прекрати немедленно.*

Но Лили словом не обмолвилась ни о поездке в Бранд, ни о выстрелах на карстовом поле, когда вечером этого дня встретила в секретариате с Собачьим Королем и его телохранителем. Капитан назначил там совещание. Лили сидела в телевизионной комнате вместе с этим белобрысым типом и армейскими агентами из приозерных деревень (в том числе из Айзенау), и настроение у нее явно было не хуже, чем тогда, среди солдат в проходной Большого лазарета. Правда, на сей раз на столе лежал не меновой товар, а только газеты, иллюстрированные журналы — и игральные карты. Лили что же, не привезла с равнины ничего, кроме газет?

— Выиграла! Капитан приносит удачу. — Она помахала мятым веером банкнотов навстречу Амбрасу, когда тот с догом на цепи и в сопровождении Беринга вошел в голое, нетопленое помещение, где до сих пор каждую среду весь Моор вечером паялился на экран. Телевизор стоял на грубой деревянной консоли и сейчас был завешен полотнищем, на котором красовался портрет Стелламура. — Вон сколько выиграла... А вы? Вы остались без «Вороны»? Как дела?

— Устал я. — Амбрас рухнул на стул. — Устал.

— Кофе или шнапс? Или то и другое? — Лили подвинула к нему поднос, зазвеневший бутылками, рюмками и чашками.

— Воды, — сказал Амбрас.

— А вот собак не надо, — сказал капитан.

Амбрас повернулся к Берингу и небрежным жестом намотал ему на запястье собачью цепь.

— Подожди за дверью.

Когда Телохранитель шел к выходу, Лили скользнула по нему пустым взглядом. Таща за собой дога, Беринг хотел по дороге прихватить со стола журнальчик, на обложке которого в слепящем блеске взрывалось солнце Нагои. Но один из агентов опередил его, цапнул журнал и торопливо перелистал дрожащими пальцами: искал снимок, который хотел показать Телохранителю, — темный разворот, хаос обугленных конечностей, безволосых обгорелых голов, а на переднем плане, среди спекшихся обломков, — рука, костяная лапа.

— Монеты, — сказал агент, — монеты... жар был такой, что монеты расплавились у них в ладонях.



Нагая, расколовшееся небо на другом конце света, град раскаленных камней и кипящее море, — что значили в этот вечер репортажи из капитулирующей империи, воспоминания, которые даже в здешней глухомани давным-давно промелькнули по телеэкранам и погасли, что все это значило по сравнению с организацией исчезновения, с эвакуацией приозерья и, наконец, с той огромной новостью, какую Лили привезла с равнины?

*Лили?*

Никто из агентов впоследствии не мог сказать, вправду ли эту новость привезла в Моор Лили, или она все ж таки прорвалась сквозь треск и шорохи из радиоприемника в секретариате, или, может, о ней упомянул капитан, а Лили потом просто первая громко и торжественно сказала об этом за столом на совещании. Одно несомненно: в Мооре и вообще в приозерье именно Бразильянка больше всех была под стать этой новости. Рулевой «Спящей гречанки» в жарких дебатах с добровольцами вконец зарвался и объявил, что Бразильянка не просто привезла эту новость, но что это *ее рук дело*, у нее, мол, в Армии полно друзей и связи чуть не в верховном командовании, так вот она и добилась, чтоб издали тот самый приказ, который обитатели приозерья услышали после совещания в секретариате и — зачастую недоверчиво — восприняли как последний акт стелламуровского возмездия, как расплату за сожжение «Вороны» или просто как сделку Собачьего Короля и этой контрабандистки: верховное командование там, на равнине, решило все транспортные установки и механизмы из моорского гранитного карьера, каждый паршивый кусок металла, когда-либо использованный на Слепом берегу, а теперь ржавевший под навесом у пристани, отправить парходом в Бразилию. Все железо из каменоломни — за океан, в Бразилию!

*В Бразилию? Да ну, чепуха, быть такого не может*, толковали в деревнях, весь металлолом за океан?

*Быть не может? Это почему же? До войны-то как было? А в войну? Пароходы, и не один десяток, — в Америку, в Нью-Йорк и Буэнос-Айрес, в Монтевидео, Сантус и Рио-де-Жанейро, пароходы, битком набитые эмигрантами, изгоями и беженцами, которые не желали, чтоб их гнали на смерть — на поля сражений и в лагеря. А потом, что было потом, когда все рухнуло, в послевоенной неразберихе и в первые мирные годы? Опять же пароходы! Пароходы, полные разбомбленных, изгнанных, бесприютных, а среди этих горемык — их давние надсмотрщики, гонители и преследователи, генералы и лагерные коменданты в штатском, поджавшие хвост вожди, которые сперва послали безответную массу в огонь, а потом бросили на произвол татуированных победителей. Быть не может? Ведь когда-то казалось, что и всего этого быть не может, что все это просто смехотворно, а оно возьми и случись. Что же до машинного парка на Слепом берегу, так ведь каждый, кто слушал по радио в секретариате последние известия или умел с толком прочесть объявления на доске, — каждый знал, что этот железный хлам — доля военных трофеев, запоздалое вознаграждение для некоего бразильского генерала, который с двадцатью тысячами солдат сражался против Моора на стороне союзников и одержал победу. Этот генерал — или его брат? — после войны переключился на камень и держал теперь на атлантическом побережье Бразилии гранитный карьер, где по сей день резали безупречные, без единой трещинки, темно-зеленые глыбы, как, бывало, только на Слепом берегу и только в великую, навсегда ушедшую эпоху Моора.*

*И нате вам! Самое главное! Ораторы на борту «Спящей гречанки», среди добровольцев в карьере или в пивнушке у пристани часто упоминали самое примечательное обстоятельство отправки железа под конец речи, как проверенный козырь, который неизменно встречали аплодисментами или хохотом: Самое-то главное — управляющий и его надсмотрщик, пес этот... и, понятное дело, Бразильянка, эта приبلудная армейская шлюшка, они все трое будут сопровождать железный хлам в Бразилию; сами-то не более чем пена, отребья при-*

*озерного общества, гонимого Армией на равнину и гибнущего эти трое поплывут за океан на парохде с металлическим хламом.*

### 31. Вперед и куда подальше

— А она?

— Кто?

— Лили.

— Что — она?

— Она тоже поедет?

— По-твоему, она неделями торчит в Бранде и заговаривает зубы десятку офицеров, чтобы смотреть, как мы двое уезжаем в Бразилию?

— Значит, она едет с нами?

— У нее давно и паспорт, и все бумаги готовы. Ей даже известно название парохода. Она уже начала продавать свои штучки, *продавать*, понимаешь? *За деньги*. Она больше не меняется. Конечно же, она поедет с нами.

— Где находится тамошний карьер?

— У моря.

— А место... как называется это место?

— Что *ты-то* знаешь о Бразилии? У Лили спроси. Эта дыра расположена где-то на шоссе из Рио в Сантус.

— А мы надолго туда?.. Мы вернемся?

— Куда? На стрельбище? Доставим машины в Бразилию, установим их в каменоломне, которая еще заслуживает такого названия, понимаешь, это наша работа, а потом — кто его знает... Может, потом Армия переведет нас в зону Бранд или в район каких-нибудь терриконов...

Впервые за много дней Собачий Король и Телохранитель разговаривали. Ехали в капитанском джипе сквозь ночь и разговаривали.

— Тебя никто ехать не заставляет, — сказал Амбрас. — Можешь остаться на озере, присматривать за армейским имуществом, или иди санитаром в Большой лазарет. Или шофером, как наш друг... — Он хлопнул по плечу водителя джипа. Этот человек, бывший шлифовальщик камня, уроженец Бранда, вез их по распоряжению капитана домой, к вилле «Флора». Он ухмыльнулся в зеркальце заднего вида и отсалютовал. Беринг обуздал свое нетерпение и замолчал: этот болван пер напрямик по выбоинам и лужам, а фонтаны грязи, бьющие из-под колес, похоже, доставляли ему удовольствие. Это не езда, не скольжение и покачивание, как на «Вороне». Они *громыхали* вдоль черных шуршащих камышников. Шел снег с дождем, прочерчивая освещенную фарми тьму горизонтальными штрихами.

— Остаться? — сказал Беринг. — Здесь? Никогда.

Ноги и руки у него заоченели. Три с лишним часа дождался он Амбраса на лестнице в секретариате, дождался, когда кончится это проклятое совещание, и едва не уснул, прислонясь к неподвижному догу, как вдруг один из агентов, этот, из Айзенау, вывалился из освещенного дверного проема в темноту лестницы и, смеясь, бросил: *поедешь за океан, парень, в Бразилию*, а потом, больше себе, чем ослепшему от яркого света Берингу: «В Бразилию поедут, собаки... а мы — на равнину».

Беринг с трудом удерживал дога и понял только, что айзенауский агент совершенно пьян.

Лишь в джипе, когда редкие огоньки Моора исчезли позади, мокрый снег лупил в ветровое стекло и шофер вдруг тоже заговорил о *Бразилии*, об *окончательной победе* в Японии, о переустройстве завоеванных территорий и разделе всех *трофеев*, Беринг начал понимать, что Бразилия не просто слово на карте в Лилиной башне, не просто имя давней мечты и название страны за пределами достижимого, а цель, пункт назначения, и что путь туда тоже всего-навсего маршрут, от одного места до другого, вроде паровой линии через озеро к Слепому берегу, вроде дороги в Бранд.

Через пять дней после совещания *отъезд в Бразилию* стал реальностью и походил на зрелище того каравана танков и тяжелых транспортов, которое часто возникало у Беринга перед глазами, когда он слушал отцовы рассказы о войне: выкрашенная камуфляжной краской армейская колонна, скрипящая под грузом стали и ржавых железных балок, двинулась ранним утром в путь, оставляя позади холодный оазис в пустыне, холодные дома, шпалеры замерзших зевак, недвижимое, холодное озеро, на котором далеко в разрывах тумана покоилась, будто на якоре, «Спящая гречанка». Глетчеры и пики Каменного Моря незримые тонули в свинцово-сером небе, и далекие ступени каменоломни, и Слепой берег тоже были незримы.

Колонна медленно набирала скорость, солдаты с резиновыми дубинками шагали обок тяжелых машин, следя, чтобы бродяжки из числа зевак не вздумали прокатиться зайцем на каком-нибудь тягаче. Пока не закончатся освобождение домов и проверка *переселенцев*, в силе остаются давние зональные границы и запреты на выезд. Деревенским придется ждать собственной эвакуации, *собственного* отъезда еще неделю или две.

На грузовых платформах и подножках стояли вооруженные охранники, которые лишь постепенно отвернулись от вереницы зевак и устремили взгляд в направлении движения. Черные стены «Бельвю», последние дома Моора остались позади, в мутном облаке дизельной копоти. Все спокойно, без помех: ни камень, ни кулак, ни беглец не омрачили разлуки. Лишь несколько собак из стаи виллы «Флора», во главе с серым догом, без цепей и ошейников, сопровождали колонну, искали своего Короля, с лаем бежали возле гусениц и колес, увязая в глубокой слякотной колее. Но их Король был всего-навсего тенью; безмолвный, едва различимый за грязным стеклом, восседал он на недостижимой высоте над огромными колесами и никаких знаков не подавал. Сидя рядом с хозяином в кабине седельного тягача, который вез огромную конусную дробилку, Беринг глаз не мог оторвать от запыхавшихся твякающих собак: мало-помалу они выбивались из сил, замедляли бег, отставали.

«Что будет с собаками?» — спросил он у Амбраса вчера вечером. Они сидели за кухонным столом молча, как будто назавтра грядет самый обычный день, а вовсе не отъезд, не разлука с Моором. На сборы у каждого ушло не больше получаса. Что собирать-то? Зачехленный рояль из музыкального салона, проигрыватель, инкрустированный птицами шкаф? Когда уезжаешь не просто на время, а *навсегда*, тяжелый багаж ни к чему. Фотографии смеющейся женщины и потерянных братьев спрятаны среди одежды, кожаный мешочек с камнями из ватных гнезд *птичьего шкафа*, изумруды, розовые кварцы, переличатые опалы, пистолет, стальной коготь, бинокли, Амбрасов вещмешок, Берингов перетянутый веревками фибровый чемодан — вот и все. Книжки, домашняя утварь, коллекция пластинок и прочее мало-мальски ценное в жизни виллы «Флора» лежало теперь в потемках за запертыми железными ставнями музыкального салона.

«А собаки? Что будет с собаками?»

«Останутся здесь. Как были здесь задолго до нас, — ответил Амбрас. — Собакам мы не нужны. Сними с них ошейники».

У моорского распутия колонна свернула с проселка, ведущего вдоль заросшей насыпи, на старый горный тракт и по первым крутым взлобьям поползла навстречу туннелям, занавешенным плющом и ползучими травами; впрочем, армейские транспорты еще несколько недель назад сорвали эти занавеси. Из чашобы, прятавшей остатки железнодорожных стрелок, выпорхнули куропатки. Теперь и последние собаки стаи отстали от каравана, бросились в заросли. Только серый дог замер в слякотной колее, не побежал вдогонку за машинами дальше в горы, просто сидел и, учащенно дыша, смотрел, как транспорты один за другим исчезают в черной пасти туннеля.

Лили, ехавшая вместе с белобрсым капитаном и четверкой солдат в головном броневике, встретила внезапную тьму шутивным протестом. Она держала на коленях транзистор и настраивала музыку, тщетно пытаясь добиться

чистого приема. Здесь, в недрах гор, изломанные звуки эфира, смахивающие на победные крики и вой электрогитар, дробились, превращались в невыразительное шуршание. Музыка. В Бранде или на какой-нибудь другой остановке по пути к морю она постарается купить новый приемник, на те деньги, что выручила за лошадь и мула у переселенца, который владел теперь и ее белым лабрадором.

*Новый приемник.* Может, такой же вот маленький, невесомый, как у солдат в Бранде: они цепляли их к поясу или, засунув в карман френча, таскали с собой повсюду и ни на миг не расставались с музыкой. *Рок-н-ролл* из крохотных наушников, громко и мощно, будто в Самолетной долине. Не будет больше ни трескучей коробки на шее мула, ни эфирных помех! И духовой музыки из динамиков на плачу не будет, и бригоголовых, и пожарищ. Все это в прошлом.

— Эй! — Лили подтолкнула капитана локтем, точно лишь теперь, в потемках, осознала, что с каждой секундой все дальше и безвозвратно удаляется от Моора. — Эй! Мы едем. Бразилия! Мы в пути.

По стенам туннеля, по грубому камню, на котором в лучах фар взблескивали и снова гасли вкрапления слюдяного сланца и осколки кристаллов, ползли черные струйки влаги.

*Светло.*

Колонна окунулась в серый свет ущелья — и исчезла в следующем туннеле.

*Темно.*

Беринг тихонько отпихнул хозяина: Амбрас боролся со сном и все же то и дело ронял голову Берингу на плечо. Шофер тягача, солдат, которого пассажиры заботили не более, чем периодический грохот и ляг груза за спиной, насвистывал какой-то мотивчик, неслышный в шуме езды. Второму туннелю просто конца не было. Берингу чудилось, что сквозь тепло Амбрасова соседства на него наваливается тяжесть гор, холод чудовищной массы, громоздящейся на сотни и тысячи метров над головой. Где-то в глубине этого горного хребта, навеки заключенный в камне, как миллионолетняя златолазка в янтаре или кристаллики пирита и газовые стрекозки внутри изумрудов, что спрятаны у Амбраса в кожаном мешочке, — где-то там *parià* труп куриного вора. Может, как раз сейчас, сию минуту, они проезжали глубоко под основанием того карстового поля, глубоко под заключенным в известняке кладбищем, что хранило замерзших беженцев, и Лилину винтовку, и обсыпанного кровавыми перьями бригоголового.

Снежный свет. Горы выплевывали их из туннелей — в теснину, полную водяной пыли, в заброшенные долины, плавно клонящиеся к равнине. Не останавливаясь, колонна шла мимо развалин конюшен и пастушьих хижин, мимо каменных стенок, окаймлявших заросшие альпийские пастбища, почти неотличимых от обросших мхом скал. С белых высот стекали каменные реки осыпей. Вершины и хребты уже укрылись снегом. Раз два-три Берингу помешался у самой границы лесов дым бивачных костров, сквозистые, тающие вдали дымные столбы, — дырявый взор более не прятал от него мир вокруг. *Слепые* его пятна плыли в безлюдье, бледные и прозрачные для света. Над карами и скалистыми склонами скользили тени облаков.

Хотя дни были уже по-зимнему коротки, колонна еще до наступления ночи добралась до сортировочных путей и платформ Брандского вокзала. Город был невидим за черными от копоти павильонами и пакгаузами — купол света, вырастающий в сумраке. Возле тускло освещенных поездов кишели людские толпы, а между ними Беринг заметил остовы вагонов, из простреленных или попросту насквозь ржавых крыш тянулись вверх кусты и тоненькие березки.

На широкой щебеночной полосе, окаймленной высокими матчами фонарей, движение резко замедлилось. Солдаты с походной выкладкой и штатские с узлами, ящиками, чемоданами и птичьими клетками, напирая друг на друга, спешили к платформам на посадку, и ехать можно было только с их скоростью, то есть шагом.

— Беженцы? — спросил Беринг.

— Переселенцы, — ответил Амбрас. Шофер тягача жал на клаксон, и громкие гудки разбудили Собачьего Короля. — Армия обещала им целинные земли.

*Североморский экспресс* стоял в тупике на запасном пути — казалось, сюда без ладу и складу собрали весь подвижной состав, что в годы Ораниенбургского мира был реквизирован, признан негодным или брошен на разбомбленных узловых станциях, отданный во власть ржавчины, мародеров, сборщиков утиля: грузовые платформы, товарные вагоны, телятники и тут же пассажирские вагоны первого класса с выбитыми стеклами, цистерны, вагоны с опрокидными кузовами, спальные и салон-вагоны — все вперемежку, сцепленные друг с другом по принципу случайности и набитые грузом, скотиной и людьми.

Но Берингу в этом протянувшемся на сотни метров *экспрессе* с двумя гигантскими тендер-локомотивами забрезжил еще и туманный образ *поезда свободы*, остатки которого ветшали среди зарослей кустарника в развалинах моорского вокзала. Он не мог извлечь из пучины памяти и довести до собственного сознания далекий холодный день раннего детства, когда этот поезд в туче гари припыхтел к нему навстречу, привез из пустыни отца, чужака с багровым шрамом на лбу. Однако теперь, впервые в жизни войдя следом за Лили и Амбрасом в готовый к отправлению железнодорожный вагон, и не какой-нибудь — вагон-люкс, к которому их провожали капитан и двое военных полицейских, он почувствовал, как в нем вскипает что-то вроде панического квохтанья, сотрясшего в тот давний день все его существо, когда чужак подхватил его на руки — и уронил.

Вагон-люкс, реликт почти забытых времен, когда богатейшие постояльцы «Гранд-отеля» и «Бельвю» путешествовали, бывало, в таких подвижных апартаментах через Каменное Море к Моорскому озеру, был прицеплен к груженной бревнами платформе и переполнен солдатами, которые возвращались домой, в Америку: парни в форме сидели в ветхих, привинченных к полу креслах, спали на потертых плюшевых диванах, играли в карты на столиках красного дерева. При виде Лили некоторые из них восторженно завопили.

Капитан согнал с диванов двух «сурков», расчистил для своих штатских место в вагоне, отведенном для *marines*, для морской пехоты. Лили достала из дорожной сумки бутылку коньяка, поставила ее на самый большой стол и, улыбаясь, спросила на языке Армии, можно ли закрыть окно, или *marines* в эту холодину проводят тренировки на выживание. Четверо солдат разом устремились на помощь приятельнице капитана.

*Она — его подружка?* — прошептал один из картежников. *Этот белобрый шибздик — и такая шикарная штучка?* Что ж он тогда убрался со своими гориллами и даже не поцеловал ее на прощание, только козырнул всем трим — ей и этим двум деревенским мужикам. Дырявые занавески голубого бархата вздулись от сквозняка. Дверь вагона с грохотом захлопнулась за капитаном и его гвардейцами. Ночь сулила бурю.

Когда моорское железо, перехваченное цепями и стальными тросами, покачивалось на стрелах подъемных кранов над погрузочной платформой, с маховиков и барабанных грохотов сдувало на рельсы пыль Слепого берега. Не один час тяжкая дрожь и громыхание погрузки отдавались в металлических стойках, обивке, красном дереве, костях и мышцах, и пассажиры, пытавшиеся до отправления подремать на плюшевых диванах, на холодном дощатом полу или на соломе в телятниках, глаз сомкнуть не могли. Отправление? На вокзалах вроде этого пассажир разыскивал свой поезд, отвоевывал там место, а потом часами — и порой тщетно — дожидался, чтобы населенный пункт, который ему не терпелось покинуть, наконец-то исчез из окон купе.

Полночь давно миновала, когда поезд резким рывком тронулся, да так неожиданно, что один из солдат, поднявшийся из-за *карточного стола* и потянувшийся к багажной сетке, не устоял на ногах и чертыхаясь рухнул в объятия партнера.

Путешествие от края Каменного моря до побережья Атлантического океана продолжалось всю эту ночь и еще две холодные ночи и три холодных дня. В первый же день Беринг из пустой нефтяной канистры и двух жестяных ведер, найденных в чулане салон-вагона, соорудил печурку, правда, топила она по-черному: дым уходил через дверь и окна. В вагонах переселенцев горели костры. Зима в этом году пришла рано.

Поезд пыхтел сквозь туман, дождь и снежную круговерть, иногда часами стоял у зональных границ и checkpoints<sup>5</sup>, а иногда и без всякой видимой причины — в чистом поле. Торговцы-разносчики, возникавшие тогда словно из небытия и, зазывно крича, спешившие вдоль вагонов, с лотками, корзинами и двухколесными тележками, предлагали только овечий сыр, хлеб, душистые приправы, сидр да связки леденцов.

Новый радиоприемник? Где в этом безлюдье купишь новый приемник? Североморский экспресс шел по вьюжным степям, и за все время пути лишь дважды промелькнули высокие освещенные дома, оазисы, играющие яркими бликами стеклянные башни вроде брандских дворцов. Но обычно за окном часами тянулись плоские волны чуть припорошенных снегом голых пустошей, руины брошенных деревень да болотистые луговины, где поезд распугивал сотни диких кроликов, в панике бросавшихся врассыпную. *Нюрнберг* — прочел Беринг на торчащем из черных кустов домишке централизованного поста, за которым не было ни вокзала, ни города, только степь.

Там, на ничейной земле между зонами, сказал тормозной кондуктор (Беринг встретил его на одной платформе во время очередного своего рейда по вагонам), — там природа маленько отдохнула от людей, там опять появились птицы, которых считали давно вымершими: соколы-балобаны, степные орлы, соколы-дербники, белые куропатки. А уж про цветы и говорить нечего! Венерины башмачки и другие орхидеи, никто теперь даже и не помнит, как они называются, — чисто рай... Гамбург? Трудно сказать, пожал плечами кондуктор, меж тем как Беринг уже перебирался через буфер и сцепку к другому вагону, может, часов двадцать, а может, и все тридцать.

Лишь очень немногие вагоны Североморского экспресса соединялись между собой мостиками-переходами. Тому, кто хотел от локомотивов добраться до хвоста поезда, нужно было использовать перегоны, где состав шел на малой скорости, и карабкаться через буфера и сцепки, как Беринг, или спрыгивать на стоянке и через два-три вагона опять хвататься за хлипкие железные ступеньки, при том что во время перебежек экспресс вполне мог снова прийти в движение.

Иногда, после многочасовых задержек в чистом поле, в тумане и под дождем, казалось, что эта дорога так никуда и не приведет, но могучий вихрь, подхвативший пассажиров и увлекавший их к морю, был сильнее всех препятствий. Они ехали к морю, все дальше и дальше; даже когда поезд стоял, они продолжали путь в своих разговорах и мечтах, а мечты у всех были разные: солдаты мечтали о танцбарах и вечеринках с шашлыками в собственном саду, об охоте и ловле лосося в лесах Америки; переселенцы — об обещанных земельных участках в северных маршах, о покинутых хуторах, которые ждут не дождутся новых хозяев, о затерянных в приливной полосе птичьих островах, о лучшей доле под небом, не стиснутым клещами гор... Но о Бразилии мечтала только подруга капитана. *Этот* рай принадлежал троим штатским из Моора и больше никому.

Убегающий назад, в Бранд и в прошлое, пейзаж становился все более плоским и исчезал из виду в снегу и потоках дождя, а Лили разворачивала на столе, параллель за параллелью, рваную, в пятнах плесени карту (из ее складок еще сыпалась побелка метеобашни) и показывала кой-кому из солдат, а заодно и Берингу, где именно на побережье Бразилии расположена та камено-

<sup>5</sup> Контрольно-пропускных пунктов (англ.).

ломня, та глухая деревушка, *Пантану*. На карте ее не было, но Лили карандашом нарисовала кружок на темной зелени побережья, где, судя по всему, не было ни шоссе, ни железных дорог. *Где-то там*. Но ее путь лежал не в Пантану. Каменоломня, в которой гранит и тот был под цвет дождевому лесу, находилась на пути в Сантус. Мать Лили, стоя у мольберта, перед портретом мужа, перед писанными маслом парусниками и пылающими закатами, мечтала о Сантусе, о заоблачных горах на берегу просторного залива. В Сантус отправились те переселенцы, что некогда видели в Мооре повешенного на вышке для прыжков в воду. *Сантус*. Лили наконец-то продолжила бегство, прервавшееся на заливных моорских лугах.

Когда за столом в салон-вагоне она говорила с Амбрасом о Бразилии и читала ему слова из потрепанного словаря, Беринг тоже иногда задавал короткие неожиданные вопросы, и она не молчала, не смотрела на него будто на пустое место, как бывало без Амбраса, а называла ему португальские слова, означающие *хлеб, жажда* или *сон*, и Телохранитель с легкостью их повторял.

— Пантану, — прочитала Лили однажды под вечер, когда поезд час за часом стоял у стального моста на зональной границе, и протянула книгу Амбрасу. — *Pantano*. Вот, смотрите. Означает *болото, болотистые джунгли, влажные области*.

Амбрас взял у Лили открытую книгу, даже не взглянув на ту строчку, какую она ему показывала; он смотрел мимо Лили, в окно, на зимний пейзаж, и сказал:

— Болото... Моор.

### 32. Муйра, или Возвращение домой

Море? Атлантический океан? Единственное море, знакомое Берингу, было из гранита и известняка, и высочайшие его валы и буруны несли на своих вершущах ледники и снега. Девятнадцать дней на борту «Монти-Неблины», бразильского фрахтера, ходившего из Гамбурга в Рио-де-Жанейро, были не плаванием, а перелетом из студеного туманов Европы в летней зной над бухтой Гуанабара, парящим скольжением над подводными горами, пустынями, впадинами и чернильно-синими холмами.

Хотя вершины, что вырастали из пучины и, однако же, никогда не поднимались над поверхностью воды, Беринг видел лишь как волосяные контуры, выведенные самописцем пароходного эхолота, или просто угадывал их в пляске теней под волнами, он все равно ощущал каждый вал словно порыв ветра, термический импульс, который нес его высоко над кручами подводных гор. Каждое движение парохода на всем пути, от бурунов и толчеи Бискайского залива до выглаженных пассатами волн Гвинейского и Южного Экваториального течений, становилось для него фигурой полета. «Монти-Неблина» испытывала то килевую качку, то бортовую, то крен, а Беринг взлетал, витками набирал высоту, пикировал, входил в штопор и парил над синей бездной. Впадины Иберийской и Зеленомысской котловин скользили глубоко под ним, поросшие кораллами скальные обрывы Азорского порога, голые утесы Срединно-Атлантического хребта и, наконец, поля илистых отложений и глиняные пустыни Бразильской впадины, где лот, брошенный за борт ножик, опускался на глубину шести тысяч метров и мог еще погружаться и погружаться.

Беринг летел. Нередко он часами сидел на железной лесенке в машинном отделении, в грохочущем зале, где температура достигала пятидесяти градусов по Цельсию, сидел зачарованный видом самой колоссальной машины в своей жизни — дизеля, черного, громадного, как дом, двухтактного, девятицилиндрового, мощностью двенадцать тысяч лошадиных сил, потреблявшего в день сорок тонн топлива, — сидел прислонясь к поручням и все равно летел и парил: скользил с закрытыми глазами, как тогда, в темноте первого года, покачиваясь в теплой защищенности, пока пароходный винт, который при сильном волнении иной раз с воем выныривал из кильватерной струи, не вырывал

его из грез. В единственный за весь рейс шторм, ранним утром на широте Мадейры, Беринг невольно поддался этому вою и почувствовал, как волна... как ураган выбросил его из маятника колыбели и швырнул в исчерна-синее небо, в исчерна-синюю глубину, отправил в полет.

Иногда ночью, лежа без сна в душной каюте, которую он делил с Амбрасом, Беринг слышал стоны Собачьего Короля и не ведал, снится ли хозяину боль, или он в самом деле страдает. Но Телохранитель не задавал в темноту вопросов, просто лежал, безмолвный, неподвижный, злой, в своей койке и поневоле вспоминал стаю виллы «Флора», только этих собак в дебрях шипов и колючей проволоки, вспоминал, пока от стонов, и собак, и близости хозяина не становилось неведомо. Тогда он, стараясь не шуметь, вставал и сбегал в машинное отделение.

Среди машинистов «Монти-Неблины» нашелся один — добродушный инженер из Белена, — который далеко за полночь, перекрикивая грохот дизеля, называл бессонному пассажиру португальские имена вентиляей, головок цилиндра и генераторов, работающих на тяжелом топливе, и, когда тот безошибочно их повторял, уважительно хлопал его по плечу.

Если вахта выдавалась спокойная, этот машинист брал пассажира в контрольный обход по коридору гребного вала, они шли вдоль вращающейся стальной колонны к тому месту, где совсем близко громыхал гребной винт, и обратно в несветную жарницу, к головкам цилиндров; инженер показывал Берингу, где замеряют температуру опорных подшипников, как можно определить уровень охлаждающей воды и масла, отрегулировать наддув или уменьшить давление в утилизационном котле, и громко, зычным голосом, называл все свои действия, а Беринг, обливаясь потом, повторял его слова, тоже громко, зычным голосом.

Как-то раз после такой ночи, поднявшись на палубу перевести дух, он буквально ослеп от яркого утреннего солнца, а когда глаза привыкли к свету, то исчезли, уплыли прочь не только светло-зеленые и оранжево-красные пятна, но и что-то потемнее, тени, черные шары. Синева неба стала безупречной.

В пещерах, коридорах и туннелях машинного отделения мутные разводы в поле его зрения легко и неприметно терялись, пропадали — тени среди многих других теней. Но здесь? В этой синеве? В этом свете? Моррисон оказался прав! Беринг поднял голову — на безоблачном небе парили тончайшие стекловатые шрамчики, и ничто больше не препятствовало этому великому свету, не омрачало его взгляд.

Когда он рано утром вернулся в каюту, Амбрас, как всегда в таких случаях, уже куда-то ушел; может, он был на носу, возле якорной лебедки, где нередко часами сидел один, укрытый от ветра фальшбортом, может, в столовой, а может, глубоко в трюме, возле моорского железа. В открытый иллюминатор веяло запахом моря. Поскольку хозяин не мешал ни своим присутствием, ни своей болью, Беринг и на этот раз забрался в койку и уснул, но проснулся не как обычно перед полуднем, а много позже, когда уже быстро опускались тропические сумерки: пока он зевнул, потянулся и отвел со лба спутанные волосы, в иллюминаторе успели вспыхнуть звезды.

*Лили.*

Первая мысль Беринга после этого дня без сновидений была — о Лили. Она отвела его к Моррисону. Она оттолкнула его и обругала, а возможно, еще и ненавидела, точно так же как он ненавидел ее там, наверху, среди карстовых провалов. Но она отвела его к Моррисону. И Моррисон оказался прав. Единственный знак... если б она сейчас подала ему единственный знак: *поди сюда...* Он бы пошел. Рискнул бы еще раз подойти к ней — и будь что будет.

Но каюта Лили была пуста. А в столовой аккордеонист распевал какую-то стремительную песню, под которую танцевали две пары, из-за качки то и дело сбиваясь с такта. И торговец из Порту-Алегри, сидевший за одним столом с Амбрасом, говорил: «Красивая, как бразильянка...» Правда, он имел в виду не



Лили, а большую, в натуральную величину, статую Мадонны, которая лежала в трюме, укутанная в древесную вату и бумагу; сорок семь ящиков, говорил торговец, сорок семь ящиков с изваяниями ангелов и святых, князей, мучеников, полководцев, распятых и спасителей из развалин Центральной Европы, все куплено по сходной цене и уйдет в руки богатых фазендейро, коллекционеров и фабрикантов, разведется по всей стране, от Риу-Гранди-ду-Сул до Минас-Жерайс, да что там, далеко на север, до Баии и Пернамбуку! Перспективное дело. В зонах и ничейных землях на Дунае и Рейне эти герои и святые способны помочь разве что теми деньгами, какие за них дает рынок. Эмиграция, сказал торговец, переселение... больше там ничего уже не сделать; к примеру, у него в семье только переселенцы кой-чего и добились.

Лили?

Ни Амбрас, ни торговец не видели ее с утра. В иные дни она вообще не появлялась в столовой, ела у себя в каюте или где-то еще, а если приходила в столовую или в курительную, то редко сидела за одним столом с моорскими, чаще вместе с бразильцами — с туристами, которые возвращались домой после приключений в военных пустынях Европы, или с бизнесменами и «охотниками за головами», которые искали в зонах рабочую силу, новые рынки сбыта и всякий мало-мальски пригодный хлам. Словарь и карта Бразилии всегда были у Лили под рукой, и постепенно она успела посидеть почти за всеми столиками, потолковать почти со всеми не слишком многочисленными пассажирами «Монти-Неблины» и давно начала говорить с ними по-португальски, в том числе и с торговцем из Порту-Алегри, который наверняка понял бы даже моорский диалект.

Но когда Беринг в этот вечер наконец отыскал ее на пеленгаторной палубе и хотел сообщить, что дыры в его взгляде закрылись, как и предсказывал док Моррисон, она смотрела на белый угасающий след кильватерной струи, смотрела так безмятежно, отрешенно, будто и не замечая его, Беринга, что он не произнес ни слова. Он видел перед собой Лилины черты отчетливо и все же в глубокой тени, словно тьма, ушедшая из глаз, теперь дымным маревом вновь поднималась из недр его существа, омрачая лицо потерянной возлюбленной, и море, и небо, и весь мир.

Он молча отвернулся и пошел прочь, спустился в машинное отделение и не один час просидел там на железной лестнице, не желая слышать ничего, кроме глухого буханья поршней, и беленец-машинист сообразил, что сегодня ночью пассажиру не до разговоров. Беринг сидел, и вслушивался в громовую симфонию дизеля, и различал в ней густые, басовые и пронзительно-высокие металлические голоса, однако ж ни один из них не отдавался болью в его ушах. А когда судно угодило в отроги тропической бури и началась сильная качка, он не стал цепляться за поручень, а ловил ухом временами долетавшие вниз раскаты грома, не путая их со стуком поршней, и при этом покачивался между поручнем и стальной переборкой как маятник, как спящий. Но он не спал. Сидел с открытыми глазами, пока море опять не успокоилось. *Наверху*, должно быть, близился восход.

Только теперь он встал, будто наконец услышал сквозь шум дизеля свое имя, поднялся из жары машинного отделения в лишь чуточку более прохладное утро, и стоял, глубоко дыша, возле фальшборта, и думал, что все же видит сон: горы! Черные горы вставали из океана, из дымки перламутровых туманов: гранитные башни, скальные кручи, темные и мощные, как обрывы Каменного Моря. Отшлифованные эрозией круглые вершины, точно медузы, парящие над облаками, превращались среди клубов тумана в спины чудовищ, которые мало-помалу покрывались шерстью деревьев, цветущим мехом в оковах лиан и ползучих растений, облаками кустарника, пальмами.

Близкие и вместе отрешенно-далекие, как сновидение, горы противостояли натиску прибоя, швыряли навстречу сновидцу и его кораблю покрытые джунглями острова, плавающие сады и лениво поворачивались под ветром, показывая бухты и мысы, полумесяцы светлых пляжей. А между водой, скалами и

небом, на кромке гор и моря теперь блистали фасады, многоэтажные дома, бульвары, разбросанные по мысам, крутым склонам и берегам бухт виллы, церкви, белый форт, который со своими орудийными башнями и флажстоками дважды тонул в тумане и дважды всплывал вновь, сверкающий и как бы осыпанный не то бликами, не то вспышками дульного пламени. А где-то высоко-высоко над всем этим колыханием облаков, прибоя, стен и камня грезились пассажиру венчающая одну из вершин исполинская фигура: она раскинула руки — и он полетел ей навстречу, как вдруг чья-то ладонь хлопнула его по плечу и сбросила вниз. И волей-неволей он очнулся от грез. За спиной стоял машинист. Хлопал его по плечу. Смеялся.

Но горы, бухты, раскинутые руки не исчезли. Кустарник на круглых вершинах, непроходимые джунгли, засветился темной зеленью. Скалы остались черны. И машинист тоже остался, где был, и все выкрикивал, ликуя, одно и то же имя, снова и снова, пока Беринг не понял наконец, что этот город, эти бульвары и пляжи и все, к чему он летел, не было сновидением, а относилось к тому, о чем возвещал голос машиниста, который снова и снова кричал *Рио*, и смеялся, и опять кричал, выстукивая слоги у него на плече: *Рио-де-Жанейро!*

В доках Рио-де-Жанейро их ждали не солдаты и не генерал, а смуглая женщина и вместе с нею — двое слуг, или носильщиков, в красных ливреях. Женщину звали Муйра, и, когда она сказала свое имя, Беринг было подумал, что так на здешнем языке звучит приветствие.

*Муйра?*

Это слово из языка тупи́, пояснила она. Означает — *Красивое Дерево*.

— Тупи? — переспросила Лили.

— Лесные люди, — сказала Муйра. — Жили когда-то здесь на побережье.

— Жили? — спросила Лили. — А теперь?

— Теперь у нас остались только их имена, — ответила Муйра.

Сумрачная женщина, эта Муйра, — смуглая кожа, темные глаза, темные волосы, даже звук голоса какой-то темный, низкий, грудной. Она была ровесницей Беринга, ну, может быть, чуть постарше, и он забыл отпустить ее руку, так и держал в своей, пока Муйра не отняла ее, чтобы показать ливрейным носильщикам, какой багаж нужно забрать.

— Добро пожаловать, я говорю это и от имени сеньора Плиниу ди Накара, — сказала она затем. У патрона дела в Белу-Оризонти, и вернется он в Пантану через одну-две недели. Обещал привезти новую машину, гусеничный толкач. Самый большой карьер *fazendas* «*Аурикана*» много лет бездействовал, техника проржавела, а дорога туда и теперь в дожди непроходима.

Муйра понимала язык приезжих, хотя о *зоне*, где находился Моор, знала только, что кто-то из ее родни тоже приехал из тех мест — из Бранденбурга, это, наверно, недалеко? Он был мостостроитель, возводил виадуки в Сальвадоре и в Европу уже не вернулся. А о Европе она знала, что там тесно, слишком тесно, и что войны там разгорались быстрее и чаще, не то что в стране, которая, несмотря на города с многомиллионным населением и небоскребы, терялась в джунглях, в дождевых лесах Амазонаса, в болотах Мату-Гросу.

— «Монти-Неблина», — сказала Муйра по дороге из доков. — *Мой корабль*. Вы приплыли на моем корабле.

Приезжие из Моора теснились среди багажа в вездеходе, за рулем которого сидел один из ливрейных, и смотрели, как «Монти-Неблина» исчезает в чаще кранов, тяжеловесных грузовых стрел, погрузочно-разгрузочных устройств, подъемных мостов и радиомачт. Моорское железо выгрузят лишь к концу недели, после рождественских праздников, и на специальных платформах отправят в Пантану.

Бразилия так велика, сказала Муйра, что ее высочайшую вершину открыли и измерили всего год-другой назад, в джунглях на границе с Венесуэлой, *Пиксу-да-Неблина*, высота более трех тысяч метров. Причем в Бразилии есть не только по сей день неведомые горы такой вот высоты, но и затерянные народы... К примеру, некоторые племена Амазонаса поныне остаются неизвестны,

только пилоты топографической службы видели с самолета и засняли дымы их костров, тающие в воздухе знаки жизни.

— Пику-да-Неблина! — воскликнула Муйра. — *Моя гора.* — Когда-нибудь она непременно туда отправится, в Манаус и вверх по Риу-Негру и дальше в джунгли, по следу дымов, до края Бразилии, до края света.

Неторопливо раскручивалась под колесами, мурлычущими на горячем асфальте, береговая линия Рио-де-Жанейро. *Не гони!* Муйра предостерегающе тронула рукой плечо водителя. Каждый раз, когда перед ними открывался новый полумесяц пляжа, новые, пестрящие красками бульвары, Муйра поворачивалась к приеждим и говорила названия пляжей и бухт, а Беринг порой беззвучно копировал движения красивых губ этой бразильянки: *Прайя-ду-Фламенгу, Энсеада-ди-Ботафogu, Прайя-ди-Копакабана... да-Ипанема... Леблон... Сан-Конраду, Барра-да-Тижужа...* Город остался позади. За просторной, почти безлюдной бухтой — при виде ее Муйра провозгласила: *Грумари!*, а прибор почти совершенно заглушил и рокот мотора, и пение шин — автомобиль с ревом ворвался в искристую тишину мангровых лесов, вспугнув огромные стаи цапель.

Сеньор Плиниу — генерал? Муйра засмеялась и покачала головой, когда Амбрас спросил о новом владельце моорского железа. Патрон, конечно, всегда гордился, что в чине *tenente*, то бишь лейтенанта, сражался в корпусе маршала Маскареньяса ди Мораэса, сказала Муйра, в корпусе великого героя Бразилии, который вместе с Америкой и ее союзниками одержал победу в мировой войне... о триумфальном шествии по улицам Рио, о карнавале по случаю победы патрон и сейчас вспоминает с восторгом... но сеньор Плиниу ди Накар — и генерал?

Дорога в Пантану повторяла рисунок береговой линии, бежала вдоль песчаных и скалистых бухт, то узких, глубоко врезанных в сушу, то изогнувшихся широкой дугой, вдоль кромки девственного леса, который темными каскадами спускался с заоблачных высей к морю и порой неожиданно расступался, открывая взору водопад, грохочущие струи, низвергающиеся навстречу бурунам прибоя и еще на лету обретающие сходство с кипящей пеной и гребнями волн... мимо приезжих пронеслись шумные приморские деревни с их дощатыми лавчонками, обвешанными гроздьями бананов, с заправочными станциями в тени обсыпанных цветами скал, глинобитные хижины, затерянные в буше... а Муйра меж тем рассказывала о геометрически ровных эвкалиптовых лесопосадках своего патрона, о плантациях сахарного тростника, маниоковых полях, пастбищах и каменоломнях *fazendas* «*Аурикана*», большого хозяйского поместья; рассказывала о любви сеньора Плиниу к Америке, о глубоком его уважении к маршалу Маскареньясу и о его плане воздвигнуть герою Бразилии на одном из утесов возле Пантану памятник из зеленого гранита здешних каменоломен — обелиск, который сохранит в веках радость победы и скорбь о павших бразильцах...

Слушая рассказ Муйры, Амбрас порой кивал. Он что же, раньше слышал историю ее патрона? Беринг видел только, что Амбрас страдает от боли и тщетно пытается смягчить рывки и тряску езды: хозяин сидел скрестив руки на груди и обхватив плечи ладонями, будто сам себя обнимал. Нет, он давно уже ничего не слышал, он был где-то далеко. А Лили завороженно смотрела на побережье, на пенные гребни прибоя: она была на пути в Сантус. Автопоезд, который доставит моорское железо в Пантану и отправится вдоль побережья дальше на юг, заберет ее с собой. Она была почти у цели. Почти в Сантусе.

Один только Беринг, хотя и до предела вымотанный, ловил каждое слово этой бразильянки, иногда наклонялся вперед, словно в напряженнейшем внимании, и погружался в ее взор, и чувствовал на лбу прикосновение ее темных, вьющихся на ветру волос; он был как бы наедине с этой женщиной.

Все, что она говорила, было адресовано ему. И среди множества новых имен и слов он слышал теперь и названия европейских полей сражений, кото-

рые она перечислила *нараспев*, как стишок-считалку, а потом пояснила, что по распоряжению патрона дети в школе фазенды «Аурикана» заучивали эти названия наизусть и распевали, хором и поодиночке: *Монте-Кастелло, Монтезе, Форново, Цокка, Коллекьо, Кастельнуово, Камайоре, Монте-Прано...*

Тот, кто мог без запинки, на одном дыхании, отбарабанить наизусть восемь *vitorias*, восемь побед, получал от патрона награду — несколько монет или пакетик засахаренного арахиса, потому что на всех этих полях сражений, где-то в Италии, Бразилия под драконьим знаменем маршала Жуана Баптисты Маскареньяса ди Моразса одержала победу над врагами всего человечества.

### 33. «Аурикана»

Господский дом фазенды «Аурикана» стоял на одной из многих террас, которые хозяин, Плиниу ди Накар, после благополучного возвращения из Европы, с войны, велел выкопать, вырвать, выжечь и вырубить в девственном лесу возле бухты Пантану.

Поля, пастбища, висячие сады поместья, словно ступени огромной лестницы, спускались по склонам *Серра-ду-Мар* к широким пляжам, откуда к верандам фазенды долетал умиротворяющий шум прибоя. Даже пастухи, когда отлавливали в перепуганном стаде предназначенных на убой животных или, вскрыв какому-нибудь племенному быку гнойник, выдавливали оттуда личинок овода, а затем натерли рану вонючей мазью, — даже они порой отвлекались от работы и поверж зубчатых термитников смотрели вниз, на море.

Сеньор Плиниу ди Накар сражался на стороне Америки и под стягом своего любимого маршала победил европейских варваров, а впоследствии и сами джунгли: награжденный высшими военными орденами Бразилии, он еще в тот год, когда вернулся на родину, вступил в наследство и вместе с армией сельхозрабочих раскорчевал лес в бухте Пантану, посадил маниоку, кофе и бананы и открыл каменоломню, а вдобавок в вольерах и клетках, которые россыпью стояли теперь вокруг дома в тени аурелий, веерных пальм и бугенвилей, разместил всевозможных представителей животного мира, пойманных им во время странствий в джунглях родного континента: гривистых волков из Сальвадора, черных ягуаров из Серра-ду-Жатапу, аллигаторов Амазонаса, ленивцев, тапира, королевских урубу и туканов, обезьян и попугаев десяти с лишним видов, киноварно-красных коралловых змей и огромную, как бревно, анаконду.

Ржавеющие железные прутья и бамбуковые решетки иных клеток и вольеров с годами почти исчезли в зарослях наступающего буша, и посетитель, незнакомый с фазендой, был уже не в состоянии разобраться, где кончается хозяйский *зверинец* и начинаются джунгли: как знать, откуда сверкают глаза ягуара — из-за оплетенной зелеными побегами решетки или просто из гибкого, колеблемого ветром подлеска. А байские ары с их лазурными и ярко-алыми хвостовыми перьями — может, они сидят в невидимых вольерах, а может, на свободе, в густых ветвях. Хотя страсть патрона к собирательству была неутолима, число диких животных, беспрепятственно разгуливающих по его владениям, далеко превышало число пленников зверинца; Берингу, этому странному европейцу, который и веселил и изумлял своей способностью подражать птичьим голосам, Муйра показывала в сумерки броненосцев и легуан, а еще целую батарею банок с заспиртованными коралловыми змеями, которых скотники убили в загоне для молодняка.

Семь разных видов колибри Беринг насчитал в первые же дни на фазенде, когда в жаркие и душные послеполуденные часы качался в гамаке на веранде гостевого дома, а крошечные птички порхали вокруг стеклянных жбанчиков с сахарной водой, подвешенных к потолочным балкам. Временами колибри замирали в воздухе, как стрекозы, образуя кольцо, трепещущую пернатую корону, запускали изогнутые клювы и тоненькие язычки в искусственные цветы на жбанчиках и словно бы составляли вместе со сверкающими в стекле водяны-

ми столбиками таинственные знаки, тотемы из переливчатых перьев, клювов, пластиковых цветов, воды и света.

Но владыка, о чьей вездесущности свидетельствовали эти птичьи знаки, оставался незрим. Потому что ливни, которые в рождественские и новогодние дни насыщали побережье влагой, а в иных бухтах обрушивали в море селевые потоки и каменные лавины, держали в плену даже самого могущественного хозяина, сеньора Плиниу ди Накара, он не мог выбраться из глухой деревушки всего-то в сотне километров к северу от фазенды.

Пантанское ненастье не шло ни в какое сравнение с теми летними грозами, что были знакомы приезжим из Моора: эти яростные ливни с бесперывными вспышками молний и пушечными раскатами грома наплывали порой с низкими тучами, прикидываясь обычным дождем, и лишь совсем рядом сгущались в *стену* воды, переломанных веток, слепящего света и листвы. Такая буря могла бесноваться и несколько минут, и несколько часов, могла превратить день в ночь, а ночь — в день. Проселки и овраги мгновенно становились бездонными бешеными потоками, открытые дорожки и лестницы между террасами и садами фазенды — kloкочущими водопадами.

Сообщение по горным дорогам Серры и в ряде мест на побережье, сказал голос радиодиктора, нарушено оползнями, а из динамика на радиоузле фазенды послышался другой голос, похожий на дикторский: чертыхнулся, а потом хохотнул, коротко, резко, и Муйра перевела: *Так может продолжаться еще много дней. Мы застряли.* Это был голос ее хозяина.

Большой автопоезд? С железом? Из Рио? Сейчас об этом даже и думать нечего.

Когда солнце разорвало тучи, жгучее, белое солнце, под которым любая работа была тяжелой и изнурительной, прибрежные леса закурились сияющими клубами испарений, и тотчас же грянул такой отчаянный хор цикад, будто испарялась не дождевая вода, напоенная ароматом цветов и прелой листвы, а сама земля. Потом на другом конце бухты исчезли из виду разбросанные по круче дома и глинобитные хижины Пантану, колокольня адвентистской церкви, железная крыша сельского кинотеатра и испещренный черными пятнами сырости холодильник, где на льду хранились рыба и сперма для оплодотворения лучших хозяйских коров.

— По этой дороге? — спросил Беринг, когда в последний день года ему, Амбрасу, Муйре и одному местному камнелому волей-неволей пришлось оставить вездеход и пешком направиться к самому дальнему из трех гранитных карьеров фазенды «Аурикана». — Седельные тягачи — по этой дороге? Да разве такое возможно?

— Не знаю, — сказал Амбрас.

Конная дорога, по которой и пешком идти было весьма затруднительно, больше смахивала на безводное русло горной речки, сплошь и рядом запруженное валунами и плавником, чем на трассу для тяжелых грузовиков: под сенью густых деревьев, между огромными, как дом, гранитными глыбами, она вела в широкую котловину, где вообще житья не было от палящего зноя и мух-жигалок. Камнелом засмеялся.

— Он говорит, хозяин построит дорогу, — объяснила Муйра. — Говорит, хозяин уже много дорог построил.

Карьер *Санта-Фе-да-Педра-Дура* находился в верховьях долины, где били главные пантанские источники. Изо всех скальных трещин, желобков и ущелий доносился плеск воды, но не шум прибоя. Камнелом впереди хозяйских гостей пошел через речку вброд; в воде валялись обломки рухнувшего моста — лохматые островки, над которыми жужжали тучи мух. На этих островках, в зарослях Melissa, Беринг углядел ярко раскрашенные фигурки... и десятки горящих свечей! Фигурки Мадонны и Христа, из глины и фарфора, с отбитыми головами, со свечками, воткнутыми в шею, стояли в траве среди бутылок с водкой, гниющих фруктов, кукурузы и пшеничных зерен на тарелках, — урод-

цы-подсвечники. Кое-где у ног безголовой Мадонны лежала фата, полуистлевшая одежда, окровавленные повязки.

— Новогодние подарки для духов, — сказала Муйра. — Жертвенные дары. Камнелом перекрестился.

Карьер? В этой каменной котловине ничто не напоминало о вскрышных террасах и пыльной хлопотливости Слепого берега. В этом карьере не было ни террас, ни отвалов, ни камнедробилки, только один-единственный исполинский гранитный конус, который поднимался к небу высоко над краем котловины, — Беринг даже поехал, несмотря на волны зноя, опалявшие лицо при каждом дуновении ветерка. Монолит был покрыт лишайником и ползучими растениями, и лишь там, где его словно бы погрызли, в самом низу, у подножия, где к скале лепились похожая на кружево бамбуковая клеть да покосившийся дощатый сарай, проступала дивная зелень камня.

Ни в одном карьере фазенды «Аурикана», сказала Муйра, нет гранита такой безупречности и такой красивой фактуры. То, что патрон только теперь решил разрабатывать это богатство, связано с его делами в Сан-Паулу, с плохими подъездными путями и, пожалуй, с *людьми макумба*, которые желали без помех закладывать в этой долине своих духов. Но терпение патрона иссякло: в Сан-Паулу облицовывают камнем высочайшие небоскребы.

На обратном пути к морю бухта Пантану с ее хребтами, закутанными в облака, искрилась в глубине, прекрасная, как Моорское озеро, и Беринг рассказывал Муйре о снеге, который явно лежал сейчас в Мооре высокими сугробами. До побережья они добрались уже в потемках. На пляжах вспыхнули костры, расцвел в небе первый букет фейерверка. Так заканчивался год.

В предполуденные часы повсюду в Пантану люди в белом покидали свои дома и веранды. И в господском доме фазенды все, тоже в белом, поднялись из-за праздничного стола, с факелами и свечами спустились на пляж и следом за белыми фигурами деревенских вошли в темное море. Кто по пояс, кто по грудь в воде, встречали они накатывающие волны и пускали в плавание белые цветочные венки и гирлянды, а еще факелы, воткнутые в деревянные и пробковые буйки, и желали друг другу счастья, и обнимались.

В семь волн, крикнула Муйра сквозь шум прибоя, в семь бурунов должен броситься человек этой ночью, чтобы смыть с себя минувший год и стать свободным и легким для всего нового. И Беринг, в белой рубашке какого-то секретаря с фазенды, стоя уже глубоко в пенной воде, ощутил, как первая волна вымывает из-под ног мягкий песчаный грунт. Потом Муйра очутилась рядом и не дала ему как следует стать на ноги. Она протянула ему руки и держала его в теплом приливе, держала в паренье, а потом привлекла к себе, и обняла, и, смеясь, расцеловала в обе щеки, а меж тем с шумным плеском нахлынула вторая волна, могучий вал, на гребне которого играл отблеск плавучих факелов.

В первые дни нового года грозы поутихли, но зной и влажность усилились, смягчить их удавалось только с помощью вентиляторов и вееров, а еще — с помощью безделья. Железо и все моорские машины оставались, где были; сам же патрон воспользовался первой расчищенной дорогой, вернулся в Рио-де-Жанейро и теперь распоряжался из своего сада у Леблонского пляжа и весточки гостям слал оттуда: он, мол, скоро придет.

В Санта-Фе-да-Педра-Дура царил тишина.

Беринг в эти дни просыпался мокрый от пота, вставал мокрый от пота с постели, лежал мокрый от пота в гамаках на веранде и мокрый от пота сидел за столом. Шерстяная моорская рубаха и прочая одежда, без нужды валявшаяся в комнате, от сырости зацвели плесенью. Даже башмаки, которые он давно сменил на сандалии, были покрыты плесенью, даже фотография, запечатлевшая его и пропавших братьев. Впервые с тех пор, как Амбрас вооружил его, он не носил при себе пистолета: после прогулки по пляжам близ Пантану его мокрая от пота кожа так обгорела, что оружием он стер ее до крови. Вдобавок тот, кого ему надо было защищать этим пистолетом, чуждался общества. После полудня он все время лежал в своей затемненной комнате, мучаясь от боли в пле-

чах. Фазенда «Аурикана» была безопасным местом, вот Беринг и завернул пистолет в промасленную ветошь и отправил к стальному когтю, в плесневеющий фибровый чемодан, а на следующее же утро, задолго до восхода солнца, поспешно выхватил из тайника и помчался через веранду к хозяйской комнате.

Там кто-то кричал. Стонал, как в ожесточенной схватке. Кто-то там кричал. И Телохранитель, сам еще сонный и толком не отличая явь от грез, на несколько шагов, несколько мгновений опять очутился там, дома, опять слышал тяжелое дыхание бритоголового преследователя, слышал болезненный крик женщины, которую за волосы выволокли в раннее утро.

Но когда он добежал до распахнутой на веранду двери Амбраса, рванул в сторону портьеру и сумеречный свет упал на москитную сетку, которая, точно шелковый шатер, поблескивала над бамбуковой кроватью, он увидел Лили. Она сидела в этом тончайшем шатре, и Амбрас, прикрытый не то простыней, не то белой рубахой, лежал в ее тени.

Странное дело, но сейчас, наконец-то увидев Лили, обнаженную, в хаосе белых простынь... такую красивую, какой она часто виделась ему в мучительных фантазиях... сейчас он заметил прежде всего сияние в ее глазах. Амбрас и Лили. Собачий Король и Бразильянка. Он видел только ее глаза. Потому что ее светлая кожа, ее пупок... это стройное, светлое тело — их уже не было в его грезах, теперь в его грезах жили смуглая тайна, тепло и мягкая гибкость Муйры, которые он ощутил в пене новогодней ночи. Только эти глаза, эти сияющие глаза смотрели на него и из нового облика. Зачем Лили глядит на него?! Зачем? Пусть исчезнет! Но она осталась. Безмолвная, прямая, обнаженная, сидела в этом блестящем шатре. Он опустил пистолет и отвернулся, отвернулся от нее и от хозяина и, не задерживая портьеру, вышел на веранду, на воздух.

Он смертельно устал. *Смертельная усталость* — такое бывает? От неистовой боли в плечах и дурмана, в который его иной раз повергал ром, Амбрас забыл так много слов. А в потоке новых выражений и имен, проникавших после полудня в его затемненную комнату из дворов и садов фазенды, даже родной язык порой казался ему непонятным и странным. *Смертельно устал*. Даже в лагере он никогда не чувствовал такого изнеможения, как в эти первые дни нового года.

*Уходи*, сказал он Лили, когда она зашла в темноте к нему в комнату, и стала рассказывать о расчищенных дорогах и восточке из Рио, и спросила о его болях. Он понимал, что она начала прощаться. Еще несколько дней — и она будет в Сантусе. *Уходи, я смертельно устал*.

Но она положила свои ладони на его горящие плечи. И то, что произошло дальше, лишь показало ему, как давно он не принадлежит к живым. Не ее губы чувствовал он на своем лбу, щеках, губах. Не ее волосы струились во тьме сквозь его пальцы. А слова, достигавшие его сознания и оставшиеся неизъяснимыми, складывались в одни и те же фразы, которые как бы сами собой, монотонно и механически сотни раз повторялись в нем этой ночью, хотя он не произносил ни звука: *Я здорова. Все у меня в порядке. Где ты был, милый. Не забывай меня*.

Существует ли еще тот занесенный глубокими снегами берег озера, где втрашний день, январское воскресенье, называется *день Трех святых царей*? А остекленевшие, звенящие моорские камышовники, метровые снежные сугробы над руинами барачного лагеря при камнедробилке — что это, воспоминание или иллюзия?

В бухте Пантану на Трех царей была такая жара, что над одним из множества островов, которые словно головы плывущего стада виднелись в далекой и совсем уж дальней морской дали, поднялся столб дыма. На фазенде Муйра, стоя с гостями патрона возле клетки с ягуаром, показала поверх ржавой решетки на дым, тающий над океаном, и сказала: «В буше пожар», — а потом бросила черному амазонскому ягуару кусок мяса. Под январским солнцем, добавила она, даже сырая, прелая листва или мертвый либо сломанный

бурей кустарник всего за несколько часов превращаются в самый настоящий воспламенитель.

Ягуар растерянно, безостановочно метался туда-сюда, наступая лапами на тени решетки, косою лестницей падавшие на пол его узилища. Весь в пятнах засохших и открытых гнойников, он не обращал внимания ни на мух, которые преследовали его, ни на мясо.

— У него чесотка, — сказала Муйра. — Сеньор Плиниу его пристрелит.

Но гости патрона внезапно потеряли всякий интерес к больному животному, куда больше их занимал тонкий, тающий в синеве столб дыма. Как она сказала? *Как* называется этот остров? И Муйра, опешив от столь резкой перемены настроения, повторила название, до того набившее ей оскомину, что перевод его прозвучал как вульгарное ругательство: *Илья-ду-Кан*. Собачий остров.

### 34. Пожар в океане

Январские пожары в джунглях были вялыми и упорными; грозы и ливни снова и снова отбивали их атаки, а они все равно не один день блуждали в дебрях, прятались в гари, выползали из засады, опять шли в наступление и в конце концов, обессиленные дождем и непобедимой влажностью, гасли в зеленых сумерках бездорожных лесов. Для жизни охотника или обходчика опасен был не столько сам этот путаный пожар, сколько звери, в панике удирающие из зоны огня: ядовитые змеи, которые без разбору кусали любого врага, ненароком заступившего им путь к спасению, а на Илья-ду-Кан еще и дикие собаки, которым остров был обязан своим именем.

Муйра не могла сказать хозяйским гостям, на протяжении скольких лет Собачий остров был тюрьмой, запретным местом, где охрану несли легавые псы. В Пантану говорили, что собаки одинаково яростно кидались и на незваных пришельцев, и на беглецов. Муйра еще зубрила в школе фазенды *vitorias* бразильской армии, когда сенат в Сан-Паулу постановил перевести тюрьму на континент и там расширить. Четыре ряда каменных построек с решетками на окнах, мол и укрепленный пляж вернулись тогда во власть джунглей. Узники и их стражи давным-давно были под звон цепей вывезены куда-то на судах, а рыбаки все еще слышали на острове собачий лай: должно быть, несколько зверюг остались там, брошенные, изгнанные или просто забытые. Кто знает, теперь-то. Факт тот, что отпрыски тогдашних псов, с каждым поколением все больше дичавшие, боялись людей так же, как их добыча: они любили неприступность, днем прятались в подлеске, на берег выходили редко; рыбаки и птицеловы, ночевавшие иногда в развалинах тюрьмы, охотились на них с дробовиками, а то и с гарпунами.

*Опасно?* Опасно ли отправиться на шлюпке фазенды «Аурикана» к дымящемуся Илья-ду-Кан и сойти там на берег, твердо зная, что в любую минуту можно вернуться на суденышко, которое ждет стоя на якоре в надежной бухте? На что способны перепуганные огнем дикие собаки, Муйра тоже сказать не могла, но приезжие из Европы наверняка бывали в переделках и похуже этой.

Вероятно, там и рыбаки-гарпунщики есть. В подводных гротах Илья-ду-Кан искали приюта самые красивые рыбы. Там неопасно.

В палящем полуденном зное на Трех царей кухонная прислуга из господского дома погрузила в шлюпку снаряжение и провиант на два-три дня и запас топлива в канистрах, минимум на сто морских миль. Вскоре после полудня при слабом ветре Муйра и хозяйские гости вышли в океан. Местный лодочник должен был в этот день нести знамя в процессии к Санта-Фе-да-Педре-Дура, но Муйре он и не требовался. Руль шлюпки, которая называлась «Раинья-ду-Мар», «Царица моря», она никому не доверит, даже этому птичьему парню. Пускай он замечательно разбирается в моторах — здесь, в островном лабиринте, рифы ох какие коварные. Не над всяким зубом предостерегающе бурлит пена. Под



самой что ни на есть гладкой синей водой грозно таятся вершины затонувших гор.

Штурвал под руками Муйры крутится играючи. Морская карта? Ей не нужна морская карта, чтобы найти надежный фарватер. Устроившись в тени навеса, она причудливым курсом правит к пожару в океане. Дымное облако стелется теперь прямо у горизонта и порой исчезает в зыби. Возможно, пожар уже гаснет.

Словно одно только название и история острова выманили его из затемненной комнаты обратно в мир, Собачий Король сидит на палубе в той же позе, в какой Беринг подолгу, часами, видел его на веранде виллы «Флора»: скрестив на груди руки, склонив голову набок, устремив взгляд на воду. Он слышит, что ему говорит Лили? Она разглядывает в бинокль берега архипелага и лишь изредка обнаруживает дома, глинобитные хибарки, крыши, будто парящие в мареве за линией прибоя. Большинство этих островов необитаемы. Необитаемы, как вот этот, обрывистый, большой, словно гора, что мало-помалу встает перед ними из моря. Дыма теперь вообще не видно.

На этом море, под этими громадами ослепительно белых облаков, Беринг хотел бы остаться с Муйрой наедине. Безмолвная близость хозяина, и Лилины всматривания, поиски, разговоры, и все, что препятствует этому «наедине», не дают ему покоя. Приводят в бешенство. То он смотрит назад, поверх пляшущего в кильватере ялика, на гористое побережье, то стоит на носу, словно зачарованный все выше и выше вздымающимся островом, и задолго до того, как якорь «Царицы моря» в ключья разбивает светло-зеленое зеркало бухты, спускается под палубу, к снаряжению. Там лежат палатки, гамаки и тщательно свернутая веревка, москитные сетки, топоры ручнойковки, а на железном ящике с бутылками и колотым льдом — карабин из хозяйского арсенала. Муйра подумала обо всем, в том числе об ошалевших собаках; впрочем, скорее всего, островные собаки и на этот раз вряд ли покажутся, раньше-то попадались только следы лап, помет, иногда слышалось ночью далекое тьяканье и жалобный вой вроде шакальего.

— Кто возьмет ружье? — спрашивает Муйра, когда они грузят ялик для высадки на берег. У мола, проломленного толстенными, с руку, корнями и разбитого бурунами прибоя, давно уже никто не швартуется.

— Ружье? Да вот он, — говорит Лили, словно это она здесь распоряжается. Но она не вправе распоряжаться. Уже не вправе, тем более здесь. Но ружье у Муйры Беринг все же берет.

Амбрас, опустив руки, стоит по колено в воде и наблюдает, как женщины и Телохранитель вытаскивают ялик на песок, в пролом берегового укрепления. Он не в силах им помочь. Они пока не решили, как долго пробудут здесь. Может, до вечера. Может, до утра. Может, поплывут дальше, до Кабу-ду-Бон-Жезус или еще куда. Муйра показывает на единственный из утонувших в дебрях *тюремных барачков*, на котором уцелела крыша. Там находятся рыбацкие кострища. Там и они могут заночевать.

Но потом, в тени скального обрыва, что, словно громадная ладонь, обхватывает обширное поле руин, каждый вдруг остается в одиночестве. Скованные и оробевшие, как при виде вот только что открытой земли, пришельцы пробираются среди развалин и остатков стен, тут нагибаются за черепком, там — за проржавевшей, вросшей в дерево цепью, лезут сквозь чашу, теряются в дебрях, которые поглощают заброшенные людьми поселки не так, как в Мооре, осторожно и нерешительно, нет, они жадно накидываются на все оставленное, *вламываются* в дома сквозь окна и трещины в стенах, чтобы по гнилым полам, обвалившимся лестницам и через провалившиеся кровли опять метнуться вон, опутывая, сдавливая, разрывая и пожирая все на своем пути, а потом в свою очередь становясь добычей тлена или блуждающего пожара.

Пожар. Запах его был повсюду. Даже аромат цветов и тяжелый дух гнилых балок и бревен не заглушали его. Пожар затаился, как сейчас затаился от дру-

гих каждый из них. Но он здесь. Где-то здесь. Ждет. Хотя не видно ни единого язычка огня, ни единой струйки дыма.

Амбрас оцарапал руки о спираль колючей проволоки, утонувшую в зарослях гибиска. Печи, пахнет печами. Мертвецами. Эти почти непролазные дебри наверняка бывший строевой плац. На лагерной дороге, между каменными караульными вышками, в бараках — огонь присутствует всюду, беззвучный и незримый. Недостаточно громко выкрикнешь на утренней поверке собственный номер — и вечером уже можешь оказаться в печи, обернешься дымом, улетишься в ночь, а в холоде следующего утра опять выпадешь пеплом в лагерь, опустишься копотью, черной пылью на бредущие в карьер рабочие коллонны, смрадом проникнешь им в ноздри, в легкие, в глаза, уши и сны.

Где ворота? Где ограждение? Где-то здесь, между этими двумя развалившимися бараками, должны быть ворота лагеря. А слева и справа от них — вал и на нем электрическое ограждение. Высоко в небо вздымается перед Амбрасом скальный обрыв, обвешанный кружевом цветущих лиан, жестких воздушных корней, папоротников. Проволока протянута сквозь белые цветы, белые фарфоровые изоляторы. Там же и лестница, ведущая наверх, к валу и к караульной вышке, откуда падают в ночи бегучие конусы света. Путь к этой лестнице лежит в поле обстрела. Ступень за ступенью Амбрас поднимается наверх. Он так измучен. Гребень вала, должно быть, уже совсем близко. Глубоко внизу блещет море, но завеса лиан приглушает его сияние. Сейчас, вот сию минуту, он попадет в конус света. Замереть, глубоко вздохнуть. *Я здоров. Все у меня в порядке.* Уже стреляют? Этот выстрел, который он слышит, предназначен ему? Страх нет. Ведь он ищет свою любовь и все, чего ему так давно не достает, ищет там, в ловушке утраченного. Идет к ограждению.

Удивительно, каким хрупким способно стать железо: голыми руками Беринг ломает прутья решетки, которые ржавчина истончила, съедая слой за слоем. Железные перила, уходящие в подвал, тоже крошатся у него в кулаке. Там внизу, в обломках, под мокрой листвой, нападавшей сквозь воздушные шахты и провалившиеся полы, он находит железные перекладки и полосы, остатки железных коек и ржавые комья непонятого назначения, находит в стенах камер железные кольца и без труда выдергивает их из кладки. Деревянная рукоять штыка в грязи на полу каменного подземелья — просто горсточка гнили возле проржавевшего клинка.

Этому железу не помогут ни напильник, ни масляная ванна, ни огонь. А запах гари, проникающий и сюда, под землю, не имеет касательства к яркालому кузнечному жару, который разгорается от одного-единственного дуновения мехов. Тихо здесь. Прямо как в подземелье форта на Ледовом перевале, и, как тогда, Беринг слышит звон собственной крови в ушах. Но под этим звоном прячется еще что-то, тихий, ровный шорох. Дождь. Беринг спохватывается: похоже, он изрядно задержался в здешних казематах.

По крутой куче обломков Беринг выбирается наверх, в гущу растений, и видит длинные, узкие ленты дождя, набегающие с океана, на поверхности которого теснят друг друга тени облаков и солнечные блики, беспокойные, искристые островки света.

Дождь! Теперь в бешенство приходит Лили. Куда ее занесло? Что здесь такое? Моорский курорт? Она стоит среди тюремных развалин, под дождем, в руинах курорта, в обломках «Бельвию». Хочет попасть в Сантус, а стоит посреди Моора! Прибрежные дороги давно расчищены, а она стоит в Мооре, в смердящих холодным пеплом, пропитанных сыростью дебрях. Где остальные? Она должна убраться отсюда. Уехать обратно. И автопоезда из Рио дожидаться не станет. Прощание и так уже затянулось. Муйра говорила, автобус на Сантус ходит каждое утро. Каждое утро.

На яркой зелени бухты покачивается чужая лодка. Рыбаки из Пантану. Гарпунщики. Муйра стоит в воде, одной рукой держится за борт, а другой бе-

рет кукан с двумя рыбинами и, смеясь, поднимает его вверх, когда видит направляющуюся к ней Лили.

— Я купила рыбу! Это гаропы.

— Я хочу вернуться, — говорит Лили. *Вы плывете в Пантану? Возьмете меня с собой?* — пытается она спросить рыбаков на новом языке, но вынуждена прибегнуть к помощи Муйры. Рыбаки уже протягивают руки навстречу незнакомке, которая гостит у хозяина, однако ей нужно еще раз вернуться на берег. К ялику «Царицы моря», за вещмешком. И поспешно шагая к рыбацкой лодке, она рвется в вещмешке, ищет какой-нибудь подарок. Лучшее, что там есть, — это дождевик из запасов американской армии, просторная накидка с капюшоном, камуфляжной расцветки, принятой в морской пехоте. Эта накидка хорошо послужила Лили в ее странствиях по Каменному Морю. Под ней всегда было тепло и сухо.

Один из рыбаков хлопает в ладоши: он бы тоже не отказался от накидки. Но Лили обнимает Муйру, набрасывает накидку ей на плечи, надевает на голову капюшон, как ребенку, чтобы он не вымок. Потом жестом показывает на берег, на развалины, где исчезли Собачий Король и Телохранитель, и говорит:

— Я больше не могу оставаться здесь. Передай им, что я не могу оставаться. Передай, что я уехала в Сантус.

Муйра стоит, и подол накидки пляшет на легкой зыби, вверх-вниз, вверх-вниз. Она расквашивает кукан с искрящимися рыбинами, машет вслед лодке, которая становится все меньше и меньше. Сантус. Когда-нибудь она тоже уедет туда, но не затем, чтобы окончить путь, а чтобы начать величайшее странствие своей жизни: из гавани Сантуса в Сальвадор, Форталезу и Сан-Луис, в Белен и Манаус, все дальше, дальше.

Муйра идет под дождем, по теплomu песку, к верхней кромке пляжа — барьеру из гладко отшлифованных глыб, где выбегает навстречу океану пресный ручеек. Под сенью воздушных корней и висячих побегов она садится на корточки у воды, которая прохладнее, много прохладнее, чем океан, и потрошит рыбу, счищает ножом чешую, перламутровую, крупную, как монеты, промывает рыбу — и тут раздается грохот, что-то бьет ее в спину, рвет новую накидку, кожу, сердце. Она сидела наклонясь вперед и теперь ничком падает в воду. Ничего не произошло. Но, пытаясь подняться, она видит, как из ее груди струится кровь, течет прямо на одну из рыбин. Нет, этого она уже не видит. Залитая кровью рыбина некоторое время лежит в песчаном русле ручейка, потом вода, запруженная мертвой женщиной, перехлестывает через труп, снова оmyвает рыбину и уносит в море.

*Муйра.* Беринг хочет позвать ее. Пляж безлюден. В развалинах ничего не видно и не слышно. Кричать придется громко, перекрывая шум дождя, а тогда Собачий Король и Лили тоже услышат, что он ищет бразильянку. Этого он не желает.

Как же так? Муйра спокойно бросила под дождем ялик со всем снаряжением, гамаки, веревку, ружье. Ведь у них же есть брезент. Муйра тоже заблудилась в развалинах, как другие? Нет, Лили вернулась. Вон она, сидит у ручья в своей армейской накидке. Камуфляжные пятна делают ее почти неразличимой под пологом ветвей. Она поворачивается к нему спиной, набирает воду. Или ищет камни? В Пантану Муйра как-то показывала ему старателей, моющих золото в устье речушки. Но если он сейчас во весь голос окликнет Муйру по имени, Лили первая услышит его и оглянется. Она всегда там, где должна быть Муйра. Почему она не уехала, ей давно пора убраться в Сантус. Зачем она ждет автопоезд с железом — это же грузовики! — когда вполне достаточно одного-единственного места в рейсовом автобусе. Ей давно пора исчезнуть.

Прислонясь к борту ялика, Беринг сидит на песке и ждет Муйру. Этот карабин — интересно, он тяжелее или легче той винтовки, которую Лили швырнула в пропасть? Он взвешивает карабин в руках, прикидывает расстояние до фигуры у ручья. Метров пятьдесят? Да нет, поменьше. Он не то чтобы *целится* в эту замаскированную фигуру. Просто, глядя в прицел, оценивает

расстояние. Видит, как в прорези пляшут пятна камуфляжа. Пятна. Там, где Лили, всегда пятна. Камуфляжные пятна, слепые пятна — всегда что-то напоминающее о Мооре и о том, что он там пережил. Пятьдесят метров. Он никогда не сможет выстрелить в человека, который вот так беззащитен. Хотя... Там наверху, среди карстов, это оказалось очень легко. И там тоже была она, она рванула его за волосы. Нет, он не целится в Лили. Он только разглядывает эти окаянные пятна. А что карабин в его руках внезапно дергается вверх, да-да, буквально ударяет его по лицу... и что этот грохот, однажды оглушивший его и оглушающий вновь и вновь, эхом отдается в развалинах, отбивается от скального обрыва... все это не имеет к нему касательства. Он тут ни при чем. Он не нажимал на спуск. Карабин сам ударил его, разбил ему лоб. И бросать этот карабин не надо. Он сам выскакивает из рук. А Беринг ничего такого не делал.

Пятнистая фигура там, не более чем в пятидесяти метрах от него, стала еще меньше. Что-то свалилось на нее из гущи ветвей и сделало ее совсем скрюченной и маленькой. Неподвижный сверток в камуфляже, лежит она в беспокойном мелководье.

Это не он говорит: *Матерь Божия. Пресвятая Дева! Помогни. Я убил ее. Не он говорит: Утешительница скорбящих. Заступница недужных. Пристанище грешников;* все это произносится само. Целая литания произносится сама собой, а потом он наконец делает то, в чем только что себе отказывал. *Муйра!* — кричит он. *Муйра!* Кричит так громко и с таким ужасом, что цапли, которые, успокоившись после выстрела, вернулись было на деревья, опять снимаются с места.

Что он наделал. Он убил Лили. Убил Лили. Что теперь делать.

Муйра должна ему помочь. Она единственная способна ему помочь. Он не пойдет туда, к этому свертку. В одиночку не пойдет. Ему холодно. Туда пойдет Муйра, вместе с ним, и скажет, что он ничего такого не сделал.

Пляж безлюден. Развалины тоже безлюдны. Нетронутый ялик на песке. Остается лишь один путь — через обрыв. Муйра наверняка прошла там. Сверху, в ясную погоду, говорила она, открывается самый замечательный вид на континент, на береговые горы. Нам понадобится веревка, сказала она. Он делает только то, что говорила она. Вешает на плечо моток веревки.

Железные лестницы, ведущие через обрыв к маяку, который давно угас и остался без крыши, насквозь проржавели, каменные ступеньки осыпались. Задыхаясь, захлебываясь рыданиями, Беринг карабкается вверх. Он же всегда все делал. Скажи Муйра сейчас, что надо идти к Монти-Неблине, через туманный лес, вверх по реке, по следу дымов и дальше, в безлюдный мир, — он пойдет с нею, сделает и это. Но прежде, только один этот раз, Муйра должна пойти с ним. Всего-навсего до ручья, до этого свертка, которого уже не видно под ветвями.

*Помогни мне.* Литания опять произносится сама собой. Тише, хрипит он, уймись, *тише, тише,* — пока не видит прямо впереди Собачьего Короля. Ведь совсем забыл про хозяина. А тот вдруг стоит на пути. Пусть убирается. Он должен найти Муйру и кричит: *Уходи! Исчезни!* Сейчас он готов убить всякого, кто преградит ему путь к Муйре. *Убирайся прочь!*

А потом он осознает, что Собачий Король уже не способен ни услышать его, ни понять. Взгляд у Амбраса такой шалый, нет, такой невидящий, такой беспомощный и такой отрешенно-далекий, что Беринг стряхивает собственную беспомощность, собственный ужас: Собачий Король не просто стоит там, он не может двинуться дальше. Примыкающая к скале лестница давным-давно обвалилась, рухнула в бездну. Уцелела лишь узенькая кромка ступенек да вбитый в обрыв крепеж изъеденных ржавчиной железных поручней.

*Нам понадобится веревка.* Беринг всего-навсего делает то, о чем говорила Муйра. Снимает с плеча веревку и один ее конец обвязывает вокруг талии, чтобы руки остались свободны. Муйра наверняка прошла здесь без веревки. Что ж, имея опору, ей будет куда легче вернуться к морю.

Способен ли Амбрас понять его? Беринг протискивается мимо безмолвной фигуры. Амбрасу не придется страховать его и поддерживать, в Каменном Море Беринг не раз в одиночку проделывал подобный путь. Дело Амбраса — просто травить веревку и следить, чтобы ее витки не путались, не завязывались узлом, когда Телохранитель будет шаг за шагом идти по лестничной кромке, натягивая вдоль скалы новые перила. Собачий Король берет веревку. Неотрывно смотрит на Беринга. Не говорит ни слова.

Беринг теперь совершенно спокоен и уже снова начинает забывать о своем хозяине. Половину пути до следующей прочной опоры он уже преодолел, и тут ему чудится на битых ракушках, занесенных сюда чайками, след Муйры. И вдруг что-то дергает его, дергает с такой силой, что он падает, не успев даже подумать, за что можно уцепиться. Горсть листьев и белых цветов — вот все, что на лету остается у него в руках, потом завеса лиан, из которой вспархивают птицы, разрывается. Это чайки? Крылья, перья скользят по нему. А эта темная синева — небо или море? Гребешки волн совсем рядом. Или это облака? Да-да, облака. Не иначе как облака. Значит, он, летящий среди птиц, устремляется в небесную зыбь.

Лили уже далеко в море, когда с острова доносится гром выстрела. И так, собаки все ж таки выходят к берегу. Рыбаки согласно кивают и смеются. Собаки, конечно, собаки. Потом надолго воцаряется тишина. Лили сидит между корзинами и железными ящиками с рыбой и смотрит, как остров уменьшается, становится крошечным, как далекий корабль. Пароход. И дым опять появился. Черный султан над каменной трубой. «Спящая гречанка», прогулочный пароход, плывет себе облачным, но вполне погожим летним днем.

Дымный султан. Теперь Амбрас наконец видит огонь, так долго таившийся в укрытии. Он оглянулся на преследователя, который догоняет его на крутой дороге к гребню вала: а-а, это один из тех, что в каменоломне почем зря лупят стальными прутьями. А он плевать хотел, не страшно. Но в бездне, разверзшейся за преследователем, в глубине, серый и невзрачный, виднеется лагерь — и огонь между бараками. Языки пламени медленно и неотвратно ползут к плацу. Как долго огонь горел украдкой, в печах за больничным бараком. Теперь он на свободе. Преследователь не видит огня. Видит только его. Кричит на него. Держит в руках веревку. Хочет вернуть его в лагерь. Опять свяжет и подвесит на «раскачку», чтобы все еще раз поглядели, как он качается?

Ну вот, преследователь догнал его. Странно, не ударил. Не стреляет. Не связывает. Подходит близко-близко — Амбрас чувствует на лице его дыхание — и дарит ему веревку. А потом идет дальше, проходит мимо. Оставляет его позади. Оставляет ему свободу действий, жизнь.

И Амбрас наконец стоит у ограждения, возле колючей проволоки, возле белого фарфора изоляторов. Делает шаг вперед и все же не ощущает удара, не ощущает боли. И фонтана искр не видит. Он просто делает шаг в пустоту.

В пустоте все становится таким легким. Восхитительно легким. Горящие плечи, руки — они снова такие легкие, что он наконец может поднять их над головой, высоко над головой. И меж тем как веревка, шнур, трос выписывает в воздухе кольца, петли, спирали, все, что тяготило его и мучило, теперь утрачивает вес. Скальный обрыв проплывает мимо. А потом, освобожденный от глыб и валунов, весь мир становится легким, невесомым и, устремляясь в вышину, мягко тянет веревку у него из рук и уносится прочь, вместе с тучами дыма.

Перевела с немецкого Н. Федорова.

---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. МИХЕЕВ

\*

## ЗОЛОТОЕ КОПЧЕНИЕ

...**Н**е могу сказать, что торговля тюлем была моим первым коммерческим начинанием<sup>1</sup>. В начале восьмидесятых я жил тем, что время от времени перегонял подержанные автомобили из Москвы в Сибирь. Делалось это так: я занимал семь-десять тысяч рублей, покупал на автомобильном рынке в Москве по доверенности на продажу подержанную автомашину, чаще это был «Москвич-2140», который у нас в Сибири почему-то котировался выше, чем в европейской части СССР. В Новосибирске я его продавал и выручал от сделки где-то тысячу рублей. Это были хорошие деньги. Я мог позволить себе захватить из Москвы ящик отличного вина и всяких деликатесов, в Новосибирске какое-то время ездил на машине. В общем, неплохой был промысел. Тогда, при социализме, подобная деятельность была не сказать что запрещена, но почиталась безнравственно-спекулятивной и охотников до нее было немного, только самые «пропащие», поэтому особой конкуренции не наблюдалось. Вообще прекрасно жилось спекулянтам при социализме. И рэкета не было, и вымогательства, и мафии, и бандитов по пути; спокойный, честный, социалистический спекулятивный труд. Правда, для самых отбросов общества. Но «отбросы» не обижались, такое общественное мнение было им даже на руку, было своеобразной «крышей»...

Не все, конечно, шло гладко: например, на Урале я однажды перевернулся, улетев под откос. Это стоило мне трех тысяч рублей, потраченных на ремонт: кузов автомобиля пришлось менять, прежний так сплюснулся, что уже не подлежал восстановлению. Своей собственной машины я так и не смог купить при тех шальных заработках. Впрочем, не унывал и перспективы голодного существования в будущем не боялся: знал, что всегда могу занять, перезанять, что-то такое сделать и рассчитаться.

Но вот в 1992 году возможность занимать деньги резко сократилась: в течение нескольких месяцев, или даже дней, или даже в одночасье люди лишились своих денежных сбережений, все стали нищими. Я хорошо помню этот момент. Впечатление было такое, что кто имел какую-то собственность — дом, квартиру, машину, дачу, — тот стал буржуа, тот же, кто не имел собственности, тот превратился сразу в люмпена, и стало очевидным, что он не заработает своей нынешней работой уже ни на машину, ни на дачу, ни на дом никогда. Собственность приобрела огромную ценность, деньги перестали что-либо значить, они превратились в пыль. Тот, кто успел до Гайдара, до «шоковой терапии», в «перестройку» взять ссуду, завезти материал, построить и обустроить дом, тот весной 1992 года вышел в богачи, кто не успел — так и оставался существовать на бобах (если только не бросал основной своей профессии и не превращался в... «предпринимателя»). В одно мгновение люди разделились на два лагеря. Даже те, кто начал строительство, понимали, что достроить уже не смогут — разумеется, на свои, получаемые в кассе на производстве, кровные.

---

<sup>1</sup> См.: Михеев А. Записки мелкого предпринимателя. — «Новый мир», 1996, № 11.

Негде стало взять в долг, негде получить кредит, в отношении денег все превратилось в голь перекатную. Я же возлелеял внезапную и фанатичную идею, заключающуюся в необходимости создания своего собственного «капитала». Я чувствовал, что инфляция неумолимо превращает все мои сбережения, весь мой «золотой запас» — в два мешка сахара.

Между тем ребята наверху начинали потихоньку отбирать назад дарованные сгоряча весной 1992 года свободы: нельзя было, например, уже торговать где угодно и не платя за это деньги, нельзя было уже не обращать внимания на инспекторов и милиционеров. Милиция и другие «силовые структуры» после нескольких месяцев неопределенности их роли в «молодом демократическом государстве» снова возвращали себе свои права, привилегии и кормушки. Снова стали куражиться, чваниться, вымогать взятки, не бояться бить людей в своих «околотках».

Налоговая инспекция из существующей лишь на бумаге и почти бесправной государственной организации стала превращаться в действующий орган и расправлять крылышки.

Тем не менее все еще практически нигде не требовалось отчитываться за происхождение товара, не требовалось разрешений на торговлю, на перевоз. Для решения массы вопросов, связанных с подобного рода проблемами, зачастую вполне достаточно было одного свидетельства о предпринимательской деятельности. Ничто не запрещалось, не фиксировалось, не контролировалось. Можно было покупать что угодно и где угодно и все так же обходиться без всяких фактур, а значит, не платить налогов. И все еще сохранялось доставшееся в наследство от социалистических времен огромное региональное расхождение в ассортименте. То есть в определенных регионах определенные виды товаров продолжали хронически являться дефицитом.

В этот раз я стал зарабатывать деньги на индийском чае Московской чаеразвесочной фабрики, который всегда был редким и желанным гостем в провинции. Я покупал его в Москве и отправлял в Новосибирск.

Чтобы обойти фирмы-паразиты, к тому времени уже засевшие на каждом престижном производящем предприятии типа «Рот Фронт», Бабаевской фабрики, «Красного Октября», чаеразвесочной фабрики имени Ленина и т. д., — фирмы, накручивающие 20 — 30 процентов и не допускающие клиентов до отделов сбыта производителей, я выискивал еще существовавшие некоторое время в Москве базы, куда тот же чай поступал по договорам и отпускной цене предприятий. Там через знакомую соседку по дому, через ее подруг-товароведов и директоров баз я покупал и индийский чай, и чай «Бодрость» с незначительными доплатами посредникам. Выигрывал я на этом процентов пятнадцать. Не было на базах — я искал посредника по прайс-листам Московской товарной биржи и где-то в столовой, в крайнем магазине находил свои полтонны-тонну все равно. С моими средствами, учитывая еще то, во что превратились они за четыре месяца инфляции, мне трудно было иметь дело с большими конторами, я был им не нужен, у меня не хватало денег даже на контейнер. Поэтому я сшибал по мелочам (к тому же чай в московских магазинах за четыре месяца в четыре раза подорожал). Я отправлял чай коммерческим грузом в почтово-багажном поезде, что, кстати, давало большие преимущества, так как груз шел значительно быстрее, чем контейнер. Я тогда был среди первых, кто начал использовать перевозку товаров багажом. Когда осенью на Казанском вокзале, опробуя открывшийся вследствие отмены запретов на железной дороге новый, невозбраняемый уже вид услуг, я грузил свой коммерческий груз за наличный расчет в багажные вагоны, таких, как я, были еще единицы. Через полгода же началось столпогворение и багажные вагоны откупались целиком. Хочу воздать себе должное: вместо отправки с товарной станции — отправка с почтового или багажного двора, — это была моя самостоятельная находка, как и потом отправка груза с проводниками, без оформления документов. Пора небольших временных открытий — и в своем привычном стремлении снимать пенки я прошелся тогда по многим верхуш-

кам, находясь в авангарде мелких спекулянтов, пока не появились и не прибрали все к рукам мастодонты — большие фирмы, никогда не отказывающиеся использовать опыт мелких частников.

Например, той же осенью я видел на оптовом рынке в Лужниках, во что превратилась к тому времени родная и ненавистная мне торговля сирийским тюлем. На рынке уже был оптовый центр, где с рук продавали — и, похоже, это были цыгане — тюль километрами и такие же, как я, частники покупали его сотнями метров, чтобы увезти в свою провинцию, в Иркутск или Оренбург. Тюль шел уже почти на уровне обуви и кожаных курток, и занимались им кому не лень. Он проникал в страну все глубже, охватывал все новые регионы и уравнивал цены.

Конечно, на багажном дворе с новым своим товаром я и тогда был не совсем одинок. Время от времени я видел, как такие же коробки с фирменными этикетками московской фабрики отправляли тоже багажом, скажем, в Усть-Каменогорск, на Урал. И хотя это были конкуренты — по преимуществу ребята кавказских национальностей, — видеть мне их было приятно как подтверждение того, что я на правильном пути.

Из-за отсутствия средств для работы с большими фирмами у меня и торговля складывалась нетрафаретно. Фирмы тогда торговали чаем в импортной упаковке, который они привозили вагонами, сухогрузами, баржами по Черному морю из-за рубежа и который распахивали всюду огромными партиями. И этот чай был нередко плохого качества, ведь его покупали подешевле, в тот год с чаем в стране было сложно, и «мастодонты» этим пользовались. Я же покупал чай отечественный, проверенный, который невозможно было купить большой партией даже в Москве и который очень охотно брали магазины в других городах, и главное — тоже платили за него наличными. Начав с отечественного чая, я так и не перешел на импортный, хотя потом и представилась такая возможность.

Честно сказать, главным аргументом была очередь. Пусть не сам я уже продавал, а использовал новый для меня способ — сдавать оптом в магазины, я все же по привычке честолобово хотел, чтобы за моим товаром стояла очередь. Основной же покупатель — я это прекрасно видел — предпочитает отечественный продукт всем импортным. Это, разумеется, не скажешь о молодежи, американизированной, чьи желудки задубели уже от химии, сбрасываемой нам западным продовольственным рынком. Но, подчеркиваю, основной покупатель, покупатель провинции, до сих пор старообрядно консервативен. Из двух лежащих рядом товаров он чаще всего выберет отечественный, а импортный возьмет, если уж нет своего. Ну а поскольку я и сам приближаюсь к консервативному возрасту и видя, что таковых все же большинство, на этого, главного, покупателя я и ориентировался.

Правда, надо заметить, что со временем предприимчивый подпольщик и тут погоду испортил, начав в отечественную упаковку запихивать всякое второсортное барахло. И в знакомой каждому коробочке индийского чая со слоником Московской чаеразвесочной фабрики несколько позже стал всюду по киоскам в изобилии продаваться чай совершенно непотребный, который и индийским-то нельзя назвать. И этот факт до того смешал карты на рынке страны, что много раз обманутый покупатель полностью разуверился в возможности отличить настоящий чай от подделки. В результате скомпрометированный чай Московской чаеразвесочной фабрики даже в сравнении с неопробованным импортным сделался полностью неконкурентоспособным. Но зимой 1992/93 года я еще успел ухватить момент его повышенного спроса и с гордостью могу заявить, что если в то время новосибирцы и пили настоящий хороший индийский чай отечественной фасовки, то в определенной степени тут моя заслуга, это я привез тогда в Новосибирск не одну сотню тысяч пачек (потом меня задавила крупная фирма).

Прибыль составляла 40 процентов с оборота; работа шла неспешно; моя обязанность была найти и купить чай. У меня были телефоны посредников, я



выискивал, где подешевле, и потом отправлял в Новосибирск с Казанского вокзала. А там встречал груз и сдавал в магазины уже брат моей жены Сергей, с которым мы проработали месяца три. Потом он же зачастую и привозил полученные деньги в Москву. Ездить в Москву ему нравилось.

Весь процесс длился довольно долго, оборот был значительно больше рас-тянут, чем при торговле тюлем. Больше было расстояние, дольше шел товар, да и реализация происходила не за один день. Выручало то, что задействована была большая, чем прежде с тюлем, сумма.

Спрос был опять гораздо больше, чем я мог предложить товара, и у меня снова не хватало денег. Впрочем, я некоторое время находился в каком-то заторможенном состоянии, не особенно жадничал, никуда не спешил: моей старой знакомой — алчности раскрутить меня было нелегко. Поэтому, отправив груз, я спокойно дожидался возвращения назад денег и успевал даже кое-что сочинять. Что-нибудь очередное, прозаическое. И непечатающееся. Но уже по другим — не идеологическим — причинам. Издательства разваливались, тиражи журналов сократились в десятки и сотни раз, книжные магазины заполнились переводными детективами в чудовищных аляповатых обложках. Набоковы, Розановы, Лимоновы были жадно прочитаны и оценены; наступила полная тишина, точнее, глухота, как после контузии. Остался в книгоиздании лишь один маленький родничок философско-эзотерической литературы, сначала скромно просачивавшийся сквозь макулатуру, на котором отдыхала душа и который как нечто новое давал пищу уму и художественному воображению (позже, правда, тоже превращенный предприимчивыми людьми в макулатуру о колдунах и ведьмах).

Публиковаться было негде. Но странное дело — все отказы из журналов, отчужденность издательств не повергали меня теперь, как прежде, в депрессию, я относился к этому скорее равнодушно, спокойно. С коммерцией я переставал чувствовать себя неудачником, процесс того, как мои двести тысяч рублей успешно превращаются в триста, компенсировал неудачи на литературном поприще.

И второе открытие, с которым мне пришлось столкнуться: обладание деньгами — целая наука, и чем их больше — тем она сложнее.

Еще совсем недавно я, как и большинство в нашей стране, не имел денег. Советская зарплата, хоть директора завода, хоть академика, хоть генерала, — это были не деньги. Деньги, по крайней мере этап первоначального осознания наличия их, — это когда в кармане ты постоянно имеешь сумму, на которую, например, сегодня же можешь купить себе новую машину. Да что там говорить — новую квартиру. Сегодня купить, а завтра — не понравилась — продать... И если не покупаешь себе что-то подобное, то лишь только потому, что деньги эти нужнее в деле: через месяц-другой, третий ты сможешь на них купить еще одну машину, еще одну квартиру, продолжая все так же иметь в кармане необходимую сумму на третью.

Мог разве позволить себе такое академик, советский чиновник, генерал? Конечно же нет. Вкуса денег почти никто не испытывал...

Хотя, признаться, гоняя из Москвы в Новосибирск машины, я был на подступах к тому, чтобы начать догадываться, что все же значит иметь деньги. Пригнав три-четыре машины за месяц и заработав четыре тысячи рублей, можно было ощутить кое-какие на то намеки. Но сам Бог, устроив аварию, потом вторую, не позволил мне далеко уйти в этом направлении.

Да и деньги тогда меня мало занимали. Я ведь тогда, с одной стороны, «верно служил музам», а с другой — исповедовал идею прощения, естественности, святого нищенства, борьбы с роскошью в духе Лао-Цзы, Руссо или Толстого.

В своем «антитоталитарном» стремлении к свободе я преуспел настолько, что пришел к выводу о необходимости вырваться из-под гнета денег, уметь жить на самый что ни есть их минимум: например, на тридцать рублей в месяц, то есть по рублю в день. И хотя я, в общем-то, из обеспеченной, по ста-

рым меркам, семьи (скажу лишь, что кредитные семь-десять тысяч на спекуляцию автомобилями я занимал в основном у родителей) и все эти тридцать рублей в месяц были, в сущности, только игра, я в любой момент мог в обеспеченность вернуться, тем не менее не возвращался и играл взаправду и долго, упорно держал себя в рамках своей идеи, относился к ней крайне серьезно, может быть, даже и до сих пор не целиком отошел от нее.

Но вот я, что называется, при деньгах. Самоощущение совершенно другое. И жизнь. Когда можно без всяких раздумий купить все двенадцать томов собрания сочинений Кнута Гамсуна, случайно увидев его на книжном лотке. Купить в магазине скромный английский костюм — за сумму, какую ты еще недавно расходовал на питание за год. Или, не думая о ценах, расположиться в дорогом ресторане...

А начинается с незаметного, с мелочей, когда перестаешь обращать внимание, сколько ты тратишь денег на бензин, по какой бы цене он в этот момент ни продавался. Даже и не запоминаешь цену. Сколько тратишь на еду, покупаешь все на рынке, — эти траты на твоем кармане никак не отражаются.

Например, банка немецкого пива в 1991 году стоила в тогдашних «комках» двадцать пять рублей. Его покупали клерки московских банков летом в жару. И я, как и все нормальные люди, поражался, как его можно умудриться пить, когда зарплата у людей всюду на десять — пятнадцать таких полулитровых банок. А здесь сам становишься таким и уже, в свою очередь, вызываешь в людях удивление своими прихотями.

Каждый уровень дохода требует и соответствующих дополнительных трат: больший уровень — больших трат. И одно как-то цепляется за другое, так что ты выкладываешь кучу денег за какие-то многочисленные необходимые, связанные с существованием этих денег пустяки (положим, только на междугородные переговоры расходуешь несколько десятков минимальных зарплат), питание на другом уровне тянет за собой несоразмерные, но закономерные траты на обслуживание, на ресторанное обслуживание и т. д. Положение обязывает, а «дурные» деньги, как иногда называют большие или полуслучайные, уходят сквозь пальцы, к ним всегда почему-то обязательно прилагается необходимость множества никчемных покупок и масса ненужных и незапланированных, всюду навязываемых тебе дорогостоящих услуг; и вот денег себе на баловство все никак не хватает. Конечно, в разных уровнях разное баловство, но ощущение, что на него не хватает денег, — одно.

Или вот, например, чтобы уж исчерпать тему: «новые русские» считают, что в этой стране можно ездить только на джипе. На джипе «Патруль», эффектно смахивающем на бронетранспортер, но с суперсалонном и со всеми удобствами. В Сибири «новые русские» с самого начала избрали себе средством передвижения именно его. Это те, что живут в отдельных загородных коттеджах, похожих на хорошо укрепленные замки с угловыми башнями, с почти крепостными решетками на окнах. Деньги они держат в иностранных банках, на непредсказуемый случай у них, как у члена СБ Березовского, всегда есть возможность жизни за рубежом. Но и они люди. И если, например, «новый русский» настолько русский, что после Канарских островов решит еще и отдать дань природе, выкроив время на охоту, то совершенно не важно, приедет ли он на место охоты на каком-нибудь сверхзвезде или даже прилетит на вертолете, предварительно зайдя в городе в охотничий магазин и после долгих радостных осматриваний и разговоров со специалистами, приобретет к новому сезону суперружье, которое еще долго будет прикидывать к плечу и гладить полированную ложу, а в нетронутую глухомань заберется с охраной и егерями, — то, по сути, в данный момент он будет мало отличаться от... не-нового русского, который, удрал от ворчанья супруги и купив себе к открытию сезона новый копеечный пластмассовый манок, отправится на охоту в одиночестве. Одни и те же будут для них и брачный рев изюбра, и запах опавшей листвы, и весеннее бормотание и чужьяканье тетеревов на току, и свист уток над водой. и дрожь волнения в руках перед выстрелом, и розово-бордовый закат.

А то вышеупомянутое ощущение денег, находящихся у тебя в кармане в размере стоимости машины или квартиры, в конце концов остается в памяти лишь как ощущение новичка, прозелита, как первая любовь, которая проходит и не повторяется никогда. А деньги в дальнейшем всегда осознаются уже лишь сухим и прозаическим средством достижения цели.

...Чайный бизнес принес мне сумму капитала в несколько раз больше прежней. Но инфляция в тот период была где-то 25 процентов в месяц, в год это значило обесценивание рубля в десять и больше раз. Поэтому к своим достижениям я относился трезво, «званием» миллионера не упивался и оценивал деньги по тому, что я могу на них купить.

А купить, как оказывалось, я мог немного, например, квартиру уже нет: квартиры дорожали гораздо быстрее, за их ценами мне уже было не угнаться. С чаем бы в лучшем случае удалось топтаться на месте. Надо было что-то предпринимать, для еще больших денег.

С Сергеем мы работали как? Я занимаюсь своим делом, он — своим, и хотя деньги были в основном мои, прибыль мы делили почти поровну и в дела друг друга не вмешивались. Он меня, в общем-то, устраивал, у него были в Новосибирске связи с коммерческими людьми из числа друзей, ушедших в частный бизнес, реализовывал товар самостоятельно, и у меня не болела голова. Но однажды я приехал в Новосибирск за деньгами сам, и меня поразил неторопливый темп нашей работы.

Например, привозим мы московские шоколадные наборы — Сергей держит их до какого-нибудь праздника, когда магазины брали их особенно охотно и платили дороже. Ну ладно бы, если бы это было несколько дней, а то ведь он держал товар по две или три недели, а то и месяц. А за это время можно было прокрутить потраченную сумму как минимум еще два раза и получить гораздо большую прибыль, даже сдав товар по относительно низкой цене. Или отдавал чай на реализацию, выгадывая на этом процентов десять, тогда как за время, отпущенное на продажу, с деньгами, будь они получены сразу, можно было бы заработать еще как минимум пятьдесят. Но когда я объяснил ему, что по вине инфляции мы даже с прибылью все равно оказываемся в убытке и что не торопиться в обороте нельзя, иначе от наших оборотных денег ничего в конце концов не останется, — он этого не понял. Для большинства советских людей с детства отложилось: смысл спекуляции в запретном плоде — купить дешевле, а продать дороже, и кажется, что именно в этом гвоздь. И никто не понимает, что, может быть, гораздо выгоднее продать дешево, зато дважды в один и тот же срок. И прибыль выводить надо не из прежней цены товара, а из встречной, той, по которой ты покупаешь товар опять, а она за время долгой реализации может оказаться из-за инфляции уже ой как высока.

Но Сергей был бывший партийный работник — и такие тонкости оказались не для него. Сейчас он снова на приличной работе, устроился в какую-то инофирму, подучил английский язык и, в общем-то, кажется, в материальном смысле вполне неплохо, скорее даже лучше, чем прежде, живет. Но тогда он был «жертва переворота», безработный, получал пособие, указ Ельцина о запрещении компартии уязвил его. Своей должностью и своим креслом он гордился, был деятельный, активный, с перспективами, крушение карьеры переживал очень болезненно. И мне как родственнику, учитывая его плачевное положение и мои возможности, нельзя было ему не помочь. Многие коммунисты по сравнению с нынешними демократами были, можно сказать, невинны, как дети. В общем, Сергей оказался лишен настоящей спекулятивной жилки; я понял, что нуждаюсь в другом, более оборотистом компаньоне.

...С кем я только не пробовал организовать за время своей спекуляции: с официальными лицами, со знакомыми, с незнакомыми, с самым близким

другом, у которого даже было свое предприятие и печать и который пытался заниматься бизнесом на ценных бумагах, лелея мысль начать «делать деньги из ничего». Но для коммерции нужен особый талант, в ней найти дельного компаньона — задача не из простых. Есть даже инженер, который и купюры быстро пересчитать не умеет.

А вот таксист Коля с восьмиклассным образованием любую перспективу, я уж не говорю про купюры, мог просчитать тотчас, не учась в институте, прибиль всегда прикидывал без счетной машинки, в уме. А Надия уверенно ориентировалась в вопросах, касающихся взаимоотношений с администрацией. Надо сказать, что мы втроем, когда работали вместе, великолепно дополняли друг друга. Я — со своей неумной энергией на короткой дистанции, склонностью к аванюре и массой сумасбродных идей, да еще с интеллигентской театральной порядочностью, которую мне можно было иногда позволять включать для пользы дела; Коля — с его осторожностью, прижимистостью, приверженностью к долговременной рутинной работе и умением настойчиво торговаться и отстаивать свою цену; и Надия — с беззастенчивым отношением к любым должностным лицам, со способностью вести бухгалтерию, плести интриги, обыгрывать налоговую инспекцию и делать хитроумные ходы.

Это, можно сказать, была команда из группы захвата, ничто не могло устоять перед нею.

Ну а пока я все еще продолжал заниматься чаем уже один. Для этого мне пришлось переместиться в Новосибирск и самому взяться за реализацию. В Москве покупал чай по моим отработанным адресам и отправлял в Новосибирск мой друг, любитель делать деньги из ничего, пока, правда, особенно в этом не преуспевший и поэтому за определенный процент охотно мне помогавший.

Реализация налаживалась прекрасно. Я сдавал чай тоннами и сотнями килограммов в фирмы и магазины, и, поскольку мой чай был проверенный, со мной рассчитывались сразу, оставалось только определить приемлемую цену. За два месяца я обогнал инфляцию в восемь раз. Денег у меня опять было на квартиру, возможно даже большую, чем летом. Я даже стал покупать подвернувшуюся недвижимость, какая была мне по силам и не очень обременяла оборотный капитал, который, как порох, должен быть всегда сухим.

Около деревни на берегу Обского водохранилища, куда я часто ездил на рыбалку к знакомым, стали продаваться недостроенные коттеджи, принадлежащие какому-то «Новосибирскбурводу», за недостатком средств отказавшемуся от идеи возвести в тех местах базу отдыха. Этих коттеджиков там был целый поселок, и они так долго стояли недоделанными, что местные жители стали уже потихоньку их разбирать. Заплатив почти символическую сумму, я приобрел два дома, организация еще и бралась позже, когда мне понадобится, транспортировать разобранные дома на новое место (что и было исполнено).

И летом, когда мой «капитал» в силу нового, уже вынужденного, простоя, связанного теперь с печальными семейными обстоятельствами, снова превращен был инфляцией в гроши, эти два домика явились единственным моим выгодным вложением, благодаря которому я остался на плаву. Я свез их на новые места, собрал и продал клиентам за цену в двадцать раз большую, чем купил. Если б я все свои деньги до семейных трудностей вложил в недвижимость, то вообще стал бы богачом. Но, как говорится, знал бы, где упаду, так соломки подстелил...

Застрав на неопределенное время в Новосибирске теперь уже невольно, я вынужден был, опасаясь за сохранность своих средств, искать им применения на месте, то и дело обращая свои взоры дальше на восток, где, по всем показаниям, потребительские товары должны были стоить значительно дороже, чем в Новосибирске или в Москве, и это могло явиться хорошим основанием нового бизнеса.

На этом-то этапе у меня и началось сближение с Надькой.

Вернее, сближение началось еще весной, когда я взял у нее на месяц в долг денег, чтобы добавить к своим оборотным, предназначенным для чая, которые, кстати, она дала мне довольно охотно. После чего наши отношения продолжились, вылившись в мои консультации о бухгалтерском учете и вообще в долгие разговоры о коммерции. У нее же я потом встретил и Колю. А полгода спустя через них познакомился с Валерой.

Валера из города Петропавловск-Камчатский — новый персонаж в моем повествовании, и о нем следует рассказать особо. Сейчас он уже снова отрезанный ломоть и существует отдельно, целиком оставшись в торговле.

Валера из всех нас сейчас самый состоятельный. В обороте у него, пожалуй, уже несколько миллиардов рублей, в долларовом эквиваленте где-нибудь около полумиллиона. Почему он один из всех нас, начинавших вместе, вышел в люди — однозначно не объяснишь. Тут много причин, но, видимо, главная — все же стопроцентная сосредоточенность на деньгах.

Например, у Коли есть семья: жена, двое детей, взрослеющие девочка и мальчик, которые, несмотря на шоферскую профессию отца, да и вообще простоту обоих родителей, ходят — одна в художественный класс, другой в математическую школу, участвуя во всех компьютерных олимпиадах. И Коля, приходя с работы уставший, находит удовольствие в том, что жена подносит ему добрую чарку водки. У Надии — балованный сын переходного возраста, находящиеся у нее на попечении ее старые родители. У Валеры же — никого. Была жена, с которой вместе начинали заниматься спекуляцией, торгуя шубами, но они развелись, как только появились деньги. Теперь он холостой, а с женой продолжает общаться уже только как деловой партнер одного коммерческого предприятия.

Эта запойность в деланье денег — великая вещь, только нужно пребывать в этом запое постоянно, изо дня в день, в течение месяцев, лет, без всякого перерыва, чего я не умею по своей слабости и склонности к рефлексии. А вот Валера смог. Он, правда, постарел за эти два года неимоверно, при такой жизни год идет за два, а то и за три. Но зато великолепные результаты.

Есть еще одна причина, напрямую связанная с первой. Валера жмот невероятный. Например, уже обладая почти полумиллионом долларов, женщинам цветы он старается дарить все равно подешевле. Бабник и сластолюб, в магазинах, с которыми он работает, всегда умеет заболтать всех продавщиц, увивается вокруг каждой юбки, но как только доходит дело до угощения, у него сразу деревенеют скулы и стекленеют глаза. И не то чтобы он откажется купить, скажем, бутылку шампанского, особенно если понимает: это полезно в деловом отношении, это располагает к тебе персонал. Но, пойдя в киоск за подарком, он никогда не совершит отчаянного, не захочет на что-то супердорогое и редкое, вот просто не сможет через себя переступить.

В общем деле у него обязательно должно быть хоть на рубль, но больше денег, чем у партнеров, иначе он не спит. Общую кассу он тоже держит только у себя. В долг не любит давать деньги, это для него своего рода мука, он просто заболевает от расстройства, если все-таки вынужден дать, и найдет массу поводов, чтобы распечь просителя за его безалаберность. Купил в подарок за множество заслуг и из сентиментальных чувств своей бывшей жене лисью шубу, теперь уже лишь как компаньону, или, как он называет, «шахи-не» их предприятия. Так тридцать раз передумывал и порывался отобрать ее назад.

Ну и третье качество — жесткость. Вот мы все уже много раз делились, и всегда в момент объяснения чувствуешь неловкость. Я лично начинаю что-то мямлить, крутиться, хитрить, не умею сказать в лоб. Он же скажет прямо: «Я отделяюсь. И буду работать на вашем товаре. И я уже купил отдел сбыта завода, и вам меня на вашем товаре не догнать...» И никаких угрызений совести, никакой неловкости. Превыше всего дело. А он как к себе беспощаден в этом отношении и ради дела может жертвовать сном, покоем, здоровьем, так же

точно беспощаден и к другим. И не важно, что дело, которое превыше всего и которое значит деньги, принесет в новой ситуации, с отделением, прибыль уже только ему, а другие понесут потери. Такая тонкость не для него. Выгодно — значит, прав.

И в то же время продолжает считать себя другом, приезжает в гости и всегда искренне радуется встрече.

И тут же обрежет тебе еще один товар с совершенно невозмутимым видом. И похоронит тебя окончательно.

И хитрый. Это я забыл сказать, почему-то посчитав не таким существенным. А Валера далеко не дурак, хотя и прикидывается простачком, хотя и образования никакого особенного не получил и книг не читает. Психологию человека он понимает прекрасно, наблюдательный, тонкий. Жена моя даже предполагает, что, когда он при социализме плавал на рыболовных базах, по совместительству работал в КГБ. Были такие неявные должности на судах, находящихся в море по двенадцать — восемнадцать месяцев, и исправляли их люди со специфическим складом. Да и действительно иногда кажется, что он гораздо больше понимает и видит тебя, чем об этом говорит. В то же время есть темы, где он болтун страшный, можно заключить даже, что болтать — это и есть его натура. Например, о своих взаимоотношениях с Мариной он заговорит тебя до изнеможения, не знаешь, куда и деваться. А вот о чем-то и где-то — как могила молчит. Так что человек он себе на уме, далеко не однозначный. Шахматистом, наверное, он был бы превосходным. Конкуренентов любит обыгрывать разговором, крючками, ловушками, какими он выуживает информацию. Не подавая совершенно вида, что все понял про тебя. А потом преподнесет тебе очередную «новость» в дружеской беседе, которая лишит тебя средств к существованию уже совсем. И не из жестокости или злонамеренности, просто из любви к искусству. К обыгрыванию. Ведь в шахматной игре не думают о переживании партнера...

Другое дело — Надия Ревхатовна Барсагаева, дородная большая женщина, употребляющая гербалайф, неспешная, уверенная в себе, одна воспитывающая сына, тянущая на плечах заботу о своих больных родителях, властная, напористая, научившаяся во время службы в строительных организациях, а потом и руководства строительными кооперативами рабочих, находящихся у нее в подчинении, ставить на место матом, курящая сигарету за сигаретой и пьющая водку. И надо ж вот, с единственной оставшейся неуместной слабостью в характере — чувствительной привязанностью к друзьям молодости, к которым оказался причисленным и я, поскольку неоднократно встречал ее у ребят, когда приходил к ним в гости или ездил с ними за город «на природу», да и просто забегал в гости (и поэтому кредит тогда у нее и получивший).

Надя — Надия Ревхатовна Барсагаева — к деньгам относится проще. Например, когда все мы работали в Петропавловске-Камчатском и когда каждый вложенный рубль приносил через две недели еще рубль и размер вложения не ограничивался, рынок сбыта тогда в Петропавловске для наших товаров был широко открыт и поглощал их в неограниченных количествах, она, заработав две-пять тысяч долларов, в следующую партию товара вкладывала только, скажем, половину, а вторую половину тратила на какой-нибудь холодильник или стиральную машину, позволяя Валере с Колей их размеры вложений по сравнению с ее увеличивать в неизмеримое количество раз. И этим отпускала их, вкладывающих в очередной оборот все до копейки, так далеко, что догнать была уже не в силах. И ладно я, который вступил в эту игру гораздо позже, не мог угнаться за Валерой и Колей, как ни напрягался, ни занимал по всем углам, почему она позволяла другим себя обойти, можно объяснить только отсутствием вышеупомянутого и архиполезного в спекулятивной области чувства жадности. Могла, например, назвать полный дом гостей и после гульбы, продолжавшейся вечер и ночь, уже под утро вызвать по телефону только что давшую телерекламу круглосуточную сервисную службу с красивым названием «Олеко» и заказать изысканных закусок на дом, с салфетками, посудой,

с официантом. Но при этом, конечно, сильный характер. Умение с совершенным самообладанием выплачивать с процентами большие долги. Взяв однажды в сбербанке кредит на 25 тысяч долларов и сразу их куда-то спустив, она продолжала спокойно жить, судилась с банком, внешне, по крайней мере, никак не переживала. И ведь действительно кредит выплатила. Правда, вместо полугода — через полтора, но выплатила. Причем с какими-то поблажками, по какой-то льготной системе и с учетом инфляции, так что в убытке остался банк, а не она.

Ну и, наконец, Коля. В плане научаемости новому — истинный феномен. Когда мы с ним, устраивая коптильный цех, ходили по инстанциям, он, держась поначалу у кого-нибудь из нас за спиной, быстро научился вести себя с официальными лицами. Оставил свою таксистскую нахрапистость, сшил отличный костюм, сделался вежлив — совсем другой человек.

Конечно, мне было с ними не очень просто: я, например, сижу читаю публицистику Льва Толстого, а они заваливаются с бутылкой, уговаривают выпить рюмку, заводят всякие разговоры. Держали меня за человека другого круга, прислушивались, присматривались, перенимали кое-что. Это им не помешало, правда, потом, когда они стали обладателями хороших денег, меня, что называется, «кинуть».

...Как бы там ни было, это была виртуозная по своей продуктивности и работоспособности компания — люди, с которыми всегда было работать интересно, и мы, занимаясь обыкновенными отечественными хозтоварами и восстанавливая разрушенные с падением советского государства межгородские и межрегиональные торговые связи, «наделали» достаточно денег. Валера с Колей только за одно лето купили себе по две новые квартиры и по машине, Надя построила дачу, а я кроме покупки «тойоты-кресты» заработал денег на свою долю в основных фондах предприятия, которое стало регулярно приносить нам скромные, но стабильные 15 тысяч долларов в месяц. Мы затеяли его в Новосибирске с Надией и Колей уже только втором.

А началось все так... Мы сидели в Колиной «мазде» с закрытыми заиндевелыми стеклами, спасаясь от тридцатипятиградусного мороза, Коля рыскал по шкале приемника в поисках какой-нибудь отечественной станции, оба они с Надькой курили, распространяя клубы терпкого табачного дыма, я привычно и безнадежно клял их за это, и вдруг Надька сказала:

— А не купить ли нам коптильню?.. Сегодня в «строке» по телевизору объявление давали: «Продается коптильный цех». Я даже на какой-то газетке телефон записала...

Стоял январь 1994 года. Основной раздел собственности, по сути, завершился. Не были номинально еще поделены земля и заводы, но, так как на тот момент финансовом теле страны отчетливо наметились вздутия больших денежных образований, было ясно, меж кем именно произойдет этот дележ. Народ постепенно, еще опасливо озираясь, ударился в коммерцию: люди стали заводить ларьки, торговать жвачкой, ездить в Польшу и Турцию за товаром и открывать маленькие производства. Стало тесно в спекуляции: из подполья вышла рэкетирская мафия. Сделав деньги на грабеже, она вынуждена была искать им применение на внутреннем рынке, в частности, начала скупать строительные и хозяйственные магазины. Мелкому оптовику пришлось потесниться. Возникла конкуренция, директора магазинов сделались капризными, перестали покупать товар и брали его лишь на реализацию, растягивая оборот наших денег порой на несколько месяцев.

Власть, удушая поборами собственные госпредприятия, начала добираться и до предпринятой коммерческих. Мы своей шкурой чувствовали, как усиливаются контроль и полуневидимая «опека».

Надька сдала мне из-за сделавшейся — как она объяснила — низкой рентабельности (а скорее все же из-за возникшей рискованности в работе) полностью свои дела в их общем петропавловском предприятии и сама же из-за этого раздражалась и дулась. А я только что вернулся из области, откуда край-

не удачно отправил в Петропавловск партию дешевых жигулевских масляных фильтров.

— Спекуляция — это, конечно, хорошо, но все же она явление временное, — продолжила Надька, пуская дым в лобовое стекло. — Всегда надежнее производство...

И хотя я лично был готов поспорить с первой частью этого заявления, мысль, что можно, кроме всего прочего, попробовать свои силы и в производстве, показалась мне интересной.

— Производство и в Африке производство, — ответили мы с Колей. — Почему не купить? Если что-то стоящее, давай купим.

После чего все втроем отправились искать газету с телефонным номером.

И уже часа через полтора, договорившись с хозяином, ехали смотреть на то, что в объявлении значилось как «цех по выработке копченой продукции».

Цеха как такового, по сути, не было — существовала маленькая столовая, где его только предстояло смонтировать.

— Но почему такая сумасшедшая сумма? — допытывались мы. — На эти деньги можно купить пяток сносных японских автомашин, еще и без пробега по СНГ. За что такие деньги?

Столовая была арендована у маленького вымирающего заводика, которому в ней уже некого было кормить. Два года она бездействовала — с поврежденными трубами отопления, с плохо работающей канализацией, грязная и практически совершенно пустая. Существовал, правда, еще коптильный шкаф и кое-какой инвентарь на другом конце города, там, где у продавца прежде была коптильня, к тому времени закрытая санэпидемстанцией. Но, еще не зная цену на подобное оборудование (как выяснилось позже, самое главное — новый коптильный шкаф не стоил и двадцатой доли запрашиваемой суммы), мы все же понимали, что цена вздута неимоверно. Даже если учесть, что за эти же деньги хозяин брался перевезти шкаф на эту новую арендованную им площадь, переоформить столовую на нас, установить шкаф и подключить, провести вентиляцию, исправить холодильник, используя свой опыт, зарегистрировать цех во всех инстанциях, санитарных и ветеринарных службах и выдать первую продукцию.

— Но почему именно такая цена? — не унимались мы.

И тем не менее цех купили. Правда, конечно, не за первоначальную безумную цену, а за половину ее, да и то в рассрочку. Что, впрочем, не спасло парня-продавца от долговой ямы, в которую он попал, взяв в свое время под проценты в банке небольшую сумму, превратившуюся к тому времени, когда он продавал цех, в неподъемные тысячи «зеленых». Из-за этого ему пришлось развестись с женой, переписать на ее имя квартиру, продать последнее и удариться в бег. Да и уплаченное намного превышало реальную стоимость приобретаемого нами хлама. А больше у бедолаги и покупателей-то не было. Но все затраты окупало и — впоследствии — во многом нас выручало расположение коптильни. Столовая находилась рядом с главным железнодорожным вокзалом, где была, соответственно, постоянная клиентура для производителя копченых кур, а именно — женщины, торгующие курами на вокзале. Тот же хозяин и привел их к нам. Он-то понимал ценность и возможности будущей коптильни. Позже эти спекулянтки в хорошие дни, когда их не гоняла милиция, сбывали на вокзале наших кур чуть ли не до тонны в сутки — место было фартовое. Сам хозяин просто не мог уже им воспользоваться, надо было смыться.

Мы расплатились — и с головой ушли в омут организации производства...

Организация производства — это то же художественное творчество. Как, собственно, и отлаживание непрерывного замкнутого цикла спекуляции. Я имею тут в виду не красивое слово, поднимающее «низкое» спекулятивное или деляческое занятие до ранга творчества и искусства, а тождественность процессов на психологическом и интеллектуальном уровнях, характерных как для коммерческого, так и для художественного рода деятельности.



Общепризнано, что искусством может быть высокого уровня мастерство, что настоящим художником может быть умелец ремесленник, лудильщик, кузнец, высококвалифицированный слесарь, повар, любой настоящий профессионал. В том числе — удачливый и нюх имеющий коммерсант.

Творческие импульсы как при создании художественного произведения, так и при разработке удачной коммерческой операции — сходны: и в том и в другом случае одинаково можешь просыпаться ночью от озарений. В обоих случаях для творчества требуются одинаковые способности: наблюдательность, умение использовать, повторять и копировать законы природы, из глыбы материала и фактов вычлнять главное. При этом необходимы выдержка, накопление опыта, период проб, ошибок, обдумывания, пока все накопленное не встанет на свои места. Также требуется способность сводить накопленный материал в одно целое, вмещать его в продуманную стройную схему, которая сперва едва мерещится в воображении, но потом все больше обретает реальные очертания, пока наконец не предстанет цельным и стройным зданием, восхищающим в первую голову самого творца.

Завершенное здание поставленного производства — это не что-то производное и случайное, откуда ни возьмись возникшее. Это нечто в идеальном мире уже существующее, задача — угадать его правильные контуры, «отсечь лишнее», «стереть случайные черты», чтобы проявилось в своей красоте то единственно главное, что целиком соответствует природе явления.

И до самой примитивной степени, до самого, казалось бы, элементарного: скажем, до решения вопроса о не встрече двух потоков продукции, сырой и копченой (твердое условие ветнадзора, предъявляемое ко всем пищевым предприятиям, за нарушение которого предприятия закрываются), — то есть отсутствия пересечения предполагаемых линий движения сырого мяса из засолочных камер к коптильным шкафам — и готовых копченых кур. Как решить эту проблему в пределах арендованного помещения: в уже готовой столовой с ее маленькими камерками, коридорчиками, холодильными камерами — без дополнительных затрат на переустройство производства и создание удобств и для работы людей и их отдыха? Прошло много времени, производство расцвело, а вот технологическая цепочка, созданная нами в самом начале, не изменилась ни на йоту, то есть можно сказать с гордостью: мы сразу выбирали самые оптимальные, самые прагматические решения.

И основные свойства творцов практически одинаковы: дисциплина, терпение, упорство, благодаря которым дело только и доводится до конца — несмотря на лень, посторонние желания и хорошую погоду; у тебя хватает сил воплотить начатое, добить его до последней точки с тем, чтобы не рухнуло все предприятие из-за последней незначительной недоделки, чтобы основная масса труда не оказалась похороненной по невостребованности.

Общая схема была такова.

Цена бройлерных цыплят на птицефабриках держалась в тот год где-то в пределах двух тысяч рублей за килограмм. Затраты на копчение, даже с учетом амортизации оборудования, аренды и, самое главное, потери при ужарке, были все равно самые минимальные — максимум тысяча рублей. Цена же, по какой сдавались копченые куры в магазин, — порядка четырех с половиной тысяч. Так что все равно с одного килограмма обработанной птицы получалось тысячи полторы рублей прибыли. То есть по тому курсу — один доллар. Со ста килограммов — сто долларов, с двухсот — двести. Так ведь это двести долларов каждый день! Оборачиваемость тут минимальная: продаются куры в этом же городе, на месте, срок реализации в магазинах — три дня, и преимущественно оптом из самой коптильни — спекулянтам и оптовикам, поджидающим выхода еще горячих кур из шкафов в самом цехе. Да еще можно было вообще не затрачивать деньги на сырье, а брать у птицефабрик цыплят с отсрочкой платежа на реализацию.

Тогда этот доллар с килограмма появлялся вообще как бы из ничего. А через четыре месяца мы делали уже тысячу килограммов в день (окупив все пер-

воначальные вложения меньше чем за полмесяца налаженной работы) — это тысяча долларов из ничего!

...Творческий подход заключался в том, чтобы наладить производство, работающее само, без нас, в автоматическом режиме. Как в той игрушке-автомате, в которую только засыпаешь «руду», а из другого конца коробочки выходят уже готовые оловянные солдатики.

Три задачи, три уравнения почти из области высшей математики нам предстояло решить: добиться бесперебойного снабжения сырьем, произвести продукцию, наладить гарантированный сбыт. И если до того спекуляцию мы еще как-то освоили, то в капиталистическом производстве были просто нули.

Что касается копчения, то опыт его нам достался по наследству: вместе с инвентарем и коптильным шкафом в наше распоряжение перешли двое рабочих из прежней коптильни, которым негде было работать, и они хотели себя запродать, причем запродать недорого. Тут нам повезло: не требовалось ломать голову, носиться в поисках специалистов или самим подаваться в повара.

«Золотая середина» была в наличии, предстояло разобраться с оставшимися двумя чисто коммерческими задачами. Труднее всего оказалось с последним уравнением — со сбытом. Но и снабжение было не пустяком, как представлялось на первый взгляд, потому что твердое наличие на птицефабриках птицы явилось большим преувеличением. И все это еще должно было быть спаяно в единое целое важнейшим требованием, на котором особенно настаивал я, — непрерывностью производственного процесса!

Ведь такое часто бывает в нашей жизни, почему и не удаются нередко мелкие предприятия: что-то где-то достал, или сделал, или украл — и сразу выгодно продал. Полученные деньги, само собой, тут же поровну поделил. И — успокоился до следующего раза, до следующего удобного случая и okazji.

Я доказал, что «запад — где закат», что лучшая прибыль происходит от непрерывной эксплуатации. Чем больше полностью загруженных работой и непрерывно работающих, лучше даже в несколько смен, — тем больше продукции, а следовательно, и прибыли. Другими словами, главное не в цене, а в объеме...

Но для того чтобы задуманное осуществить, пришлось очень потрудиться. Нам предстояло приучить себя не спать, например, когда мы отлаживали ночные смены, предстояло стать и электриками, и холодильщиками, чтобы детальнее вникнуть в работу оборудования и вовремя выяснять причины возникающих неполадок. Прочитать массу руководств по копчению и товароведению с тем, чтобы хотя бы понять, как бороться с ужаркой, потерей веса при процессе копчения, которая может быть и 35 процентов, а может и 13 — в прямом соответствии с тайнами умелой кулинарной обработки птицы. А это совсем немаловажно, потому что, по очередному таинственному коммерческому закону, уменьшение ужарки на 20 процентов увеличивает прибыль уже на 40. Предстояло разграничить обязанности специалистов дневных и ночных смен и вообще каждое звено везде проработать самим, чтобы потом с уверенностью всем технологическим процессом манипулировать.

Постепенно мы везде заменяли себя специалистами — людьми, принятыми для определенной работы на определенное место. Учетчица развязала нам руки и освободила нас от изнуряющей и отнимающей массу времени обязанности каждодневно все подсчитывать. Продавщица отпускала кур оптовикам. Мы платили из своей прибыли лишние сто долларов в месяц, но зато снимали с себя массу лишней нагрузки и освобождали время для того, чтобы заняться расширением производства, для чего требовались еще новые люди, еще лишние 100, 200, 300 долларов, еще оборудование, но что в конечном счете окупалось и приносило прибыли в десять раз больше, чем вся сумма вынужденных трат.

Нам пришлось научиться улыбаться поставщикам, в глубине души ненавидя их за наши убытки. Потому что, какие бы клятвенные заверения поставщиков в их надежности мы ни выслушивали, какие бы договора с птицефабриками ни заключали, ничто не спасало нас от простоя, если на фабрике забойные цыплята оказывались не бройлерами, если на фабрике начиналась лихорадка из-за отсутствия кормов или электроэнергии или каких-то других объективных причин. Все эти «объективные обстоятельства» мы должны были предусмотреть, просчитать и включить в уравнения как постоянные неизвестные, ожидать их и относиться к их появлению как к неизбежности. И бессмысленно было обижаться, оскорбляться, разувериваться в человеческой порядочности; нас подводили, обманывали, «кидали» тысячи раз, тем не менее мы все равно продолжали поддерживать с обманщиками и «кидалами» хорошие отношения. Фабрик-то — ограниченное количество, можно и пробросаться. Ради дела мы прощали любую недобросовестность, даже подлость, и после правой щеки нередко подставляли левую. Захочешь, чтобы работа шла, — еще и не то съешь, не то вытерпишь. И, продолжая улыбаться и приветливо раскланиваться с поставщиками, начальниками отделов сбыта, поддерживая с ними приятные беседы и разговоры «за жизнь», за их спинами вели закулисную игру и всегда на крайний случай держали в запасе на примете еще несколько птицефабрик.

И совершенно противоположным образом научились себя вести, когда дело касалось сбыта продукции. Здесь, напротив, необходимо было быть кристально честным и четким. Хочешь, чтоб оптовики к тебе шли, не бросали, — будь добр всегда выполнять свои обещания, несмотря ни на какие объективные обстоятельства, вплоть до того даже, что если у вас простой, а люди приехали за заказанным, то купить кур у конкурентов, но свое обязательство выполнить. Только тогда можно рассчитывать на долговременную работу с людьми, и за вашей продукцией всегда будет очередь.

Мы научились относиться к рабочим как к участникам одного общего большого, создаваемого или — лучше — сотворяемого нами дела; каждый должен был выполнять ту функцию, от которой мы отходили, освобождая себя для других дел. Кстати, одному из двух наших «ветеранов» невольно пришлось уволиться, потому что меж ними двумя разгорелась ревнивая борьба за первенство, мешающая делу и лихорадящая коллектив. Парню, как ни жалко нам было терять отличного специалиста, пришлось уйти, а женщину мы сделали мастером производства.

И в итоге, с заполнением последних рабочих мест, пустот в создаваемом производственном процессе, у нас вкалывало уже пятнадцать человек персонала.

Решили мы проблемы и с рэкетом, и с налоговой инспекцией.

С первым мы разобрались через наших с Надией общих знакомых. Я пошел с бутылкой хорошей водки к Мишке Внукову, тренеру по классической борьбе, в прошлом чемпиону страны по многоборью, заслуженному мастеру спорта, и сказал, что мы нуждаемся в защите.

То, что в организованных вымогательских структурах СНГ задействовано много спортсменов, — общеизвестно. Из их числа под влиянием спроса выделились защитники предпринимателей. То есть их «сообщество» раскололось на два лагеря — рэкетиров и наемных защитников от рэкета, — объединившихся чуть позже во всякие официально зарегистрированные агентства с разными красивыми романтическими названиями.

Внуков не входил ни в ту, ни в другую группу, он был преподаватель, но многие из бывших спортсменов, как рэкетеры, так и борцы с рэкетом, у него учились. И теперь и те и другие ходили, по заведенной традиции, в один клубный спортзал, в одну и ту же баню, играли в теннис на одном и том же корте, парились в одной сауне и общались за кружкой пива в одном клубном баре.

Я пришел к Михаилу. Мы втроем, он, я и его жена, вместе провели вечер, поговорили, вспомнили молодость, и Миша пообещал помочь. В очередной «баный» день он поговорил в клубе с кем-то из своих учеников и все нам устроил.

Нашей «крышей» стал Кувалда — Григорий Ронфовский (прозванный Кувалдой за величину кулака), глава рэкетирской группировки левобережного района. Михаил переговорил с одним из его «подчиненных», Александром Б., работавшим в охране большого частного магазина «Всё для дома», где в специальном кабинете с коллегой-охранником играл в служебные часы в нарды. Миша объяснил, что при необходимости мы должны ссылаться на Кувалду, если же кто будет продолжать «возникать», то «набить ему стрелку» с Александром Б., то есть либо свести для разговора в магазин «Всё для дома», либо просто дать номер служебного телефона Александра, по которому тот на понятном интересующимся языке объяснит все с исчерпывающей полнотой. С нас ничего не требовали. Иногда к празднику мы уже сами в порядке благодарности и чисто символически приносили Александру на службу несколько штук копченых кур. И надо признаться, это была действительно чисто символическая благодарность, если сравнить ее с подарками других клиентов.

Все это было весьма кстати. Однажды к нам пришли двое молодых людей, была как раз моя смена. Они закрыли за собой дверь бухгалтерии, выставив наружу остальных работников, и предложили свои услуги. Два прилично одетых, совсем не уголовного вида молодых человека.

— Вы кому-нибудь платите? — произнесли они ключевую фразу.

— Да, мы работаем с Кувалдой.

— Тогда нет проблем, извините.

Хотя для проверки перед уходом задали еще вопрос:

— Он к вам сам приходит или вы к нему?

— Нет, — сказал я, — мы с его ребятами имеем дело, во «Всё для дома» сидят...

Так что с вопросом о вымогательстве было покончено.

С налоговой инспекцией мы налаживали отношения под руководством Надии. Тут уж она проявила все свои способности. Мы втроем — мы с Колей в почетном эскорте, Надька с наглостью танка впереди, — неся в пакетах свою продукцию, обошли перед очередным праздником все нужные кабинеты и всем, кому нужно, сделали подарки и там, где нужно, дали взятки. Там, где можно, скрыли доходы. Таким образом выговорили себе определенный простор.

После чего, можно считать, здание было в общих чертах возведено...

Рабочий день начинался приблизительно так.

Приходишь утром в цех, вернее, приезжаешь на своей машине. И уже одно это устанавливает между тобою и остальными определенную дистанцию, потому что на заводике, где расположена ваша столовая, оставшийся рабочий люд влачит жалкое существование, а машина японская, представительского класса, со всеми наворотами и прибабасами. Чувствуя спиной пристальные взгляды,ходишь в цех. Со строгим лицом идешь по коридору, замечая каждую мелочь: что снова слив засорился, что ящики не убраны, что у ночной смены опять пиво было, что засаливать пора уже при более низкой температуре. Справляешься о том, сколько уже вышло загрузок... Спрашиваешь, сколько продано, сколько еще оптовиков на записи, когда очередная выгрузка. Сколько в холодильнике кур в запасе, когда звонили с птицефабрики, сколько клиентов на следующий день. Если хочешь, чтобы твоя тысяча долларов капала каждый день, будешь поневоле вникать в каждую мелочь и с суровым, озабоченным видом всюду соваться.

Допустим, ты всею остался доволен. В таком случае ты можешь расслабиться, пошутить, посмеяться, порадоваться. Хотя со времени эйфории, момента великой радости, с того торжественного дня, когда Коля в конце работы подсчитал выручку — почти тысячу долларов, много воды утекло, пота пролито, и той прежней оголтелой радости уже не испытываешь. Тем не менее ощущение материальной стабильности — великое дело.

Потом — встреча с компаньонами.

Первым появляется Коля. Вечно оживленный, готовый что-то делать, куда-то ехать, что-то производить. Если его правильно сориентировать и направить, он любое дело сделает в лучшем виде. Это и есть настоящий компаньон; он не только вкладывает в общее дело равную часть своих денег и рискует ими, но и трудится превосходно, конкретную задачу выполнит — кровь из носу. Например, именно он во время перебоев с сырьем доехал на своей машине до Алтайского края и нашел там несколько птицефабрик, которые потом нередко нас выручали.

...Последней появлялась Надия. Если, конечно, появлялась. Дело в том, что Надия у нас значилась директором предприятия, и, хотя мы все были в одинаковом положении как учредители и имели одинаковое количество голосов, себе она все же как-то выторговывала особые условия. Время, когда мы с энтузиазмом делали все рука об руку, испытывая радость коллективного творчества, миновало. Тихой сапой, незаметно на первый план стали выступать самолюбие и жажда главенства.

Но за нашими взаимоотношениями следил весь рабочий персонал, всех они касались, от них зависели и стабильность работы, и надежность предприятия, и долговременность дела, и зарплата, и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому все наши трения были замаскированы под сплоченность. И все радовались нашему смеху, улыбались, свободные от работы следовали за нами в бытовку попить чаю (за счет фирмы, естественно, как и две курицы в день на обед, как кофе, хлеб, сахар ночной смене). Начинался перекур, шум, хохот, разговоры, анекдоты, воспоминания...

— Вон с ним, — кивала Надия в мою сторону, — когда в Москве были, у него останавливались. Едем на его «Запорожце» из аэропорта к нему домой, печка в машине не работает. Он сразу предупредил: либо тепло будет, но будет вонять бензином, либо дышать можно будет, но тогда станет холодно. А на улице ночь, снег идет, стекла изнутри от дыхания обмерзают, и я перед ним все время со стекла лед зажигалкой соскабливаю, чтобы хоть что-то мог видеть, как в амбразуру.

И приятно вспомнить такое, когда на улице у коптильни стоят наши нынешние «крутые тачки»...

Вроде все хорошо, но нет-нет да и проговариваются какие-то обидные мелочи. В речи, скажем, Надии проскальзывает «моя фирма».

— Приходит врач санэпидемстанции, — делится она с подругой нашими заботами, — в мою фирму и начинает мне пудрить мозги. Но я не для этого создавала коптильню.

И так далее. Но мы-то все слышим.

Дружба денежных людей претерпевает определенные изменения. На множестве примеров из области возникновения и жизни малых предприятий в этом убедиться нетрудно. И вообще, есть ли дружба в такой среде, надо еще подумать. Дружба быстро и сильно разбогатевших людей — это terra incognita: тут другие законы. С переходом от жизни на зарплату — к жизни с большим количеством денег в людях меняются ценностные ориентиры, происходят подвижки в мировоззрении. Если ты отведал денежной жизни и привык к ней, то на все остальное начинаешь смотреть как на что-то несущественное, как на пустяки и ребячество. Например, такие вот очерки ты уже не пишешь. А если пишешь, то есть занимаешься делом, которое приносит тебе за месяц работы всего миллион рублей — тогда как в коммерции ты такие и большие деньги зарабатываешь за день, — то для этого ты имеешь какие-то дополнительные основательные мотивы, какие-то веские причины: неудачи, разорение, болезни, вынужденный покой. Получение же тридцати миллионов в месяц к письму отнюдь не располагает. (Не знаю, стал бы писать все это, если бы не начал просыпаться ночью от беспокойства из-за неуплаты долгов и налогов, и только этим писанием себя и утихомиривал, хоть ненадолго уходя в другой мир, где на все долги и тревоги по сравнению с творческой радостью можно было

решительно наплевать.) Писать же стихи, к примеру, или заниматься «чистой наукой» может только человек, который вкус денег не ощутил и не подозревает, что такое богатство.

Меняется стиль жизни человека, тип отношения к деятельности. Скажем, уходит тип счастливого садовода, в свое время встречавшийся в стране в изобилии. Одно дело — возделывать «свое поле» из удовольствия, другое — исключительно для прокорма. Уходит тип счастливого рыбака, романтика, все лето слонявшегося по берегу какой-нибудь большой реки и проводившего жизнь в ужении рыбы<sup>2</sup>. Тут у него и костерок, и котелок, и палаточка. Что еще человеку надо? Не вижу, не встречаю уже и охотника, проводившего, к примеру, всю осень в камышах на озере Чаны, на берегу этого великого степного сибирского моря, где у него до песка вытопан квадрат бивака, установлена на крепких растяжках высокая, в рост человека, десятиместная палатка, в ней палатка поменьше — для спального места, рукомойник, баллоны с газом, таган с паяльной лампой, на котором ведро с утиной похлебкой, мешок с крупами, связка лука, несколько сотен патронов, ящик водки, кипа старых журналов и раскладной стол. Сам безвылазно, в тепло и холод, ходит по стану в валенках на резиновой подошве и ватных штанах, на охоту иногда выплывает в раскладной лодке, на голове носит шапку и, сидя в парусиновом кресле у входа в палатку и поглядывая на серое небо над камышом, пьет чай. Ау!

Садовод в поте лица трудится ради хлеба насущного, рыбак превратился в бомжа, а охотник делает на пушнине деньги. Всех охватил угар дела, борьбы за существование. Все меньше и отдохновения, все больше издерганности, угара.

Даже художественное творчество, что всегда приносило душе умиротворение, теперь коммерциализировано. И вчерашние бескорыстные «самиздатчики» судорожно обслуживают журнальчики нуворишей.

Сколько ни относиться к деньгам как к отвлеченной идее, деньги остаются деньгами, они имеют всеокрушающую силу в своей потенции сделаться самооценностью и только ждут, затаившись, момента обратиться в смысл жизни и овладеть твоим сознанием целиком. Об этом еще у Достоевского в «Подростке» исчерпывающе рассказано.

...Между тем накатывали маленькие, замешанные на самолюбиях недоразумения. Каждый из нас уже думал, подумывал, у каждого внутри возникала маниакальная мысль: «Ведь эта тысяча долларов в день могла доставаться мне одному. Ведь и в одиночку все это можно делать». Кончилось коллективное творчество, на первый план выступил момент дележа.

Ну и финал — до смешного элементарен. Поводом послужило мое «непослушание», касающееся запрещенного мне большинством (из нас троих) голосов расширения. Но разве можно мне запретить расширяться? Я все равно это делал. И был исключен из состава учредителей тем же большинством голосов за «махинации». В этом вопросе Коля с Надией проявили редкую солидарность. Вопрос был решен одним махом (наука для создающих предприятия с несколькими учредителями: в уставе четко должна быть разработана процедура раздела, чтобы исключить возможный произвол и несправие).

— Ребята, но ведь так просто такие серьезные вещи не решаются, — упирался я.

— Нет, ты выбываешь из нашей фирмы, — упрямо заявили Надя с Колей.

— Но ведь я не наемный работник, которого можно просто так уволить, я — учредитель!

— По уставу все решается большинством голосов. Первоначальный взнос ты получишь.

— Ну а налаженное производство? А основные фонды, увеличенные за счет прибыли? А доход?..

<sup>2</sup> Чрезмерное обобщение. Порой бывает равным счетом наоборот (см.: Костров М. а рк. Рыбные дни Новгородчины. — «Новый мир», 1997, № 3). (Примеч. ред.)

— Раньше надо было думать.

В итоге я не получил полностью даже первоначального взноса, поскольку выдан он был в рублях, без учета инфляции, а она за период нашей совместной деятельности составила, слава Богу, без малого 300 процентов.

Тысячи долларов растаяли словно дым...

С тех пор прошло два года.

За это время у меня уже не стало «тойоты»: на нее весной в бурную оттепель рухнул снег с крыши, после чего восстанавливать ее было бессмысленно...

Я вернулся к своим всегдашним занятиям: кое-что написал, в частности вот этот очерк, стал жить спокойнее. По крайней мере иногда с удивлением вспоминаю свои бурные страсти, алчное делание новых и новых денег: как не спал по ночам, худел, мучился, возвращая свой капитал. Умопомрачение, да и только. И потому кажется порой, что жизнь входит в нормальное русло.

...У Нади с Колей дела сейчас идут не ахти. Конкуренты заели, цена на продукцию упала, едва сводят концы с концами и набирают денег, чтобы платить аренду. Мы снова дружим, часто встречаемся, ходим семьями друг к другу в гости.

Организовал новое, опрятное, вполне респектабельное, производство. И хотя «тойоты» у меня больше нет, зато есть «BMW-525». Тоже неплохо. Собираюсь, теперь единолично (наученный горьким опытом), расширяться...



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

А. СОЛОВОВ

\*

## МОСКОВСКОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ

*Предлагаемые вниманию читателей воспоминания (вернее, их фрагменты) написаны моим дядей Александром Петровичем Солововым (1908 — 1993) в последние пятнадцать лет его жизни. Многие он написал сам, часть я записала с его слов.*

*...А. П. Соловов родился в семье профессора Петра Дмитриевича Соловова. Солововы — древний дворянский род, уходящий корнями во времена Ивана Грозного, но к концу XIX века совершенно обедневший. Только благодаря упорному труду и таланту Петр Дмитриевич смог закончить курс обучения в Московском университете и в дальнейшем стать одним из выдающихся хирургов-урологов.*

*На свои средства, а также на деньги, одолженные у друзей и знакомых, П. Д. Соловов в 1913 году купил в Москве на Большой Молчановке участок земли и построил четырехэтажное здание, в котором собирался открыть хирургическую лечебницу, а на втором этаже — жить со своей семьей. Но планам семьи Солововых не суждено было осуществиться. Началась мировая война, и П. Д. Соловов разместил в своем доме госпиталь. После революции 1917 года здание экспроприровали. Лечебнице, построенной П. Д. Солововым, в советское время присвоили имя Грауэрмана. Это был знаменитый родильный дом, сейчас закрытый; в нем родились многие москвичи.*

*Сын П. Д. Соловова Александр, автор данных воспоминаний, рос в атмосфере настроений, характерных для большинства московской интеллигенции пред- и послереволюционных лет: безоговорочное принятие Февральской революции и критическое отношение к последующим событиям. В доме постоянно бывали пациенты и друзья Петра Дмитриевича: художники М. В. Нестеров, Б. М. Кустодиев, профессора А. И. Абрикосов, М. А. Скворцов, Е. А. Кост, А. К. Дживелегов, академик К. А. Тимирязев.*

*От природы очень одаренный, Шура учился легко, свободно говорил на трех языках. В бывшей гимназии Алферовых, где преподавали многие известные учителя, сложилась атмосфера удивительной сердечности и дружбы, которую многие соученики сохранили на долгие годы. Трудные то были времена: до глубокой осени Шура ходил в гимназию босиком, а однажды зимним утром видел, как от замерзшего трупа лошади, посреди Смоленской площади, люди оттипали куски и уносили по домам. Тяжелые условия не помешали ему, однако, стать со временем высококлассным специалистом.*

*...Александр Петрович Соловов — доктор геолого-минералогических наук, профессор; его имя хорошо известно в широких кругах геологов, геохимиков и геофизиков в нашей стране и за ее пределами. Он один из основоположников нового научного направления в геологии — геохимических методов поиска рудных месторождений, приведших к открытию крупных промышленных разработок многих металлов. Он объездил всю страну, много работал на Чукотке, дважды прошел Северным морским путем.*

*Великая Отечественная война застала Александра Петровича начальником Забайкальской геофизической партии. И быть бы ему убитым на фронте (особенно при его росте 190 сантиметров!), если бы не случай. Уже будучи призванным, простившись с женой и сыновьями, он пробирался сквозь огромную толпу, запрудившую площадь перед призывным пунктом, и тут лоб в лоб столкнулся с директором местного оловокомбината, которого знал по нескольким геологическим совещаниям еще до вой-*



ны. На разъяснения Александра Петровича, что он тут делает, последовал возглас директора: «Но ведь вы нужны здесь!» — и через десять минут рядовой Соловов был демобилизован.

После войны, работая заместителем начальника Главного управления геофизики Министерства геологии, Александр Петрович в 1947 году был направлен в годичную командировку в США. По возвращении он со дня на день ждал ареста в связи с развернувшейся в ту пору кампанией по борьбе с космополитизмом. Однако судьба опять распорядилась по-своему. В соответствии с другой кампанией — по чистке министерства — А. П. Соловов оказался в списке «опороченных лиц» за номером первым как: беспартийный; из дворян, который в 1927 году арестовывался по подозрению в шпионаже в пользу Польши, а позже, как уже говорилось, еще успел побывать и в США. Словом, Соловова уволили.

Последующие десять лет Александр Петрович провел в Казахстане, о чем никогда не жалел и отсюда привез в Москву готовую диссертацию, причем сразу докторскую. Затем — приглашение на геологический факультет МГУ им. Ломоносова, где он работал почти тридцать лет. Блестящий лектор, настоящий русский интеллигент, каких теперь уже почти не осталось, А. П. Соловов читал курсы лекций во многих вузах нашей страны и за рубежом; им создана школа высококвалифицированных специалистов-геохимиков, пользующаяся признанием во всем мире.

...**Б**бушка моя со стороны матери, Варвара Андреевна Чуйкевич, пережила своих мужей, большую часть детей и внуков, погребена на прежнем Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с могилами моих родителей М. Б. и П. Д. Солововых.

Из надписи на могильной плите можно узнать, что бабушка родилась в 1845 году и скончалась 30 февраля 1929 года. Известно, что только в високосные годы в феврале бывает 29-е число, в остальные годы — только 28 дней. Этой курьезной надписью мы обязаны моей старшей сестре Ксении Петровне, наказавшей надгробие. По рассказам, обнаружив эту нелепость, она с негодованием воскликнула: «Что это вы тут написали?!» — и услышала в ответ: «Гражданка, что вы хотели, то мы и высекли», — ей была предъявлена записка, выполненная ее рукой. Вместо того чтобы приплатить пять-десять рублей за переделку, рассерженная Ксения Петровна забрала надгробие из мастерской и установила на могиле Варвары Андреевны, где оно и пребывает вот уже более шестидесяти лет.

Брак Варвары Андреевны с богатым украинским помещиком Александром Федоровичем Чуйкевичем сопровождался романтическими событиями. Окончив в Петербурге основанное при императоре Николае Первом привилегированное Училище правоведения, Александр Федорович готовился к блестящей карьере, но, на беду, встретил и полюбил молоденькую девушку Варю Белокрысову, сделал ей предложение и получил согласие ее родителей. Но этому браку решительно воспротивилась мать Александра Федоровича, надменная генеральша, гордившаяся родством Чуйкевичей с украинскими гетманами и считавшая невесту недостойной своего сына.

Тогда, желая отомстить матери, Александр Федорович поклялся в церкви, что всю жизнь останется холостым, вышел в отставку и поселился в своем именье. С карьерой было покончено.

Прошли годы, бабушка вышла замуж за В. Лутковского, родила троих детей, овдовела. Умерла и мать Александра Федоровича, и тогда бывшие жених и невеста встретились вновь. Недаром говорит пословица: «Старая любовь не ржавеет». Александр Федорович повторил свое предложение и вновь получил согласие молодой вдовы. Но как нарушить церковную клятву? Выход был найден: в своей деревне Дарьевке, Верхнеднепровского уезда, бывшей Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская область), Александр Федорович обошел все крестьянские дома и в каждом униженно просил прощения за нарушение своего обета! Эта церемония протекала примерно по такому стан-

дарту: войдя в хату, встав на колени и кланяясь в землю, Александр Федорович говорил: «Братья и сестры, простите меня, я клятвопреступник...», на что испуганные хозяева отвечали: «Что вы, батюшка барин, встаньте, встаньте, Бог простит!..» Прощения были получены от всех, несложная церковная епитимья была выполнена, брак благополучно состоялся, и супруги прожили в согласии более сорока лет. Своих детей у них не было.

...Мой отец, Петр Дмитриевич Соловов, родился 12 января старого стиля 1875 года в уездном городе Сапожок, Рязанской губернии, в обедневшей дворянской семье. Солововы (по-старому Соловые), записанные в шестой («лучшей») части «Бархатной книги», когда-то были богаты. В XVI веке Анастасия Соловая была женой одного из сыновей Ивана Грозного, но позднее ее сослали в Покровский монастырь в Суздале — место заточения опальных цариц и боярынь. Николай Иванович Соловов был первым рязанским предводителем дворянства, жил широко и в своем поместье, как говорили в те времена, «принимал всю губернию», но уже у деда моего отца, тоже Петра Дмитриевича, ничего от бывшего богатства не осталось. Отец моего отца был мелким чиновником, мать — Варвара Андреевна Фофанова — тоже из дворян Рязанской губернии. Отец окончил с серебряной медалью классическую гимназию в Рязани, где изучал латынь, греческий, немецкий и французский языки; затем поступил на медицинский факультет Московского университета, в 1898 году получил звание «лекаря с отличием» и был оставлен при университете в должности ординатора Госпитальной хирургической клиники. Работая там в течение четырех лет, отец зарекомендовал себя хорошим практическим врачом и какое-то время регулярно пользовал на дому Л. Н. Толстого. «После несложных медицинских процедур, — вспоминал отец, — Лев Николаевич нередко приглашал меня завтракать. За длинным столом я сидел обычно на конце Льва Николаевича вместе с какими-то странниками и другими «демократическими» лицами. В противоположность этому на конце Софьи Андреевны, кроме детей, сидели ее гости, например, блестящие гвардейские офицеры. Постоянно бывал Джунковский — позднее московский генерал-губернатор».

В 1902 году на протяжении нескольких месяцев отец работал врачом в семье купцов Третьяковых, где имел свою комнату и питание. Скопив 500 рублей, он уехал за границу для усовершенствования знаний в лучших клиниках Западной Европы. Вернувшись, отец вместе со своим другом А. Г. Русановым оставил клинику в Москве и уехал на работу в земство, считая это своим врачебным долгом. Оба друга вместе и порознь в течение нескольких лет работали в Пензенской, Воронежской и Екатеринославской губерниях, выезжали на эпидемии холеры. В селе Саксогань Екатеринославской губернии отец проработал хирургом более пяти лет, вплоть до 1909 года. Там же познакомился с моей матерью, Марией Брониславовной Гротто-Слепиковской. В 1905 году родители обвенчались, через год родилась моя сестра Ксения, затем я, после меня сестры Маша и Оля.

Появление на свет моей матери долгое время было окутано тайной. Никто из нас, детей, не сомневался, что наша мама — родная дочь бабушки Варвары Андреевны. Но кто был ее отец? Судя по отчеству — Брониславовна, — это не были ни В. Лутковский, ни А. Чуйкевич. Дважды я спрашивал: «Бабушка, а как звали маминого отца?» И оба раза был ответ: «Я не помню». Много позднее тайна приоткрылась. Когда в начале 70-х годов прошлого века умер первый муж бабушки — Лутковский, — ей не было и тридцати. Молодая богатая вдова покинула Малороссию и жила то в Петербурге, то в Москве. В эти годы в обеих столицах действовала шайка светских авантюристов под названием «Червонный валет». Это были представители «золотой молодежи», сынки оскудевших родителей, которым не хватало денег на кутежи и прочие дорогие удовольствия. Один из членов этой шайки, представитель дворянской семьи Алексеевых (имя так и не известно), сумел вскружить голову моей бабушке. Это обошлось ей в сорок тысяч рублей и ребенком в проекте. Спасаясь от преследования полиции,

Алексеев уехал в Швейцарию. Влюбленная женщина последовала за ним, но в живых его уже не застала: Алексеев покончил с собой.

Тут в Женеве 9 октября 1874 года и родилась моя мама, там же и крещена. В метрике указаны ее родители: отставной штабс-капитан Бронислав Гротто-Слепиковский и законная жена его Софья Андреевна, урожденная Белокрысова. Таким образом, матерью ребенка вместо бабушки была записана ее сестра, а отцом вместо Алексеева — муж сестры.

В течение многих лет бабушка не видела свою дочь. Она воспитывалась в Белостокском институте благородных девиц, одном из передовых женских учебных заведений своего времени, закончила его с золотой медалью в 1891 году. Помимо французского языка, который она преподавала до 1902 года в Смольном институте в Петербурге, мама свободно владела немецким и итальянским языками, знала латынь, окончила курсы кулинарии. Только с семнадцати лет мама стала бывать в поместье у бабушки, и они полюбили друг друга.

Чувствуя себя виноватой за внебрачное рождение дочери, бабушка прибегла к средству, которое существовало в царской России специально для девушек, в чьей биографии не все было гладко, — требовалось представить ее ко двору. Принятая русской императрицей, она получала ту высшую аттестацию, после которой ни один самый родовитый, сановный дом не мог отказать ей в приеме. Вместе с мамой бабушка приехала в Петербург и, заказав придворные платья, записалась на прием ко двору. В назначенный день их принимали обе царицы сразу: вдовствующая императрица Мария Федоровна и царствующая — Александра Федоровна. Старшая сказала маме по-французски: «О, мадемуазель, вы так молоды!» Младшая молча улыбалась.

Свадьба отца с матерью едва не расстроилась за три дня до венчания, но совсем не по причине незаконного происхождения мамы (для отца это не имело никакого значения), а из-за крутого характера бабушки. В беседе отец осмелился в чем-то с ней не согласиться, и бабушка, стукнув кулаком, заявила: «Свадьбе не бывать!» Лишь вмешательство дедушки Александра Федоровича, который ездил к отцу извиняться, поправило дело.

Каждое лето до 1915 года мы, горячо любимые внуки, вместе с гувернантками жили в Дарьевке у дедушки с бабушкой.

...Именье деда было не так уж и велико: не то пять, не то девять тысяч десятин, — но это был знаменитый украинский чернозем, с его рекордными урожаями. (Крупнейший помещик в уезде князь Урусов имел сорок тысяч десятин.)

Дед был идейным сторонником Столыпинской реформы и постепенно по дешевке распродавал свою землю «крепким мужикам»; ко времени революции у него оставалось немногим более трех тысяч десятин.

Приезжая с бабушкой в Крым, мы всегда жили на ее вилле «Маруся», в ней было 23 комнаты, хороший сад и еще маленький садовый домик, в котором любили жить отец с матерью.

Возвращаясь к моему деду, должен сказать, что он не лишен был некоторых странностей. В летние месяцы, по-зимнему одетый, включая обязательный башлык, под палящим южным солнцем, он ежедневно совершал большие пешие прогулки по степи в соприкосновении своей любимой таксы по прозвищу Микри. Вернувшись, принимал горячую ванну, которую ему готовил камердинер Данила, надевал белую крахмальную сорочку, черный галстук-бабочку, сюртук и выходил к обеду. Обычно вся семья обедала на застекленной террасе, в особо жаркие дни — под деревьями и брезентовым навесом около дома. Пообедав, дед тут же за столом сам варил себе на спиртовке черный кофе в турецком медном кофейнике с длинной ручкой.

Изредка дед брал меня с собой на утренние прогулки. К полудню, изрядно устав, мы оказывались на краю местного кладбища, около фамильной часовни Чуйкевичей. Дед отпирал ее своим ключом, и мы заходили туда отдох-

нуть. В часовне висела только одна большая икона Божьей Матери с Младенцем, очень неплохо написанная сестрой деда Марией Федоровной.

В часовне же стоял простой сосновый гроб, который дед приготовил для себя. Гроб полон был свежего сена, и, сняв с него крышку, мы с дедом однажды отлично в нем подремали. Я имел неосторожность рассказать об этом бабушке, за что ему отчаянно попало от нее: как можно положить ребенка в гроб — дурная примета!

По воскресеньям мы с бабушкой ездили к обедне в Дарьевскую церковь в огромной карете, запряженной шестеркой лошадей. Во время службы стояли на отведенном для нас левом клиресе, первыми подходили к кресту. Более демократичный дед приезжал в своей скромной пароконной карете и в церкви стоял с прочими прихожанами. Бабушка искренне верила в справедливость и незыблемость российского общественного устройства, в меру занималась благотворительностью и лечила крестьян, но с прислуги спрашивала строго.

В доме торжественно отмечалось 31 августа — именины деда и мои, названного в его честь, — день святого равноапостольного князя Александра Невского. Поздравить деда съезжались все соседи-помещики с женами, детьми и домочадцами, с ночевкой и на два-три дня. Вечером в саду бывал фейерверк, взлетали затейливые ракеты. Стол сервировался в зале, повар Анисим Степанович творил чудеса. Коронным номером был торт огромного размера, называвшийся «Венский пирог», образованный неповторимым сочетанием мороженого, бисквитов, сбитых сливок, меренг, клубничного и вишневого варенья.

Безоблачное детство фактически кончилось с началом мировой войны. Радости, свойственные счастливому детскому возрасту, конечно, остались с нами, но возврата в мир патриархальной России, в котором прошли первые годы моей жизни, уже не было. Начало войны запомнилось мне таким: безлюдная степь вдруг до самого горизонта покрылась множеством черных фигурок — это военнообязанные брели на призывные пункты согласно указу о всеобщей мобилизации.

Уже в 1916 году, в связи с начавшейся разрухой на железных дорогах, в Дарьевку или в Крым мы больше не ездили.

Революционные потрясения не обошли Дарьевку. В декабре 1917 года дед привез из банка крупную сумму денег, чтобы расплатиться с сезонными рабочими. В ту же ночь прибывшая на лошадях группа бандитов попыталась проникнуть в дом, взломав парадную дверь. Слуги, которых в доме находилось немало, в страхе разбежались. Дед со свечкой зашел в спальню к бабушке и, сказав ей по-французски: «Это грабители!» — отправился открыть дверь — и был убит наповал. Когда бандиты вошли к бабушке с требованием открыть сейф в кабинете деда, ее единственным вопросом было: что с Александром Федоровичем? Бандиты ее успокоили, что он жив, просто связан, и бабушка без возражений отворила сейф. Сняв со стола скатерть, бандиты увязали в нее всю массу ассигнаций, серебро не взяли и с этим скрылись.

Для помощи в делах потерявшей от горя бабушке в Дарьевку приехал ее сын от первого брака, Михаил Викторович Лутковский, полковник царской армии.

С ним был денщик из числа местных крестьян по имени Басиль, по характеристике Михаила Викторовича, изрядный бандит. В начале 1918 года политическая обстановка на Украине накалилась до предела, и Михаил Викторович откровенно говорил: «Или я убью Василья, или он меня», — оба были вооружены. Первым, конечно, стрелял Василья, и в феврале — марте 1918 года Михаил Викторович был убит. Смерть сына окончательно сразила бабушку, и она, бросив именье, сперва переехала жить к местному священнику, а затем — в Екатеринослав, взяв с собой только свою горничную Тасю — Таисию Васильевну Бакумец, из семьи дарьевских крестьян, с юных лет и до своей кончины прожившую в нашем доме.

Если смерть деда явилась результатом заурядного грабежа, то убийство М. В. Лутковского несомненно имело классовый характер. Местное крестьянство в лице Василя было заинтересовано в устранении дееспособного хозяина, каким мог быть М. В. Лутковский, предпочитая иметь дело с беспомощной старухой.

Немцы, занявшие в 1918 году эту часть Украины и сами ее грабившие, тем не менее стремились навести порядок. Они отыскивали бандитов, убивших деда, и повесили их. Но что могли немцы и все другие периодически сменявшиеся власти поделаться с крестьянской стихией?

Бабушка пережила в Екатеринославе и Крыму все шестнадцать сменявших друг друга правительств и в 1920 году вместе с Тасей приехала к нам в Москву. Здесь в квартире моего отца она провела последние восемь лет — вплоть до своей кончины.

...Еще работая в земстве, мой отец в 1908 году защитил диссертацию в Московском университете на степень доктора медицины и год спустя переехал с семьей в Москву, поселившись вначале на Арбатской площади, а затем — на углу Арбата и Староконюшенного переулка, заняв квартиру на втором этаже только что отстроенного шестиэтажного дома. Здесь он и прожил до конца своих дней. Отец получил звание приват-доцента Московского университета, у него четко определилась специальность как хирурга-уролога и образовалась обширная частная практика. На ежедневном домашнем приеме бывало по 30 — 40 больных, что было трудно в условиях не приспособленной к этому квартиры. Взяв деньги под залог и заняв у многих родственников и знакомых, отец в 1913 году купил участок земли на Большой Молчановке и начал строительство четырехэтажной хирургической лечебницы. На втором этаже, согласно проекту архитектора Н. Жерихова, располагалась квартира доктора, на четвертом этаже, имевшем застекленный потолок, — операционная. При закладке здания был совершен молебен, и в каждый угол фундамента, по обычаю того времени, заложили по золотому, один из них я положил сам. Строительство закончилось в 1914 году, за границей было закуплено все необходимое оборудование, инструменты и белье, но из-за начавшейся войны как лечебницу, так и личную квартиру отец предоставил под госпиталь, в дальнейшем существовавший на средства Московского бегового общества.

Во время войны отца мобилизовали, он имел чин подполковника, но в действующую армию не попал, а работал хирургом в эвакуационном госпитале на Ходынке.

\* \* \*

Раньше чем попасть в 1918 году в свою Алферовскую гимназию, я проделал сложную эволюцию. Читать, а затем и писать мои сестры и я научились дома очень рано, уже в четыре-пять лет, немецкий язык знали с рождения, учили французский. Школьный курс в объеме приготовительных классов мы проходили на дому с приглашенными для этого учителями.

Дополнительно брали уроки музыки, а по воскресеньям приходил учитель танцев, балетмейстер Большого театра Домашев. В эти дни в нашей гостиной собирались 10 — 12 знакомых детей, включая его дочку Наташу — ученицу балетной школы, а за роялем сидел профессиональный тапер во фраке. Сестры мои делали в музыке успехи, я же был совершенно безнадежен. Наконец родители поняли бесполезность моих занятий, и я был освобожден от ненавистных уроков музыки.

Весной 1917 года, уже после Февральской революции, меня отдали на месяц в третий приготовительный класс частной мужской гимназии Флерова, в Мерзляковском переулке, у Никитских ворот, где мне предстояло в дальнейшем пройти обучение. Родители были знакомы с ее владельцем и директором А. Ф. Флеровым и доверяли ему.

Однако во Флеровскую гимназию осенью 1917 года я не попал: родители увлеклись идеей дать мне «английское» воспитание и отдали меня в первый

класс загородной школы-интерната О. Н. Яковлевой на станции Голицыно. Преподавание в этой лесной школе шло на английском языке, у нас были два воспитателя-англичанина — мистер Бэр и мистер Олькотт, которые играли с нами в футбол, — и учительницы-англичанки. В школе царил строгий режим, в дортуарах — собачий холод. По английским нормам, мы спали при открытых окнах; в связи с начавшимися продовольственными затруднениями кормили нас очень посредственно. По субботам вечером учащиеся отпускали домой, в Голицыно мы возвращались в понедельник рано утром. Все это мне, избалованному домашними условиями, нравилось не очень, поэтому еще с вечера в воскресенье я начинал хныкать, под разными предлогами уговаривая оставить меня на недельку дома. И мама, жалея бедного мальчика, это разрешала. В свой очередной приезд, когда пришло время возвращаться в интернат, я поднял отчаянный рев, был оставлен дома и в итоге оказался свидетелем большевистского переворота в Москве.

...Известно, что Февральская революция в Москве совершилась весьма мирно, в обстановке общего ликования, в то время как в Петрограде несколько дней шли уличные бои, пылали пожары и было много убитых.

В противоположность этому Октябрьский переворот в Москве сопровождался кровопролитными уличными боями, длившимся более недели, с применением артиллерии, с множеством убитых и раненых. Кремль и Арбат были заняты юнкерами Александровского военного училища, составлявшими опору Временного правительства. В подъезде нашего дома стоял самовар, и местные дамы поили юнкеров чаем. У Никитских ворот несколько дней горели два здания — их никто не тушил. На моих глазах в окно соседнего дома попал артиллерийский снаряд, подняв облако дыма и кирпичной пыли, но не разорвался. По Староконюшенному переулку к военному госпиталю грузовые автомобили подвозили окровавленных раненых. Отец все эти дни находился в госпитале в Камергерском переулке, куда уже с вечера 25 октября начали поступать раненые.

После того как бои закончились, мы пошли осматривать разрушения. Несколько снарядов попало в принадлежавший отцу дом на Б. Молчановке, где помещался военный госпиталь. Оба здания у Никитских ворот сгорели полностью.

\* \* \*

Лесная школа в Голицыне постепенно опустела, англичане уехали на родину. Учебный год я заканчивал дома.

Осенью 1918 года, после короткого экзамена, я поступил во второй класс бывшей Алферовской женской гимназии, которая с этого времени стала смешанной. Уже год в этой школе училась моя старшая сестра Ксения, теперь мы оказались с ней в одном классе. Первоначально в нем было 15 — 20 девочек и только 10 — 12 мальчиков, но постепенно соотношение выравнялось.

Выбор школы, в которой учились дети, в те годы определялся личными вкусами родителей, что нередко приводило к курьезным результатам. В нашем Староконюшенном переулке находилась отличная школа, бывшая мужская Медведниковская гимназия. Но родители предпочли отдать меня в бывшую Алферовскую женскую гимназию, находившуюся сравнительно далеко, в 7-м Ростовском переулке, на Плющихе. Большинство моих соклассников жили на Арбате или на Плющихе, но Андрюша Пестель — на Новинском бульваре, у Кудринской площади, Миша Муратов — в начале Остоженки, Рая и Шура Ветчинкины — в Замоскворечье, а сестры Нольде ходили в Алферовскую школу без малого через весь город, из района Бутырской заставы. Таков был выбор родителей!

...В 1914 году мама вступила в члены благотворительной организации с длинным названием Московское общество жен врачей для оказания помощи лицам медицинского звания, пострадавшим от военного времени, менее чем

через год она стала его председателем. Устроившись в 1919 — 1920 годах на работу в Московский губсовнархоз, возглавлявшийся Инессой Арманд, она очень быстро стала ее помощницей. Всеобщим уважением мама пользовалась в школьном родительском комитете, а в 1921 году, не имея специального опыта, успешно заведовала хозяйством Хлебниковской детской колонии нашей школы. Одним словом, за что бы мать ни бралась — добивалась во всем успеха. До революции в доме держали кухарку и горничных, но мама великолепно умела готовить, включая самые изысканные блюда по французским рецептам. А когда отец в 1919 году заболел сыпным тифом и несколько месяцев был нетрудоспособен, она взяла на себя содержание семьи, смело, еще до нэпа, пойдя на организацию торговли жареными пирожками. Сырье покупалось у спекулянтов, мама готовила сотни пирожков, а наша гувернантка Берта Васильевна и мамина подруга Екатерина Львовна торговали ими на Смоленском рынке, нередко спасаясь бегством от облав.

Мамины горячие пирожки с картошкой и жареным луком шли нарасхват. Ну а члены семьи могли есть их досыта. А в нашей семье одних детей было пять человек, включая двоюродного брата Васю, моего ровесника, сына дяди Аркадия. Позднее, пока здоровье отца не восстановилось, мама работала поденщицей в овощном совхозе Хлебниково, уступив приготовление обеда Берте Васильевне, которую она же этому обучала. В то лето коронным блюдом у нас был «горячий винегрет» из овощей, которые мы выращивали на своем дачном огороде. В феврале 1922 года мама умерла от рака в возрасте сорока семи лет.

\* \* \*

Учебный 1918/19 год в нашей 11-й опытно-показательной школе МОНО начался под управлением Александры Самсоновны Алферовой, бывшей владелицы и директора гимназии. Ее муж, Александр Данилович, филолог и автор известного учебника русской литературы (Алферов и Грузинский), преподавал только в старших классах.

Утром мы собирались в школьном зале, и Александра Самсоновна держала перед нами назидательные речи различного содержания.

«Дети мои, утренняя молитва теперь отменена, и мы с вами взамен этого будем в этом зале просто здороваться. Итак, начнем сегодня. Здравствуйтесь, дети!» В ответ раздаются нестройные голоса. «Еще раз. Здравствуйтесь, дети!» — и мы дружно отвечаем: «Здравствуйте, Александра Самсоновна!»

Или: «Дети мои, как вы знаете, теперь в доме прислуги нет, и потому вы должны ежедневно сами чистить свою обувь. Посмотрите, Александр Данилович сам чистит свои ботинки, и они у него блестят». У присутствующего здесь же Александра Даниловича на ногах заграничные лаковые туфли, так называемые пёмсы, которые не требуют ни ваксы, ни щетки. Возможно, Александра Самсоновна этого не знает, но какое это имеет значение, важна идея!

Состав преподавателей Алферовской школы во всех отношениях отличался высоким уровнем: здесь не было посредственностей. В течение ряда лет физику преподавал молодой профессор МГУ Б. К. Млодзеевский, в седьмом классе психологию вел известный философ-идеалист, переводчик Гегеля Густав Густавович Шпет, историю — Сергей Владимирович Бахрушин. Русскую литературу несколько лет подряд нам читала Елизавета Николаевна Коншина, профессиональный литературовед. Ее родителям, миллионерам Коншиным, принадлежал особняк на Пречистенке, где ныне находится Дом ученых, пристроено только здание конференц-зала. Обширные циклы лекций по истории музыки у нас вел профессор Московской консерватории, будущий народный артист СССР А. Б. Гольденвейзер. Этот перечень можно продолжить.

А. Д. Алферов был членом партии кадетов, но политической деятельностью не занимался. В августе 1919 года А. С. и А. Д. Алферовы были арестованы ЧК в школьной колонии Болшево, под Москвой, доставлены на Лубянку и без суда расстреляны.

Нашей классной руководительницей первый год была учительница Елена Егоровна Беккер, требовательная и весьма аккуратная немка, за цвет своего платья прозванная нами «лиловой крысой».

Я до сих пор задумываюсь над правилами расстановки запятых: когда в 1919 году мы проходили знаки препинания, я со своими товарищами ходил в соседнюю школу за супом, который в громадных бидонах мы привозили в гимназию. Суп был жиденький, из воблы с пшеном, а к нему — кусок ржаного хлеба, но как все это было вкусно!

...Москва эпохи военного коммунизма: все бесплатно — хлеб по карточкам, 50 граммов в день на обывателя и на детей, часто это бывал суррогат. Дома зимой не отапливались, водопровод и канализация замерзали, электричество горело тускло или не горело совсем, трамваи не ходили. На улицах лежали сугробы снега, и только посередине тянулась узенькая тропинка, по которой граждане РСФСР двигались с санками и рюкзаками. Из форточек дымили трубы буржеек, в них при недостатке дров жгли книги и мебель. В нашей квартире печуркой отапливались две комнаты из девяти — спальня родителей и детская. Я жил на морозе.

Отец получал 800 граммов хлеба в день как красноармеец и паек — нечто мифическое и нерегулярное. Иногда это могло быть сразу 50 — 60 килограммов отличного изюма (прорвался эшелон из Ташкента) или 80 — 100 килограммов превосходных антоновских яблок (из Белоруссии), чаще — вобла, скверное хозяйственное мыло и в изобилии серные спички. Качество этих спичек красочно характеризовало ходившее в то время четверостишие: «Спички шведские, головки советские, пять минут терпения, три минуты трения, две минуты вонь — и секунду огонь». При зажигании от них действительно шел удушливый запах сернистого газа и появлялся крошечный ярко-голубой огонек, который часто тут же гас. В рационе большое место занимали вобла, мороженая картошка и, кому повезло, конина. По личному приглашению Троцкого отец лечил его родителей: для поездки в Кремль тот присылал свой автомобиль, но за визиты ничего не платил. Нам повезло: потребовалась медицинская помощь жене шофера Троцкого — за это отец получил пуд белой муки. Иногда получали посылки АРА (American Relief Administration). Младшую сестру Олю подкармливала Лига спасения детей, старшие уже не подходили для этого по возрасту.

В годы военного коммунизма мы завели кроликов, поселив их в кладовке с дровами в нашей арбатской квартире. Вскоре эти кролики ушли в глубь штабеля, где размножились, но были недосыгаемы. Наши родственники Акимовы, жившие на третьем этаже университетского дома на углу Шереметьевского переулка и Б. Никитской, держали в ванной гуся, а на кухне — свинью.

В бывшем магазине «Мюр и Мерилиз» на Петровке москвичам в один из дней 1919 года бесплатно выдавали шапки; мне, конечно, потребовалось ее получить. Очередь за ними начиналась на первом этаже, вилась по лестнице мимо пустых, пыльных и частью поваленных прилавков, но шла быстро. На четвертом этаже из огромных тюков каждому подошедшему вручалась шапка, документов не требовалось, счастливцев отходил, давая дорогу следующему. Шапки были из невыделанного зайца; спрессованные, они трескали, как сделанные из жести, и рвались, как бумага. Я гордо принес эту шапку домой, но мама отобрала ее у меня и выбросила в помойку. Эсеровские газетки, до их закрытия, в те годы печатали частушки: «О коммуне наше слово, Ильичу пою куплет, вышиваю я милому левантиновый жилет. Нет ни свеч, ни керосина, в темноте сидит семья, догорай, моя лучина, догорю с тобой и я». Или: «Нет чунки у нас боле... еду, еду в чистом поле, колокольчик динь-динь-динь». Заканчивались они пушкинскими строчками, обращенными к советской власти: «И прекрасны вы некстати, и умны вы невпопад».

В 1919 году половину нашего шестиэтажного дома по вертикали занял Четвертый территориальный полк Красной Армии. Всем буржуям из нечетных номеров квартир приказано было в двадцать четыре часа переехать в четные.



Солдаты этого полка ходили по улицам толпой, без строевого построения, винтовки носили на ремне дулом вниз, чтобы ничем не походить на старую армию. Командиром у них был царский офицер Фитгоф (барон), который вместе с сыном (моих лет) поселился у меня в комнате, реквизированной для этого. Каждый вечер солдаты собирались во дворе и хором пели «Интернационал».

...Зимой потоки замерзшей мочи и кала сплошь покрыли ступеньки обеих лестниц нашего дома, от подвала до шестого этажа. На всю жизнь мне запомнился красноармеец, который держась за штаны бегал по черной лестнице между вторым и третьим этажами с криком: «Где у вас тут уборная, сейчас здесь... сяду», — бедняге было, видимо, не до шуток. Как выход, интеллигентные жильцы оправлялись на газетку и, сделав пакет, выбрасывали его через форточку на Арбат. На головы пешеходов эти пакеты не падали — тропинка шла посередине улицы. (Маяковский, как известно, с Мясницкой улицы ходил в уборную на Ярославский вокзал; см. поэму «Хорошо».)

Весной, по приказу Хамовнического совдепа, моя мать как неработающая буржуйка (четверо детей и муж-врач) была обязана скалывать лед с улицы. Вместо нее пошли отец (хирург, который обязан беречь свои руки) и я. Рядом ломами работали жившие в нашем доме бывший фабрикант-кондитер Абрикосов, старик в шубе с котиковым воротником-шалью, и режиссер А. А. Санин. Помню, отец спросил его: «Как поживаете, Александр Акимович?» — на что последовал ответ театральным шепотом: «Голодаю», — но вид у него был цветущий. А. А. Санин был женат на чеховской Лике Мизиновой, жили они в нашем доме на четвертом этаже до своей эмиграции в 1922 году.

За годы военного коммунизма население Москвы, быстро возросшее в начале Первой мировой войны за счет притока промышленных рабочих и беженцев из западных губерний, резко сократилось — с 2,5 млн. человек в 1916 году до менее 1 млн. к концу 1920 года. Это был результат голода, тифа, красного террора и гражданской войны.

\* \* \*

С третьего класса нашим бессменным классным руководителем стал Сергей Владимирович Бахрушин, ученик В. О. Ключевского, профессор МГУ, а позднее член-корреспондент АН СССР. Сергей Владимирович очень заинтересовался фамилией моего друга Андрюши Пестеля и при его участии провел тщательное исследование с целью установления возможных родственных связей со знаменитым декабристом — полковником П. И. Пестелем. Отец Андрюши, Евгений Альбертович, врач, в начале 1919 года умер от сыпного тифа, но еще была жива бабушка, и удалось рассмотреть всевозможные документы. Исследования показали, что никакого родства Андрюшина семья с мятежным полковником не имеет, эти семьи только однофамильцы. И Сергей Владимирович, и Андрюша были этим слегка огорчены, но ничего не поделаешь — результат разысканий следует считать вполне достоверным. Мы с Андрюшей все школьные годы сидели за одной партией, и я был в курсе этих исследований.

Андрей был блестяще образованный, замечательно талантливый человек, великолепный музыкант, свободно владел французским языком — его дед со стороны матери был француз, Ефрем Дезидериевич Байи, по специальности химик. В девятнадцать лет Андрюша в Обществе московских пушкинистов перед светилами того времени выступал с докладом о влиянии французских новеллистов XVIII века на создание Пушкиным «Капитанской дочки». Все его друзья, в том числе и я, были на этом докладе. Андрюша держался безупречно, был красив и смертельно бледен.

В наши школьные годы большую роль в жизни мальчиков играла организация бойскаутов, гордо названная нами — Первая независимая московская скаут-команда. Ядро ее составляли юноши на один-два класса старше меня и мои одноклассники. Юра Ильин был командир, Федя Ростопчин, Шушу Уг-

римов, Володя Бурман, Женя Демин, Виктор Усов — патрульные, мы — рядовые скауты, самый маленький — Леня Клещев — являлся барабанщиком. В школе имелся и отряд гёрлскаутов, его командиром был Генька Снесарев — сын генерала, отчаянный фат и пижон, его помощница — Татьяна Муравьева, по прозвищу «Россинант». Девочек-скаутов было очень немного.

Скаутская организация возникла в Англии в конце прошлого века, в России — в начале текущего столетия, до революции. Бойскауты носили форму, галстуки у них были синие, эмблема — бурбонская лилия, девиз (приветствие) — «Будь готов!», отзыв — «Всегда готов!». В 1922 году в СССР бойскаутов объявили буржуазной организацией, и ее формирования оказались распущены. Взамен создали Всесоюзную пионерскую организацию, во многом, включая гимн «Картошке», повторившую бойскаутов, но изменилась эмблема, и галстуки стали красными.

Скауты носили посохи и особые шляпы, имели множество знаков различия, ходили по улицам строем под барабан, каждый день обязаны были делать какое-либо доброе дело. Школьное начальство выделило нам особую комнату, где мы могли собираться, здесь хранилось имущество отряда и его знамя. Но в деятельность скаутов старшие никак не вмешивались.

Не было ни одного вида спорта того времени, которым бы скауты ни занимались. Это — и упражнения на кольцах, на турнике и на брусьях, бег и прыжки, бокс, фехтование на рапирах, рубка на эспадронах, зимой — коньки и лыжи, летом — футбол, городки и плаванье. По каждому из этих видов устраивались соревнования и устанавливались нормы, приобретались и различные специальности: санитар, электрик, морзист и др. Все это определяло, несомненно, полезную сторону скаутского движения, воспитывало самостоятельность и дисциплину. Моральными заповедями скаутов были: товарищество, неспособность к доносу и клевете, рыцарское отношение к женщинам, любовь к животным, помощь слабым и старым; существовал особый праздник — «день матери» и т. п. Это вовсе не значит, что мы являлись образцами добродетели: каждый из нас в отдельности и все вместе были отчаянными озорниками, способными на любые мальчишеские выходки, уличные драки и хулиганство.

Очень рано мы с моим другом Володькой Листом, жившим в двух минутах ходьбы от нас, пристрастились к домашней электротехнике, моя комната превратилась в настоящую мастерскую. В ней постоянно устраивались различные эксперименты.

Результатом нашего увлечения электротехникой было занятие, получившее выразительное название «электросвинчивание». Где только возможно мы похищали бездействующие домашние телефоны, номераторы для вызова прислуги в многокомнатных квартирах, различные коммутаторы, выключатели и счетчики, если это не угрожало аварией. Все это сносилось ко мне и при случае могло использоваться. Отвертки всегда имелись при себе. Когда в Москве наступил долгий перерыв в подаче электроэнергии, мы не пощадили даже собственной школы, сняв электропроводку в своем классе. Пропажа быстро обнаружилась, и, призванные к ответу, мы честно признались, что это наша работа. За подобные дела мы оба подлежали исключению из школы, но было принято весьма разумное решение: от нас потребовали восстановления всей снятой проводки, что мы быстро и добросовестно сделали.

В советской трудовой школе, как известно, преподавание Закона Божьего было прекращено. С целью восполнить этот пробел зимой 1918/19 года родители организовали для нас занятия этим предметом на квартире Петрушевских в 3-м Неопалимовском.

Вел эти занятия бывший законоучитель Алферовской гимназии, настоятель церкви Николая Явленного на Арбате отец Александр Добролюбов, позднее его арестовали и приговорили к десяти годам заключения в лагере, свой срок он отбывал на строительстве Беломорканала. Второй священник этой церкви, отец Василий, был расстрелян по делу Патриарха Тихона. Внешколь-

ные занятия Законом Божиим никого из нас религиозным не сделали. Однако основные молитвы, десять заповедей Моисея и Символ веры я помню до сих пор. Легкость и прочность запоминания — это преимущества раннего возраста! Многие стихи Пушкина, Лермонтова, Блока, Гумилева, Маяковского я помню наизусть до сих пор, включая строчки из «Макса и Морица» на немецком языке или известные стихотворения Г. Гейне «Lorelei» и о двух гренадерах.

В школе нам привили любовь к Гомеру и античности, к русской и мировой истории, но попытки внушить интерес к Расину и Корнелию, Тредьяковскому и Державину мы отвергли. Общий диапазон имен и литературных сведений, которые нам сообщали на уроках, был значительно шире, нежели в современных школьных программах. Без малого всего Шекспира, Мольера и Островского мы пересмотрели в театрах, не говоря уж о «Горе от ума» и «Ревизоре». Кстати, в связи с бессмертной комедией Грибоедова вспоминается один школьный эпизод. Как водится во всех порядочных школах, мы периодически писали домашние сочинения на заданные темы. Это могли быть «Образ Бориса Годунова», «Судьба Катерины» из «Грозы» или поэзия Некрасова. В очередной раз тема была «Горе от ума». Возвращая через несколько дней после проверки исписанные нами тетрадки, наша Ольга Николаевна Маслова была бледна от негодования. В одной руке у нее была стопка наших тетрадей, в другой — одна-единственная тоненькая тетрабочка. «Дети мои, — сказала она, — вашими работами я довольна, в конце урока ваши тетрадки я вам верну с моими замечаниями и оценками. Но одну работу, которую написал Юра Эйбушитц, я вам сейчас прочту». За давностью лет я уже не помню, что именно содержалось в этом довольно коротком сочинении, но заканчивалось оно нахальной фразой, которая, очевидно, и потрясла учительницу: «Впрочем, пьесу Грибоедова «Горе от ума» я не читал». У каждого из нас существовали, конечно, свои вкусы, но на подобную выходку были способны только Юра Эйбушитц и его закадычный друг Кирюша Фохт. Их дерзкое поведение вызвало у нас смешанные чувства осуждения и восхищения.

Говорить о коллективных литературных вкусах моих сверстников, естественно, невозможно, ограничусь только своими личными. В области русской литературы они были традиционными, воспитанными бабушкой, родителями и школой. От «Повестей Белкина», «Дубровского», «Капитанской дочки» и «Героя нашего времени» — к Н. В. Гоголю и И. А. Гончарову, а затем к Л. Н. Толстому, Ф. М. Достоевскому и, конечно, к А. П. Чехову. Именно А. П. Чехов наряду с А. Н. Толстым (первые семь томов из пятнадцати, издания 1946 — 1953 годов) на всю жизнь останутся для меня самыми любимыми писателями. Между делом читались книги Лажечникова, «Князь Серебряный» А. К. Толстого и многие сотни других, включая Лидию Чарскую, Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, А. И. Куприна, В. В. Вересаева, И. А. Бунина, Пантелеймона Романова и т. д. Из этого числа надо выделить Илью Эренбурга, роман которого «Хулио Хуренито» (1922) в свое время произвел на меня неизгладимое впечатление, освободив от многих иллюзий. Эту книгу я до сих пор считаю «библией современности» и бережно храню ее экземпляр с предисловием Н. И. Бухарина. В части зарубежной литературы читали Ч. Диккенса, Вальтера Скотта, Фенимора Купера и Джека Лондона, минуя Ж. Ж. Руссо, Жорж Санд и В. Гюго, отдавая свои предпочтения Анатолию Франсу, Э. Т. А. Гофману и Оскару Уайльду. Неоднократно перечитывая по-русски «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда, я не поленился прочесть его в подлиннике и в переводе на французский язык, а отдельные сцены из «Восстания ангелов» А. Франса я до сих пор могу пересказывать наизусть.

К этому далеко не полному перечню я могу добавить прочитанные в юношеские годы милтоновские «Потерянный» и «Возвращенный Рай», поэмы Лукреция Кара «О природе вещей» и Ариосто о Роланде, книги Шопенгауэра, Ф. Ницше, З. Фрейда, «Философские повести» Вольтера и многие-многие другие, характеризующие широту интересов, которые с годами резко сужают-

ся. Добавлю, что по собственной инициативе, желая расширить свое «классическое образование», я в 1924 — 1925 годах брал частные уроки латыни у безработного профессора МГУ Сергея Порфирьевича Гвоздева, жившего в одном из арбатских переулков. Плата за уроки латыни была установлена один рубль в час, сам же я давал уроки высшей математики какой-то отстающей студентке первого курса одного из вузов с оплатой шестьдесят копеек в час. Больших успехов в изучении латыни я не достиг, так как ленился готовить уроки, и в конце концов бросил эту затею.

Решающую роль для меня сыграло осенью 1922 года знакомство с Николаем Сергеевичем Акуловым, которого по рекомендации проф. П. И. Мартынова отец пригласил руководить моими домашними занятиями по математике. Он не был для меня репетитором, которых доньне приглашают для подготовки ленивых и туповатых школьников. Быстро пройдя со мной программы предстоящих шестого и седьмого классов школы, Николай Сергеевич перешел к высшей математике в объеме первого курса технических вузов, и занятия с ним были для меня увлекательными и интересными.

\* \* \*

Район Арбата в первые годы нэпа жил своей особой жизнью. Утром здесь можно было встретить старого холостяка, члена-корреспондента Академии наук Сергея Ивановича Соболевского, в ночных туфлях, с фарфоровым кувшином в руках идущего за молоком; вместе с писателем В. В. Вересаевым я рассматривал у «холодного» букиниста на углу Денежного переулка скандальную книгу переводов любовных стихов латинских поэтов Валерия Брюсова «Еготораегниа» — она стоила 100 рублей (а я получал в 1924 году 40 рублей в месяц). На Арбате было шесть церквей и столько же пивных, ходили три трамвая, курсировали извозчики — все это в 30-е годы исчезло. Достопримечательностью была нищенка княгиня Дембская, которая просила милостыню по-французски.

Лечебницу, построенную отцом на Б. Молчановке, национализировали, отца как домовладельца лишили избирательных прав, списки «лишенцев» вывесили в нашем подъезде.

В 1924 году, когда денежная единица стабилизировалась, знакомые, у которых отец одолжил деньги на строительство лечебницы, напомнили ему о долгах, и он, как честный человек, стал ежемесячно их выплачивать. Делал он это в течение шестнадцати лет и выплатил всю сумму незадолго до своей смерти в 1940 году.

Жильцы нашего буржуазного дома, в недавнем прошлом с ливрейным швейцаром в подъезде, с красным ковром от входа до квартир на втором этаже и внутренними телефонами, по которым швейцар сообщал о посетителях, с первых месяцев революции панически боялись своего истопника Василия Блинова, жившего с женой Дуняшей и детьми в подвале дома. В нем они справедливо видели своего возможного сурового и нежелательного «уплотнителя». Более предусмотрительные владельцы квартир проводили «самоуплотнение», поселяя по выбору своих знакомых, приезжих или москвичей, почему-либо нуждавшихся в жилье, — ограничений в этой части не было. Однако такие меры мало помогали, и обширные квартиры «буржуев» дополнительно заселялись в принудительном порядке — по ордерам совдепа, что грозило неожиданностями. Так, в порядке «самоуплотнения» в нашей квартире отец отдал две комнаты семье Полосиных — это были молодой историк Иван Иванович, его мать и две сестры. В квартире было девять комнат, в том числе два врачебных кабинета отца, теперь в ней жило пятнадцать человек. Но и это не избавило нас от дальнейшего принудительного уплотнения. Вскоре реквизировали мужской приемный кабинет отца, в который после его превращения в трехкомнатную квартиру въехал с семьей партийный деятель В. П. Бельгов — типичный Шариков, пренеприятный тип.

Далее была реквизирована гостиная — ордер на нее получила семья шофера с женой-неряхой и двумя малыши детьми, наполнившая нашу квартиру отвратительными запахами заношенной одежды, лука и пеленок. В заключение реквизировали нашу столовую, половину которой после ее раздела получил военный прокурор С. Н. Степаненко, член партии до 1917 года, юрист, бывший офицер, пьяница и, в общем-то, добрый малый. В период октябрьских боев он командовал артиллерийской батареей, обстреливавшей Кремль, занятый юнкерами. Добавлю, что позднее в двух комнатах, образованных из нашей столовой, жили три семьи — две из них судились между собой за право владения жилплощадью. Таким образом, к концу 20-х годов в квартире отца стало двенадцать комнат и она превратилась в типичную перенаселенную советскую коммуналку, мерзость которых известна тем, кто в них жил. Комнаты со временем меняли своих хозяев. В отдельные годы население квартиры доходило до 28 человек, сейчас в ней все еще живет шесть семей.

Время шло, а Василий-истопник все продолжал с семьей жить в подвале. Через несколько лет он умер, а Дуняша, как и раньше, работала приходящей прачкой у жильцов нашего дома. Однажды в разговоре со мной она посетовала, что всю жизнь живет в подвале и теперь (нэп) уже никогда из него не выберется. «Сколько раз после революции нам предлагали в совдепе: „Товарищ Блинов, хотите, мы дадим вам ордер на две комнаты в любой буржуйской квартире, выбирайте...” Но мой Вася, он ведь такой был тихий, говорил мне: „Дуня, ну как это мы поедем к ним жить, они ведь господа...”» Оказывается, страх «буржуев» перед пролетарием-истопником был напрасным, он сам перед ними робел.

Нэпмановская Москва: как по волшебству открылись магазины, парикмахерские, рестораны, Сандуновские бани, бега, появились лихачи, проститутки толпами ходили вечерами по Тверской, сверкали огнями кафе, кинотеатры и кабаре. На улицах, где в пустых, запыленных и нередко разбитых витринах бывших магазинов еще недавно бегали огромные крысы и понуро на одном крюке висели проржавевшие вывески, вдруг возникли самые различные товары. Хорошо помню первый новый магазин в начале Арбата, напротив ресторана «Прага». В его витрине выставили большое блюдо с белыми французскими булками и глыбу сливочного масла, килограммов на двадцать. Около него целый день стояла толпа зевак, заворуженно взиравших на эти чудесные предметы, невиданные уже три года. Цены были астрономические, но счет давно уже шел на миллионы, несмотря на неоднократные деноминации денег.

...Мои школьные товарищи и я, все мы в самом прямом смысле были *дети Арбата*, понимая под этим обширную территорию, заключенную между Тверской улицей на северо-востоке и излунами Москвы-реки на юго-западе. Но как сильно наше поколение отличалось от героев известного романа Анатолия Рыбакова, будучи старше тех всего на три-четыре года. Большинство моих сверстников, и я тоже, в свое время были бойскаутами, герои Рыбакова, подрастая, становились комсомольцами; мы же ориентировались на поколение своих отцов, которые в абсолютном большинстве оставались беспартийными. Не потому ли в двух наших параллельных классах единой трудовой школы выпуска 1924 года была всего одна комсомолка — Лена Швецова, которая предпочитала это не афишировать.

Характерно, что на выпускной фотографии нашего класса на стене можно видеть репродукцию Сикстинской Мадонны. Все иконы, конечно, были сняты, но я не ошибусь, если скажу, что к тому моменту ни одного портрета революционных деятелей или советских вождей в здании школы еще не вывешивали.

В дореволюционных русских гимназиях был одиннадцатилетний срок обучения: три подготовительных класса и восемь основных. Сразу после Октябрьской революции восьмой класс старых гимназий ликвидировали, и выпускным стал седьмой класс при общей продолжительности обучения десять лет.

Преподаватели классической гимназии царского времени, обращаясь к ученикам восьмого класса, могли говорить по-разному: многие — «господа гимназисты», священник-законоучитель — «сыны мои», учителя латыни и греческого (а эти языки преподавались чуть ли не все восемь лет) — «господа абитуриенты», имея в виду их близкий выход из учебного заведения. Во всем цивилизованном мире именно в этом смысле употребляется слово «абитуриенты», абитуриентным называется выпускной экзамен, от латинского слова «abituarius».

Меня на выпускной фотографии нет: за год до окончания школы, сдав вступительные экзамены, я поступил на первый курс электропромышленного факультета Института народного хозяйства имени Карла Маркса, позднее он стал называться имени Г. В. Плеханова. До революции это был Коммерческий институт имени цесаревича Алексея — с превосходными аудиториями, современным оборудованием лабораторий и передовой профессурой. В последующем из него выделился самостоятельный Московский энергетический институт, первоначально носивший имя В. М. Молотова, один из крупных вузов Москвы.

В уз принимали с шестнадцати, мне же в 1923 году было только пятнадцать лет. Эту трудность я легко преодолел, заявив в милиции об утере метрического свидетельства и получив удостоверение с нужным мне годом рождения. Спустя несколько лет я восстановил свой истинный возраст — по церковной метрике, которая у меня сохранилась до сих пор.

В декабре началась первая экзаменационная сессия. Лекции кончились, и некоторые профессора назначали прием экзаменов по предварительной договоренности со студентами. К числу их относился всеми уважаемый профессор Николай Николаевич Бухгольц, читавший курс теоретической механики. Студенты знали, что Николай Николаевич живет на Арбате и по субботам ходит ко всенощной в ближайшую к нему церковь св. Николы Плотника. Церкви этой уже нет, на ее месте теперь магазин «Диета», но название Плотников переулочек сохранилось. Инициатива в переговорах с Н. Н. Бухгольцем принадлежала моему более опытному товарищу Роману Бурману, и в последнюю субботу декабря мы отправились в церковь. Как сын царского генерала, поступить в институт Ромка не мог и был вольнослушателем.

Всенощная закончилась, но Н. Н. Бухгольц в церковном стихаре еще ходил по церкви и специальным приспособлением гасил лампы. Дождавшись конца этой операции, мы подошли к нему со своей просьбой — назначить день экзамена. Ответ был предельно любезный: «Милости прошу ко мне домой 31-го числа к такому-то часу», — профессор не сомневался, что перед ним порядочные молодые люди, раз уж они пришли в церковь. Мы хорошо подготовились к экзамену, в назначенный день получили по пятерке и, радостные, отправились каждый в свою компанию — встречать Новый, 1924 год. Читавший на физмате МГУ общий курс высшей математики выдающийся ученый, академик Н. Н. Лузин (я его слушал в 1925 году) тоже жил в одном из арбатских переулочков и ходил в храм Николы на Песках.

Мои родители были прихожанами церкви Николы Явленного на углу Арбата и Серебряного переулка. Все эти церкви были снесены в 30-е годы — «добыча кирпича по заветам Ильича», как говорили тогда в народе.

Для характеристики профессуры того времени можно вспомнить, что будущий академик и Герой Социалистического Труда математик П. С. Александров особо доверенным студентам давал известную книгу С. Нилуса «Протоколы Сионских мудрецов». По принципу «прочти и передай товарищу» из вторых рук получил ее и я. Это вовсе не значит, что кто-либо из нас был склонен к религиозности, напротив, в духе времени все мы были активными атеистами, и уже в десять лет я носил в петлице портрет Карла Маркса.

Высокая деловая активность населения, связанная с нэпом, отразилась и на нас — моих друзьях и соклассниках. С начала нэпа мы брались за самые различные работы: пилили и кололи дрова, сбрасывали снег с крыш, занима-

лись электропроводкой, разносили рекламные объявления нэпманов, паяли кастрюли.

По заказу ювелира М. В. Кишеневского, занимавшего противоположный к нам угол Арбата и Староконюшенного переулкa, я оборудовал его магазин скрытой сигнализацией на случай нападения грабителей — словом, недостатка в заказчика не было.

Заработанные деньги мы тратили по усмотрению: ходили в кино, кое-кто начал курить, покупали книги, иногда сладости, ездили на извозчиках, частью пропивали. Впрочем, в кино ходили преимущественно без билетов. Для этого с помощью Володи Бурмана мы освоили вход через подвал в арбатский кинотеатр в бывшем особняке известных книгоиздателей Сабашниковых: минуя контролеров, мы сразу попадали в зал. Позднее в нем находился Театр Вахтангова, во время Великой Отечественной войны это здание при воздушном налете было разрушено фугасной бомбой и затем полностью перестроено. На Арбате существовало еще три кинотеатра: «Художественный», «Карнавал» и «Арс» — последний в том огромном доме № 51, во дворе которого жили рыбаковские *дети Арбата*. Сейчас сохранился только дореволюционный «Художественный», бывший Ханжонкова.

Все мы были отчаянными театралами, но ходили в театры только бесплатно, по контрамаркам, а изредка даже «зайцами».

Только один раз, по просьбе Раечки Зелинской, с которой я познакомился летом в Узком, где она отдыхала со своим отцом, академиком Н. Д. Зелинским, я купил за свои деньги билеты в Большой театр на оперу Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Опера шла редко, и билеты были нарасхват. Перед этим я получил непредвиденно большую сумму за прием вступительных экзаменов в своем Промышленно-экономическом техникуме и не остановился перед покупкой дорогих билетов во втором ряду партера, других в продаже уже не нашлось. Мне опера показалась скучной, но Рая была довольна и по возвращении поделилась с отцом своими впечатлениями, упомянув о хороших местах, на которых мы сидели. Мне же за это преподали урок старинной морали.

Через несколько дней я был в доме Зелинских, и Николай Дмитриевич весьма сухо пригласил меня в свой кабинет. Усадив меня перед собой и хлопнув ладонью по столу, он грозно спросил: «Как вы смели с моей дочерью сидеть во втором ряду партера?! Что же, она ваша любовница? Сколько вы заплатили за билеты, я сейчас же верну вам деньги...» Оказывается, по этикету XIX века с девушкой следовало сидеть только в ложе бельэтажа, галерка вообще не обсуждалась. Мы же в 1926 году простодушно радовались хорошим местам!

Выход был найден: я взял грех на душу и клятвенно заверил Николая Дмитриевича, что билеты мне выдали в профкоме МГУ бесплатно. Версия выглядела правдоподобной, и академик успокоился. Когда я рассказал Рае о беседе с ее отцом, мы с ней только посмеялись.

...Казалось бы, каждому из моих сверстников была предназначена относительно прямая дорога приобретения профессии по своему вкусу и выбору, а затем плодотворная деятельность в этой области. В пользу этого говорили и полученное семейное воспитание, и высокий уровень школьного образования, и та среда московской интеллигенции, в которой мы росли. Однако только один из нас, я имею в виду Мишку Муратова, не отклонился от прямого пути, судьба всех остальных оказалась не совсем гладкой и осложнялась как по их собственной вине, так и под действием внешних обстоятельств. Были жертвы, но только сотрудников КГБ и стукачей среди нас не нашлось. В живых нас заведомо осталось очень мало, и потому можно без больших опасений писать обо всех.

М. В. Муратов не встретил анкетных трудностей при поступлении в Московский геологоразведочный институт, хотя и был сыном царского генерала, к этому времени ставшего профессором Академии Генерального штаба. Это сни-

мало для профессорского сына действовавшие очень жесткие классовые ограничения при поступлении в вуз. Благополучно окончив институт, он приобрел ученые степени, был профессором и членом-корреспондентом АН СССР, репрессиям не подвергался. Умер он в преклонном возрасте в «своей постели, при нотариусе и враче», был кремирован, и прах его, после двух лет препирательства с властями, его родным все же удалось захоронить в могилу отца на Новодевичьем кладбище.

Каким-то образом и мне удалось в 1923 году преодолеть классовый барьер при поступлении в Институт народного хозяйства, хотя в графе «бывшее сословие родителей» я вынужден был писать в анкете «из дворян». В это время отец отдыхал на Кавказе, и сестра Олечка (13 лет) писала ему: «...а Шура наш поступает в студенты», вызвав его недоумение, так как мне полагалось учиться в школе еще год. Политграмоту, которая входила в число конкурсных экзаменов, я готовил по учебнику Бухарина и Преображенского «Азбука коммунизма» и при содействии профессора П. И. Мартынова получил пятерку. Экзаменатор — молодой доцент Абезгауз — первоначально пытался меня «срезать». Далеко не все догмы марксизма я к тому времени освоил. Помню, что на вопрос о разнице между конкретным и абстрактным трудом я отвечал весьма невнятно.

Первыми из моих друзей в 1926 году были арестованы Володя Бурман, а затем Женька Демин, оба мои соученики по Алферовской гимназии, на один класс старше меня. В. Бурман был приговорен к трем годам ссылки на Соловки, но вышел на свободу только в 1932 году — по истечении срока ему добавили еще три года высылки в Ханты-Мансийск.

Женька Демин тогда получил три года высылки в Ташкент, в те либеральные годы местами ссылки бывали города Орел, Курск, Ходжент (Ленинабад) и даже Одесса. Вместе со мной Е. Демин пытался в 1923 году поступить в Институт народного хозяйства на электротехнический факультет, но его не приняли. Спустя много лет я встретил его в доме у Натальи Михайловны Нестеровой на вечере бывших «алферовцев»; Е. Демин оказался почтенным врачом-гинекологом — ссылка, очевидно, не помешала ему, после ее отбытия, получить медицинское образование. Нравы того времени характеризует эпизод с его проводами из Москвы в ссылку, который даже сейчас мог бы вызвать удивление. Не знаю, каким путем о дне и месте его отправки узнала соученица Ирина Муравьева, которая взяла на себя труд известить об этом других выпускников нашей школы. В итоге на запасных железнодорожных путях Казанской дороги у «столыпинского» вагона, в котором находился Е. Демин, нас, провожающих, собралось 10 — 12 человек. Появилась Ирина Муравьева с огромным букетом белых хризантем, которые через часового с винтовкой были переданы арестованному. Женька стоял у зарешеченного окна и, прижимая цветы к груди, кланялся нам, а мы прощально махали ему. Нужно знать, что «столыпинский» вагон предусматривает полную изоляцию заключенных от внешнего мира (окна в нем только со стороны занимаемого охраной коридора), и появление в окне арестанта являлось явной поблажкой.

Позднее в разные годы арестованы и сосланы были Ю. Ильин, В. Усов, Ф. Ростопчин — старшие мои товарищи по скаутскому отряду, Вово Кристи (неоднократно), Юрий Купрянов (по прозвищу «Дрозд») и в числе последних жертв — мой близкий друг Андрюша Пестель.

Другой мерой государственных репрессий первой половины 20-х годов являлись массовые высылки за рубеж родителей моих товарищей, вместе с которыми уезжали и они. В августе 1922 года это, как известно, коснулось большой группы философов, историков, агрономов и профессоров других специальностей. В их числе был выслан Александр Густавович Лист. С ним уехал его сын, мой большой друг и одноклассник Володька, и ученый-агроном Александр Иванович Угримов с сыном Шушу — моим патрульным по школьному скаутскому отряду. Обоих я провожал на вокзале при их отъезде из Мос-



квы. С Володькой Листом я переписывался до предвоенных лет, но о последующей его судьбе ничего не знаю. А Шушу в 1947 году — после участия во французском Сопротивлении — вернулся в СССР.

С Александром Александровичем Угримовым (Шушу) я встречался в Москве уже в 60-е годы на «алферовских» вечерах у Натальи Михайловны Нестеровой, о которых уже упоминал выше. Кстати, муж Наташи Нестеровой — сын священника С. Булгакова, высланного в Германию в 1922 году совместно с А. Г. Листом и А. И. Угримовым. В комнате у них на Сивцевом Вражке висела известная картина ее отца М. В. Нестерова «Философы», на которой изображены на прогулке С. Булгаков и священник Павел Флоренский (сейчас эта картина — в Государственной Третьяковской галерее).

Любопытна судьба Шушу Угримова, в миниатюре очень полно отражающая политическую историю нашего века. В шестнадцать лет, вынужденно расставшись с Москвой, он закончил свое образование в Германии, получив специальность инженера-электрика, и успешно работал в области мукомольной промышленности. Так продолжалось до 1933 года, когда с приходом Гитлера к власти русские стали нежелательным элементом. Однажды ночью вместе с отцом он был арестован, привезен на западную границу Германии и под команду «беги», сопровождавшуюся ударом сапога пониже спины, оказался во Франции. Французские пограничники отнеслись к этому с пониманием; мирная жизнь продолжалась до 1939 года, до начала Второй мировой войны.

В Париже он встретил свою соученицу по Алферовской гимназии Ирину Муравьеву, они поженились, и в 1961 году она сидела вместе со мной и Шушу за чайным столом у Наташи Нестеровой.

После падения Парижа Шушу вступил в маки, успешно партизанил, был награжден медалью героя Сопротивления, но в 1947 году во Франции коммунисты были выведены из правительства, и это тотчас отразилось на его судьбе. Ночью пришли жандармы, вместе с отцом он был посажен в поезд и в числе прочих нежелательных иностранцев отправлен в СССР. Круг продолжительностью в 25 лет замкнулся.

В Москве они были приняты весьма любезно, более того, на Лубянке Шушу предложили всяческое содействие в приезде из Франции его жены. Действительно, не прошло и двух месяцев, как радостная Ирина появилась в Москве. Через три дня Шушу, его отец и жена были арестованы органами и следующие семь лет провели в различных лагерях ГУЛАГа. Вновь они встретились в Москве только в 1954 году, после смерти гениального вождя и реабилитации.

Квартиру Шушу получил, газета «Правда» даже опубликовала интервью с профессором-агрономом А. И. Угримовым о его встречах с В. И. Лениным в связи с испытаниями в 1920 — 1921 годах электроплуга, без упоминания о его высылке из СССР и о последних годах, проведенных им в Карлаге. Не упоминалось также о том, что другой участник этих испытаний, дядя Шушу, брат Александра Ивановича, выдающийся профессор-электротехник Борис Иванович Угримов, счастливо избежавший административной высылки в Германию в 1922 году, позднее был в Москве арестован и расстрелян как враг народа. Не лучше ли было в сталинское время оказаться в числе высланных? Я знал на Хапчеранге в 1935 году раскулаченного спецпереселенца, жившего сравнительно безбедно, под надзором органов в особом поселке. По его рассказам, его брата, красного партизана и коммуниста, власти пощадили при высылке в Сибирь всей кулацкой семьи в 1928 году и он «благополучно» умер на Украине от голода четыре года спустя. Какое поразительное сходство с судьбой Бориса Ивановича при совершенно различных условиях!

Б. И. Угримов был великолепный лектор. Мне посчастливилось в полном объеме прослушать в 1923 — 1924 годах его курс «Общей электротехники», который он читал в Институте народного хозяйства. Профессор Б. И. Угримов жил в Староконюшенном переулке, в доме рядом с нашим, был знаком с отцом и бывал у нас.

Возвращаясь к судьбе Шушу, привожу окончание его рассказа. «Оказавшись в 1954 году в Москве, я должен был поступить на работу. Попалось мне на глаза объявление: в отдел научно-технической информации требуется инженер, желательно со знанием иностранных языков, — и я отправился наниматься. Когда я сказал, что свободно владею немецким, французским и английским языками, это вызвало одобрение: на должность с окладом 600 — 700 рублей (до реформы 1961 года) было мало охотников, мое появление оказалось для них находкой, но тут же возникло затруднение: я не был членом профсоюза и — о, ужас! — в свои почти пятьдесят лет не имел трудовой книжки и копии диплома. Моим нанимателям очень хотелось взять меня на работу, и они прямо умоляли меня принести хоть какую-нибудь справку с последнего места работы. Я вынужден был сказать, что последние тридцать два года я либо жил за границей, либо сидел в тюрьме. Но выход был найден: я отправился к вице-президенту АН СССР, члену КПСС с 1893 года, академику Г. М. Кржижановскому и он на своем личном бланке размашисто написал мне рекомендацию, начинавшуюся словами: «Хорошо зная лично инженера-электрика А. А. Угримова...» Глеб Максимилианович Кржижановский, автор ГОЭЛРО, знаменитого ленинского плана электрификации России, в свое время отлично знал моего отца-агронома и особенно дядю-электрика Бориса Ивановича Угримова. Этого оказалось достаточно. Я проработал в этом учреждении полгода, вступил в профсоюз, получил трудовую книжку и уволился».

Следует ли считать, что жизнь Шушу Угримова, одного из многих моих сверстников — «детей Арбата», сложилась так уж скверно? Конечно, семь лет сталинских лагерей — это ужасно, но в остальном это была полноценная, интересная, содержательная и разнообразная жизнь, и закончил он ее мирно, в Москве и на свободе, в кругу близких и друзей, в возрасте около семидесяти пяти лет. Не так уж плохо! Добрая половина моих «детей Арбата» не дожила и до сорока лет: Вово Кристи пропал без вести в самом начале войны, Шура Ветчинкин умер от голода в блокадном Ленинграде, Шурик Дмоховский скончался от сыпного тифа, Сашка Шпеер застрелился в тридцать пять лет, не говоря уже о жертвах сталинских репрессий, включая Юру Ильина, Виктора Усова, Федю Ростопчина, Ю. Н. Купреянова и других, которых я вовсе потерял из виду.

Жестокая судьба подданных сталинской империи не миновала двух современных носителей громкой фамилии Пестель: Андрей Евгеньевич Пестель был арестован в 1940 году и, по справке НКВД, вскоре умер — вероятнее всего, его расстреляли.

Его двоюродный брат Юрий Анатольевич Пестель был репрессирован еще раньше и в одном из северных лагерей на лесоповале лишился кисти правой руки. Именно об этом Ю. А. Пестеле пишет Д. А. Волкогонов в своей монографии о Сталине (М., 1990). Из множества писем, поступавших на имя вождя, А. Н. Поскребышев отложил в папку для личного просмотра Сталина письмо родственников Юрия Анатольевича с мольбой о его помиловании. «Ведь фамилия Пестеля для России так много значит...» Но Сталин просто проигнорировал это письмо.

\* \* \*

Наше прореженное репрессиями общество пополнялось новыми лицами: Степан Степанович Перфильев, прозванный «Рамзесом» за примесь цыганской крови и смуглость, художник Юрий Николаевич Купреянов и Андрюша Багриновский к нему примкнули.

«Рамзес» — участник Первой мировой войны в чине поручика — имел жену и детей, которые жили в Орле. Работал он банковским инкассатором, ему по должности полагалось разъезжать на извозчиках. Однако он предпочитал ходить пешком, получая сэкономленные деньги как добавку к зарплате, которую отсылал семье. Так могло продолжаться неопределенно долго, но судьба

послала ему 2200 английских фунтов стерлингов, поступивших на его имя в московский Внешторгбанк. Это была его доля наследства от продажи какой-то голицынской виллы в Италии. Сумма была немалая, английский фунт в те годы стоил что-то 5 или 10 золотых рублей. Он понемногу пропивал эти деньги, пока в состоянии пьяного куража не оставил в популярной шашлычной у памятника первопечатнику Ивану Федорову свой служебный портфель, рассчитывая получить его на другое утро. Увы, портфель с находившимися в нем несколькими банковскими аккредитивами исчез без следа. К денежным потерям это не привело: аккредитивы были вовремя аннулированы, — но с работы «Рамзеса» уволили. Тогда с оставшейся половиной наследства он уехал в Орел, где на эти деньги открыл пивную на главной улице города.

Юрий Николаевич Купреянов, по прозвищу «Дрозд», жил со своей женой Ниной Ивановной в одном из арбатских переулков, выполнял графические работы по заказам книжных издательств. На мой взгляд, он был очень талантлив и по художественной одаренности превосходил своего старшего брата, известного художника-графика Н. Н. Купреянова. Первым мужем Нины Ивановны был балетмейстер Касьян Голейзовский, и она не без гордости иногда демонстрировала нам свое пластическое искусство, очевидно приобретенное под его руководством. Свое прозвище Юрий Николаевич получил за исполнение белогвардейского гимна «Вперед, Дрозды, Россия ждет, ждет мира и свободы...», написанного в честь генерала М. Г. Дроздовского — одного из организаторов Добровольческой армии, убитого в 1919 году.

Юрий Николаевич с необыкновенным искусством щелкал каблуками и козырял, за версту производя впечатление бывшего белогвардейского офицера, хотя в Белой армии никогда не служил. Среди семейных реликвий он гордился фотографией, снятой в момент, когда Николай Второй на перроне вокзала в Сувалках пожимал руку его отцу, царскому генералу. Все это к добру не привело, и свои дни Юрий Николаевич окончил в 30-е годы на строительстве Беломорканала. Эмоционально очень сильными были его иллюстрации к стихотворению Ильи Сельвинского «Рапорт». Привожу по памяти эти стихи, они того заслуживают: «Председателю тройки господину Долинину, ротмистра Браудэ. Рапорт. За командование мною при интервенции Карелии белым бронепоездом «Ревун», на Кронштадтском равелине, Юго-Запад, в ночь на третье я был расстрелян и погребен во рву. Бдя честь Российского знамени, прошу сей просьбе внять: за дрянь работу — солдат шомполами, меня ж дострелять. Подпись: Браудэ. Деревня Люцерн, марта шестого дня. Входящий номер и резолюция: по пункту второму — внять».

Позднее мне пришлось видеть у Нины Ивановны прекрасно оформленный альбом графических работ Юрия Николаевича формата *in folio*, датированный «моего заключения год третий». Беломорканал был открыт в 1933 году.

Андрей Багриновский нигде не работал и к полезной деятельности не стремился, немного подрабатывал как фотограф, но знала его вся Москва. В середине 1927 года он женился на Танечке Перфильевой, старшей сестре моего друга Степки, нас с ним в Москве в это время уже не было. Однако прожили они только около двух недель, когда Андрей однажды вечером, сказав ей: «Танечка, я схожу за папиросами...», ушел и не вернулся. Следующий раз она увидела его через семнадцать лет в нашем доме в Козицком переулке. Андрей Михайлович происходил из музыкальной семьи — отец его был дирижер, сестра Наталья Михайловна — певица, изредка она давала концерты в Малом зале консерватории. Муж ее жаловался, что каждый такой концерт обходится ему крупной суммой денег: добрых полгода оплата аккомпаниатора, аренда зала, афиши, концертное платье от Ламановой, рассылка бесплатных билетов друзьям и родственникам, цветы. Мы, конечно, ходили на эти концерты, на мой вкус довольно скучные. То ли дело — концерты негритянского джаза из США, проходившие в Большом зале консерватории. Для Москвы это была новинка. Сам Андрей был, на мой взгляд, лучший, талантливейший исполнитель старинных романсов (он аккомпанировал себе на гитаре). А как он пел

«На смерть юнкеров» Вертинского, «Калитку» или «Живет моя отрада»! Две его сестры были замужем: певица — за президентом Академии архитектуры академиком Виктором Александровичем Весниным, вторая — за президентом Академии наук СССР академиком С. И. Вавиловым. Мы всегда поддразнивали Андрея удачными замужествами его сестер.

В середине 20-х годов в нашей компании появились новые барышни — Тата Голицына, Ляля Киселева и Шурочка Ланская. Как поется в современной песне: «И в каком столетии ни живи, никуда не денешься от любви». В конце прошлого столетия князь Сергей Сергеевич Голицын женился на простой цыганке, Марии Егоровне Поляковой из цыганского хора ресторана «Яр» в Москве. Обвенчавшись, Сергей Сергеевич увез ее в Париж, где нанял для нее учителей русской литературы и арифметики, Закона Божьего, естествознания, географии и французского языка. Через шесть лет князь вернулся в Петербург и представил жену ко двору, тем самым узаконив свой брак. Правда, это не помешало новой княгине через некоторое время разойтись с мужем и выйти замуж за его друга, Сергея Алексеевича Киселева. Дочь от этого второго брака была знаменитая в Москве артистка театра «Ромэн» Ляля Черная — Надежда Сергеевна Киселева. Более того, старшая сестра Ляли, Наталья Сергеевна Голицына (Тата), в действительности тоже была дочерью С. А. Киселева и носила фамилию первого мужа Марии Егоровны только потому, что ко времени ее рождения развод с Голицыным еще не был оформлен. Выдавал этот семейный Татин секрет характерный «киселевский» нос, из-за которого Сережу Киселева еще в Поливановской гимназии звали «Кривошип». Впрочем, Тату Голицыну этот нос совсем не портил — она была очаровательна, и я в нее влюбился.

Семья Киселевых была по-своему знаменита, среди них были министры и графы. В начале прошлого века молодой генерал Киселев прославился тем, что, танцуя на балу в Зимнем дворце с императрицей, умудрился с ней упасть. Это не помешало его карьере, он быстро поднялся во всех отношениях. Тата Голицына была хорошо образованна, знала три языка, писала стихи, училась в Смольном институте благородных девиц. Тата была на четыре года старше меня и замужем, однако все начало 1927 года я, вместо того чтобы ходить на занятия, ежедневно, с самого утра и до глубокой ночи, проводил время с ней. Муж днем работал в кооперативе «Сирокко», а по вечерам играл в преферанс. Это были счастливые дни, но вскоре я Тате надоел...

В отличие от Таты, Ляля Черная, моя ровесница, была совершенный дичок. Выйдя в те же дни замуж за бывшего офицера Белой армии, однофамильца генерала Корнилова, она, поссорившись со своим молодым супругом, заявила о его прошлом в ГПУ, а когда его арестовали, плакала и носила ему передачи на Лубянку. Как-то ночью, провожая Лялю домой на извозчике, мы с моим другом Степкой Перфильевым получили от нее поцелую.

Степка же влюбился в Шурочку Ланскую, хотя их роман так и не состоялся. Шурочка накануне революции окончила Смольный институт, была очень хороша собой. Она была внучкой графа Ланского, министра царя Александра Второго и автора манифеста об освобождении крестьян. Отец Шурочки, несмотря на свой графский титул, дослужился только до скромной должности Санкт-петербургского полицмейстера. В годы нэпа он жил в Москве, курил папиросы «Черномор» по 8 копеек за 100 штук, которые в его честь мы в своей среде называли «графскими». Жена его, опять же простая цыганка из хора, держалась с большим достоинством и пользовалась всеобщим уважением. В годы нэпа, уже разведясь со своим графом, она вспомнила старое ремесло и организовала цыганский хор, с успехом выступавший в московских ресторанах, в нем какое-то время работала и Ляля Черная.

В 1928 году все цыганские хоры в Москве ликвидировали, а цыган «трудоустроили». Была организована артель «Цыгпром», занимавшаяся мелкой расфасовкой перца, корицы, гвоздики и других пряностей. Однажды я посетил этот «Цыгпром», находившийся в обширном подвале какого-то дома. Там сто-

ял невероятный шум: все работающие одновременно пели, плясали, отбивали чечетку. Нашел я там и Тату Голицыну. Рабочий день кончился, она умылась и вытерла лицо листом серой оберточной бумаги. Помню, это произвело на меня тягостное впечатление — бывшая княжна, смолянка, артистка, красивая, избалованная женщина! К счастью, вскоре для нее все переменялось. Выйдя вторично замуж за английского дипломата, Таточка уехала с ним в Шотландию, где у мужа оказался собственный замок — достойное для нее обрамление...

\* \* \*

Доктрина построения справедливого коммунистического общества, без наследственных сословных привилегий, без капиталистов и помещиков, без эксплуатации человека человеком, без войн и экономических кризисов, принималась всеми нами безоговорочно. Возмущала скверная реализация замечательных идей, примитивность, лживость, тупость и лицемерие значительной части партийных работников, с которой мы повседневно сталкивались. Нет сомнений, что будь по-прежнему у власти царское правительство, мы читали бы Маркса и Плеханова и вступали бы в нелегальные социал-демократические кружки. Недаром Юра Ильин, заполняя как-то очередную анкету, в графе «партийность» написал: «анархо-синдикалист». Кончилось это для него плохо — его арестовали и сослали. Правда, победа красных в Гражданской войне пробуждала долю романтического отношения к Белому движению, к побежденным.

Вспоминается один достаточно рискованный и нелепый случай.

В каком-то семейном доме, где экспромтом собралась наша дружеская компания, не хватило вина, и было решено послать за «подкреплением». У шинкарей в районе Плющихи и Смоленского рынка ночью легко было купить самогонку, но за вином после закрытия магазинов надо было ехать в ближайший ресторан. Эту задачу взяли на себя Степка и я, в результате чего мы оказались в ресторане «Арбатский подвал». Зал был переполнен, но, пока официант готовил для нас сверток с заказом, следовало сесть за столик, подождать. Обнаружив гражданина, в одиночестве пившего шампанское, мы попросили разрешения ненадолго подсесть к нему, на что он любезно согласился и тут же велел официанту подать еще два бокала. Наполнив их вином, он предложил нам с ним выпить. Мы гордо отказались, объяснив, что ждем заказа и не можем пить с незнакомым человеком. Проявив настойчивость, он спросил: «Быть может, вы предложите тост, который нас объединит?» Не раздумывая я встал и, подняв бокал, отчеканил: «За Государя Императора!» Слава Богу, незнакомец последовал моему примеру, Степку упрасивать не было нужды, мы чокнулись и выпили до дна. Глупость, бравада — такая шутка в 1927 году могла окончиться печально. «Что наша жизнь — игра... сегодня ты, а завтра я», — с такими бесшабашными настроениями мы и кутили.

Стремление к духовной свободе, которая все больше ограничивалась, аресты и высылка сверстников определяли рост нашей оппозиционности к официальной пропаганде. Угнетающе действовало и частое безденежье: потребности выросли, а возможность случайных заработков исчезла. Все это привело к тому, что летом 1927 года мы со Степкой Перфильевым покинули Москву и отправились в путешествие на юг России.

Но это — уже другая история...



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

## «ЖМУ ВАШУ РУКУ, ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ»

### *Переписка Максима Горького и Иосифа Сталина*

Из достаточно обширной переписки Иосифа Сталина и Максима Горького, хранящейся в Архиве Президента Российской Федерации (АПРФ), предлагаем вниманию читателей письма 1929 — 1931 годов, основная тема которых — «вредительство», привлекая мировое общественное внимание.

Какими бы ни были — субъективно — воззрения Горького, на деле уже тогда он выполнял сталинскую волю, был пропагандистом режима, его «агентом влияния», как бы мы выразились теперь. Практически социалистическая идеология Горького слилась с набравшим силу сталинизмом.

Разумеется, по понятным причинам Горький не был посвящен в закулисный сценарий разворачивающегося в СССР террора, писатель не мог знать, что именно Сталин порою и назначал, кому из «врагов народа» в чем сознаваться. Происходящему на родине писатель, что называется, верил на слово. В основном документам ОГПУ, присылаемым ему по распоряжению Сталина. Горького, возможно, насторожил «прокол» в «Обвинительном заключении по делу „Промпартии“», когда подследственные рассказали о своих встречах в конце 20-х годов с П. П. Рябушинским, скончавшимся еще в 1924 году. Но Горький промолчал, будто не заметил «ошибку». Ежели что-то в сталинской политике его и смущало, то он не давал этому смущению хода. Он не хотел оказаться вне СССР и пришел к трагическому итогу.

В письмах Горького Сталину было заступничество, пусть даже и осторожное, — так, поддержка им Булгакова (с пересылкой Сталину «антибулгаковской» статьи Ходасевича) помогла возобновить «Дни Турбиных» во МХАТе. «Это значит, — писал Булгаков, — что ему, автору, возвращена часть его жизни».

В основном, как подтвердили публикуемые документы, Горький добивался не принципиальных уступок, его точка зрения не влияла на политику Сталина в области литературы.

Письма, исключительное право публикации которых представляется «Новому миру», печатаются полностью, по подлинникам (авторизованная машинопись либо автографы) из личного фонда Сталина (ф. 45, оп. 1, д. 32 и 718). Выделенные корреспондентами места даны курсивом (подчеркивание) или полужирным шрифтом (двукратное подчеркивание); индивидуальные особенности орфографии и пунктуации сохранены.

Принятые сокращения:

АГ — Архив А. М. Горького при Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН.

Арх. Г. — «Архив А. М. Горького». М. 1939 — 1976.

## 1

## И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

11/VI — 1929 г. &lt;Москва.&gt;

Алексей Максим<ович>!

1) Посылаю обещанные вчера<sup>1</sup> два моих письма. Они представляют ответ на ряд вопросов, заданных мне Б.-Белоцерковским<sup>2</sup> и «РАПП»-ом<sup>3</sup> в порядке *личной* переписки.

2) Пьесу Спиридонова «26 коммунаров»<sup>4</sup> читал. Пьеса, по-моему, слабая. Это — рассказ, порой неряшливый рассказ, о событиях громадной важности, внутренняя связь которых не понята автором.

Из пьесы нельзя понять, *почему* и *как* бакинские большевики *бросили* власть (именно бросили, а не только сдали)<sup>5</sup>. А это главный вопрос в бакинских событиях. Либо, щадя память Шаумяна<sup>6</sup> и других товарищей, не нужно вовсе писать пьесу о 26 коммунарах, либо, если писать ее, — нельзя обходить этот главный вопрос и заслонять его всякими мелочами. Автор допустил здесь большую погрешность против историч<еской> правды, и не только против историч<еской> правды, но и против молодого поколения, которое хочет учиться на ошибках и промахах (как и на успехах и достижениях) своих старших тов<ари>щей.

Нельзя одобрить попытку автора изобразить *каспийских* матросов, как *сплошную* банду пропойц и продажных людей. Это неверно с точки зрения историч<еской> правды. Этого не бывает в период гражданской войны, которая вносит дифференциацию и раскол даже в самые замкнутые учреждения и организации. Это не могло быть тогда ввиду наличия такого факта, как существование Советской России.

Непонятно отсутствие в пьесе рабочего класса, как *субъекта*. Дело происходит в нефтяном царстве, в городе рабочих, в Баку, а рабочих, как действующий и борющийся класс, не видно, или почти не видно. Это невероятно. Но это факт.

Есть в пьесе 8 — 10 великолепных, сочных страниц, говорящих о даровании автора. Очень хорошо вышла фигура Петрова<sup>7</sup>. Недурно вышли Сандро<sup>8</sup> и Мак-донель<sup>9</sup>. Остальные лица расплывчаты и бледны. Некоторые достоинства пьесы не возмещают (и не могут возмещать) ее больших недостатков.

В общем, пьеса слабая.

Ну, хватит.

Привет!

И. Сталин.

Печатается по автографу (лл. 3 — 4).

<sup>1</sup> Накануне, 10 июня, Горький присутствовал на открытии II Всесоюзного съезда Союза безбожников, где, вероятно, встретился со Сталиным и получил от него обещание прислать письма.

<sup>2</sup> Билль-Белоцерковский Владимир Наумович (1884/85 — 1970) — прозаик и драматург; автор революционно-агитационных пьес. Речь идет о письме Сталина «Ответ Билль-Белоцерковскому». Датировано: «2 февраля 1929 г.» (см.: Сталин И. Сочинения, т. 11. М. 1949, стр. 326 — 329).

Вероятно, Сталин ответил на письмо «Объединение «Пролетарский театр» — И. Сталину»; подписали «по поручению членов группы: В. Билль-Белоцерковский, А. Глебов, Б. Рейх». Датировано: «Декабрь, 1928». Подлинник письма хранится в АПРФ (ф. 45, оп. 3, д. 718, лл. 61, 61 об., 62). Опубликовано в «Независимой газете» (1996, 21 ноября). Сталин касался пьес М. А. Булгакова и связанной с ними полемики во второй половине 20-х годов о путях развития советского искусства. «Бег» Булгакова, писал Сталин, «в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление»; «Багровый остров» он назвал «макулатурой»; пьеса «Дни Турбиных» — «не так уж плоха», так как «есть демонстрация всеограшающей силы большевизма. Конечно, автор ни в какой мере «не повинен» в этой демонстрации». Успех спектакля «Дни Турбиных» во МХАТе (смотрел его 15 раз) Сталин полностью относил на счет актеров.

За несколько дней до того, как Сталин написал «Ответ Билль-Белоцерковскому», ему были направлены следующие документы: 1) «29 января 1929 года. Секретно. Записка нарком по военным и морским делам и председателя Революционного Военного Совета СССР К. Е. Ворошилова. Политбюро ЦК ВКП(б). И. В. Сталину. По вопросу о пьесе Булгакова

«Бег» сообщают, что члены комиссии ознакомились с ее содержанием и признали политически нецелесообразным постановку этой пьесы в театре» (АПРФ, ф. 45, оп. 51, д. 18, л. 1); 2) «30 января. Строго секретно. Выписка из протокола № 62/опр. 8-с заседания Политбюро ЦК ВКП(б) о принятии предложения комиссии Политбюро о нецелесообразности постановки пьесы «Бег» в театре. Принято опросом членов Политбюро» (там же). Летом 1929 года все спектакли по пьесам Булгакова в Москве были запрещены.

<sup>3</sup> Имеется в виду письмо Сталина «Ответ писателям-коммунистам из РАППа». Датируется: «28.II.1929 г.». Впервые опубликовано в «Знамени» (1990, № 1, стр. 198 — 200). См. также: Н и к е М. К истории роспуска РАППа. (Вступительная статья к публикации «И. В. Сталин. Ответ писателям-коммунистам из РАППа (28.02.1929)»). — «Минувшее». Исторический альманах, 12. М. — СПб. 1993, стр. 362 — 372).

<sup>4</sup> Пьеса Спиридонова «26 коммунаров» не обнаружена. Что касается автора, то, по-видимому, речь идет о жившем в Баку журналисте, драматурге М. Спиридонове (наст. имя — Михаил Спиридонович Саянин). Фамилия драматурга и его псевдоним установлены по книге: «Материалы к истории театральной культуры России XVII — XX вв.». Вып. 2. Л. 1984. Кн. 1, стр. 120; кн. 2, стр. 567.

<sup>5</sup> В советской историографии нет единого мнения о причинах падения Бакинской коммуны, правительства большевиков и левых эсеров в Баку и на части территории Азербайджана (25 апреля — 31 июля 1918 года). В первое десятилетие после событий возобладала та интерпретация, которой придерживался Сталин в данном письме и в своей статье «К расстрелу 26-ти бакинских товарищей агентами английского империализма. Людоеды английского империализма»: «История 26-ти бакинских большевиков представляется в следующем виде. В августе 1918 года, когда турецкие войска подошли вплотную к Баку, а эсеро-меньшевицкие части Бакинского Совета, вопреки большевикам, увлекли за собою большинство Совета и призвали на помощь английских империалистов, бакинские большевики во главе с Шаумяном и Джапаридзе, оставшись в меньшинстве, сняли с себя полномочия и очистили поле для политических противников. Большевики решили эвакуироваться...» («Известия», 1929, 23 апреля).

Критикуя пьесу «26 коммунаров», Сталин, очевидно, имел и личные основания не очень «щадить память Шаумяна и других товарищей». В частности, Сталин задержал в Царицыне около шести полков из отряда Г. Петрова, посланного на помощь коммуне (см.: Шаумян Сур. Бакинская коммуна. Баку. 1927, стр. 29).

<sup>6</sup> Шаумян Степан Георгиевич (1878 — 1918) — государственный и партийный деятель. Расстрелян англичанами в числе 26 бакинских комиссаров.

<sup>7</sup> Петров Григорий Константинович (1892 — 1918) — левый эсер, военный комиссар Бакинского района от Совета Народных Комиссаров РСФСР. Расстрелян англичанами.

<sup>8</sup> Сандро — возможно, меньшевик, фигура вымышленная, но не исключено, что имеется в виду Сандро Девдориани, меньшевик, один из руководителей Исполнительного комитета кавказской организации РСДРП.

<sup>9</sup> Мак-донель — Мак-Донелл Роналд, английский консул в Баку.

## 2

## М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<29 ноября 1929 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович,

т. Камегулов<sup>1</sup> просил Вас написать статью для журнала «Литературная учеба»<sup>2</sup>, — убедительно прошу Вас о том же и я<sup>3</sup>.

Тема статьи: взгляд партии на художественную литературу, на ее культурно-революционное значение. Пожалуйста, напишите!

У Вас есть очень хорошее письмо к «напостовцам»<sup>4</sup>, вот бы его расширить. Вы прислали мне копию этого письма, но, к сожалению, у меня ее сожгли в Абхазии<sup>5</sup> вместе с другими Вашими письмами и заметками моими о поездке в Соловки на Мурман<sup>6</sup>.

Страшно обрадован возвращением к партийной жизни Бухарина<sup>7</sup>, Алексея Ивановича<sup>8</sup>, Томского<sup>9</sup>. Очень рад.

Такой праздник на душе. Тяжело переживал я этот раскол<sup>10</sup>.

Крепко жму Вашу лапу.

Здоровья, бодрости духа.

А. Пешков.

29.XI.29 г.



<sup>1</sup> Камегулов Анатолий Дмитриевич (1900 — 1937) — критик и литературовед, один из ответственных сотрудников журнала «Литературная учеба».

<sup>2</sup> Идея издания журнала в помощь молодым писателям родилась в Ленинградской ассоциации пролетарских писателей и была горячо поддержана Горьким, когда он летом 1929 года приехал в СССР (см.: Саянов В. Статьи и воспоминания. Л. 1958, стр. 157 — 158). Усилиями Горького в 1930 году журнал был организован; Горький оставался его ответственным редактором до конца жизни.

<sup>3</sup> Камегулов обратился к Сталину с просьбой написать статью для первого номера «Литературной учебы», о чем в начале октября 1929 года сообщил Горькому: «Не знаю, одобрите ли Вы мою инициативу, но я написал письмо к И. В. Сталину с просьбой прислать статью для «Литучебы» о том, какое значение придает наша партия художественной литературе» (Арх. Г., т. 10, кн. 2. 1965, стр. 256).

Статью Сталин не написал. В ответном письме Горькому от 17 января 1930 года он сообщил: «Письмо Камегулова удовлетворить не могу. Некогда! Кроме того, какой я критик, черт меня побери!» (Сталин И. Сочинения, т. 12. М. 1952, стр. 177).

<sup>4</sup> Имеется в виду письмо Сталина «Ответ писателям-коммунистам из РАППа» (см. письмо 1, примеч. 3). Горькому могла импонировать та часть письма, в которой шла речь о консолидации писателей, — он неоднократно писал о вреде групповой вражды, называл ее «бедствием на фронте литературы» (Арх. Г., т. 10, кн. 1, 1964, стр. 216 и мн. др.).

<sup>5</sup> В Абхазии Горький был 6 — 8 сентября 1929 года.

<sup>6</sup> Поездка Горького на Соловки (посетил соловешкий лагерь) и в Мурманск состоялась 20 — 26 июня 1929 года. Писатель рассказал о ней в IV и V очерках цикла «По Союзу Советов» и в очерке «На краю земли» (см.: Горький Максим. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25-ти томах, т. 20. М. «Наука». 1968 — 1976, стр. 191 — 251).

Истории сожженных сталинских писем, заметок Горького «о поездке в Соловки на Мурман» коснулась в своих воспоминаниях Н. А. Пешкова, жена его сына Максима, сопровождавшая писателя в поездке по Абхазии: «...в один прекрасный день <...> чемодан с его рукописями исчез, а месяца через два чемодан этот был прислан обратно, там были какие-то сапоги вложены, но коробка, где были его рукописи, была с пеплом. И Ягода объяснил, что когда они обнаружили жуликов и когда те увидели, что это рукописи Горького, они перепугались и будто бы эти рукописи сожгли. А записей там было много» (АГ, МоГ 3-25-6). Неизвестно, какие материалы пропали из чемодана Горького и что произошло на самом деле (версии по этому поводу см.: Спиридонова Л. М. Горький: диалог с историей. М. 1994, стр. 217 — 233). Из данного письма ясно, что в чемодане находилась и копия письма Сталина «Ответ писателям-коммунистам из РАППа».

<sup>7</sup> Горький с большим уважением относился к Н. И. Бухарину, ценил его искренность, талант, ум, неоднократно предлагал его кандидатуру на различные ответственные посты в литературно-общественной жизни.

<sup>8</sup> Рыков Алексей Иванович (1881 — 1938) — государственный и партийный деятель. В 1924 — 1930 годах председатель СНК СССР. Горький был знаком с Рыковым с 20-х годов, встречался с ним в Германии, где жил с 1921 года и куда Рыков приезжал лечиться. В 1922 году Горький именно Рыкову послал свое письмо с протестом против судебной расправы над правыми эсерами (см.: «Известия ЦК КПСС», 1991, № 3, стр. 61).

<sup>9</sup> Томский Михаил Павлович (1880 — 1936) — государственный и партийный деятель. В 1929 — 1930 годах заместитель председателя ВСНХ СССР.

<sup>10</sup> В данном случае Горький имеет в виду «правый уклон в ВКП(б)» — оппозицию в партии, лидерами которой были Бухарин, Рыков, Томский.

26 ноября 1929 года в «Правде» было опубликовано покаянное «Заявление т.т. Томского, Бухарина и Рыкова», после которого они получили возможность «вернуться к партийной жизни», пока сталинское единовластие, начавшееся именно с поражения «уклонистов», не привело их к гибели.

## 3

## М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<24 декабря 1929 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович —

заболел туберкулезом в опасной форме сын драматурга Константина Тренева<sup>1</sup>, чьей пьесой «Любовь Яровая» мы с Вами любовались в Малом театре<sup>2</sup>.

Отец отправляет сына в Давос или Саксонию, в Шварцвальд, необходимо срочно выправить заграничный паспорт. Обычным, канцелярским порядком то потребует много времени. Может быть, Вы найдете возможность ускорить процедуру получения паспорта?

Полстолетия отработали?<sup>3</sup> Чего Вам пожелать? Еще 30 лет неустанной работы!

Думаю — этого хватит с Вас.  
Крепко жму руку.

А. Пешков.

24.XII.29 г.

Печатается по автографу (л. 24).

<sup>1</sup> 12 декабря 1929 года живший в Симферополе К. А. Тренев обратился к Горькому, с которым был знаком с дореволюционных лет, с просьбой достать визу для своего больного туберкулезом сына — В. К. Тренева. Горький немедленно написал Сталину, о чем в тот же день сообщил Треневу. Заграничный паспорт Треневу с сыном был выправлен.

<sup>2</sup> Сталин и Горький смотрели спектакль «Любовь Яровая» 3 октября 1928 года. С ними были К. А. Тренев, Е. П. Пешкова и другие (см.: «Летопись жизни и творчества А. М. Горького». Вып. 3. М. 1959, стр. 669).

<sup>3</sup> Имеется в виду 50-летний юбилей Сталина, широко отмечавшийся 21 декабря 1929 года. Горький послал Сталину из Сорренто поздравительную телеграмму, которая на следующий день была опубликована в «Правде».

4

М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<17 февраля 1930 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Считаю необходимым сообщить Вам письмо, полученное мною из Парижа от Петра Петровича Сувчинского<sup>1</sup>. Вместе со Святополком-Мирским<sup>2</sup> Сувчинский был основоположником «евразийской» теории и организатором евразийцев. Летом 27 г. оба они были у меня в Сорренто. Это — здоровые энергичные парни, в возрасте 30 — 35 лет, широко образованные, хорошо знают Европу. Мирский показался мне особенно талантливым, это подтверждается его статьями об эмигрантской литературе и книгой о текущей нашей. За эту работу<sup>3</sup> эмиграция возненавидела его, и он принужден был переехать в Лондон<sup>4</sup>, где сейчас пишет книгу о В. И. Ленине<sup>5</sup>. У него и Сувчинского широкие связи среди литераторов Франции и Англии.

У нас делать им нечего. Но я уверен, что они могли бы организовать в Лондоне или Париже хороший еженедельник и противопоставить его прессе эмигрантов. Влияние этой прессы на прессу Франции — несомненно, особенно за последнее время благодаря выступлениям сволочи вроде Беседовского<sup>6</sup>, Соломона<sup>7</sup> и др. Так же и еще более вредно влияние газет Милюкова — Керенского — Гессена<sup>8</sup> на русскую молодежь, студенческую и рабочую, которой немало и из среды которой рекрутируются парни, активно выступающие перед рабочими французами на заводах. Далее — бывшие евразийцы могли бы в известной степени влиять и на французских журналистов, разоблачая ложь и клевету эмигрантов. Может быть, Вы найдете нужным поручить т. Довгалеvскому<sup>9</sup> вступить в сношения с Сувчинским и дать Вам отчет о его, Довгалеvского, впечатлении?

Ко всему сказанному могу с полной уверенностью добавить, что эти «евразийцы» люди несравнимо более крупного калибра, чем Дюшен<sup>10</sup>, Кирдцов<sup>11</sup> и другие, безуспешно пытавшиеся поставить за рубежом советский журнал.

Отвечая Сувчинскому, я не сообщу, что его письмо отправлено мною в Москву, но спрошу его: на какую сумму он рассчитывает поставить журнал.

Книгу о В. И. пишет по-английски. В «Британской энциклопедии» помещена его статья о В. И.<sup>12</sup>, в ней он называет В. И. «гением». За это и потерпел от эмигрантов.

Привет! А. Пешков.

17.II.30.

Печатается по авторизованной машинописи (л. 32). Приписка (после пробела), подпись и дата — автографы.

<sup>1</sup> Сувчинский Петр Петрович (1892 — 1985) — музыковед, публицист, философ; один из участников программного сборника евразийцев «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждения евразийцев» (книга первая, София, 1921). Один из соредкторов (совместно с П. Н. Савицким и Н. С. Трубецким) неперiodического сборника «Евразийский временник» (Берлин — Париж, 1923 — 1927), парижского журнала «Версты» (вместе с Д. П. Мирским, С. Я. Эфроном в 1926 — 1928 годах) и еженедельника «Евразия» (с № 10 в 1929 году; выходил в Париже в 1928 — 1929 годах).

В Архиве А. М. Горького хранится письмо Сувчинского Горькому из Парижа от 11 февраля 1930 года, в котором он сообщал, что эмигрантские деятели, группировавшиеся вокруг газеты «Евразия» (десять человек), окончательно разочаровавшись в «так называемом «Евразийском движении», хотели бы служить СССР; эти люди «являются вполне сознательными <...> идеологами советского дела» (АГ, КГ-п 74-1-4). В связи с тем, что газета «Евразия» прекратила существование из-за отсутствия средств, Сувчинский выражал желание «издавать хотя бы ежесемичный журнал» и советовался с Горьким, где найти материальную поддержку для этого издания. Горький немедленно запросил Сувчинского, «какие — в цифрах — средства необходимы на организацию еженедельника, на издание его в течение года» (там же, ПГ-рл 42-2-2), а машинописную копию письма Сувчинского от 11 февраля 1930 года со своей правкой, не дожидаясь ответа последнего, отправил Сталину (хранится в АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 32, л. 33). Сувчинский ответил только 27 февраля: отказавшись из-за «политического положения во Франции» от организации журнала или газеты, он предложил выпустить четыре сборника в год, считая, что каждый из них обойдется в 130 английских фунтов в месяц (АГ, КГ-п 74-1-5).

К письму от 7 марта 1930 года своему секретарю П. П. Крючкову Горький приложил написанную им «записку о „евразийцах“» с предложениями Сувчинского и просил «сообщить» ее «Иосифу Виссарионовичу и Г. Г.» (Г. Г. Ягоде, зам. председателя ОГПУ. — Лубл.), заключив: «Мое мнение: сборники — оружие недостаточно активно-боевое и поэтому не нужны. «Евразийцев» хорошо бы использовать для журнала «За рубежом». Хорошо зная быт интеллигенции и мелкой буржуазии, они могут быть полезными осведомителями» (там же, ПГ-рл 2а-1-273).

Замысел издания журнала или сборников не был осуществлен. Горький и в последующие годы переписывался с Сувчинским.

<sup>2</sup> Святополк-Мирский — Мирский Дмитрий Петрович (1890 — 1939), сын князя Святополка-Мирского; критик и литературовед. Поддерживал тесные отношения с Горьким, который тепло отзывался о нем; в 1927 году вместе с Сувчинским посетил писателя в Сорренто. В 1922 — 1932 годах жил в эмиграции, в Англии, читал курс русской литературы в Лондонском университете и в Королевском колледже. В 1931 году вступил в британскую компартию. Во второй половине 1932 года с помощью Горького вернулся на родину. В 1937 году Мирский был репрессирован, отбывал срок на Колыме, где и умер.

<sup>3</sup> Очевидно, Горький имел в виду статью Мирского «Вяения смерти в предреволюционной литературе» («Версты», 1927, вып. 2).

<sup>4</sup> Ошибка Горького: Мирский переехал в Лондон еще в 1922 году.

<sup>5</sup> Книга Мирского предзначалась для зарубежного читателя и вышла на английском языке: «Lenin. Makers of the Modern Age» [«Ленин. Творцы современного века»]. London. 1931.

<sup>6</sup> Беседовский Григорий Зиновьевич (1896 — 1949?) — в 20-х годах сотрудник советского посольства в Варшаве, Токио, Париже. В октябре 1929 года стал невозвращенцем. В 1930 — 1931 годах издавал в Париже газету «Борьба». Опубликовал книгу «На путях к термидору. Из воспоминаний бывшего советского дипломата» (Париж, ч. 1 — 1930; ч. 2 — 1931). Горький писал о нем в статье «О предателях» («Известия», 1930, 31 июля).

<sup>7</sup> Соломон Георгий Александрович (1868 — 1934) — журналист; с 1918 года — первый секретарь советского посольства в Берлине, консул в Гамбурге, заместитель наркома внешней торговли в Москве, полномочный представитель Наркомата внешней торговли в Ревеле (Таллин), директор Аркоса в Лондоне. В 1923 году эмигрировал; автор книг «Среди красных вождей» (Париж, 1930) и «Ленин и его семья» (Париж, 1931).

<sup>8</sup> Речь идет об эмигрантских газетах «Последние новости» бывшего лидера кадетской партии П. Н. Милокова, выходившей в Париже в 1920 — 1940 годах, «Дни» прежнего главы Временного правительства А. Ф. Керенского, печатавшейся в 1922 — 1925 годах в Берлине, а в 1926 — 1928 годах — в Париже, и «Руль», издававшейся в Берлине в 1920 — 1933 годах под редакцией публициста, бывшего видного кадета И. В. Гессена при участии В. Д. Набокова и А. И. Каминки.

<sup>9</sup> Довгалевский Валериан Савельевич (1885 — 1934) — государственный деятель, дипломат. Полпред в Швеции, Японии, с конца 1927 года по день смерти — полпред СССР во Франции. Состоял в переписке с Горьким (см.: «Наследие Горького и современность». М. 1986, стр. 216 — 245).

<sup>10</sup> Дюшен Борис Вячеславович (1886 — 1949) — инженер, профессор, журналист. С 1921 года, эмигрировав из России, жил в Берлине, являлся одним из ведущих сотрудников сменовеховской ежедневной газеты «Накануне», выходившей в Берлине в 1922 — 1924 годах, сотрудничал в берлинском отделении горьковского издательства «Знание». В 1926 году вернулся в СССР.

<sup>11</sup> Кирдецов Григорий Львович (1880-е — 1938?) — журналист, бывший сотрудник «Мира Божьего», «Вестника Европы», «Биржевых ведомостей», «Русской воли». В 1918 году эмигрировал; редактор официоза Северо-Западного правительства «Свободная Россия» (Ре-

вель, 1919 — 1921), один из редакторов газеты «Накануне». Позже служил в советских торговых и дипломатических миссиях. В середине 20-х годов вернулся в СССР. В 1935 году арестован, умер в заключении.

<sup>12</sup> Статья о В. И. Ленине в «Британской энциклопедии» (издания 1929 — 1930 — 1932 — 1936, т. 13) не принадлежит Мирскому — она подписана криптонимом «L. Tr.» (очевидно — Л. Троцкий).

5

И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<30 апреля 1930 года. Москва.>

Горячий привет многоуважаемому Алексею Максимовичу!

Куча извинений за неаккуратность, которую я проявил в переписке с Вами.

Как Ваше здоровье?

Пишете ли Самгина?<sup>1</sup>

Я здоров. Дела идут у нас недурно. Живем!

Крепко жму руку.

Ваш И. Сталин.

30/IV — 30 г.

---

Печатается по автографу (л. 35).

<sup>1</sup> Горький в это время заканчивал работу над третьей частью романа «Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет)». В отрывках Сталин мог читать эту часть в журнале «Звезда» (1930, № 1 — 6) и в двух номерах «Известий» (за 12 февраля и 12 апреля 1930 года).

6

И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<24 октября 1930 года. Москва.>

Уважаемый Алексей Максимович!

Приехал из отпуска недавно. Раньше, во время съезда<sup>1</sup>, ввиду горячки в работе, не писал Вам. Это, конечно, не хорошо. Но Вы должны меня извинить. Теперь другое дело, — теперь могу писать. Стало быть, есть возможность загладить грех. Впрочем: «не согрешив, — не расквасишься, не расквасившись, — не спасешься»...

Дела у нас идут неплохо. Телегу двигаем; конечно, со скрипом, но двигаем вперед. В этом все дело.

Говорят, что пишете пьесу о вредителях<sup>2</sup>, и Вы не прочь были бы получить материал соответствующий<sup>3</sup>. Я собрал *новый* материал о вредителях и посылаю вам на днях<sup>4</sup>. Скоро получите.

Как здоровье?

Когда думаете приехать в СССР?<sup>5</sup>

Я здоров.

Крепко жму руку.

И. Сталин.

24/X — 30.

---

Печатается по автографу (лл. 80 — 81).

<sup>1</sup> Имеется в виду XVI съезд ВКП(б), проходивший в Москве с 26 июня по 13 июля 1930 года, на котором Сталин выступил с отчетным докладом ЦК.

<sup>2</sup> Речь идет о пьесе «Сомов и другие» на тему «вредительства» в советской промышленности. Горький начал работать над пьесой в 1930 году, продолжал в следующем, но пьесу так и не закончил. Еще во время работы писал Сталину, что пьеса «о «вредителе» <...> не удается» (см. письмо 7). При жизни Горького пьеса не публиковалась. Впервые напечатана в кн.: *Арх. Г.*, т. 2, 1941.

<sup>3</sup> По поручению Сталина Горькому был переправлен «материал соответствующий». А. Б. Халатов, председатель правления Госиздата и ОГИЗа РСФСР, писал Горькому 8 июля 1930 года: «Мне на днях тов. Сталин посоветовал послать Вам материал к «Отчету ЦКК ВКП(б)», составленный ОГПУ, — о работе вредителей, так как, по его словам, Вы сейчас работаете по этому вопросу. Материал посылаю» (*Арх. Г.*, т. 10, кн. 1, стр. 206). Горький в письме Халатову от 22 сентября 1930 года сообщил: «Получил «Материал» к докладу тов. Серго, это мне очень пригодится. Может быть, раскачаюсь и напишу пьесу» (там же, стр. 214 — 215). Речь идет о секретной брошюре «Материалы к отчету ЦКК ВКП(б) XVI съезду (М., 1930), розданной делегатам съезда. В ней приведены сведения о «деятельности вредительских и шпионских организаций антисоветской части верхнего слоя инженерства», раскрытых «усилиями ОГПУ за истекшие два года». Во «вредительстве» в нефтяной, угольной промышленности, на Путиловском тракторном заводе и в Госплане «чистосердечно» признавались «кастовые инженеры», видные специалисты Н. Колганов, В. Ларичев, А. Стырикович, И. Стрижов и другие. Их показания, полностью напечатанные в брошюре, цитировал председатель Центральной контрольной комиссии Г. К. (Серго) Орджоникидзе в докладе «Отчет ЦКК — НК РКИ XVI съезду ВКП(б)» (см.: «Правда», 1930, 5 июля; а также «XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет». М. 1930).

<sup>4</sup> Судя по письму Горького от 17 ноября 1930 года (письмо 8) и письму Сталина от 10 января 1931 года (письмо 12), последний послал писателю материал «О контрреволюционной организации в области снабжения населения продуктами питания» и «новый материал» по готовящемуся процессу «Союза инженерных организаций («Промышленной партии»)».

<sup>5</sup> Горький, в 1924 — 1933 годах постоянно живя в Италии (Сорренто, близ Неаполя), с 1928 года на летнее время приезжал в СССР, но в 1930 году такая поездка не состоялась.

## 7

## М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<2 ноября 1930 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович,

Крючков<sup>1</sup> привез мне Вашу записку<sup>2</sup>, спасибо за привет. Очень рад узнать, что Вы за лето отдохнули.

Был совершенно потрясен новыми, так ловко организованными актами вредительства<sup>3</sup> и ролью правых тенденций в этих актах. Но вместе с этим и обрадован работой Г.П.У, действительно неутомимого и зоркого стража рабочего класса и партии. Ну, об этих моих настроениях не буду писать, Вы их поймете без лишних слов, я знаю, что и у Вас возросла ненависть ко врагам и гордость силою товарищей. Вот что, дорогой И. В., — если писатели Артем Веселый и Шолохов будут ходатайствовать о поездке за границу — разрешите им это<sup>4</sup>: оба они, так же как Всеволод Иванов<sup>5</sup>, привлечены к работе по «Истории гражданской войны»<sup>6</sup>, — к обработке сырого материала, работа их будет редактироваться историками под руководством М. Н. Покровского<sup>7</sup> — мне, да и для них, было бы полезно поговорить о приемах этой работы теперь же, до весны, когда я приеду.

На днях в Неаполь придут 200 человек «ударников»<sup>8</sup>, поеду встречать их. Очень рад потолковать с этими молодцами.

Пьесу о «вредителе»<sup>9</sup> бросил писать, не удается, мало материала. Чрезвычайно хорошо, что Вы посылаете мне «новый»! Но — еще лучше было бы, конечно, если б нового в этой области не было.

Сегодня прочитал в «Эксельциоре» статью Пуанкаре<sup>10</sup>. На мой взгляд — этой статьей он расписался в том, что ему хорошо известны были дела «промышленной» и «крестьянской» партий, что Кондратьевы и К<sup>11</sup> — люди, не чуждые ему. Очевидно, и вопрос об интервенции движется вперед понемножку. Однако я все еще не могу поверить в ее осуществимость, «обстановочка» для этого, как будто, неподходяща. Но Вам виднее, конечно.

Чувствую, что пришла пора везти старые косточки мои на родину. Здравье, за лето, окрепло. Держу строгий режим. Приеду к Первому мая<sup>12</sup>.

Крепко жму Вашу руку, дорогой товарищ.

А. Пешков.

2.XI.30.

<sup>1</sup> Крючков Петр Петрович (1889 — 1938) — доверенное лицо, позже секретарь писателя, вел все его издательские и финансовые дела. Есть основания считать, что Крючков сотрудничал с ОГПУ. На процессе «Правотроцкистского антисоветского блока» был обвинен в убийстве Горького, его сына Максима (см.: «Правда», 1938, 13 марта) и в этом же году расстрелян.

<sup>2</sup> Речь идет о предыдущем письме Сталина.

<sup>3</sup> Горький имеет в виду сообщение в «Известиях» (3 сентября 1930 года) об аресте «участников и руководителей контрреволюционных организаций» В. Базарова, В. Громана, Н. Кондратьева, Н. Макарова, Л. Рамзина, П. Садырина, Н. Суханова, А. Чайнова, Л. Юровского и других: «Арестованные признали <...> свою связь с вредительскими организациями <...> следствие продолжается». Они были арестованы в июне — августе 1930 года. Сталин уже в начале августа писал В. М. Молотову: «Я думаю, что следствие по делу Кондратьева — Громана — Садырина нужно вести со всей основательностью, не торопясь. Это дело очень важное <...> Кондратьева, Громана и пару-другую мерзавцев нужно обязательно расстрелять» («Письма И. В. Сталина В. М. Молотову 1925 — 1936 гг.». Сборник документов. М. 1995, стр. 194).

22 сентября 1930 года центральные газеты опубликовали материалы по «Делу о контрреволюционной организации в области снабжения населения продуктами питания». Подсудимые А. Рязанцев, Е. Каратыгин (руководители «Пищевого треста»), В. Дроздов, Н. Курынов, И. Левандовский и другие признались во «вредительстве» («Правда», 1930, 22 сентября). 48 руководящих работников пищевой промышленности, привлеченные по этому делу, были расстреляны без суда по приговору Коллегии ОГПУ, о чем газеты сообщили уже 25 сентября.

<sup>4</sup> Артем Веселый и М. А. Шолохов, получив с помощью Горького разрешение, в первой половине декабря 1930 года выехали за границу. Однако к Горькому в Италию доехал только Артем Веселый. Шолохов вернулся из Берлина в Москву из-за задержки с визой.

<sup>5</sup> В июле 1930 года Горький выхлопотал у Сталина разрешение на поездку за границу В. Иванову с семьей, но тот приехал к Горькому в Сорренто лишь 31 декабря 1932 года (см.: Иванов В. С., Горький в Италии. — «Новый мир», 1937, № 6).

<sup>6</sup> К литературной обработке материалов «Истории гражданской войны», готовившейся к изданию (по инициативе Горького) в течение 1931 — 1935 годов, было привлечено около пятидесяти писателей. Согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 30 июля 1931 года «Об издании „Истории гражданской войны“», они составили художественную редакцию издания. Горький руководил ее главной редакцией.

<sup>7</sup> Покровский Михаил Николаевич (1868 — 1932) — государственный и партийный деятель, историк. С 1918 года до конца жизни заместитель наркома просвещения РСФСР. Руководитель Коммунистической академии, Института красной профессуры. Переписку с Горьким по поводу «Истории гражданской войны», в которой Покровский принял участие, см.: *Арх. Г.*, т. 14, 1976, стр. 154 — 172.

<sup>8</sup> Теплоход «Абхазия» с «ударниками», премированными заграничной поездкой, прибыл в Неаполь 26 ноября 1930 года.

<sup>9</sup> Имеется в виду пьеса «Сомов и другие» (см. письмо 6, примеч. 2).

<sup>10</sup> Пуанкаре Раймон (1860 — 1934) — влиятельный государственный деятель, президент Франции (1913 — январь 1920), неоднократно премьер-министр и министр.

Статья Пуанкаре «Когги СССР» («Экспедиционер», Париж, 1930, 30 октября) была перепечатана в «Правде» (1930, 18 ноября), с чем, видимо, связано настоящее письмо Горького. Пуанкаре назвал «зловредной» деятельность советского правительства. «Чрезвычайно плохое» экономическое положение страны, завершившее «эволюцию, начатую пять или шесть лет назад», заставляет «фанатиков», ведущих «за собой толпы», писал он, делать колоссальные усилия, чтобы «поднять промышленность и сельское хозяйство, которое замирает», и вместе с тем «вызвать мировую революцию, вне которой для них не видно спасения». Пуанкаре призвал мировое сообщество «постоянно бодрствовать», так как, по его мнению, никогда советское государство не откажется от положения, которое оно приняло с первой минуты, а именно — необходимости и возможности социальной революции. «Такая доктрина <...> бесспорно исключает всякое искреннее участие в международном сообществе. Эта доктрина должна казаться всем другим правительствам опасностью, убеждаясь от которой они могут только путем всегда настоятельной солидарности». Статью цитировал государственный обвинитель Н. В. Крыленко на процессе «Промпартии», назвав ее «политическим выступлением, направленным против Советского Союза в целом» («Правда», 1930, 8 декабря).

<sup>11</sup> Кондратьев Николай Дмитриевич (1892 — 1938) — экономист-аграрник, профессор Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, директор Конъюнктурного института при Наркомфине (1920 — 1928), начальник Управления экономики и планирования сельского хозяйства Наркомзема РСФСР. В июне 1930 года был арестован (см. примеч. 3). Примерно через месяц было сфабриковано «Дело контрреволюционной вредительской Трудовой крестьянской партии». Открытого процесса над этой партией не состоялось. Но Сталину было важно публичное покаяние обвиняемых; 2 сентября 1930 года он писал В. М. Молотову: «Между прочим: не думают ли господа обвиняемые (Кондратьев, Чайнов, Громан и другие. — *Публ.*) признать свои *ошибки* и порядочно оплевать себя политически, признав одновременно прочность Советской власти и правильность метода коллективизации?» («Письма И. В. Сталина В. М. Молотову 1925 — 1936 гг.», стр. 211). Кондратьев в своих показаниях на процессе «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)» признал обвинения, предъявленные его партии (см. письмо 12, примеч. 1), и повторил — озвучил — мысли Сталина в приведенном выше письме: «...я не только считаю ошибочными свои теорети-

ческие идеологические установки, но считаю преступной всю свою практическую деятельность, поскольку она была направлена на борьбу с советской властью» («Правда», 1931, 5 марта). В январе 1932 года на закрытом заседании Коллегии ОГПУ Кондратьев был приговорен к восьми годам тюремного заключения, которые отбывал в политизоляторе в Суздале (см.: Ефимкин А. Дважды реабилитированные. Н. Д. Кондратьев, Л. Н. Юровский. М. 1991). В 1938 году по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР расстрелян.

<sup>12</sup> Горький приехал в СССР 13 мая 1931 года и пробыл в стране до 31 октября.

## 8

## М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<17 ноября 1930 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович —  
очень благодарен за присланный материал!<sup>1</sup>

Ознакомившись с ним, я написал прилагаемое обращение к рабочим<sup>2</sup>, может быть, Вы и ЦК найдете полезным опубликовать его в коммунистической зарубежной печати. Если окажутся нужными поправки, сокращения — разумеется, я ничего не имею против.

Весьма прошу Вас: нельзя ли прислать мне показания подлека Осадчего<sup>3</sup>, а также показания идиотов «крестьянской партии» Чаянова<sup>4</sup>, Суханова<sup>5</sup> и др.

Читая о том, как эти авантюристы охотятся за Вами и Г. Г. Ягодой, испытывал бешенство и недоумение: уж очень неважно поставлено у нас дело личной охраны крупнейших партийцев. Гуляют люди с бомбами по Лубянской площади с утра до вечера и — никто их не видит! Странно.

Хотелось бы поехать в Москву, на процесс, но — задыхаюсь, сердце дурит. А умирать до конца пятилетки — не хочется. Да и вообще не хочется умирать. Крепко обнимаю Вас, дорогой товарищ.

А. Пешков.

17.XI.30. Сейчас у меня Д. И. Курский<sup>6</sup> — отлично, крепко настроен этот человек. Очень много рассказывает об отношении к нам итальянцев. Ну, это Вы, конечно, знаете. Я тоже вижу, что доброжелательное отношение к нам здешней массы возрастает по мере их знакомства с действительностью Союза. Много инженеров и молодежи спрашивают, — как бы попасть в Союз на работу? Безработица здесь растет.

Жму руку. А. Пешков.

Печатается по автографу (л. 83 — 83 об.).

<sup>1</sup> Горький получил материалы, которые обещал ему послать Сталин в письме от 24 октября 1930 года (см. письмо б, примеч. 4).

<sup>2</sup> Машинописная статья Горького («обращение к рабочим») с подписью-автографом писателя хранится в АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, лл. 84 — 87. На полях пометы Сталина, его рукой написано заглавие «К рабочим и крестьянам» и сделаны две поправки: во фразе «Они искусно создали в стране Советов пищевой голод» слово «создали» поправлено на «создавали», а в конце фразы «Вас хотят послать против рабочих и крестьян» дописано: «Советского Союза».

Статья была опубликована в «Правде» и «Известиях» 25 ноября 1930 года.

<sup>3</sup> Осадчий Петр Семенович (1866 — 1943) — заместитель председателя Госплана РСФСР и СССР, профессор, до революции — ректор Петербургского электротехнического института, затем — специалист по электротехнике, председатель Центрального электротехнического Совета ВСНХ СССР, председатель техсовета Днепростроя.

Горький узнал из полученного от Сталина «Обвинительного заключения по делу „Промпартии“», что Осадчий якобы был одним из руководителей «головного звена» этой партии и участвовал в ее шпионской деятельности (см.: «Правда», 1930, 11 ноября). Горький не получил «показания» Осадчего, так как последний был арестован в ходе процесса «Промпартии» прямо в зале суда и показания впервые давал 2 декабря (см.: «Правда», 1930, 5 — 6 декабря). Был приговорен к десяти годам лишения свободы, в 1935 году постановлением ВЦИК СССР досрочно освобожден. Горький знал Осадчего со времен совместной работы в ПетроКУБУ (1920 — 1921) и впоследствии привлек его к сотрудничеству в журнале «Наши достижения». Однако после процесса «Промпартии» писатель изменил отношение к Осадче-

му, даже вычеркнул его фамилию в своей статье «Десять лет» («Известия», 1927, 23 октября) при переиздании ее в начале 1930 года.

<sup>4</sup> Чаянов Александр Васильевич (1888 — 1937) — экономист-аграрник, литератор. Профессор Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, где работал до 1930 года. Основатель и директор (1922 — 1928) первого в стране Института сельскохозяйственной экономики. Автор социально-философских «фантастических» и «романтических» повестей, одна из которых — «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» (1920) — в период травли Чаянова была объявлена «теоретической основой кулацкой контрреволюции в Советской стране» (Ярославский Е. М. Мечты Чаянова и советская действительность. — «Правда», 1930, 18 октября). В июле 1930 года арестован наряду с Кондратьевым (см. письмо 7, примеч. 11). Чаянов якобы представлял ЦК «Трудовой крестьянской партии» в центре «Промпартии». В январе 1932 года Коллегией ОГПУ приговорен к пяти годам тюремного заключения, в 1933-м — сослан в Казахстан. В дальнейшем еще дважды подвергался арестам. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.

<sup>5</sup> Суханов Николай Николаевич (1882 — 1940) — историк, экономист, литератор; сотрудничал в горьковском журнале «Летопись» (1915 — 1917), с апреля 1917 года — соредaktor и ведущий публицист в основанной Горьким газете «Новая жизнь». Автор семитомных «Записок о революции», напечатанных в 1922 — 1932 годах в берлинском отделении издательства З. И. Гржебина, поддерживаемого Горьким. Работал в различных советских учреждениях в Москве, на Урале, за границей. В июле 1930 года арестован. Горький ошибся, присоединив Суханова к «крестьянской партии». Его (в прошлом меньшевика) причислили к меньшевистской контрреволюционной организации «Союзное бюро РСДРП(м)». Приговорен к десяти годам тюремного заключения, срок отбывал в Верхне-Уральском изоляторе ОГПУ. Здесь писал заявления во ВЦИК РСФСР, требуя пересмотреть решение суда как полностью фальсифицированного процесса, в котором он играл «комедию» (см. о нем вступительную статью А. Корникова в кн.: Суханов Н. Н. Записки о революции. В 3-х томах, т. 1. М. 1991). В 1935 году тюремное заключение Суханову заменили ссылкой в Тобольск, где через два года его снова арестовали и расстреляли.

<sup>6</sup> Курский Дмитрий Иванович (1872 — 1932) — государственный и партийный деятель, дипломат, полпред СССР в Италии (1928 — 1932), навещал Горького в Сорренто.

## 9

## М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<2 декабря 1930 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович,

Пожалуйста, прочитайте прилагаемое письмо «Гуманистам»<sup>1</sup>, в нем упоминается Ваше имя, если это почему-нибудь неудобно — вычеркните.

Как всегда — у меня к Вам просьба, суть ее такова:

в этом году исполнится 55 лет труда гениального садовода нашего, Мичурина<sup>2</sup>; ему уже 82 г., но он все еще бодр, работает во всю силу и сейчас занят «тренировкой» soi для того, чтоб приучить ее расти на севере. Его практические достижения в деле плодводства имеют гораздо большее значение, чем работы американца Лютера Бербанка<sup>3</sup>, и вот уже десятки лет С.А.Ш.С. пользуются его работами в ущерб нам. Они еще в 912 г. предлагали ему 8 т. долл. в месяц с тем, чтоб он переехал в Америку, а как известно, капиталист знает цену денег. Общегосударственное значение трудов Мичурина очень хорошо понял и высоко оценил В<ладимир> Ильич<sup>4</sup>.

Я очень прошу Вас спешно двинуть дело издания трудов Мичурина, он, конечно, скоро умрет, а нужно, чтоб его рукописи изданы были при жизни его, чтоб он сам редактировал их<sup>5</sup>. Первый том его работы издавался преступно медленно — 3 года! Это похоже на вредительство. Наркомзем, как будто нарочно, уродливо сокращает сметы на содержание питомника Мичурина, сокращает, несмотря на распоряжения М. И. Калинина: «Дело по улучшению и расширению питомника надо провести в самом срочном порядке»<sup>6</sup>. Дело крупнейшего государственного значения.

По поводу 55-летнего юбилея хотя переименовать город Козлов в Мичуринск<sup>7</sup> — какое практическое значение имеет эта словесность? Чепуха! А вот издать рукописи, по которым молодежь будет учиться работать, это — дело. Да и штат сотрудников Мичурина следовало бы увеличить, а то у него



35 ч<еловек> работают, кажется, на четырех сотнях гектаров. Двиньте это дело<sup>8</sup>, Иосиф Виссарионович, как двинули резец Игнатьева<sup>9</sup>!

Вчера возвратился из Неаполя, где провел три дня среди ударников, на «Абхазий». О том, как Неаполитанские власти приняли этот отличный, внушительный теплоход, с грузом весьма опасных пассажиров, Вы, разумеется, будете иметь подробные сообщения, я же скажу, что любезность наших «друго-врагов» очень удивила меня: ударникам был показан даже авиационный завод, где строят военные аэропланы. Вот как полезен бывает визит, сделанный вовремя! Я имею в виду, конечно, визит М. М. Литвинова<sup>10</sup> в Милан.

Я пережил совершенно исключительный и потрясающий момент: видел, как беспартийные рабочие, пожилые, с многолетним трудовым стажем, подавали заявления о вступлении своем в партию. Было это до того торжественно и в то же время — просто, даже сурово, что у меня, от радости, чуть сердце не лопнуло; испытал эдакий, знаете, сердечный ожог, что ли!

Заявления подавали после доклада т. Курского о международном положении и наших отношениях с Италией — Германией — Турцией. Доклад был сделан кратко, ясно, по-большевистски крепко, и казалось, что Курский не только закрывает ворота перед интервентами, а еще и заколачивает их весьма длинными гвоздями. Сказано было достаточное количество солидных слов и по адресу вредителей.

И вот после этого из плотной массы трех сотен ударников раздался голос: «В ответ интервентам и вредителям вступаю в партию, трудовой стаж 23 г.». И — пошло! Надо было видеть лица этих людей, глаза их! Момент огромного воспитательного значения. Нет сомнения, что по пути до Одессы этот взрыв классового самосознания еще повторится не один раз.

Римское полпредство работало до изнеможения; работал, собственно, т. Левин<sup>11</sup>, ему удалось дешево устроить поездку ударников в Помпею, посещение музея, аквариума биологической станции, двух заводов. Неплохо осмотрели огромный город, побывали в кварталах бедноты и в конечном счете нашли, что «у нас лучше». Итальянцы отмечают серьезность, с которой наши ребята осматривали город. Печать называла ударников «туристами», но неаполитанцы знали, что это рабочие. Педагогическое значение таких поездок — совершенно бесспорно.

«Без дурака — не праздник». Роль дурака играл наш представитель ТАССа некто Збиневич<sup>12</sup>. Я его встречал и раньше, в 28 г. — в Нижнем, в 29 — в Москве, он и тогда был уже глуп, хвастлив и вообще — неудачно сделан. Напрасно посылают таких людей за границу. Докладывая ударникам о положении рабочих Неаполя, он наврал, повысив заработную плату до 30 лир — 3 р. — в день, когда максимальная — 2 р. 40 к. и семейный тратит 14 лир только на хлеб; надо знать, что рабочие Италии женятся рано и, как правило, многосемейны. Вообще он — ничего не знает, оперирует официальными данными, и — Вы бы убрали его отсюда, он не только для Рима, а и для Чухломы едва ли годится. Он из тех людей, которые, чувствуя себя чужими в партии, играют в «левизну».

Беседуя с молодыми ударниками, я обнаружил весьма серьезный дефект политического их воспитания, дефект этот был известен мне и раньше. Суть его в том, что теория, даже у партийцев, висит в воздухе, — они не умеют наполнять ее конкретным, фактическим содержанием. Это — не их вина, а — вина воспитателей. Совершенно недопустимо, чтоб молодой партиец ставил такие вопросы:

«Есть ли в Италии король?», «Какая здесь рабочая пресса?», «Какие отношения между социалистами и фашистами?».

Я уже не говорю о курьезных вопросах такого рода: «Где теперь поп Гапон?», «Живет ли Леонид Андреев у Горького на Капри?», «Кто, после Воровского, полпредом в Швеции?». Это — скучно слышать.

Нам бы учебничек по истории роста и развития большевизма в условиях самодержавно-буржуазного государства<sup>13</sup>, т. е. опять-таки *фактическую, бы-*

товую историю партии, характер подпольной работы, жизнь в тюрьме и ссылке, взаимоотношения с меками<sup>14</sup>, эсерами, либералами и т. д. Для этого у нас есть огромный материал мемуаров.

Ну, ладно, хватит!

Письмо вышло длинным, устанете читать.

Замечательно, даже гениально, поставлен процесс вредителей. Я, разумеется, за «высшую меру»<sup>15</sup>, но, м. б., политически тактичнее будет оставить негодея на земле в строгой изоляции. Возможно, что это оказало бы оздоравливающее действие на всех спецев и заткнуло глотки врагам, которые ждут случая поорать о зверстве большевиков. Но — разумеется — надобно создавать своих спецев, своих!

Сердечный мой привет Вам, дорогой товарищ.

А. Пешков.

Теперь, когда Сырцов<sup>16</sup>, Курс<sup>17</sup> и К<sup>о</sup> обнаружили истинную свою сущность, следовало бы восстановить в партии Зазубрина<sup>18</sup>, ведь это они травили его, они же испортили хороший журнал «Сибирские огни», высадив из него талантливых людей. Зазубрин — очень талантливый человек. И — честный.

А. П.

2.XII.30.

Печатается по авторизованной машинописи (лл. 88 — 90). Фраза «Сердечный мой привет...», подписи и дата — автографы. На первом листе письма в правом верхнем углу резолюция Сталина: «Молотову, Кагановичу, Ворошилову, Калинин, Яковлеву, Орджоникидзе».

<sup>1</sup> Авторизованный машинописный экземпляр статьи хранится в АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, лл. 91 — 96. На первом листе сверху посередине Сталин написал простым карандашом: «Молотову, Кагановичу» и внес правку во фразу «...что в Союзе Советов единолично диктаторствует т. Иосиф Сталин...»: слова «т. Иосиф Сталин» зачеркнул, а «единолично диктаторствует» исправил на «единоличная диктатура» (лл. 93, 94).

Статья Горького «Гуманистам» была впервые опубликована в «Правде» и «Известиях» 11 декабря 1930 года. Горький оправдывал казнь «сорока восьми преступников», «организаторов пищевого голода в СССР», как законное и справедливое «возмездие трудового народа». Он отказался сотрудничать в литературном издании «Интернационального союза писателей-демократов», объяснив это тем, что в руководстве союза находятся Генрих Манн и Альберт Эйнштейн, которые подписали протест немецкой Лиги защиты прав человека против бессудных расстрельных приговоров в СССР — в данном случае в связи с делом «Пищевого треста».

<sup>2</sup> Горький ошибся: в 1930 году селекционеру Ивану Владимировичу Мичурину (1855 — 1935) исполнилось 75 лет.

<sup>3</sup> Бербанк Лютер (1849 — 1926) — американский селекционер, создал новые сорта плодовых, овощных, полевых и декоративных культур. О предпочтении мичуринских достижений работам Бербанка говорил профессор ботаники Вашингтонского сельскохозяйственного института Ф. Мейер, который в 1913 году передал Мичурину предложение департамента земледелия США продать коллекцию выведенных им новых сортов растений (но не «переходить в Америку», как пишет Горький), однако тот отказался (см.: Бахарев А. и Яковлев П. Иван Владимирович Мичурин. М. 1938, стр. 54).

<sup>4</sup> Ленин в ноябре 1922 года поручил управделами Совнаркома РСФСР Н. П. Горбунову «направить распоряжение Тамбовскому губисполкому прислать доклад о работе и опытах И. В. Мичурина» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 701).

<sup>5</sup> Первый том основного труда Мичурина «Итоги полувековых работ по выведению новых сортов плодовых растений» был издан в 1929 году, второй — в 1932-м. Оба тома вместе вышли в Москве в 1933 году. В 1934 году была издана книга Мичурина «Итоги шестидесятилетних работ».

<sup>6</sup> 20 января 1930 года Мичурин посетил председатель ЦИК СССР М. И. Калинин, который, как напомнили в этой связи газеты, еще в 1923 году предлагал выделить средства на расширение питомника.

<sup>7</sup> Город Козлов был переименован в Мичуринск 18 мая 1932 года.

<sup>8</sup> 13 марта 1931 года вышло постановление Президиума ЦКК ВКП(б) и Коллегии Наркомата РКИ СССР «О питомнике имени И. В. Мичурина», положившее начало созданию плододопитомнического совхоза-сада площадью в 3,5 тысячи гектаров.

<sup>9</sup> Игнатьев Александр Михайлович (1879 — 1936) — естествоиспытатель, автор ряда изобретений. Горький был знаком с Игнатьевым с 1906 года; в 1909 году последний гостил у него на Капри.

<sup>10</sup> Литвинов Максим Максимович (1876 — 1951) — советский дипломат, в то время нарком иностранных дел СССР.

<sup>11</sup> Левин Е. С. (1893 — 1930) — с марта 1930 года первый секретарь полпредства СССР в Италии. 5 декабря этого же года в Риме застрелился.

<sup>12</sup> Вероятно, опечатка в машинописи: имеется в виду Павел Болеславович Зенькевич, журналист. Во всяком случае, в черновом автографе данного письма Сталину, находящемся в АГ, ПГ-рл 41-21-19, значится не «Збиневич», а «Зенькевич».

<sup>13</sup> В письме от 5 января 1931 года критику А. К. Воронскому Горький также писал о необходимости издания книги «История большевика» или «Жизнь большевика» (см.: *Арх. Г.*, т. 10, кн. 2, стр. 73).

<sup>14</sup> То есть с меньшевиками.

<sup>15</sup> В эти дни, 25 ноября — 7 декабря 1930 года, в Москве проходил процесс «Союза инженерных организаций («Промышленной партии»)», вокруг которого была развернута широкая пропагандистская кампания. На скамье подсудимых оказалась группа инженерно-технической интеллигенции: Л. Рамзин (руководитель «Промпартии»), И. Калинин, С. Куприянов, В. Ларичев, В. Очкин, К. Ситнин, А. Федотов, Н. Чарновский. Все подсудимые подтвердили предъявленные им обвинения в создании контрреволюционной организации.

После публикации обвинительного заключения в газетах печатались решения и заявления трудовых коллективов страны, ряда зарубежных рабочих и компартий с требованиями высшей меры по отношению к «вредителям». Верховный суд приговорил Куприянова, Ситнина, Очкина к десяти годам лишения свободы, остальных — к расстрелу. На следующий день (приговор был оглашен поздно ночью 7 декабря) Президиум ЦИК СССР принял постановление о «смягчении наказания»: смертный приговор был заменен на десять лет заключения, десятилетний срок лишения свободы — на восьмилетний (см.: «Правда», 1930, 9 декабря). В 1936 году ЦИК СССР удовлетворил ходатайство осужденных по процессу «Промпартии» об амнистии.

<sup>16</sup> Сырцов Сергей Иванович (1893 — 1938) — государственный и партийный деятель. С конца 1929 года открыто критиковал сталинскую экономическую политику (см.: «XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет», стр. 223 — 225). В октябре 1930 года на внеочередном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) выступил против руководства Сталина. Был исключен из состава ЦК ВКП(б), вскоре освобожден от должности председателя Совнаркома РСФСР, отправлен на хозяйственную работу на Урал. В 1937 году арестован, на процессе «Правотроцкистского антисоветского блока» фигурировал в числе заговорщиков (см.: «Судебный отчет по делу антисоветского «право-троцкистского блока». 2 — 13 марта 1938 г.». М. 1938, стр. 349 — 350). Во время следствия не подписал ни одно из предъявленных ему обвинений. Расстрелян (см.: Старков Б. Право-левые фракционеры. — В сб.: «Они не молчали». М. 1991, стр. 125 — 136).

<sup>17</sup> Курс Александр Львович (1892 — 1939) — журналист, литературный критик; редактор газеты «Советская Сибирь» (Новосибирск, 1928 — 1929) и (со второго номера) журнала «Настоящее» (Новосибирск, февраль 1928 — январь 1930). Объединил вокруг журнала литературную группу «Настоящее». Горький назвал группу Курса «бессознательными вредителями <...> в области культуры» («Рабочий класс должен воспитывать своих мастеров культуры». — «Известия», 1929, 25 июля; см. также статью Горького «О трате энергии» — там же, 1929, 15 сентября), на что «настоященцы» ответили резкой полемикой, заявив, что Горький «все чаще и чаще становится рупором и прикрытием для всей реакционной части советской литературы» (Журналист. Заграничная энергия М. Горького. — «Советская Сибирь», 1929, 22 сентября).

25 декабря 1929 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О выступлении части сибирских литераторов и литературных организаций против Максима Горького», в результате чего группа «Настоящее» распалась (см. подробно: Бялик Б. О статье М. Горького «Все о том же». — В сб.: «Горький и его эпоха». Вып. 1. М. 1989, стр. 14 — 17; см. также письмо Горького Сталину от 8 января 1930 года — «Известия ЦК КПСС», 1989, № 7, стр. 215).

С начала 1930 года Курс работал в аппарате ЦК ВКП(б). Разделял взгляды Сырцова; в ноябре был исключен из партии за «двурушническую, антипартийную работу» («Правда», 1930, 2 ноября).

<sup>18</sup> Зазубрин Владимир Яковлевич (1895 — 1938) — прозаик, киносценарист, известен как автор романа «Два мира» (1921) о колчаковщине. С 1923 года секретарь журнала «Сибирские огни», в 1926 — 1928 годах — его главный редактор и руководитель Союза сибирских писателей. Местные пролеткультовцы резко критиковали журнал. В июне 1928 года бюро Сибрайкома (секретарь С. И. Сырцов) приняло резолюцию о «серьезных идеологических ошибках журнала (в №№ 1 и 2 за 1928 год)». Критике подверглись и статьи Зазубрина («Резолюция бюро крайкома ВКП(б) о журнале „Сибирские огни“». — «Сибирские огни», 1928, № 4, стр. 225).

В 1928 году Зазубрин был отстранен от руководства журналом и Союзом сибирских писателей. Горький пригласил Зазубрина в Москву, где последний работал в Госиздате, журнале «Колхозник», над изданием «Истории гражданской войны». В 1937 году Зазубрин был арестован и погиб.

## М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

&lt;11 декабря 1930 года. Сорренто.&gt;

Дорогой Иосиф Виссарионович —  
извините, что снова беспокою Вас! Я опять хочу просить Вас назначить т. Карла Радека замредактором журнала «За рубежом», вместо Кострова<sup>1</sup>.

Теперь, в связи с углублением кризиса в Европе и с тем возбуждением, которое вызвал процесс вредителей среди пролетариата, — необходимо усилить нагрузку журнала статьями политико-экономического характера, не отступая, однако, и от статей по вопросам быта, точнее — культурного развала и гниения буржуазии.

Журнал необходимо сделать популярным информатором массы по всем вопросам текущей европейской действительности. Лучше Радека никто не справится с этой нелегкой задачей.

Затем — вот что еще: не следует ли ЦК принять некоторые меры к большему распространению журналов «На стройке»<sup>2</sup> и «Наши достижения»<sup>3</sup>. Первый печатается 60 т. экземпляров, второй — 55. По отзывам читателей ясно, что журналы эти вполне успешно работают на повышение трудовой энергии, «внушают чувство бодрости и веры в успех пятилетки и правильность генлинии», как сказано в одном из писем ко мне. Мне думается, что это влияние названных журналов следует расширить и усилить, пустив их в наиболее глухие и темные места. Редакция не в силах сделать это, и тут требуются или статьи в центральных газетах, или, что будет вернее, прямое воздействие ЦК на культурные учреждения фабрик, заводов, колхозов, а также на райкомы.

Сейчас сын сообщил мне телеграмму итальянских газет о приговоре по делу вредителей. Итальянская пресса находит этот акт исключительно мудрым и дальновидным. Тем не менее мне очень хочется набить морды этой сволочи, помилованной, конечно, не по чувству жалости к ней, а действительно по мудрости рабоче-крестьянской власти, — да здравствует она! Представляю, до какой степени оглушит приговор этих Крестовниковых, Коноваловых, Рябушинских и К<sup>о</sup><sup>4</sup>. Они, разумеется, ожидали, что Рамзины, сообщив о них столько правды, навеки замолчат. А ведь возможно, что правда-то еще не вся сказана! Да и Пуанкаре в неудобное положение поставлен: ожидал, что ему предадут, и вдруг — его предали!

Много будет написано всякой идиотской чепухи по поводу этого приговора. Но мне кажется, что он принесет огромную пользу делу рабочего класса. И прежде всего он должен развязать языки всем другим вредителям, тогда крысы начнут пожирать друг друга.

Отличный прокурор т. Крыленко<sup>5</sup>. Вообще: Верховный Суд вел дело блестяще, насколько я могу судить.

Желаю Вам доброго здоровья, крепко жму руку.

А. Пешков.

11.XII.30.

Печатается по авторизованной машинописи (лл. 97 — 98 об.). Последняя фраза, подпись и дата — автографы.

<sup>1</sup> «За рубежом» — общественно-политический еженедельник, существовал с июля 1930 до сентября 1938 года. Инициатором создания журнала и первым его редактором был Горький (см. его письмо Сталину от 29 ноября 1929 года — «Известия ЦК КПСС», 1989, № 3, стр. 185). Замредактора — Тарас Костров (1901 — 1930), бывший редактор газеты «Комсомольская правда» и журнала «Молодая гвардия»; его переписку с Горьким см.: *Арх. Г.*, т. 10, кн. 2, стр. 201 — 216. Внезапная смерть Кострова в сентябре 1930 года побудила Горького просить Сталина назначить на эту должность известного партийного деятеля и публициста Карла Бернгардовича Радека (1885 — 1939), впрочем, ко времени написания данного письма уже имевшего репутацию «уклониста».

В 1929 году Горький неоднократно писал Сталину в связи с проектом издания «За рубежом», что «кроме Карла Радека» не видит «никого, кто мог бы хорошо организовать такой журнал. «Уклон» Радека не может найти места в этом деле, ибо рамки дела очень ограничены, задача журнала — крайне проста и ясна» («Известия ЦК КПСС», 1989, № 3, стр. 185 — 186). Сталин остался глух к рекомендации писателя. Не удовлетворил он просьбу Горького и в данном письме.

<sup>2</sup> Имеется в виду «СССР на стройке» — иллюстрированный двухнедельник при журнале «Наши достижения». Начал выходить в декабре 1929 года. Горький был членом редколлегии.

<sup>3</sup> «Наши достижения» — ежемесячный журнал художественного очерка, задуманный и основанный Горьким после посещения СССР в 1928 году. Выходил с 1929 по май 1937 года. Горький являлся его бессменным редактором.

<sup>4</sup> Крестовников Григорий Александрович (1855 — ?) — крупный фабрикант, владевший текстильными и торговыми предприятиями. Во время Октябрьских событий был заключен в Петропавловскую крепость. Горький тогда не раз выступал с протестом против «нелепого ареста» такого «безукоризненно честного» человека, «немало сделавшего доброго для своих рабочих» («Новая жизнь», 1917, 6 декабря; см. также: Горький М. Несвоевременные мысли. М. 1990, стр. 100, 150, 153). В 1918 году эмигрировал.

Коновалов Александр Иванович (1875 — 1948) — текстильный фабрикант, один из основателей Российского Торгово-промышленного союза, депутат IV Госдумы, министр торговли и промышленности во Временном правительстве. После Октябрьской революции — эмигрант, выступал за продолжение борьбы с большевиками.

Рябушинский Павел Павлович (1817 — 1924) — крупный хлопчатобумажный фабрикант, председатель Московского банка Рябушинских. В 1918 году эмигрировал. В 1920 году в Париже участвовал в создании Торгово-финансового и промышленного комитета (Торгпрома), задачей которого являлась защита интересов русских собственников-эмигрантов. Обвиняемым по делу «Промпартии» инкриминировалась связь с Крестовниковым, Коноваловым, Рябушинским и другими представителями руководящего центра Торгпрома, который якобы занимался организацией «военной части интервенции против СССР при помощи иностранных государств», особенно французского правительства в лице Р. Пуанкаре как руководителя этой интервенции («Правда», 1930, 11 ноября). Для иллюстрации «Правда» (1 декабря 1930 года) перепечатала статью В. П. Рябушинского «Необходимая война» из парижской газеты «Возрождение» (1930, 7 июля), написанную в антисоветском духе. В ходе суда обвиняемые показали, что их связывал с Торгпромом автор этой статьи Владимир Павлович Рябушинский, младший брат П. П. Рябушинского. Однако в «Обвинительном заключении по делу „Промпартии“», напечатанном за две недели до начала суда, совершенно определенно говорилось, что последственные осуществляли связь с Торгпромом через П. П. Рябушинского, хотя его давно уже не было в живых. На эту «грубую, невежественную ошибку» в обвинительном заключении обратила внимание зарубежная пресса («Возрождение», 1930, 21 ноября).

<sup>5</sup> Крыленко Николай Васильевич (1885 — 1938) — государственный и партийный деятель. С 1928 года прокурор РСФСР, был государственным обвинителем на процессах «вредителей» конца 20-х — начала 30-х годов. В 1938 году репрессирован.

## 11

### И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<Между 8 — 14 декабря 1930 года. Москва.><sup>1</sup>

Привет Алексею Максимовичу!

Пишу с некоторым запозданием, т. к. диппочта идет к вам, в Италию, лишь в определенные сроки, кажется, раз в 20 дней.

Шолохов и другие уже отправились к Вам<sup>2</sup>. Им дали все, что требуется для поездки.

Показаний Осадчего не посылаю, т. к. он их повторил на суде, и Вы можете познакомиться с ними по нашим газетам<sup>3</sup>.

Видел т. Пешкову<sup>4</sup>. Доктор Левин<sup>5</sup> будет у Вас на днях. Останется месяца полтора или больше — как скажете.

Процесс группы Рамзина<sup>6</sup> окончился. Решили заменить расстрел заключением на 10 и меньше лет. Мы хотели этим подчеркнуть три вещи: а) главные виновники не раминовцы, а их хозяева в Париже — французские интервенты с их охвостом «Торгпромом»; б) людей раскаявшихся и разоружившихся советская власть не прочь помиловать, ибо она руководствуется не чувством

мести, а интересами советского государства; в) советская власть не боится ни врагов за рубежом, ни их агентуры в СССР.

Дела идут у нас неплохо. И в области промышленности, и в области сельского хозяйства успехи несомненные. Пусть мяукают там, в Европе, на все голоса все и всякие ископаемые средневекового периода о «крахе» СССР<sup>7</sup>. Этим они не изменят ни на иоту ни наших планов, ни нашего дела. СССР будет первоклассной страной самого крупного, технически оборудованного промышленного и сельскохозяйственного производства. Социализм непобедим. Не будет больше «убогий» России. Кончено! Будет могучая и обильная передовая Россия.

15-го созываем пленум ЦК<sup>8</sup>. Думаем сменить т. Рыкова. Неприятное дело, но ничего не поделаешь: не поспекает за движением, отстает чертовски (несмотря на желание поспеть), путается в ногах. Думаем заменить его т. Молотовым<sup>9</sup>. Смелый, умный, вполне современный руководитель. Его настоящая фамилия не Молотов, а Скрыбин. Он из Вятки. ЦК полностью за него.

Ну, кажется, хватит.

Жму руку.

И. Сталин.

Р. С. Если действительно решили приехать к весне, хорошо бы поспеть к 1 мая, к параду.

Печатается по автографу (лл. 100 — 101 об.).

<sup>1</sup> Датируется по сопоставлению с письмами Горького Сталину.

<sup>2</sup> М. А. Шолохов к Горькому в Сорренто не приехал (см. письмо 7, примеч. 4).

<sup>3</sup> См., в частности: «Правда», «Известия», 5 и 6 декабря 1930 года (см. также письмо 8, примеч. 3).

<sup>4</sup> Пешкова Екатерина Павловна (1878 — 1965) — общественный деятель, жена Горького с 1896 года; после развода в 1904 году осталась его другом. В 1918 — 1937 годах председатель Московского Политического Красного Креста; старалась помогать репрессированным. Принимала участие в создании Музея А. М. Горького в Москве (1937). В последние годы жизни — консультант Архива А. М. Горького при ИМЛИ.

<sup>5</sup> Левин Лев Григорьевич (1870 — 1938) — терапевт, доктор медицинских наук. Врач Сталина и его семьи; с 1928 года — домашний врач Горького. Левин был в Сорренто с конца декабря 1930 до начала февраля 1931 года. На процессе «Правотроцкистского антисоветского блока» обвинялся в убийстве «посредством умышленно неправильного лечения А. М. Горького, В. В. Куйбышева, В. Р. Менжинского, М. А. Пешкова» («Правда», 1938, 12 марта). Расстрелян.

<sup>6</sup> Речь идет о судебном процессе «Союза инженерных организаций («Промышленной партии»)».

<sup>7</sup> Сталин имеет в виду Р. Пуанкаре и его статью «Когти СССР» (см. письмо 7, примеч. 10).

<sup>8</sup> Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) проходил в Москве 17 — 21 декабря 1930 года. Пленум вывел А. Н. Рыкова из состава Политбюро ЦК ВКП(б).

<sup>9</sup> Молотов Вячеслав Михайлович (1890 — 1986) — государственный и партийный деятель, в 30-е годы поддерживал Сталина в его борьбе против троцкистской, зиновьевской и «объединенной» оппозиции.

## 12

### И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<10 января 1931 года. Москва.>

Дорогой Алексей Максимович!

Посылаю документы о 1) группе Кондратьева<sup>1</sup> и 2) меньшевиках<sup>2</sup>. Просьба — не принимать близко к сердцу содержимое этих документов и не волноваться. Герои документов не стоят того. К тому же есть на свете подлецы почище этих пакостников.

У нас дела идут хорошо. Неважно обстоит дело с транспортом (слишком большой груз навалили), но выправим в ближайшее время.

Берегите здоровье.  
Привет!

И. Сталин.

10/I — 31.

Печатается по автографу (л. 103).

<sup>1</sup> Обвиняемые по делу «Трудовой крестьянской партии» во время следствия в июле — начале сентября 1930 года дали показания, которые Сталин оценил как «документы перво-степенной важности» (см. письмо Сталина Молотову от 2 августа 1930 года — «Письма И. В. Сталина В. М. Молотову 1925 — 1936 гг.», стр. 193). По его указанию была издана типографским способом брошюра «Материалы по делу контрреволюционной «Трудовой крестьянской партии» и группировки Суханова — Громана (из материалов следственного производства ОГПУ)», где напечатаны протоколы допросов В. Громана, Н. Кондратьева, Н. Макарова, П. Садырина, А. Чаянова, Л. Юровского и других. 10 августа 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) постановило разослать показания арестованных по делу «Трудовой крестьянской партии» членам ЦК и ЦКК ВКП(б) и руководящим кадрам хозяйственников.

Незадолго до написания этого письма, 2 октября 1930 года, Сталин наставлял Менжинского: «Провести сквозь строй г.г. Кондратьева, Юровского, Чаянова и т. д., хитро увиливающих от «тенденции к интервенции», но являющихся (бесспорно!) интервенционалистами, и строжайше допросить их о сроках инт<ервен>ции (Кондратьев, Юровский и Чаянов должны знать об этом так же, как знает об этом Милуков, к которому они ездили на «беседу» (там же, стр. 188). Вероятно, Сталин послал Горькому экземпляр вышеупомянутой брошюры.

<sup>2</sup> Возможно, кроме брошюры Сталин послал материал по готовящемуся процессу «Союзного бюро РСДРП(м)». Открытый процесс проходил в Москве 1 — 9 марта 1931 года. На скамье подсудимых оказались 14 человек, крупные специалисты из центральных хозяйственных ведомств, многие — недавние меньшевики, которые в 20-е годы, во время нэпа, перешли на сторону советской власти.

## 13

### И. В. СТАЛИН — М. ГОРЬКОМУ

<18 марта 1931 года. Москва.>

Многоуважаемый Алексей Максимович!

Давно бы следовало написать, да как-то не вышло у меня. Сначала помешали «неувязки» в транспорте, — пришлось уйти в дело<sup>1</sup> с головой. Потом — процесс меньшевиков (будь они прокляты!). Потом съезд советов<sup>2</sup>...

Левин говорит, что со здоровьем у Вас «в общем и целом не плохо». Это хорошо. Судя по Вашим статьям<sup>3</sup>, настроение у Вас боевое, наступательское. Очень хорошо!

Судя по всему, дела у нас должны пойти хорошо. Год будет, конечно, «серьезный». Но наши люди научились не бояться трудностей и лезут вперед. А это главное.

Имеете ли возможность следить за прениями на съезде советов? Как расцениваете выступление т. Молотова?<sup>4</sup> Кажется, подходящее.

А как Кашен, — читали его последнюю речь?<sup>5</sup> Наконец-то хватило у него духу поднять руку на Бриана<sup>6</sup>, на этого пацифистствующего поджигателя войны. Французские товарищи, кажется, начинают понимать, что пацифистствующие поджигатели войны — самые опасные враги рабочего класса.

Крепко жму руку и желаю Вам всего хорошего.

Берегите здоровье ради всего святого.

И. Сталин.

18/III — 31.

Печатается по автографу (лл. 105 — 106).

<sup>1</sup> ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР в совместных обращениях «О железнодорожном транспорте» (15 января 1931 года) и «О речном транспорте» (5 февраля 1931 года) призвали трудовые коллективы страны «взяться наконец по-большевистски за дело транспорта и двинуть его вперед» («Правда», 1931, 7 февраля). В марте того же года проводился Всесоюзный субботник помощи транспорту; в Москве — «месячник помощи транспорту».

<sup>2</sup> VI съезд Советов СССР проходил в Москве 8 — 17 марта 1931 года.

<sup>3</sup> В период между этим и предыдущим письмом Сталина от 10 января 1931 года в «Правде» и «Известиях» было опубликовано около десятка статей Горького.

<sup>4</sup> На VI съезде Советов СССР В. М. Молотов выступил с докладом «Отчет правительства СССР». Сталин обратил внимание Горького, видимо, на большой раздел доклада «О принудительном труде». За несколько дней до съезда была напечатана статья Горького «По поводу одной легенды» («Известия», 1931, 5 марта), в которой писатель опровергал «гнусную клевету», распространяемую в буржуазной прессе, о массовом использовании советской властью «принудительного труда» и «труда заключенных». Молотов в своем докладе также отрицал существование в СССР «принудительного труда», но признал, что «труд заключенных <...> у нас применяется на некоторых коммунальных и дорожных работах» («Правда», 1931, 11 марта).

<sup>5</sup> Кашен Марсель (1869 — 1958) — деятель французского и международного рабочего и коммунистического движения. Имеется в виду его речь в палате депутатов Франции во время прений по бюджету Министерства иностранных дел (см.: «Тов. Кашен разоблачает подготовку французским империализмом войны против СССР». — «Правда», 1931, 15 марта). Оратор выступил против предоставления правительством А. Бриана займов «маленьким балканским и придунайским странам» для вооружения их против СССР.

<sup>6</sup> Бриан Аристид (1862 — 1932) — премьер-министр и министр иностранных дел Франции.

## 14

### М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<12 ноября 1931 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Так как Вам, я знаю, не безразлично состояние моих сил, — спешу сообщить: расширение сердца исчезло, чувствую себя очень хорошо, работоспособность — нормальна. Левин — умный и удачливый врач, он умеет считаться с индивидуальностью больного, а это качество нечасто встречается среди врачей. Кстати: он говорит, что здоровье Серго<sup>1</sup> требует серьезного внимания и что его нужно заставить отдохнуть.

После Москвы чувствуешь себя здесь<sup>2</sup> неловко, не на своем месте, хотя погода — отличная, дни солнечные, теплые, тишина, одиночество и всякие иные удобства для работы. Новости: приезжал на днях в Неаполь Муссолини<sup>3</sup> и произнес длинную речь к «народу», рассказывают, что в этой речи он заявил: до 35 г. он всю жизнь Италии намерен радикально перестроить, «Великий Рим должен быть тем, чем был, — центром мировой культуры, а Ватикан будет «гетто» католицизма». Какая-то газета напечатала эту фразу, но газету немедля конфисковали, найти ее — не удалось. Люди, которые раньше знали и видели Муссолини, говорят, что он сильно одряхлел. Написал он пьесу «Наполеон»<sup>4</sup>, ее поставили в Париже, успеха — не имела.

На жительство в Неаполь переехал наследник престола<sup>5</sup>, педераст и — по общему мнению знающих его — дурак. Двое суток разъезжал по городу в вызолоченной коляске, в сопровождении пышного эскорта, по этому поводу было прекращено в городе движение и прекратилась торговля. «Такое великолепие и безобразия я видел в Турции при Абдул-Гамиде»<sup>6</sup>, — сказал один старик. Так как Муссолини в Неаполе не любят, то говорят, будто наследник приехал организовать здесь антифашистское движение<sup>7</sup>. Кризис здесь растет как везде, безработица — тоже.

Приехал ко мне человек<sup>8</sup>, который только что прожил несколько месяцев в Лондоне, в Париже и вообще давно знает жизнь интеллигенции этих городов. Он утверждает, что самое серьезное, внимательное и доброжелательное отношение к нам наблюдается и растет в Лондоне. Англичане, побывавшие в Союзе, единодушно, с изумлением говорят об успехах строительства, о рабочей энергии молодежи, о здоровье октябры и пионеров. Самая популярная книга в Лондоне — «Рассказ о пятилетке» Ильина-Маршака<sup>9</sup>, вышла уже третьим изданием, два первые — по 60 т., это почти наши тиражи. Ильин работает сейчас над книгой по электрификации, он — туберкулезный, и о нем Халатову следовало бы позаботиться. Это — умный и очень талантливый парень.



Очень нравится англичанам «Путевка в жизнь»<sup>10</sup>, ее показывает «О<бщест>во друзей СССР», англичане единодушно аплодируют.

Чарли Чаплин хочет, чтобы его пригласили в Союз<sup>11</sup>, желает познакомиться с нашим кино. Едет к нам работать сын Уэллса, биолог, говорят, *весьма талантливый. Жена его — член английской компартии*<sup>12</sup>.

О Франции говорят: «Лаваль<sup>13</sup> съел Бриана», французы боятся немецкой революции, но боятся и Гитлера. Страхи эти делают галлов еще более ограниченными и тупыми мешанами. Впрочем — все это Вы сами знаете. Есть слухи, что Гукасов<sup>14</sup> потерял кучу денег на фунте и закрывает «Возрождение». Но — перестану засорять внимание Ваше слухами и анекдотами. Разрешите поговорить о делах.

Мне показалось, что в последнем свидании нашем<sup>15</sup> мы окончательно договорились о типе издания «Ист<ории> гр<ажданской> войны»<sup>16</sup>: каждый том пишется по программе, намеченной планом, каждый том представляет собою связанное — исторически и хронологически точное — и популярное изложение хода событий вооруженной классовой борьбы по областям; материалом для каждого тома служат: воспоминания и мемуары участников, проверенные и обработанные военными историками и историками-марксистами, а также — в целях особенной яркости и популярности — отшлифованные литераторами-художниками. Это и должна быть «история» в подлинном смысле понятия. Все же, что — по тем или иным причинам, напр<имер> по причине художественной цельности, по объему, по форме: романы, пьесы, стихи, рассказы, — не пойдет или может нарушить связность исторического изложения, — все это издается в форме сборников, альманахов, как добавление к истории, как отдельная серия «Материалов по ист<ории> гр<ажданской> войны». Так договорились мы, не правда ли? Но после моего отъезда состоялось заседание, на котором вопрос о типе издания снова был поднят и решен неправильно: все 15 т. — сборники разнообразных статей беллетристов, мемуаристов, военных и политических историков. Я продолжал твердо стоять на моей точке зрения: невозможно, чтобы генеральный секретарь партии и *наркомы*: военный, просвещения<sup>17</sup> — подписывали как редактора какие-то чертовы альманахи. Невозможно это! Вы неизбежно рискуете скомпрометировать и себя — т. е. главную редакцию, — и все издание «Истории». Да и читателю эти альманахи не дадут того, что должна дать «История», написанная связно и хронологически последовательно. Мне кажется, что Вы согласитесь с этой точкой зрения. Если это так — я очень прошу Вас немедленно осведомить о В<ашем> взгляде на дело т.т. Эйдемана<sup>18</sup> и Гамарника<sup>19</sup>. Если не так — будет очень плохо; хорошее, нужное дело будет испорчено.

Разрешите мне предложить схему еще одного издания<sup>20</sup>, которое надо выпустить к 15 Октябрю и которое мне кажется совершенно необходимым. Основная посылка, оправдывающая это издание, такова: наша молодежь не исчерпывается комсомолом, за пределами этой организации остаются сотни тысяч юношества, которое политически и культурно воспитывается — если оно вообще воспитывается — по газетам. С полной уверенностью и на основании сотен писем говорю: газеты юношество — особенно крестьянское — читает плохо и многое в них понимает с трудом, а иногда и превратно. Это объясняется и его малограмотностью, и напряженной работой. Работая на том или ином заводе, в том или ином колхозе, человек ограничен интересами своей работы и мало интересуется — или же вовсе не интересуется — тем, что происходит за пределами *его колхоза или завода*. Есть немало болванов, которым размах соцстройки совершенно не понятен, и они спрашивают: «К чему все это?» Я знаю — вижу по тону писем, — что вопрос *этой* ставит преимущественно болваны из среды, чужеродной рабочему классу, — интеллигентской, крестьянской, — но мы не должны забывать, что они вращаются среди рабочей молодежи и что скептицизм их невежества может влиять и, *конечно, влияет* на рабочую молодежь. С этим нужно бороться. Нужно, чтобы каждая единица, принимая частичное участие в создании новой действи-

тельности, видела по возможности ясно всю массу практических результатов воплощения *классовой рабочей* энергии в социалистическое дело. Поэтому я предлагаю издать к 15-му году книгу под заголовком: «К чему все это?» или под каким-либо другим, который ЦК признает более удобным.

Приблизительная схема книги, мне кажется, должна быть такова:

1. Что такое большевизм?

Краткий очерк политико-экономических учений XVIII — XIX в<еков> до Маркса. Ход действительности — развитие капитализма — всегда обгонял эти учения, оставляя их сзади себя. Маркс, опираясь на историю борьбы классов, обогнал социалистов-реформистов, показал пути будущего.

*Его способность «предвидения» основана на глубоком знании истории.*

2. Марксист Ленин. Возникновение революционного социализма, рост, превращение капитализма в империализм. Разбор понятий: эволюция — революция, реформизм — революционизм.

3. Очерк культурно-экономического состояния царской России. «Крестьянская страна». Промышленно-техническое и культурное бессилие ее. Угроза поглощения России капиталистами Европы. Непонимание этой возможности эсэрами, отношение к этой возможности буржуазии, либералов.

4. Война 14 — 18 гг. Ее причины и неизбежность.

5. Историческая необходимость возникновения и развития большевизма в общих условиях русской жизни.

6. Гражданская война и победа рабочего класса, руководимого партией большевиков.

7. Начало восстановления хозяйства страны. «Неп». Передышка. Уход Ленина. Колебания внутри партии вправо и влево. Причины колебаний. Генеральная линия.

## II часть

### 15 лет работы.

Показать ее по областям промышленности, по каждой отдельно, и сравнительно с ее состоянием до победы рабочего класса. Но здесь я воздержусь от указаний, тут должны планировать люди более компетентные, чем я. Дать общий итог всего, что сделано, в цифрах и графически. Подвести итоги научной, технической работе, изобретениям специалистов, рабочему изобретательству, подсчитать все открытия рудных и удобрительных залежей. Рассказать о значении хибинских апатитов, калийных солей Соликамска и т. д. Организация колхозов, механизация земледелия и пр. Затем перейти к тому, что должно быть сделано, и здесь нужно бить не только по разуму, но и по воображению — *показать, как изменится работой даже лицо страны.*

Осушить 67 мм.<sup>21</sup> га болот, добыть из них 22 мм. тонн сухого торфяного топлива. Утилизировать солому, как топливо, путем прессования ее. Орошение засушливых местностей. Распределение хлебных злаков по почвам, наиболее удобным для их плодородия: пшеница вся сеется в одном месте, рожь вся — в другом, ячмень весь — в третьем. Электрификация всей страны. Соединение каналами Белого моря с Балтийским, Каспийского — с Черным. *Выход Сибири в Средиземное море.* И т. д. — дать весь план будущих пятилеток, а в заключение рассказать, почему современные буржуазные государства не могут ставить перед собою такие задачи и не в силах решать их.

## III-я часть.

Отвечает на вопрос: к чему все это? Здесь нужно изобразить по возможности детально — будущее социалистическое общество и положение в нем человеческой единицы. Эту часть — на мой взгляд — должны написать литераторы-художники, и тут я, в числе других, предлагаю свое участие. Само собою разумеется, что эта схема должна быть разработана более солидно. Если Вы согласитесь с необходимостью издания такой книги, я очень просил бы Вас немедленно принять практические меры к разработке плана, т. е. организовать группу товарищей, которые сделали бы это.

Выпустив такую книгу осенью 32 г., полезно было бы, мне кажется, издавать с 33-го ежегодные популярные итоги работ, произведенных во всех областях государственного строительства. Это было бы крайне полезно для дела политического и культурного воспитания масс. А работа — простая.

Далее: давно уже необходима небольшая популярная книжка для масс, тема книжки: «Как в Союзе Советов создаются законы?»

Это очень простая задача: нужно рассказать, как создают законы в буржуазных странах, где законодательная работа идет сверху вниз, от парламентов, которые защищают интересы командующего класса; затем проследить и рассказать, как где-нибудь в деревне, в колхозе, в фабкоме зарождается на почве нужд рабочих или крестьян нечто, что затем получает форму правительственного декрета, — законодательство снизу вверх.

С большой радостью извещаю Вас о следующем: три недели тому назад в Лондоне вышла книга весьма известного популяризатора науки доктора Бернгарда Россель<sup>22</sup>. Одна из глав этой книги говорит о необходимости для медицинской науки перейти к эксперименту с человеком, изучать работу его организма и нарушения этой работы на нем самом. Как видите — идея, о которой я беседовал с Вами и которая получила Ваше одобрение, — «носится в воздухе», иными словами: это признак ее жизненности и практичности. Еще более радует меня то, что Россель признает практическое осуществление этой идеи невозможным в консервативной Европе и по силам только Союзу Советов.

В Лондон послана телеграмма<sup>23</sup>, прошу, чтоб главу, посвященную этому вопросу, немедленно перевели и прислали мне. Перевод — и всю книгу — я pošлю Вам, а копию перевода т. М. Ф. Владимирскому<sup>24</sup> для его осведомления. Вас буду просить о разрешении напечатать эту главу для того, чтобы поколебать консерватизм наших медиков и смягчить их боязнь за свои репутации. Теперь, опираясь на Росселя, я стану пропагандировать эту идею с большой настойчивостью. Не сомневаюсь в Вашей помощи этому делу, — настоящее, большевистское, революционное дело!

Все никак не могу «выписаться» до конца! Вот еще, дорогой Иосиф Виссарионович, серьезное дело, оно касается изобретений известного Вам А. М. Игнатъева. Человек, как Вы знаете, слишком поглощенный своей работой изобретателя, он глубоко непрактичен, и, как Вы увидите из прилагаемой записки работавшего с ним в Берлине инженера Сбарского<sup>25</sup>, его патенты могут потерять значение. А в то же время мечта Игнатъева дать стране, путем продажи патентов, десятки миллионов валюты, — отличная мечта. И патенты, как говорят, действительно стоят огромных денег. Поэтому я бы полагал, что советы, изложенные в записке Сбарского, нужно немедля принять и выполнить. Так как работам Игнатъева помогает Генрих Ягода<sup>26</sup>, я посылаю ему копию записки Сбарского, а Вас прошу взять людей, коим сие надлежит знать и делать, за шиворот, встряхнуть их и привести в движение.

А. Пешков.

Сбарского я видел в Берлине в Полпредстве, это очень серьезный человек, тоже изобретатель.

На этом я хотел кончить длинное мое послание, но вот мне прислали фельетон Ходасевича о пьесе Булгакова<sup>27</sup>. Ходасевича я хорошо знаю<sup>28</sup>: это — типичный декадент, человек физически и духовно дряхлый, но преисполненный мизантропией и злобой на всех людей. Он не может — не способен — быть другом или врагом кому или чему-нибудь, он «объективно» враждебен всему существующему в мире, от блохи до слона, человек для него — дурак, потому что живет и что-то делает. Но всюду, где можно сказать неприятное людям, он умеет делать это умно. И — на мой взгляд — он прав, когда говорит, что именно советская критика сочинила из «Братьев Турбиных» антисоветскую пьесу. Булгаков мне «не брат и не сват», защищать его я не имею ни малейшей охоты. Но — он талантливый литератор, а таких у нас — не очень много. Нет смысла делать из них «мучеников за идею». Врага надобно или

уничтожить, или перевоспитать. В данном случае<sup>29</sup> я за то, чтоб перевоспитать. Это — легко. Жалобы Булгакова сводятся к простому мотиву: жить нечем. Он зарабатывает, кажется, 200 р. в м<еся>ц. Он очень просил меня устроить ему свидание с Вами. Мне кажется, это было бы полезно не только для него лично, а вообще для литераторов-«союзников». Их необходимо вовлечь в общественную работу более глубоко. Это — моя забота, но одного меня мало для успеха, и у товарищей все еще нет твердого определенного отношения к литературе и, мне кажется, нет достаточно целой оценки ее культурного и политического значения. Ну — достаточно!

Будьте здоровы и берегите себя. Истекшим летом, в Москве, я изъяснялся Вам в чувствах моей глубокой, товарищеской симпатии и уважения к Вам. Позвольте повторить это. Это — не комплименты, а естественная потребность сказать товарищу: я тебя искренно уважаю, ты — хороший человек, крепкий большевик. Потребность сказать это удовлетворяется нечасто, Вы это знаете. А я знаю, как Вам трудно бывает. Крепко жму руку, дорогой Иосиф Виссарионович.

А. Пешков.

12.XI.31.

Печатается по авторизованной машинописи с правками и добавлениями Горького (лл. 117 — 123 об.). Подписи и приписка — автограф. Подчеркивания принадлежат Сталину.

<sup>1</sup> Речь идет о Григории Константиновиче (Серго) Орджоникидзе (1887 — 1937), государственном и партийном деятеле. В начале 30-х годов врачи отмечали сильное переутомление Орджоникидзе; решением Политбюро его направляли на отдых, однако, по одной из версий, Сталин таким образом на время отдалял Орджоникидзе от центра в период обострения их разногласий (см.: «Орджоникидзе — Киров — Сталин». — «Коммунист», 1991, № 13, стр. 53 — 63).

<sup>2</sup> Горький приехал в Сорренто в последних числах октября 1931 года.

<sup>3</sup> Именно Бенито Муссолини, руководитель фашистского правительства Италии, не разрешил Горькому вернуться на Капри и предложил поселиться в окрестностях Неаполя.

<sup>4</sup> Пьесу «Наполеон» (1932) Муссолини написал в соавторстве с итальянским писателем Джовачино Форцано. Как сообщается в книге Д. Смита «Муссолини» (М., 1995; перевод с английского), дуче выступил соавтором трех пьес, которые критика подобострастно «приравнивала к трагедиям Шекспира и операм Вагнера».

<sup>5</sup> Умберто Савойский (1904 — 1983), наследник итальянского престола, сын Виктора-Эммануила III. В период господства фашизма занимал высокие военные посты. В июне 1944 года администрацией англо-американских войск был назначен наместником Итальянского королевства (1946). 9 мая 1946 года вступил на престол под именем Умберто III. Когда были оглашены результаты референдума в Италии (2 июня 1946 года) о форме государственного правления, свидетельствовавших о победе республики, Умберто III выехал из Италии и поселился в Португалии под именем графа де Сарре.

<sup>6</sup> Абдул-Гамид — Абдул-Хамид II (1842 — 1918), турецкий султан в 1876 — 1909 годах.

<sup>7</sup> Видимо, речь идет не о самом наследном принце Умберто, сотрудничавшем с режимом Муссолини, но о его супруге, принцессе Марии-Жозе, которая резко критически относилась к фашистам и не скрывала этого, поддерживая связи с зарубежными антифашистами и с настроенными оппозиционно итальянцами.

<sup>8</sup> Имеется в виду Мария Игнатьевна Будберг (урожд. Закревская, в первом браке Бенкендорф; 1892 — 1974) — секретарь и спутница Горького с 1919 года. В 1931 году она начинает фигурировать как «спутница» и «друг» Герберта Уэллса (см., напр.: Берберова Н. Железная женщина. М. 1991).

В конце октября 1931 года Будберг сообщила Горькому, что собирается «выехать в Сорренто 8 ноября» (АГ, КГ-рзн 1-157-230). 4 декабря 1931 года Горький написал Крючкову: «М<ария> И<гнатьевна> уехала в Лондон» (Арх. Г., т. 14, стр. 498).

<sup>9</sup> Ильин М. (наст. имя Маршак Илья Яковлевич; 1895 — 1953) — писатель; автор научно-популярных книг для детей. Горький имеет в виду книгу Ильина «Рассказ о великом плане» (М. — Л., 1930).

<sup>10</sup> «Путевка в жизнь» — первый советский звуковой художественный фильм (1931); режиссер — Николай Владимирович Экк (1902 — 1976).

<sup>11</sup> Чаплин Чарльз Спенсер (1889 — 1977) в СССР не приезжал.

<sup>12</sup> Уэллс Джордж Филип (1901 — 1985), зоолог, профессор Лондонского университета, старший сын английского писателя Герберта Уэллса. Сопровождал отца во время поездок в Россию в 1920 и в 1934 годах. Материалы, подтверждающие членство его жены в английской компартии, не выявлены.

<sup>13</sup> Лаваль Пьер (1883 — 1945) — премьер-министр Франции в 1931 — 1932 (сменил на этом посту А. Бриана) и 1935 — 1936 годах, сторонник «умиротворения» нацистов. В 1942 — 1944 годах глава коллаборационистского правительства «Виши».

<sup>14</sup> Гукасов Абрам Осипович (1872 — 1969) — владелец парижской газеты «Возрождение»; выходила в 1924 — 1935 годах ежедневно, в 1936 — 1940 годах — еженедельно. Позже финансировал литературно-политический журнал «Возрождение» (1949 — 1974).

<sup>15</sup> Последнее свидание Горького со Сталиным перед отъездом писателя в Сорренто состоялось 11 октября 1931 года.

<sup>16</sup> Горький писал Сталину 27 ноября 1929 года: «Вот уже два года я настаиваю на необходимости издать для крестьянства „Историю гражданской войны“» («Известия ЦК КПСС», 1989, № 3, стр. 186). В этом письме и в письме Сталину от 5 июня 1930 года (там же, № 7, стр. 216 — 218) он изложил план и свою точку зрения о типе задуманного издания. В процессе работы над этим изданием у Горького по многим вопросам возникали разногласия с членами главной редакции, в которую кроме Горького и Сталина входили А. С. Бубнов, К. Е. Ворошилов, Я. Б. Гамарник, С. М. Киров, В. М. Молотов. Сталин поначалу не стал спорить о типе издания, хотя в письмах 1932 года Горький и Сталин неоднократно возвращались к обсуждению этой темы.

<sup>17</sup> Имеются в виду Ворошилов Климент Ефремович (1881 — 1969), нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР, и Бубнов Андрей Сергеевич (1884 — 1938), нарком просвещения РСФСР; оба они входили в главную редакцию «Истории гражданской войны».

<sup>18</sup> Эйдеман Роберт Петрович (1895 — 1937) — комкор, писатель; начальник и комиссар Военной академии им. М. В. Фрунзе.

<sup>19</sup> Гамарник Ян Борисович (1894 — 1937) — партийный и военный деятель, с октября 1928 года — начальник Политуправления Красной Армии.

Сталин «осведомил» Горького в ответном письме от 28 января 1932 года: «...опираться на Эйдемана, как на главного организатора дела, неразумно; Гамарнику пришлось уехать по военным делам на Дальний Восток, и он может вернуться в Москву лишь в начале марта...» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, л. 144). В дальнейшем оба принимали участие в работе над изданием. В Архиве А. М. Горького находится их переписка с писателем относительно «Истории гражданской войны».

<sup>20</sup> Издания, предложенные Горьким в данном письме здесь и далее, не были осуществлены. Сталин ответил 28 января 1932 года: «...Ваше предложение насчет издания «К чему все это» (нечто вроде истории России с первых дней капитализма до наших дней), конечно, правильное. Но едва ли удастся нам организовать это дело к 15 годовщине Октябрьской революции <...> То же самое нужно сказать о популярной книжке «Как в Союзе Советов законы создаются», если Вы считаете ее издание *срочным*» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, л. 148).

<sup>21</sup> Здесь и ниже речь идет, видимо, о миллионах. (Примеч. ред.)

<sup>22</sup> Имеется в виду Бертран Рассел (1872 — 1970), английский философ и общественный деятель, и его книга «Научная перспектива» (Russell Bertrand. The Scientific Outlook. London. 1931; в СССР не выходила). Горький познакомился с Расселом в 1920 году во время пребывания последнего в Петрограде с делегацией лейбористов. Рассел отмечал, что «Горький сделал все, что в состоянии сделать один человек для сохранения интеллектуальной и художественной жизни России» (см.: Рассел Бертран. Практика и теория большевизма. М. 1991, стр. 25).

<sup>23</sup> Видимо, Горький телеграфировал Будберг. В январе 1932 года она ответила: «...Поручения я всегда Ваши — исполняю. Главу Росселя — перевели, но так плохо, что я дала другому, который решил заодно перевести всю книгу — и прав, т. к. по одной выдержке из главы очень трудно судить. Скоро будет все готово...» (АГ, КГ-рэн 1-157-235).

<sup>24</sup> Владимирский Михаил Федорович (1874 — 1951) — нарком здравоохранения. Горький сообщил, что отправил книгу Рассела, а также, что заказал перевод последней главы, который перешлет, когда работа будет готова (АГ, ПГ-рл 8-26-2).

<sup>25</sup> К письму Горького приложена машинописная копия «Записки к вопросу реализации зарубежных патентов А. М. Игнатъева. 21.10.31» Г. Сбарского. Хранится в АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, лл. 125 — 125 об.).

<sup>26</sup> В письме от 3 февраля 1932 года Г. Г. Ягода сообщал Горькому: «А знаете, Игнатъев сварил трубы, и как здорово, я все это формирую <...> сейчас подсчитаем рентабельность и, если выгодно будет, двинем всю... Насчет резцов дело уже...» (см.: «Неизвестный Горький». Вып. 3. М. 1994, стр. 182).

<sup>27</sup> Речь идет о рецензии Вл. Ходасевича «Смысл и судьба „Белой гвардии“» («Возрождение», 1931, 29 октября) на спектакль «Белая гвардия» (первоначальное булгаковское название пьесы «Дни Турбиных»), показанный в Париже «Пражской группой» — осевшими в Праге актерами МХАТа. По мнению Ходасевича, драматург относится к белой гвардии «вполне отрицательно», теза его «совпадает с большевицкою». Он только отступил от «изобразительного канона» советской литературы, по которому белая гвардия должна быть представлена как «банда извергов и мерзавцев». Личный моральный уровень его белогвардейцев довольно высок, он проявил к ним «снисходительное, почти любовное отношение». Булгаковское «мягкое» изображение персонажей было воспринято советской критикой за сочувствие белому движению. Критики «набросились» на автора пьесы, не поняв ее «подлинного смысла», который, по Ходасевичу, заключается в том, что все события показаны «как последняя судорога тонущего, обреченного мира, не имеющего, во имя чего жить, и не верящего в свое спасение». Публика ответила на резкую критику драматурга «сочувствием пьесе». Как пишет Ходасевич, «успех пьесы, направленной против врагов советской власти, силою вещей превратился в демонстрацию против самой власти».

18 февраля 1932 года во МХАТе состоялась премьера восстановленного спектакля «Дни Турбиных». Булгаков писал П. С. Попову 30 января: «...Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение: пьесу «Дни Турбиных» возобновить» (Булгаков М. Х. и л. Письма. Жизнеописание в документах. М. 1989, стр. 218).

<sup>28</sup> Горький познакомился с В. Ф. Ходасевичем 3 октября 1918 года. Ходасевич сотрудничал в редактируемой Горьким газете «Новая жизнь», заведовал в 1918 — 1920 годах московским отделением издательства «Всемирная литература», одним из создателей которого был Горький. После отъезда из России летом 1922 года жил в семье Горького (в Саарове, Мариенбаде, Сорренто). Совместно с Горьким Ходасевич редактировал журнал литературы и науки «Беседа» (Берлин, 1923 — 1925). Отношения прекратились в 1925 году из-за разногласий, возникших по поводу издания «Беседы» в СССР.

Ходасевич — автор статей и воспоминаний о Горьком.

<sup>29</sup> Подчеркнуто Горьким.

## 15

### М. ГОРЬКИЙ — И. В. СТАЛИНУ

<1 декабря 1931 года. Сорренто.>

Дорогой Иосиф Виссарионович —

беседуя со мною, Вы, между прочим, подчеркнули необходимость усилить идеологическое влияние на интеллигенцию С.Ш.А. Возможно начать эту работу: одно Англо-Американское издательство<sup>1</sup> хотело бы выпустить на рынок книг 50 — о Союзе Советов; книги эти должны осветить все стороны нашей жизни: экономику, право, педагогику, этнографию, достижения науки, индустрии. Предполагается выпускать по 12 — 15 томов в год, в это число входит и художественная литература: романы, повести, очерки, но основой издания должна служить «серьезная литература».

Не сочтете ли Вы нужным распорядиться, чтоб ЦК — или кто иной — отобрал хотя бы штук 5 солидных книг по вопросам Советского обществоведения? Не следует ли заказать книги, которых у нас еще нет, но которые должны быть написаны? Нужна книга по вопросу охраны матери и ребенка, книга очерков о социалистическом соревновании рабочих. Впрочем — Вы лучше знаете, что надобно.

Просил бы Вас вызвать Крючкова<sup>2</sup> и сообщить ему Ваше мнение по этому поводу<sup>3</sup>. Вы проредактируете его, а Крючков пошлет мне. Нужно ковать железо, пока оно горячо.

Желаю Вам крепкого здоровья.

А. Пешков.

1.XII.31.

Беспокоит — и очень — вот такая мысль: эмигранты очень обозлились за последнее время, причина злости: безработица, сокращение газет и особенно события в Маньчжурии, в Харбине. Особенно неистовствуют — словесно — монархисты и террористические их организации. За Вами вообще усиленно охотятся, надо думать, что теперь усилия возрастут<sup>4</sup>. А Вы, дорогой т<оварищ>, — как я слышал, да и видел — ведете себя не очень осторожно, ездите, например, по ночам на Никитскую, б<sup>5</sup>. Я совершенно уверен, что так вести себя Вы не имеете права. Кто встанет на Ваше место, в случае если мерзавцы вышибут Вас из жизни? Не сердитесь, я имею право и беспокоиться, и советовать. Вообще все вожди партии и страны должны бы несколько более заботиться об охране своей жизни. Делишки развертываются тревожно, а сволочь умеет считаться с моментом. Вот предлагается ликвидировать немецкую компартию — и вообще обостряется борьба против коммунистов, а они «вдохновляются из Москвы». Сейчас убить коммуниста — спасительное дело. Особенно — большого. Так что я тут очень тревожусь за Вас. И — не один я. Дело, конечно, не в моих тревогах, а в том, что, м. б., скоро потребуются общая мобилизация сил. Очень хочется, чтоб Вы отнеслись к моим словам серьезно.

Еще раз — будьте здоровы, берегите себя. Сердечный привет всем товарищам.

А. Пешков.

Печатается по авторизованной машинописи (лл. 127 — 129). Фраза «Желаю Вам...», приписка после первой подписи, обе подписи и дата — автографы.

<sup>1</sup> Позже, в февральском письме 1932 года, Горький конкретнее информировал Сталина об этом издательстве, сообщив, что его представитель Рей Лонг приезжал к нему в Сорренто из Нью-Йорка «специально для переговоров об этом предприятии» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 719, л. 20).

<sup>2</sup> Крючков сообщил Горькому в письме от 19 декабря 1931 года: «Для англо-американцев числу к 22 декабря мне составят список книг. Список я передам И<осифу> В<иссароновичу> для утверждения» (АГ, КГп 41а-1-33).

<sup>3</sup> Сталин ответил Горькому 28 января 1932 года: «Отобрать книги для Англо-Американского издательства обязательно следует, и мы это сделаем незамедлительно, о чем сообщим Вам (и Крючкову)» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, л. 148). Вскоре Р. Лонг предложил издать сборник «Россия сегодня». Судя по проекту договора с Горьким, который последний переслал Сталину, предисловие должен был написать Горький. Сталин — о себе и работе в партии, предполагался материал о достижениях России в 1917 — 1930 годах (там же, ф. 45, оп. 1, д. 718, лл. 26 — 27). 3 марта 1932 года Политбюро ЦК ВКП(б) постановило: «...а) Принять предложение М. Горького насчет подготовки сборника статей о достижениях СССР для американского издательства Лонга с той, однако, поправкой, чтобы срок был перенесен на середину мая...» (там же, л. 16).

4 марта 1932 года в газете «Ивнинг стандарт» появилась информация о соглашении между Горьким и Р. Лонгом об издании в Америке книги Сталина, в которой он «описывает свою биографию, разъясняет свои отношения с Лениным и Троцким, объясняет причины падения Троцкого, а также откровенно высказывает, как СССР относится к Великобритании, Соединенным Штатам и Японии». По мнению газеты, издание книги накануне президентских выборов в США могло повлиять на решение вопроса о признании СССР.

14 марта 1932 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение: «Ввиду попыток со стороны Р. Лонга исказить характер договора с т. Горьким об издании сборника в целях политической спекуляции и ввиду того, что нет гарантии, что не будет выкинут Лонгом новый трюк, преследующий те же цели политической спекуляции (см. сообщение «Ивнинг стандарт»), отклонить предложение Лонга, предложить т. Горькому мотивировать отказ со ссылкой на невозможность выполнить предполагаемый договор в срок, ввиду занятости товарищей» (АПРФ, ф. 45, оп. 1, д. 718, лл. 14 — 15).

В этом издательстве («Ray Long Richard R. Smith, New York») ни одна из задуманных Горьким книг не вышла.

<sup>4</sup> Возможно, Горький отреагировал на статью «О деятельности центра террористических белогвардейских организаций в Чехословакии» («Rote Fahne», 1931, 31 октября), в которой сообщалось о разного рода экстремистских формированиях белоэмигрантов в Болгарии, Польше, Румынии, Чехословакии, действующих совместно с парижским Общевоинским союзом, а через него — с французской разведкой. Террористы, утверждалось в статье, преследуют цель — «физически уничтожить» Довгалева, Литвинова, Сталина. Статья в переводе М. А. Пешкова хранится в Архиве А. М. Горького.

<sup>5</sup> По этому адресу, в бывшем особняке С. П. Рябушинского, в Москве с 1931 года жил Горький (в настоящее время — мемориальный Музей-квартира А. М. Горького).

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

БОРЬБА ЗА СТИЛЬ

## AERE PERENNIUS

АНАТОЛИЙ НАЙМАН



### ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАМЯТНИКА\*

**В** конце жизни Иосиф Бродский пишет стихотворение «Aere perennius», впервые за 250 лет русской поэзии ломая традицию перевода знаменитой оды Горация «Eregi monumentum» («Памятник я воздвиг...»), традицию такого следования латинскому тексту, которое предполагало прочтение его как в большей или меньшей степени автобиографическое подведение итогов поэтического творчества (Ломоносов, Державин, Пушкин, Брюсов). Бродский сводит весь текст Горация:

Создан памятник мной. Он вековечнее  
Меди, и пирамид выше он царственных.  
Не разрушит его дождь разведающий,  
Ни жестокий Борей, ни бесконечная  
Цепь грядущих годов, вдаль убегающих.  
Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя  
Избежит похорон...

и т. д. —

(Перевод Семенова-Тян-Шанского)

к единственному полустижию «долговечнее (или: вековечнее) меди», русским читателем усвоенному как «тверже (или: крепче) меди». Драматически-агрессивная интонация стихотворения — интонация не послания потомкам и не свидетельства о сделанном, а в первую очередь исповеди.

#### Aere perennius

Приключилась на твердую вещь напасть  
будто лишних дней циферблата пасть  
отрыгнула назад, до бровей сыта  
крупным будущим, чтобы считать до ста.  
И вокруг твердой вещи чужие ей  
стали кодлом, базаря «Ржавей живей»  
и «Даешь песок, чтобы в гроб хромать,  
если ты из кости или камня, мать».  
Отвечала вещь, на слова скупа:  
«Не замай меня, лишних дней толпа!  
Гнуть свинцовый дрын или кровли жечь —  
не рукой под черную юбку лезть.  
А тот камень-кость, гвоздь моей красы —  
он скучает по вам с мезозоя, псы.

---

\* Предисловие к первой книге стихов Бродского «Остановка в пустыне», написанное мной более тридцати лет назад и подписанное по цензурным условиям того времени «Н. Н.», называлось «Заметки для памяти».



От него в веках борозда длинней,  
чем у вас с вечной жизнью, с кадиллом в ней».

Стихотворение написано анапестом с усеченной одной (последней) или двумя стопами, размером, без усилия сводимым к большому асклепиадову стиху, которым написана ода Горация; название стихотворения прямо предполагает знание читателем источника. Таким образом, «твердая вещь», заявленная в первой строке, воспринимается как метафора «поэтического слова», слова, произнесенного устами поэта и через это ставшего «нерукотворным памятником» его поэзии. По Горацию, «поэтическое слово» — *производящее, творящее*, и его произведением, его творением является оно само, превращенное произнесением из уст поэта в *вещь*, которая *тверже* меди. Это, однако, метафора внешняя, и по тому, что говорится внутри стихотворения, еще предстоит проверить, оправдана ли она.

Той же первой строчкой зачин выводит на передний план физиономию говорящего, выражение лица, прячущее за искусственно стилизованной под сказочку («приключилась напасть») снисходительностью к собеседнику готовность немедленно и окончательно порвать с ним, за усмешкой — желание ощериться. Грамматический сдвиг (фраза «приключилась напасть» не предполагает продолжения; если же читать это как «случилась беда», то «с твердой вещью», а не «*на* твердую вещь») выражает не столько растерянность или неблагоприятие, сколько задуманный вызов. Подлинный тон прорывается сразу после двоеточия: «пасть», «отрыгнула», «до бровей сыта» — вот основной лексикон стихотворения. В этом роде разговаривает, имея в виду аудиторию «благоухающих старцев» и «школьных товарищей», герой «Записок из подполья», одного из особенно любимых Бродским произведений мировой литературы.

Содержание следующих трех строчек можно передать — с удручающими потерями и сомнениями, много превосходящими догадки, — в таком приближительном изложении: циферблат, представляющий собой безличное, объективное и материальное выражение времени, все равно когда: сейчас или завтра, то есть все равно какого: сиюминутного или грядущего, — извергнул на некую «твердую вещь» ту часть дней, которую, по привычке безоглядно глотать, съел сверх предопределенного, которая принадлежит будущему и тем самым лишняя в настоящем. (Это «лишнее» время в обыденной жизни наглядно передается, например, таким словом, как «зажился», которое относит к себе человек очень старый или любого возраста, но который осознал завершенность своей судьбы и потому переживает каждый новый день как лишний.) Циферблат же постарается представить себе наподобие мраморной маски под названием «Уста истины» в римской церкви Санта Мария ин Космедин: ее открытый рот — это и есть державинское пожирающее «вечности жерло»=горло, а брови, до которых она «сыта», — стрелки часов, показывающие в зависимости от того, как они приподняты, 9.15, 10.10 или 11.05 и в пределе стремящиеся к полуночи, к концу. При этом циферблат, хотя и перебрал «крупного будущего» — скажем, опять-таки «лишних» (для сейчас говорящего) Горациевых набегающих «рядов бесчисленных лет» или державинских «народы, царства и царей», — остается пустой, бессодержательной дощечкой с цифрами, предназначенной всего лишь к их счету.

«Лишние дни», не пригодные ни для будущего, которого — как и их — еще нет, ни для настоящего, которое проживает свои собственные, обступают «твердую вещь», то есть такую, которая самодостаточна, имманентна и всегда равна себе, и, безосновательные, носимые временем по его прихотям, безнадежно «чужие ей», атакуют ее, безнадежно чуждую им, ожидая ее распада на те составные, которые соприродны им, знакомы и употребительны, — в частности, ржавчину и песок. Их объяснение: «чтобы в гроб хромать» — может быть отнесено и к смерти, призываемой ими на «вещь», однако не менее убедительно — и к уже совершившейся с ними, в том смысле, в каком говорится в Евангелии: «предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Поэт не скры-

вает презрения к их «базарящему кодлу» и отчетливо выявляет в слове «базарить» его непосредственный смысл — «торговать словом», самым актом торговли обесценивая его.

Существенно, что вторая строчка начинается словом «будто», открывающим собой сравнение-пропорцию, в которой сокращены средние члены: если «твердая вещь» есть образ подлинного слова, то старающийся ее разрушить нахрап «лишних дней» есть образ времени, которое стирает самое себя собственным бегом (*fuga temporum* у Горация). В полном виде сравнение должно бы читаться следующим образом: значимую речь «скупой на слова» «вещи» так стремится размыть гомон речи «базарной», как минуту настоящего, то есть единственно значимого, времени — набегающий поток будущего, то есть несуществующего, избыточного (*innumetabilis annorum series*).

Еще прежде ответа «твердой вещи» напору хищных и наглых ненавистников, претендующих на ее место и власть, Бродский отдает ее под защиту ахматовского толкования той же темы. Четверостишие Ахматовой:

Ржавеет золото и истлевает сталь,  
Крошится мрамор — к смерти все готово.  
Всего прочнее на земле печаль  
И долговечней — царственное Слово, —

это ее версия оды Горация. На «ржавей живей» и «даешь песок» Ахматова отвечает: «*ржавеет* золото, *крошится* мрамор», а не «царственное слово». Четверостишие открыто связывается со строчками из ее более раннего стихотворения «Майский снег»: «Во мне печаль, которой царь Давид / По-царски одарил тысячелетья». «Царственное слово» пророка Давида — это «богодухновенныя сия книги, яже Святыи Дух усты Давидовы отрыгну», как говорит молитва, предвещающая чтение его Псалтири. (В предельной, а именно беспредельно-Божественной своей ипостаси это — Слово, «Егоже от безначальных недр Твоея Отеческия славы неразлучным Божеством отрыгнул еси», как говорит молитва заключительная.) В противовес *царственному*, слово, которое «отрыгивает» «циферблата пасть», то есть произведенное временем, так называемой «мудростью века сего», — *профанно*. (Здесь важно и противопоставление в стихах Бродского единственного числа и множественного: «твердая вещь» — *слово*, «толпа» — *слова*.)

Более того, читая «*Aere perennius*», трудно отделаться от впечатления, что тон стихов в определенной мере задала обличительно-проклинающая экспрессия Псалтири, инспирировав и его центральные образы. Например, 18-й псалом: «*День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, ихже не слышатся гласи их. Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их... судьбы Господни истинны, оправданы вкупе, вожделенны паче злата и камене честна многа... от чуждых пощади раба Твоего...*» (стихи 3 — 5, 10 — 11, 14). Или псалом 21-й: «*Вси видящие мя поругаша ми ся, глаголаша устнами, покиваша главою... разсыпашася вся кости моя... Яко обыдоша мя пси мнози, сонм лукавых одержаша мя, ископаша руце мои и нозе мои. Исчетоша вся кости моя...*» (стихи 8, 15, 17). Или 44-й: «*Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви: язык мой трость книжника скорописца*» (стих 2). Проступающая за этой переключкой параллель, однако, слишком непростой конфигурации, чтобы описывать ее здесь.

Ответ «твердой вещи» начинается с «не замай», украинизма из числа тех, которые вводятся в русскую речь, чтобы обозначить насмешку, так или иначе обидную для собеседника. Разрыв, готовность пойти на который слышалась в словах говорящего уже в экспозиции стихотворения, выходит наружу откровенной грубостью слова «дрын» и всей следующей строчки «не рукой под черную юбку лезть». И то, и другое наводит наконец зрение читателя на фокус, проясняющий всю систему образов стихотворения. «Поэтическое слово», способное произвести на свет не существовавший до его произнесения «нерукотворный

памятник» поэзии, есть тем самым некий порождающий орган, «дрын», «камень-кость», «гвоздь» — «твердая вещь». Не случайно, что и Пушкин сравнивает его не с пирамидой, а с Александрийским гранитным «столпом». Справляться с ним, вводя его в совокупление с жизнью, *жистью-жестянкой*, как «свинец» и как «жесть», ради подлинного творения и реального плода, — это не в легкую связь вступать ради минутного удовольствия, не «баловаться» — хотя на вид оно и выглядит одинаково. Обращает на себя внимание то, что юбка — черная, то есть рука, лезущая под нее, делает это наугад, рассчитывает на результат вообще, а не индивидуальный. Итогом «баловства» может оказаться и тот самый выкидыш «лишних дней». Допустимо также, что в этой метафоре «свинец» мужского рода соотносится с творчеством поэта-мужчины, а «жесть» женского — поэта-женщины: недаром к «твердой вещи» обращаются также «мать» — как мать она объединяет в себе «камень» и «кость», мужского и женского рода внешний и внутренний детородный материал.

В последних четырех строчках голос «твердой вещи» сливается с голосом говорящего, слово сливается с поэтом. «Порождающий орган» предстает во всей широте диапазона своих значений, от одухотворенного примером Творца, творящего словом, и Адама, называющего вещи мира, до предельно профанного, *матерного*. Также и «мать» в конце восьмой строки отзывается во всех семантических регистрах, в том числе и в качестве члена бранно-непристойной формулы типа «мать твою ...». В этом смысле вызов строки «он скучает по вам с мезозоя, псы» звучит с определенностью «пошли вы куда подальше!» — где и место всему вашему племени с рождения. Ругательное «псы» — здесь еще и греческое «пси», убийственная буква-трезубец Ψ, оборванное на половине слово «психе» — «недоу́ши».

Две заключительные строки раскрывают, кто с кем говорит и за что идет спор. Они написаны в тональности речи Иова, чье отчаяние только усугубляют «правильные», но лишенные опыта его страданий слова его друзей. «Жалкие утешители все вы... И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей» (гл. 16, ст. 2, 4). «Лишние дни» воплощаются в «лишних» для человека в столь крайнем положении утешителей: «Не многолетние *только* мудры», — говорит про них Елиуй (гл. 32, ст. 9). На «твердую вещь» Иова также свалилась напасть: «Твердость ли камней твердость моя? и медь ли плоть моя?» (гл. 6, ст. 12). Время также стало для него лишним, а что с временем такое в принципе может происходить, он утверждает, когда проклиная ночь своего зачатия: «Да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев!» (гл. 3, ст. 6).

В эссе о Марке Аврелии, появившемся незадолго до «Aere perennius», Бродский пишет, что, «со стоической точки зрения, бог, которому ты предлагаешь добродетель в обмен на получение вечной благосклонности, не заслуживает молитвы». Герою эссе, замечает поэт, метафизика христиан представлялась близорукой, а этика внушала отвращение, ибо «ценность добродетели заключается именно в том, что она рискованное предприятие, а не капиталовложение». Судя по личным беседам того времени с Бродским, это была и его самого главная претензия к христианству — или, скажем аккуратнее, к тому, что ему представлялось христианством. Иначе говоря, не с верующими в вечную жизнь порывает поэт с отвращением в последних четырех строках, а с верующими в то, что достичь ее можно просто исполнением обряда «с кадилом», просто повторением выражающих этот обряд слов, «чужих» слову творческому, требующему бесконечной затраты сил и бесконечного сопротивления «базарящему кодлу». «О, если бы записаны были слова мои! Если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, — на вечное время на камне вырезаны были!» — так говорит почти теми же, что у Бродского, словами Иов (гл. 19, ст. 23, 24).

.....  
А теперь, никак не в опровержение сказанного до сих пор — напротив, держа в уме все приведенные выше доводы и обстоятельства, следовало бы

отбросить их, как строительные леса, послужившие нам, а возможно, и поэту при возведении этого «памятника». И прежде всего отбросить подпоры, одолженные у Горация, и, посмотрев на эти шестнадцать строчек самым, насколько удастся, непосредственным взглядом, увидеть обнаженный смысл центрального образа: надменный, бесценный, оскорбительно-мучительный рог, «гвоздь моей красы». Не названный в стихах напрашивающимся, специфически выразительным и специфически популярным в русской речи, однако не принятым к произнесению вслух словом — он тем самым не низводится к содержанию исключительно бранно-вульгарному, но сохраняет превосходство понятия «гвоздь программы».

Однако по причинам прежде всего личных отношений, тема, которую стоило бы назвать *perennius* — *penis*, несовместима с целью наших заметок; нет сомнений, что в другом месте она может быть сформулирована точно и полно. Скажем только несколько заключительных слов о «напасти». Приходит срок, «будущее», в пределе — смерть, когда этой всеопределяющей, согласно поэту, воплощающей собой самую жизнь «твердой вещи» нет места. Дни продолжают идти, но они уже не нужны ей, лишние, чужие. И за это она — он — разит их безжалостным презрением. Саркастическая усмешка зачина превращается к концу почти в оскал, в жест: вот вам! «он» вам! «Он» — который был я! Я — был!

Презрение могло бы стать полным, если бы за ним не вставала всепоглощающая и стойчески таимая боль от сознания, что так — будет, надвигается, есть и ничего другого не будет, уже нет. А ведь в самом-то деле «медь ли плоть моя?». И «есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора?». Безнадежность.

Но я — был.

---

## НИКОЛАЙ СЛАВЯНСКИЙ

\*

### ТВЕРДАЯ ВЕЩЬ\*

**Ч**итатель может не включать это стихотворение в ряд своих любимых у Бродского, но даже при самом беглом прочтении становится видна его исключительная важность для понимания всего творчества поэта, глубоко сознаваемая и самим автором. В этом отношении оно сопоставимо с «Памятником» Пушкина, совпадая в своей итоговости с последним также и в том, что было написано незадолго до смерти. Само название этой вещи связано с первым стихом знаменитой оды Горация (*Odae III, XXX*):

*Exegi monumentum aere perennius...*

Я воздвиг памятник меди (бронзы) долговечнее (прочнее)...

О соотношении между этой одой Горация и «Памятником» Пушкина — и рассматриваемым стихотворением Бродского, а также важным в этой связи изумительным четверостишием Ахматовой («Ржавеет золото...») я скажу ниже, а сейчас сразу же обращаюсь к чтению исходя из чистой явленности начального впечатления и выстраивая соответственно перспективу глубинного смысла.

1 Приключилась на твердую вещь напасть:

2 будто...

---

\* Появлением этого очерка я полностью обязан беседам с А. Г. Найманом.

На слух возможна некоторая амбивалентность: приключила(о)сь, то есть случилось так, что «напали», наткнулись... Этот оттенок ничуть не мешает, а, напротив, даже усиливает основную тему, как будет видно дальше. «Твердая вещь». — Всякий, кто начитан в Бродском, сразу же вспомнит о статуе, бюсте, колонне, мраморе и т. д., то есть одной из основных тем у Бродского. Но и впервые читающему стихи этого поэта должно быть понятно, что «твердая вещь» означает, помимо всего прочего, нечто основательное, что просто так не возьмешь. Интонация этого оборота сразу же напоминает своим обстоятельно вводным характером (однажды приключилась такая история) басню (fabula), притчу. Собственно, все стихотворение и есть своего рода притча о том, как с «твердой вещью» случилась (возникает легкий иронический тон) такая оказия, незадача, напасть, из которой эта вещь вышла с честью. И завершается стихотворение, что станет явным впоследствии, в духе морали-отповеди.

Однако продолжим наше чтение.

2 будто лишних дней циферблата пасть

3 отрыгнула назад, до бровей сыта

4 крупным будущим, чтобы считать до ста.

Здесь можно вспомнить Мандельштама («А небо будущим беременно», что потом у него вылилось в «Небо крупных оптовых смертей»). Бродскому вообще свойственно адаптировать чужую речь (и не только поэтическую); она для нашего поэта подобна прошлому, которое уплотняется настоящим. Далее я отмечу еще один подобный случай. Смысл того, что сытая крупным будущим пасть отрыгнула назад лишние дни, состоит в том, что это будущее по сути бессодержательно и обладает лишь количественной характеристикой, набивая себе цену лишь крупными, круглыми цифрами. Но считать до ста, тысячи, миллиона, заглатывая пустые, а потому лишние единицы, — тошнотворно: до бровей сыта (ср. по горло, по ноздри, под завязку и т. п.). Пасть, жерло времени (Державин) — обычная эмблема, как и циферблат. Однако признаюсь, что лично я затрудняюсь превратить диск циферблата в зияющий круг пасти. Плоская поверхность диска мне мешает. Это единственный во всем стихотворении Бродского не вполне прозрачный для меня образ<sup>1</sup>.

5 И вокруг твердой вещи чужие ей

6 стали кодлом, базаря «Ржавей живеи»

7 и «Даешь песок, чтобы в гроб хромать,

8 если ты из кости или камня, мать».

Отметим слово «кодло» (по-украински — род, племя; отродье), которое давным-давно стало у нас своим и ходовым в блатном и дворовом мире, означая группу (обычно чужих) парней, готовых на все, проще сказать — шпану. Сразу же возникает и жаргон. «Базарить» («разоряться» и т. п.) — значит шумно, чаще агрессивно, требовать чего-либо, в данном случае у «твердой вещи», чтобы она «живей ржавела» (скрытый оксюморон: живей помирай). Но слово «ржавей» уже является намеком на металлический состав твердой вещи. «Даешь песок» проявляет два любопытных момента. «Даешь» — привычный со времен Гражданской войны штамп заносчивого победного клича, который был усвоен всем советским временем, и его оприходованность «кодлом» многозначительна. Ясно, что слово «песок» указывает на то, что кодло окружило кого-то, кто старше их, какого-то «старого хрыча», из которого, по их мнению, должен сыпаться песок. Вместе с тем это и новое с их стороны предположение о составе «твердой вещи» (если ты из кости или камня), от распада которой ждут песка. «Хромай (вали, хилий и т. п.) отсюда» — жаргонное «убирайся». Кроме бранного значения, подразумеваемого в слове «мать», отмечу также и особый оттенок, возникающий из-за ритмического движения стиха, затрудняющего разделение слов: «...каменя, мать». Трудно сдержать довольно слитное проговаривание этого места, что порождает новый смысловой нюанс, выдаю-

<sup>1</sup> Mea culpa: мне тут же показали каминные часы с циферблатом, стилизованным под жерло Хроноса.

ший некоторое смутное угадывание со стороны «кодла» того, на что они по глупости набросились: мать камня, как корень крепости (ср. матерь — mater — matter — materia).

Итак, общий дух этого пассажа приводит на ум сцену со шпаной, напавшей на одинокого человека в темной подворотне.

9 Отвечала вещь, на слова скупа:

10 «Не замай меня, лишних дней толпа!

Выражение «на слова скупа», кроме иронического «былинного» отзвука (богатырь, на которого напали разбойнички), вводит очень существенный параметр для понимания ситуации. В действительности «твердая вещь» не желает никакого общения с кодлом, которое для нее нечто абсолютно инородное и презренное, что станет вскоре вполне очевидно. В этом месте наше внимание может привлечь манерно-литературное сочетание «лишних дней толпа» (ср. у Лермонтова «И лучших дней воспоминанья / Пред ним теснились толпой»), сказанное с умыслом и неизбежно получающее насмешливый привкус в обращении к кодлу, особенно после обидного словечка «не замай», которое в особом ходу на Украине. Оно значит не только «не трогай», но имеет в себе ответный вызов (не хап; не тяни руки, а то протянешь ноги, и т. п.). Кажется, что оно предназначено специально для «москальского» уха. Можно признать, что у Бродского это далеко не первый украинизм (вспомним, например, брезгливое «не треба!»). Можно на этом украинизме утопить педаль, чтоб выдать «окраину», то есть «провинцию» («Письма римскому другу»), но тогда мы рискуем получить избыточный себедовлеющий смысл, уводящий нас от собственной перспективы этого стихотворения, чем у нас частенько грешат, полагая, что поэты умеют лишь скрывать или проговариваться, но не способны к прямой осмысленной речи.

11 Гнуть свинцовый дрын или кровли жечь —

12 не рукой под черную юбку лезть, —

продолжает «твердая вещь» и этим припечатывает окружившее ее кодро. Общий смысл (где уж вам делать то, что делаю я, — это вам не девок портить) несет на себе подчеркнуто пренебрежительный тон бывалого человека по отношению к молокососам, которые лапают на сиделках заранее согласных на это девок. В черной юбке к тому же — что-то расхожее (белый верх, темный низ), обыденно-заурядное. (Мне предложили другое наблюдение: «черная юбка» — эвфемизм для vagina, дающий в итоге астрономический коррелят «черной дыры».)

Я не просматриваю далекой перспективы в «кровельном деле», но все-таки не могу избавиться от некоторого «непристойного» намека; оправданного ситуацией, словно здесь предполагается некий coitus (свинцовый дрын, кровли жечь — Neil Sigmund Freud! — мужское и женское), правда в особой, прямо скажем, не столь уж эротичной модальности. Мне кажется, что такое ощущение вряд ли может быть вполне ошибочным, на него наталкивает и весь дух стихотворения (о чем ниже), и параллельность сопоставлений, данная, что важно, в разных плоскостях, то есть такая параллельность, которая тут же указывает на несоразмерность того и другого. Однако последовательный фрейдист мне отчетливо изъяснит значение глагола «покрывать» (жестяная кровля), чем раз и навсегда отметет мои и без того робкие сомнения, и я буду твердо знать, чем занимаюсь, починя крышу, и не мне за это расплачиваться («брать сестерций с покрывающего тела — / все равно, что дранку требовать у кровли», — писал как-то наш поэт).

13 А тот камень-кость, гвоздь моей красы, —

эта первая строка заключительного четверостишия заново вводит изъяснительно-притчевую конструкцию, договаривая за скупую на слова «твердую вещь», растолковывая мораль «для особо тупых и непонятливых». И вместе с тем — это подхватывание темы и даже полное отождествление собственной речи поэта со словами «твердой вещи»: кавычки, которые, правда, видны только глазу, Бродский закрыть «забыл». Эта строка дает нам удивительный

сплав из камня (крепости), кости (органической прочности и стройности скелета) и острого пронзающего металла («гвоздя»). Собственно, среди своих значений «гвоздь» включает в себя нечто осевое, главное. В нашем случае это, по Бродскому, основа красоты, или, как он сам манерничает в масть, «красы».

14 он скучает по вам с мезозоя, псы.

Сверх просторечного «по вам» (вместо «по вас» — в тон всему рассказу и довольно обычного для Бродского) можно выделить второй случай некоторого слияния соседствующих слов: «с мезозоя, псы», — дающий добавочный, кроме бранного, смысловой оттенок: «с мезозоя Ψ (пси)», то есть навевающий призрачное очертание греческого значка, каким помечают не просто мезозой, а, скажем, какой-то мезозой в квадрате, особую страшную древность, такую запредельную отдаленность, что скорее прилична едва различимому созвездию. Но еще любопытнее, что этот «гвоздь» «скучает», то есть (сленг) ждет не дождется, когда можно будет долбануть по этим самым псам. Этим обнаруживается не только затаенная агрессивность (или, скажем мягче, воинственность), но и ее неутоленность: «скучает по вам» — *nota bene* — настоящее время!

15 От него в веках борозда длинней,

16 чем...

Как видим, «твердая вещь» (сплав камня, кости и металла) оставляет борозду, и это, без сомнения, можно понимать не только как след, отметину, шрам, что, конечно же, справедливо, но и сам «гвоздь» неизбежно обращается в плуг, который в общечеловеческой мифологии — фаллос, один из символов плодородия. Помимо этого основного смысла просто необходимо отметить и сравнительную степень «длинней», которая совсем не простирается в бесконечность, а перекрывает (опять скользкий глагол!) собой сравниваемый объект. Само собой предполагается, что и «твердая вещь» все-таки разрушится со временем, но (и это главное) уж кого-кого, а этих псов она переживет. Уточним, кто эти псы.

15 От него в веках борозда длинней,

16 чем у вас с вечной жизнью, с кадилом в ней.

Здесь нас настигает некий удар, пролом. Вспомним, кто окружает «твердую вещь»: кодро, другими словами — быдло, и оно в итоге отождествляется с христианами! (Думаю, что восклицательный знак здесь вполне извинителен.) Видно, христиане и впрямь «достали» Бродского. И ведь нельзя сказать, что Бродский здесь имеет в виду только каких-то там «церковников», ибо если кадило и в самом деле относится к богослужебной практике прежде всего католиков и православных, то без учения о вечной жизни, без упования на нее никакая христианская деноминация немыслима. Да и начинает-то Бродский прямехонько с «вечной жизни», насмешливо подвесив ей на хвост кадило. Из всего этого следует со всей непреложностью, что поэт говорит о христианской религии в целом. И этому не станет удивляться тот, кто внимательно читал Бродского. Не поминая уже отдельные специальные высказывания по этому вопросу, всем своим творчеством (включая Рождественские стихи и прочие «религиозные» стихотворения<sup>2</sup>, над которыми так умиляются иные простодушные батюшки), каждым своим словом, то есть, по Пушкину, и делом, Бродский выражал полную собственную (скажем дипломатично) несовместимость с христианством. И в данном, итоговом, своем стихотворении наш поэт утверждает, что его «твердая вещь» (искусство в форме фаллоса) древней христианства и плодотворней его и уж кого-кого, а христиан-то она обязательно переживет.

Итак, в результате внимательного чтения смысловые очертания этого знаменательного стихотворения проявились с большей отчетливостью. Попробуем теперь закрепить все это другими наблюдениями.

<sup>2</sup> Об этом надеюсь дать особый очерк.

Ну-с, ухо остро! Каков фонетический строй этого стихотворения Бродского? Здесь уместно вспомнить об оде Горация, с которой у Бродского в некоторых отношениях больше сходства, чем у других (известных мне) поэтов. Во-первых, у Горация нет никакого деления на строфы (как и у Бродского), и весь сплошной поток его оды пронизывает единый ритм:

$$\frac{1}{-} - / \frac{1}{-} \cup \cup // \frac{1}{-} \cup \cup / \frac{1}{-} \cup / \frac{1}{-}$$

Вся ода звучит хоть и несколько однообразно, но энергично и торжественно, как победный колокол, чему помогает и общая звонкость стиха с равномерным чередованием гласных и согласных с упругой цезурой и крепким мужским иктусом (ритмическим ударением) на последнем долгом слоге при естественном для той стихотворной техники отсутствии рифм. В сущности, это восторженно-радостный гимн в честь возложения на голову Горация лаврового венка самой Мельпоменой. В каком-то смысле этот единый поток — сплошной самозабвенный трезвон во славу своей незабвенности, который завершается затяжным: *comat-m!* Сравните буддийское «ом-м», но из патриотизма рекомендую наше русское, самое протяжное на свете, — бом-м-м! бом-м-м! Подождем, пока оно утихнет, чтобы прислушаться к Бродскому.

В основе ритмического движения стихотворения Бродского также лежит общая структура:

$$\cup \cup - \cup \cup - \cup \cup - \cup -$$

но при факультативном выпадении одного безударного слога второй стопы (в строках 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15) и при снятии цезуры после второго ударного слога в первой, четвертой, пятой, шестой, двенадцатой и заключительной строках, что затрудняет плавно-однообразное раскачивание маятника, словно он преодолевает какое-то сопротивление.

Общий объем стихотворения Бродского совершенно тот же, что и у Горациевой оды; как уже говорилось, текст тоже сплошной, без деления на строфы, но это не слитно бегущий поток, а застывающий в себе тяжелый монолит. Полновесные мужские рифмы идут плотно попарно, тут же намертво соединяя один блок с другим. Сама интонация исключает певучесть. Согласные, большей частью глухие и твердые, кажется, еще больше сгущаются, подавляя гласные, которых становится словно бы меньше, чем на самом деле; не удивительно, что они сами собой редуцируются, тушуются и угасают. (Признаю, однако, что стих «От него в веках борозда длинней» пусть через силу, но взлетает над всеми другими, достигая музыкальной выразительности предсмертного лебединого возгласа.) Обычно Бродский очень изобретателен и разнообразен ритмически, на редкость щедр в рифмах и до крайности, почти до излишества, сложен синтаксически. В этом стихотворении все это как бы «снято», и в нем Бродский сосредоточен, строг и даже угрюм. Это не звонкий колокол Горация, а с трудом раскачиваемый снаряд стенобитной машины, «баран», глухо таранящий преграду помятым и позеленевшим от окиси бронзовым лбом. На последнем стихе после несколько зависшей паузы (нет цезуры для опоры) следует завершающий удар, а по инерции — и собственное падение (с явным отворачиванием) в слово «кадило»:

*16* чем у вас с вечной жизнью... с кади-илом в ней, —  
и стена наконец обрушивается.

Уверен, что в сознании читателя форма и содержание совпали, но, увы, у нас нет времени для бескорыстного эстетического созерцания «твердой вещи». Последуем дальше.

Мы уже убедились в том, что при отдаленном сходстве между Горацием и Бродским их субстанциальное различие громадно. Мало того, можно смело



сказать, что как раз пушкинский «Памятник» соприроден стихотворению Горация прежде всего по той причине, что и то и другое — ода, и разница внешнего строения каждой из них — дань стихотворной технике своего времени. Их пронизывает общий восторг и приподнятость и торжественная полнозвучность. Идейная близость между Горацием и Пушкиным и того очевидней. Римский поэт потому объявляет свой памятник более долговечным, чем бронза, что он невеществен, то есть вообще не подлежит воздействию стихий. Лучшая (большая-главная) часть поэта (*multa pars*) просто убежит от богини смерти (*vitabit Libitinam*). У Пушкина почти буквальное повторение: «...душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит...» И Гораций и Пушкин видят свое бессмертие в славе: первый — обручая ее с могуществом Рима («*Dum Capitolium scandet... pontifex dicar...*» — «До тех пор, пока на Капитолий будет восходить понтифик, будет молва и обо мне...»); наш поэт — с величием России и даже за возможными пределами ее исторической жизни («...по всей Руси великой... / И славен буду я, доколь в подлунном мире / Жив будет хоть один пиит»). И эта слава является заслуженной ими наградой и следствием всеобщей благодарности. Гораций считает себя самым совершенным певцом в эолийском ладе, а Пушкин говорит: «И долго буду тем любезен я народу...» (далее по хрестоматии).

В русской поэзии среди множества других «Памятников» (переводов и подражаний) есть еще одно стихотворение, тончайшим, но глубочайшим образом связанное с нашей темой — с «*Aere perennius*» Бродского. Вот оно:

Ржавеет золото и ислевает сталь,  
Крошится мрамор — к смерти все готово.  
Всего прочнее на земле печаль  
И долговечней — царственное Слово.

(1945)

Этот гениальный полнозвучный катрен Анны Ахматовой, завораживающий своей величавой соразмерностью, вновь возвращает нас к мотивам Горациевой оды и словно повторяет тезисы всеуничтожимости. Но вдруг мы понимаем, что это не так. «Всего прочнее на земле печаль» — конечно, это вовсе не сравнительная степень, а скрытая превосходная (суперлатив), ибо по прочности печаль превосходит всё, равным образом и царственное слово долговечней всего, в чем совпадает и сливается в одну сущность с печалью. Сама, так сказать, сокровенность суперлатива выражается скорей интонацией (это и это разрушается, все умирает, а...), из которой мы ощущаем бессмертие печали и слова прежде, чем успеваем это осознать. Кроме того, *печаль* обмыкает собой все гибнущее и придает благородную тяжесть слову, которое становится почти осязаемым. Сама печаль оказывается поразительной новостью, она дается как ценность бытия, как то, чем осоляется жизнь. Утратив ее, мы опустимся ниже уровня всякого онтологизма, и тогда «отрадной камнем быть...».

Итак, о камне.

«Я заражен нормальным классицизмом», — писал еще молодой Бродский «одной поэтессе». Всю свою жизнь «состоя при Музах», Бродский, естественно, утверждал себя в эстетической вечности как единственно возможной для себя религиозной сфере, а идея *Памятника*, как мы знаем, органична для многих поэтов. И Ахматова как бы натолкнула Бродского своим катреном на идею нового сплава материалов искусств. Но его реактив не печаль, а надрыз.

Конечно, во многом у прочитанных нами сегодня поэтов есть существенные различия в понимании поэтического искусства, но все они сходятся там, где утверждается его самоценность.

Следуя традиции, Бродский вспоминает Горация, но с вызовом подчеркивает второй полустих первой строки этой оды, настаивая на том, что им найден новый сплав, подлинно твердая вещь искусства. Иначе говоря, у Бродского концепция самостийной поэзии находит свое абсолютное, уже экстре-

мистское, выражение, воплощаясь в качестве предельного самообоснования и последнего аргумента в увесистый и всепрободающий фаллос. Всех непрichастных к его поэзии Бродский посылает на ххх.

---

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

\*

РЕПЛИКА ВСЛЕД

**В**се это так: стихотворение действительно укладывается в классический тип «разговора поэта с чернью» и поэт разговаривает на языке и в тоне, понятных черни. Чернь эта, с одной стороны, современная, конкретная, конца XX столетия, с другой — метафизическая, обобщенная, «отныне и вовеки». Это «кодло», но «с кадилом» — формулировка безошибочная. Формулировка, безусловно, осознанная, однако, как всякая метафорическая описательная, точная не буквально, она также и выходит за границы любого конечного ее объяснения и всей совокупности объяснений.

Ведь «Aere perennius» — не просто «пошли вы все!»: не то сопровождаемое известным похабным жестом обычное, злобное, усталое проклятие, которое обреченно извергает кто-то из человечества на остальную его часть каждый день и каждый миг и потому никем уже не замечаемое. Бродский оставил нам стихотворение — значительную, очень значительную вещь, вызывающую душевное волнение, у кого-то, быть может, и слезы. Не утверждаю, что поэт, когда писал, прямо имел в виду Псалтирь и ее стилистику или хотя бы соотносил эти стихи с нею. Возможно, что и Книгу Иова не листал он даже и умозрительно, когда перекликался с ее образами в ее тональности. Но зато Псалтирь имела его в виду — как каждого человека, который живет страдая и страдает умирая. И Книга Иова листала его — как любого, кто хочет добиться справедливости в таком несправедливом деле, как смерть!

---

---

# РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

## ПОВЕСТИ О ЖИЗНИ

Юрий Кувалдин. Поле битвы — Достоевский. Повесть. — «Дружба народов», 1996, № 8.  
Юрий Кувалдин. Вавилонская башня. Повесть. — «Грани», № 181 (1996).  
Юрий Кувалдин. Замечания. Повесть. — «Континент», № 86 (1996).

На самом деле я плохо знаю маленьких девочек.  
Если поразмыслить, я, наверно, не знаю ни одной ма-  
ленькой девочки.

*Владимир Набоков.*

**В** дневниковых записях Лидии Гинзбург 20 — 30-х годов есть такой эпизод. Однажды в ответ на ее недоумения, почему это нужно непременно заниматься *любой* современной литературой, Осип Брик сказал: «Вы все работаете в тылу. Разумеется, работать в тылу в своем роде нужно и полезно, но необходимо и почетно работать на фронте». Лидия Гинзбург пересказала это Юрию Тынянову, тот разозлился: «А почему вы им не сказали, что они, со своей литературой факта, — генералы без фронта?» Споры эти, если отбросить культурную и политическую специфику тех лет, не отошли в прошлое. Видимо, и не отойдут.

Я же, читая, подумал, что сегодня «на фронте» находится не критик, пишущий (вроде меня) о любой современной литературе, а сам прозаик, описывающий еще не устоявшуюся действительность. Работать на самом современном материале всегда трудно, нет дистанции. Но, пожалуй, в 70-е и первой половине 80-х было в этом смысле проще: жизнь была устоявшаяся, и в хорошем, и в дурном предсказуемая, изменялась она эволюционно, а не катастрофично; к тому же наличие бдительной цензуры заведомо отсекало для «легального» писателя целые пласты окружающей жизни, что было весьма огорчительно, но, как ни странно, тоже упрощало его работу.

Сейчас не то: особенно трудно прозаику, по тем или иным причинам не пользующемуся готовыми жанровыми заготовками детектива, дамского романа, романа воспитания и проч., которые до некоторой степени способны (мнимый или действительный) хаос нашей жизни структурировать. Думаю даже, что сегодня только заранее известные правила игры, почтенные традиции массовых жанров образуют каркас, способный удержать самый сырой, неоформившийся современный материал (скажем, российский триллер как социальный рсман — это тема для серьезного разговора).

Конечно, есть и другой выход — очеркизм, и не обязательно того рода, что живет под традиционной новостной рубрикой «Очерки наших дней»; очерки городской жизни в стебном журнале «Столица» заслуживают не меньшего уважения. От очеркиста требуется что? Наблюдательность, добросовестность и живой слог; за остальное он ответственности не несет. Очеркист всегда имеет право сказать: «Помилуйте, я же не придумываю, такие люди, такие ситуации, могу назвать адреса...»

Срединный же путь для прозаика самый сложный. Один из наиболее активно работающих авторов, Юрий Кувалдин<sup>1</sup> вроде бы идет таким срединным путем. Мимо очерка и мимо традиционных жанров. И пишет он — вспомним давнее определение — вроде бы в формах самой жизни, реалист то есть. Откуда эти оговорки — «вроде бы», — разъяснится чуть позже. А пока раскроем повесть Юрия

---

<sup>1</sup> Кроме указанных выше повестей Кувалдину принадлежат четыре книги прозы: «Улица Мандельштама» (1989), «Философия печали» (1990), «Избушка на елке» (1993), «Так говорил Заратустра» (1994) и повесть «Ворона» («Новый мир», 1995, № 6). Может быть, еще что-то не попало на глаза.

Кувалдина «Замечания». Время действия — наши дни. Место действия — рядом с нами. Старый рабочий Сергей Васильевич все еще трудится на родном угасающем заводе. Делает на своем станке бронзовые дверные ручки — естественно, налево (другие рабочие тоже делают кто что — ножи, водопроводные краны и проч.), продает их на рынке. Семья. Жених дочери. Жена-алкоголичка. Все обрыдло.

Образчик кувалдинского реалистического стиля: «Лезвие было старое и плохо брило, драло кожу. Сергей Васильевич смотрел на свою обрюзгшую физиономию в круглое зеркало, пожелтевшее от времени, но не замечал, что его физиономия обрюзгла. Лысину свою, которая появилась в тридцать лет, он тоже не замечал, привыкнув к ней за последующие тридцать пять лет. Чтобы смягчить бритье, Сергей Васильевич часто макал помазок в железную кружку с кипятком и мылил помазок о кусок простого хозяйственного мыла в мыльнице. И зеркало, и мыльница, и кружка с кипятком стояли на некогда белом широком подоконнике. В ванную Сергей Васильевич не выходил, потому что там умывалась жена. А с ней он видеться не хотел, хотя видеться так или иначе приходилось». Стилистически так дальше и пойдет, а вот сюжетный поворот непредсказуем.

*Вдруг* Сергея Васильевича как старого кадрового рабочего берут — нет, точнее, приглашают, зазывают в коммерческую фирму, да не кем иным, как заместителем директора. Обязанности у него, с одной стороны, необыкновенные, а с другой — очень понятные: *всем делать замечания*. Чтоб все *строго* было, фирма солидная. Он и приступает, и ничего, получается. Развязки же в повести нет. Собственно, такая завязка — она, по сути, есть уже и развязка («...больше ничего не выжмешь из рассказа моего...»). История странная, но только в моем упрощенном изложении. В тексте повести это «вдруг» прописано так плавно, так похоже на жизнь, но именно *похоже*, что в голову приходят странные мысли. У *фантаста*, условно говоря, Виктора Пелевина есть рассказ о том, как обыкновенная женщина торопится на работу в институт, тянется вроде бы обыкновенный рабочий день, и только постепенно, по некоторым нарастающим несообразностям мы догадываемся, а в конце рассказа и убеждаемся, что это уже *тот* свет, а не этот. От повести Кувалдина почему-то остается похожий осадок.

Откроем теперь «Вавилонскую башню». Эта повесть рассказывает о врачкниголюбе, которого зовут Георгий Павлович Шевченко, и его «литературная» фамилия хорошо согласуется с появляющимися по ходу действия Достоевским, Победоносцевым и Исааком Левитаном (с убитой чайкой в руке), причем не однофамильцами, а теми самыми — Достоевским, Победоносцевым и Левитаном. Врач Георгий Шевченко торгует наркотическими препаратами. Товар и деньги передаются на Переделкинском кладбище у могилы Пастернака («— Спасибо, Борис Леонидович! — сказал, поднимаясь, Тофик»). Повседневная жизнь Шевченко осложняется регулярными вторжениями внучки-наркоманки Гуты и силовым вмешательством квартирных махинаторов. Словом, почти газета: страшно жить на этом свете, в нем отсутствует уют...

Но у Шевченко есть и своя большая идея, он не просто тратит почти все деньги на книги, но и вычерчивает схему какой-то литературной Вавилонской башни, смысла и значения которой я, признаюсь, не понял, но подозреваю, что этого не понимает и сам автор. Идет долгое, долгое погружение в безумие. Сюжет повести постепенно провисает, интрига расплывается. Я, читая, невольно вспоминал классические «Записки сумасшедшего»: там, у Гоголя, несмотря на отсутствие «объективного» авторского голоса, мы все время понимаем, что происходит «на самом деле», можем мысленно реконструировать как реальность, скрывающуюся за словами бедного безумца, так и истоки его безумия. У Кувалдина не то (это скорее констатация, чем упрек). Ну, беседы героя с Достоевским и Победоносцевым — это, понятно, бред. Но что касается его квартирных дел, занимающих в повести немалое место, то скоро перестанешь различать, что происходит на самом деле, а что только в разлагающемся сознании героя. «Это сама реальность сходит с ума», — объяснил мне коллега по критическому цеху.

Но прописано все стилистически ясно, язык писателя прост. Это не ирония, а похвала. «На кухню сразу же вышла жена, полная женщина с синими мешками под глазами» («Замечания»). «На пороге стоял толстенький человек в неряшли-

вом пиджаке, с одутловатым лицом то ли старого неудачника, то ли нищего» («Поле битвы — Достоевский»). «Отец выпил тихо, беззвучно и так же беззвучно сидел несколько минут» («Так говорил Заратустра»). Что мы, мешков под глазами не видели? Не на Луне, чай, живем. Пусть нам только обозначат, мы додумаем. Дайте «сценарий», мы сами его «экранизируем». Где — мехи? Мы зальем их своим вином.

В романе Юрия Кувалдина «Так говорил Заратустра» главный герой Беляев, цитирую, «догадывался (автор пишет не нейтральное «думал», а «догадывался», то есть косвенно подтверждает своим авторитетом создателя правоту героя. — А. В.), что ни собеседник, ни книга не в состоянии постоянно в процессе общения или чтения держать тебя в напряжении, то есть в том состоянии, когда ты уходишь за слово и видишь то или понимаешь то, что обозначено этим словом. Таким образом, в каждой речи собеседника... или в каждой книге содержится минимум сорок процентов не востребованного слушателем или читателем смысла. Продолжая это рассуждение и доводя его до логического конца, Беляев понял (опять-таки «понял», а не «считал». — А. В.), что в рассказываемое или в написанное нужно преднамеренно включать пустоты, или попросту умело лить воду, поскольку вода и есть основа жизни... Вода охлаждает, обмывает, освежает и позволяет свободно плыть внутри смысла, свободно преодолев слово, а за словом внутри смысла, вернее, к чужому смыслу... равноправно прибавлять свой собственный смысл, как бы плыть в параллельном своем смысле, подпитываясь чужим». Интересно только, что с точки зрения самого писателя является «пустотами» в его прозе? Многословные диалоги персонажей, иногда играющие роль своеобразных отступлений, содержащих (это очевидно) дорогие автору суждения?<sup>2</sup> Или подробное бытописание, сам этот будничны сор, — пресловутый «реализм»?

Повести Кувалдина, по известной формуле, не то, чем они кажутся. Может быть, автор просто смеется над читателем, нетерпеливо взыскующим или привычно ожидающим эту самую правду жизни? Позволю, не утруждая себя доказательствами, совершенно интуитивно предположить, что Кувалдин современность не описывает, а *выдумывает* (не меньше, чем Буйда или Пьецух). А это не только великое право художника, но, может быть, и его прямая обязанность. Во всяком случае, не стоило бы считать последние повести Юрия Кувалдина надежным *свидетельством* российской жизни 90-х годов (что само по себе не хорошо и не плохо, художественная литература вообще свидетель сомнительный).

Оприметливое признание прозаика, что в образе отрицательного академика Давидсона («Поле битвы — Достоевский») он выплеснул свою неприязнь к известному литературоведу Игорю Волгину, автору книги о Достоевском «Родиться в России», для меня малоинтересно<sup>3</sup>. Это интимный вопрос его творческой психологии, я в это не влезаю. Напомню, опуская подробности, сюжетную основу повести (она имела скандальный резонанс — вплоть до послешных обвинений в антисемитизме): к процветающему при всех режимах академику Давидсону приходит бедный филолог Егоров просить грант на книгу о Достоевском, но, увы, безрезультатно: «...В самом деле, сколько можно кормиться на классике! То эти пушкиноведы одолели, то толстоведы, то гоголевыды... И вот вы со своим Досто-

<sup>2</sup> Образчик такой публицистики: «Неужели коллективы этих журналов («Знамя», «Октябрь», «Новый мир». — А. В.) не понимают, что они приватизировали государственную собственность? Так чем же они отличаются от партноменклатуры, которая приватизировала Старую площадь и окрестности до Тихого океана?! Ничем. Стыдно. Нужно было им собраться с духом и закрыть эти номенклатурные коммунистически-советские издания на торжественном собрании в Большом театре под звуки михалковского гимна! Если они свободные люди, то пошли бы в регистрационную палату и оформили юридически свои личные новые журналы!» Вполне можно представить эти строки цитатой из статьи или интервью самого Кувалдина, являющегося как раз хозяином такого личного (и отмечу — хорошего) издательства «Книжный сад». Впрочем, пассажи эти, отданные одному из кувалдинских персонажей, тут же умело уравновешиваются репликой другого: «Почему же вы не открыли свой научный журнал, почему вы пришли ко мне за финансовой поддержкой?» («Поле битвы — Достоевский»). Но подобная балансировка — штука нехитрая.

<sup>3</sup> Кувалдин Юрий. Бодрая нога достоевсковеда. — Книжное обозрение «Ex libris НГ». Приложение к «Независимой газете», 1997, № 60, 3 апреля.

евским! А где современность, где, главное, современная литература?.. Тут, понимаешь ли, море современной работы. Мы же не вечны...» Давидсон и Егоров много говорят (примерно две трети текста — разговоры о Достоевском и о литературе вообще) — и вот до чего договариваются:

«— Нет, я вообще спрашиваю — отказываетесь вы от Достоевского?

— За сколько? — спросил Егоров.

— То есть что — за сколько?

— Ну сколько вы мне положите в месяц за отказ от Достоевского?..»

В результате проситель получает грант на книгу... о самом Давидсоне. С условием — делиться деньгами с тем же Давидсоном. Причем соглашается Егоров с *удовольствием*. Словом, оба хороши.

Один из известнейших наших литкритиков очень рассердился на это кувалдинское сочинение, даже крикнул: «Не верю!»<sup>4</sup> Цитирую: «Знаю... что пакости в литературоведческой среде много, но она *другая*. А еще знаю, что Кувалдина вся эта «натура» мало волнует. Ему про Достоевского надо сказать. Про паскудные толстые журналы. Про заморозивших литературоведов (попалась на глаза пара свежих книжек), треклятый постмодернизм и скоропортящуюся критику. Про старые и новые времена. Сказал. Поверить невозможно, даже если о чем-то думал сходно. Мешают два выдуманных монстра, что кувыркаются на столь же придуманном поле битвы».

Ну, теперь по порядку. Критик, конечно, прав: литературоведы наши гадки, но иначе. Доводы его убедительны, но, увы, как-то неуместны. Во-первых, я не уверен, что повесть Кувалдина написана для читателей, доподлинно знающих, какие такие литературоведы бывают «на самом деле». Большинство — ни с чем сравнивать не будут и поверят скорее Кувалдину.

Во-вторых, что это за упрек: два **ВЫДУМАННЫХ** монстра, **ПРИДУМАННОЕ** поле битвы?.. А какие же еще? Конечно, «момент выдумки необязателен для литературы» (Лидия Гинзбург), но у нас-то речь заведомо идет о художественной прозе, о fiction, то есть о литературе *вымысла*.

В-третьих, понимая всю двусмысленность сравнения, замечу, что и таких помещиков, как в «Мертвых душах», тоже не бывает. Вернее.. не бывало; теперь — после Гоголя — «бывают». Бунин ругался, что никаких таких вишневых садов в русских усадьбах не было. Конечно, не было. Но кому это сегодня важно, что — не было? Не было сада — и стал сад. Вот уж, буквально, — не вырубись топором.

Да и вспомним наиболее известных литературных персонажей — *монстры*, они, как правило, из самых живучих. И у Кувалдина, как бы ни старался он перед нами выговориться, только они, Давидсон и Егоров, и запоминаются, просто стоят перед глазами. (Чуть было не сказал: стоят как живые. Или лучше: как неживые?) Чего же еще? Ну, по совести: чего же еще можно требовать с художника?

А разговоры? Что разговоры? Сказано — вода.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



### «ГОВОРЯ НЕНАУЧНО...»

С. С. Аверинцев. Поэты. М. Школа «Языки русской культуры». 1996. 365 стр.

**Н**е мне бы писать об этой книге, открывающейся литературным портретом Вергилия, не мне бы о ней судить. Ведь не угнаться мне и за осьмнадцатилетним недоучкой, кто знал, хотя не без греха, из «Энеиды» два стиха; я только и могу припомнить «два стиха» из совсем другой «Энеиды»: «Эней був парубок моторний / І хлопць хоч куди козак», — той, что входила в школьную программу на моей родной Украине. (Впрочем, травестия Котляревского, имеющая много до-

<sup>4</sup> Немзер Андрей. Из Чехова нам что-нибудь. — «Сегодня», 1996, № 156, 29 августа.

стоинств и столь значимая для украинской культуры, прекрасно иллюстрирует мысль Аверинцева о том, как, учась у Вергилия, бок о бок прожили с ним два тысячелетия самые разные народы и литературы.)

Не мне бы писать... Если бы не твердая уверенность, что книга адресована таким, как я: не тем, кто в познаниях приближается к ее автору и способен почитительно-трезво (или непочтительно-дерзко) оценить их диапазон и новизну, а тем, кто напрягает слух, чтобы расслышать авторскую «весть».

В заглавие этих заметок вынесена одна из многих как бы оправдательных оговорок, которыми Аверинцев оснащает свое предисловие и дальнейшее изложение. Он, видимо, извиняется перед научным сообществом за то, что прибегает к таким средствам портретирования своих героев, кои в сфере даже гуманитарного знания (после ОПОЯЗа на десятилетия вперед заряженного стойким позитивистским импульсом) могут быть сочтены слишком вольными и недоказательными, — прибегает к «мазкам» (его слово) сравнений и метафор, к внушающему воздействию афоризмов, к неожиданным переключкам с удаленными от прямой темы культурными фактами.

Потребность в извинениях за отлично читающуюся прозу, обладающую, при тщательной выверенности микроанализов и надежности культурфилософской подкладки, всеми достоинствами художественной эссеистики, — потребность в этом (даже чуточку малодушная, мне показалось) характеризует не саму книгу, а слегка двусмысленное положение автора в ученой среде. Да-да, этот славный византист, семитолог, античник, медиовист, эта наша филологическая знаменитость — в кругу собратьев по научному делу он всегда оставался и остается неуловимо чужим среди своих.

Он никогда не сочинял монографий — таких, где «разрабатываются проблемы»; он щедрой рукой заседал «проблемами» компактные тексты и печатал их где придется — от совсем непрофильных журналов вроде «Юности» до профильных, но экзотически малотиражных сборников; а уж потом, если тогдашняя жизнь позволяла, складывал их в книги. Единственное исключение — его юношеская диссертация о Плутархе; ну а недавно переизданная «Поэтика ранневизантийской литературы» — тоже сумма очерков (конечно, не механическая). Два новых издания: то, о котором речь, и другое, вышедшее в том же году в том же месте, — «Риторика и истоки европейской литературной традиции» — опять-таки собрания разновременных и отчасти разножанровых очерков, выступлений, предисловий — «пестрых глав», сближенных внутренней логикой. (Заодно напомним, кто герои этих глав в рецензируемой книге: три поэта античной и раннесредневековой древности — Вергилий, Ефрем Сирийский, Григорий Нарекаци; четверо русских — Державин, Жуковский, Вячеслав Иванов, Мандельштам; трое западноевропейских — Брентано, Честертон, Гессе.) «Риторике...», должно быть, назначено служить сугубо научным контрастом отбившимся от науки «Поэтам». Но и там Аверинцев сопровождает уже знакомой нам оговоркой («давняя попытка в несколько неакадемической манере») свою чуть ли не самую знаменитую статью «Греческая „литература“ и ближневосточная „словесность“», которой, помнится, при ее появлении в «Вопросах литературы» зачитывались все подряд — от любознательных бабюшек до студентов-технарей.

Крайняя невыигрышность для научного реноме: прямо-таки взывающие к систематическому отслеживанию заметы ума Аверинцев бросает мимоходом, словно рассчитывая, что эти миниатюрные клады подберет кто-то другой. И такие сюрпризы относятся к самым разным областям культуры и духа.

Натыкаешься, например, в статье об армянском молитвеннике и поэте Григории Нарекаци на крошечный этюд о его перечислительных пассажах, которые, в принципе незавершимо, «разматываются, как нить, разворачиваются, как тонкая ткань, струятся, как река», — и заодно узнаешь, что такова стилистическая константа средневековой литературы «от Атлантики до Месопотамии и от Августина до Вийона» — важнейшее типологическое обобщение в одной строке.

Или: сопоставление всеобщего «я» в поэме-молитве и индивидуального «я» в стихах поэтов Нового времени (сюда б еще добавить «я» песни, фольклорной либо за нею следующей, — каковое тоже включает в свой объем личность «каж-

дого», а не только автора-слагателя). Наблюдение, основоположное для понимания лирики.

Или: классификация переводчиков на тех, кто видит в оригинале стихийное явление природы (Пастернак), тех, кто обретает в нем идеальный объект служения (Гнедич), и третьих, чувствующих неосуществленную потенциальность оригинала и реализующих ее (Жуковский), — настоящие пролегомены к теории перевода.

Или — в статье о Брентано — точнейшая из мне известных формула совершенной стихотворной речи, когда «фоническое fortissimo с безошибочностью реакций живого организма отвечает смысловой и эмоциональной эмфазе»; формула, которая сопровождается таким анализом ритмико-смысло-звуковых соответствий, какой не встречался со времени «Проблемы стихотворного языка» Ю. Тынянова (только без стилизованной сухости этой тыняновской книги).

Или — перебрасываемся к совершенно другим горизонтам мысли — характеристика культурпротестантизма как «снятия» (и, конечно, «сглаживания») христианства в культуре (статья о Гессе; острые замечания о том, почему Манделштам крестился именно в «христианскую культуру»). Из той же сферы: неожиданное типологическое сопоставление религиозных подвижников-обновителей, оставшихся в лоне Церкви, — Франциска Ассизского, Григория Паламы, Нила Сорского, Григора Нарекаци в их двойственном, сердечно-милующем и духовно-неприемлющем, отношении к еретическим исканиям вальденсов, богомилов, стригольников, тондракитов — современников каждого из них. Продуктивнейший «религиеведческий» трактат в одном абзаце...

Можно было бы, беззлобно пародируя известную формулу, сказать, что Аверинцев мыслит «гениальными догадками», если бы за догадками не ощущалось несомненное понимание всего, что из них может проистечь, всех их импликаций, порученных уже заботам читателя, — догадливость и специфически научный азарт требуются именно от него, а с автора довольно «сега сознания».

Однако «ненаучность» — разумею: вненаучность, метанаучность — заключается все же в другом, куда более важном. Какова бы ни была четкость всех этих познавательных экскурсов, не научная методология, а экзистенциальный заряд ведет за собою изложение. Для корпорации наукопоклонников это, конечно, самое настоящее предательство — подмена цели при «лукавом» использовании научно-ответственных средств. Для прочих смертных — возможность соприкоснуться с определяющими свойствами творческого духа, чьими сосудами и представлены поэты. «Поэты — они такие», — Аверинцев дважды на страницах книги позволяет себе повторить этот не то печальный вздох, не то восхищенный возглас, не то задорный выкрик. Простодушную фразу — скажем, у М. Гаспарова представимую разве что в его несравненной «Занимательной Греции», написанной как бы шутя. Но Аверинцев-то здесь совершенно серьезен.

Тут я прибегну к аналогии с его собственными рассуждениями, высказанными по другому поводу. В работе о Ефреме Сирине он поясняет разницу между поэтикой пророческой инспирации и поэтикой собственно литературной акции: в первом случае творец находится внутри общего с его темой сакрального пространства и не может, не должен подниматься над ней, структурно ее упорядочивая, ибо «целое ему не принадлежит»; во втором случае сочинитель, возносясь над непонятым целым, созерцает его план и соотносит с ним частности. Вопрос о научности здесь вроде бы ни при чем, но меня, надеюсь, поймут, если я скажу, что литературная ориентация Аверинцева ближе к первому варианту, чем ко второму. Поэты для него — герои в прямом смысле (то есть носители особого рода героики), и он находится в общем ценностном пространстве с ними — не исследователь, сколь бы ни был внимателен к анатомии стиха и поэтического образа; не судья, сколь бы ни был пронизателен в уловлении психологических мотивов. Но — собеседник.

Все тексты, пускай и разнородные, растянуты на «остриях» (употребляя слово Блока) никак не дефиниций, а экзистенциалов. Вот эти словесные опоры: «судьба», «весть», «осанка», «жертва», «честь», «поэтическая вера». Несовместимость этих слов, внятных лишь за счет заключенной в них гипнотической суггестии, несоразмерность их с миром положительной науки — скандальна. Но они по-



ставлены под ударение не в силу психического каприза или сентиментальной прихоти. Тут снова не помешает аналогия. В статье о своем любимце Вячеславе Иванове (влечение, которое я бессильна разделить) Аверинцев замечает, что лишь символы, имеющие онтологический, бытийный корень, способны образовывать своего рода структурную крепь, в противном случае это будет перемигивание случайных соответствий, осаждающих индивидуально сознание. Так вот, у Аверинцева тоже все эти неопределимые константы покоятся на фундаменте, не побоюсь сказать, жизненной сути, постигнутой в ходе долговременной духовной работы, — и потому образуют как бы связную кристаллическую решетку.

«Судьба» поэта не равна ни его эмпирической биографии, ни корпусу оставленных им произведений. Поведение в повседневной жизни едва ли не играет для поэтов «роль черновика», замечает Аверинцев; черновик многое объясняет в чистовике (исходные намерения, поиски позиции, поиски слова), но не может объяснить главного: чудесного претворения того, что поэт «хотел сказать», в то, что «сказалось». «Хотел сказать» — поле для научного исследования; «сказалось» — тут привилегия за слушателем, за «неведомым собеседником», он-то и постигает «судьбу» — немолкнувшее гармоническое эхо житейского черновика.

Но вернемся еще раз к несколько загадочной формуле, приведенной выше. Аверинцев вовсе не намерен утверждать, что поведение поэта (по крайней мере такого, который годится ему в герои) подчинено сознательной стратегии во имя построения собственного образа, — то есть далек от того, что говорит А. Жолковский об Ахматовой и на чем фактически настаивает Ю. Лотман в известной биографии Пушкина. Нет, поэт не перекачивает жизнь в слова, а платит за слова жизнью — может, сам того не желая, но будучи к тому готов. Потому-то в книге Аверинцева так акцентированы места, повествующие об умолкании ее героев, о полосах безмолвия и бегства от слов (цветаевское «прокрасться...», припомненное в связи с временным молчанием Брентано), об отказе от поэзии как занятия, не отвечающего всей глубине жизненного предназначения (Вергилий, пожелавший уничтожить «Энеиду», как Гоголь свою поэму), о теме «обреченности певческого горла» (у Мандельштама). Молчание входит в «судьбу» поэта не биографической подробностью, а творческим фактом, косвенно удостоверяя, что поэзия для поэта не идол, и этически сближая его с «пророком», говорящим не от себя и не по своему произволу. Образ-символ «судьбы поэта», создающий вокруг себя некое магнитное поле, позволяет Аверинцеву проложить путь между сциллой «биографического метода» и харибдой «внутрилитературного ряда».

От «судьбы» как отпечатка поэта в анналах культуры и, быть может, «на стеках вечности» идут маршруты в одну, более чувственную, сторону — к его «осанке» или «повадке», и в другую, более интеллектуализированную, — к его «поэтической вере» и к его «вести». (Условная топография моих разграничений, разумеется, имеет единственной целью выявить подход, отличающийся от научного, хотя и не отрицающий прав науки.)

«Осанка» — это поэтический жест, явленный лексически и ритмически (Мандельштам говорил, что размеры — они Божьи, ритм же принадлежит каждому поэту лично); это индивидуальная пластика, описываемая у Аверинцева «мазком» метафоры (а как иначе?). Так, он говорит о бодрой осанке, прямо-таки военной выправке стихов Державина, и, конечно, «осанка» эта связана с «вестью» поэта о небесном Пиротехнике, создавшем для нас алмазно блистающий мир, и с «поэтической верой», у Державина очень простой: «Богов певец / Не будет никогда подлец». (Куда проще, чем бездонная максима о гении и злодействе! — но, кажется, эти слова еще больше, чем пушкинские, годятся для эпитафии к книге о судьбах поэтов. Сравним с вердиктом, относящимся к Нарекаци: «В основе его поэзии не может лежать душевная раздвоенность отступника, спасающего свою жизнь».)

«Поэтическую веру» Аверинцев нигде не редуцирует к вере религиозной или философской, хотя учитывает и то, и другое, коли есть повод. Иначе говоря, ему чужда самомаleastшая идеологизация «поэтической веры» (ибо и религия, и философия, не принадлежа к миру идеологий, по отношению к поэзии все же «идеологичны»). Религиозное чувство Жуковского обычно — и небезосновательно — со-

относят с влиянием немецкого пиетизма, но насколько тоньше и индивидуальнее оно характеризуется через собственно поэтическую мистику запредельной тишины, привнесенную Жуковским в перевод шиллеровского «Рыцаря Тогенбурга»; сам по себе этот этюд, сравнение обертонов оригинала и перевода, — одна из жемчужин книги Аверинцева и триумф его стихового слуха.

Когда автор описывает католические экстазы Брентано и католическое здравомыслие Честертона, то ударение делается не на поисках или обретении конфессиональной принадлежности, а на том, как вибрирует при этом поэтический нерв. Брентано верит, хочет верить в неповрежденную цельность где-то за порогом его метаний, и туда влечется исступленная магия его стихов (умеет же автор дать ощутить эту магию даже мне, с трудом разбирающей немецкие строки!). Честертон, избавляясь от уайльдовской и пейтеровской истонченности, находит для себя культ рыцарства и культ традиции, то есть такую веру, которая как раз и превращает его в поэта.

Для Аверинцева каждый поэт — мыслитель и вероисповедник, однако ведóмый исключительно органикой своего пророческого чутья (поэты — они такие; а вот Вяч. Иванов — не такой; убейте меня, но его стихи иллюстративны по отношению к его мощным умствованиям культуртеоретика). Если Аверинцев, говоря о внимании раннего Мандельштама не столько к вещам, что было бы простой чувственной реакцией, сколько к удивительному факту их бытия, вспоминает в параллель о том же понятии у Хайдеггера или о подходах к нему Гуссерля, это не более чем нотабене, по-своему любопытное. Но когда он пишет: «Согласно поэтической вере Мандельштама, очень глубоко чувствующего кровь...» — это поражает, как вспышка, осветившая притемненный ландшафт.

Тут-то возникает мотив жертвы: жертвенной крови и «личной готовности быть жертвой». Даже не «мотив», а лейтмотив, поскольку централен он (что понятно) не только при прочтении Ефрема Сирина и Григора Нарекаци, создателей христианского поэтического молитвословия, но и в главном для книги очерке о «поэте римской судьбы» Вергилии. «Связь времен, окупаемая жертвой и стоящая на жертве» — таким предстает нетускнеющий смысл «Энеиды», и все замечательное, что сказано здесь про древнеримскую поэму: о юношеской поэзии подвига, о двойном бремени отцовства и сыновства, о естественной педагогичности классического образца, — сказано в поле и в пределах этого главного смысла. Жертвенности Энея, исполняющего возложенную на него провиденциальную миссию, под стать душевный мир самого латинского автора, «глубокое страдание, лежащее в основе этой поэзии», «глубокая серьезность его нравственного темперамента» — вот как интимно говорится о человеке, жившем две тысячи лет назад, но запечатлевшем свой «темперамент» и еще — свою «несравненную деликатность» — в песнях эпической поэмы. Вот она, «весть»: Аверинцев пишет о Вергилии, как получатель об отправителе.

В книге — на мой слух — три центра, представляющие поэтов как героев собственной судьбы, три героизированных образа: Вергилий, Мандельштам и Брентано. Но перед этим последним Аверинцев, столь малочувствительный к чарам Блока, рассыпавший по страницам своих очерков множество пронизательных и отрезвляющих замечаний о европейском романтизме, терпимый к неоромантическому напору Цветаевой скорее по инерции тех лет, когда она была запретным плодом, чем по склонности, — перед Брентано он попросту капитулировал, сдался неотразимому волхвованью немецкого певца (и это вызывает у меня слегка злорадное торжество: поэты, они такие, а лирики — в особенности). Вергилий же и Мандельштам — сродни написавшему о них именно «серьезностью нравственного темперамента»; это его герои в силу осознанной, духовно проверенной тяги.

По-своему замечательно, что существенно христианский этос вольной жертвы воплощают у Аверинцева больше, чем другие, «язычник» Вергилий (и именно как автор «Энеиды», а не знаменитой четвертой эклоги, содержащей, по старому церковному толкованию, пророчество о рождении божественного Младенца) — и Мандельштам, все-таки не принадлежащий христианству в том окончательном

смысле, в каком это хотелось бы видеть его вдове или некоторым конфессионально ангажированным его исследователям.

Итак, Мандельштам — и жертва, «внутреннее согласие на жертву, одушевлявшее его поэзию с давнего времени». И рядом — его «честь»: высоко откинута голова и «неподкупная мысль».

Мандельштамоведение сейчас растет по экспоненте, угрожая объемами догнать пушкинистику, и я не возьмусь определять, какое место в этой массе далеко не полностью известных мне исследований занимает свободный очерк Аверинцева, заверченный к 1990 году. Предполагаю, что в ряде зорких наблюдений и умозаключений ему принадлежит первенство. Например, это мысль об антиутопическом (и соответственно антисимволистском) настрое в акмеизме Мандельштама и Ахматовой — рожденном вовсе не жаждой обмиршения, а, напротив, целомудренным протестом против девальвации священных слов в устах «мистагогов» и «теургов». Или — образцово исчерпывающая характеристика поэтики мандельштамовских «Тристей»: «единственное в своем роде равновесие между старомодной „архитектурной“ стройностью и новой дерзостью семантического сдвига... между прозрачным смыслом и „блаженным бессмысленным словом“».

Нерв очерка, однако, в другом. В том, что этого именно поэта — но и Поэта как такового — делает героем жертвенная верность своей «вести» (опять же, тут сходство с пророком — не в предвидении будущего, а в готовности, «себя губя» и даже «себе противореча», высказать предназначенное). Не в поступках дело, хотя за Мандельштамом числятся и всем известные «поступки» (отчаянно-дерзкое уничтожение расстрельного списка, фактическое обнародование в интеллигентском кругу самоубийственного антисталинского гротеска, «безнадежная тяжеба о собственной чести», — и вообще, он «абсолютно прямо шел навстречу самому главному страху»). И не в неизменной гражданственности его многострунной поэзии, пожелавшей, как и сам поэт, «жить исторически», жить в истории (Тютчев, Шенье, Данте — вот три гражданственных поэтических имени, осеняющих, если воспользоваться делением М. Гаспарова, «три поэтики» Мандельштама).

«Весть» Мандельштама (быть может, Аверинцев так прямо не формулирует, но почудилось мне это благодаря ему) — она в том, что в нашем веке холокостов и людских гекатомб это был фехтовальщик за честь человечества, как его Ламарк (тоже хрупкий — «маленький») — за честь природы. Ахматова в своем «Реквиеме», и не только в нем, оплакивает погибающих и умученных. Мандельштам — скорбит о чести, о личном достоинстве, своем и каждого из них, о том, что загублено под любой черепной коробкой, под этим «чепчиком счастья». Что ж, может быть, таково естественное отличие мужского реквиема от женского... И присутствует все это не в намеренной «стратегии» Мандельштама, а в сужденной ему поэтической речи — мужество же состояло в том, чтобы ее не исказить.

Одна из важных и глубокомысленных статей поэта называется «Пшеница человеческая» (1922). Заглавная аллюзия на предгогофские слова Иисуса апостолам в Евангелии от Луки (22: 31): «Се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» — не играет прямой роли в содержании статьи, связанном с символическим хлебом, которые выпекают история и культура из человеческих «зерен»<sup>1</sup>. Однако нельзя не учесть смысловой вес этого безусловно запомнившегося Мандельштаму евангельского стиха в его поэзии — всеми фибрами противящейся профессиональным рекомендациям дьявола сеять человеческие жизни в пустоту и безымянность.

Ни у одного из поэтов (разве что у Пушкина в отрывке о скачущем на свидание молодом опричнике) так не «разработана», простите за этот оборот, семантика казни, надругательства над достоинством человеческого тела — тут и колесование, и потопление, и обезглавливание, и-темницы, где узника держат,

<sup>1</sup> Кстати, специализирующиеся на Мандельштаме филологи при дешифровке его стихов часто придают слишком много значения невольным реминисценциям, обрывкам и отголоскам «чужих слов», полнящим слух любого поэта, особенно в постклассическую эпоху. Экспериментальная иллюстрация: когда молодой Мандельштам писал: «Звук осторожный и глухой / Плода, сорвавшегося с древа», — в его ушах, думаю, лексически отзывалась пушкинская строка: «Как с древа сорвался предатель ученик...», но это не значит, что в четверостишии, открывающем «Камень», хотя бы отдаленно сквозит тема предательства.

как зверя (последнее — в просталинском стихотворении!). И ни у одного нет столь полного отождествления с казнимыми и убиенными, что диктуется импульсивным поэтическим заступничеством в гораздо большей степени, чем предчувствием личной участи и смирением перед ней. «Согласно пушкинской поэтической вере, унаследованной Мандельштамом, поэзия не может дышать воздухом казней», — пишет Аверинцев. И поясняет: «Дело не в морали, дело в поэзии» — так сказать, в поэтической «физиологии». Но она, поэзия, только этот воздух и вдыхала, воздух своего времени, а выдыхала «ясность ясеневую, зоркость яворовую» — опровергая эпоху<sup>2</sup>.

Можно сколько угодно спорить, чья это переключка в последней главке «Стихов о неизвестном солдате»: призывников ли Первой мировой (как, очевидно, считает Аверинцев) или будущей глобальной войны за победу Интернационала (как доказывает М. Гаспаров, — но не слишком ли стары даже для такого коммунистического армагеддона призывники, основательно разменявшие пятый десяток?) — или же покорных паспортному режиму ссыльных (как комментировала Н. Я. Мандельштам), или этаплируемых зеков (как кажется из сегодняшнего нечеткого далека). Но я, например, не могу понять это ключевое место иначе как смотр поколения с «обескровленным ртом», восставшего из безвестных братских могил (что-то подобное «Ночному смотру» Цедлица — Жуковского): точная дата рождения заменяет каждому отнятое имя, они все не потеряны, все на счету. Судьба и весть Мандельштама не просто разделяют, но преодолевают «окончательную, ничем не прикрашенную анонимность человеческой участи» в двадцатом столетии.

Думаю, книгу Аверинцева каждый прочтет по-своему<sup>3</sup>.

Одних увлекут молниеносные историко-культурные наблюдения, образцы которых я уже приводила. Любого вполне хватит добросовестному аспиранту (коли есть у автора таковые) на два-три диссертационных года. Не удержусь напоследок еще от примера: абсолютно серьезная роль каламбура и звуковой игры в средневековой поэзии, каковые средства, временно переключав в арсенал шуточно-юмористических, вернули свою старинную функцию в обновленных поэтических системах (Брентано или Цветаева с ее «минушей минутой»). Чем не перспективная тема, чреватая важными выводами в сфере философии искусства?

Другие увидят в этой книге интересный им личный творческий портрет автора со всеми его пристрастиями и идиосинкразиями. Скажем, с деликатно-неявным набором «антигероев», противопоставленных тому или иному «герою»: Вяч. Иванов — Блок, Брентано — Гейне, Гессе — Томас Манн.

<sup>2</sup> Спорное для многих место статьи Аверинцева — оценка мандельштамовской «оды» Сталину и всего просталинского цикла как искушения «поддаться иллюзорному соблазну, использовать свой дар, чтобы вернуться к жизни». Его оппоненты — И. Гурвич в интересной книге «Мандельштам. Проблема чтения и понимания» (Нью-Йорк, 1994) и М. Гаспаров в своих последних мандельштамовских штудиях — считают эти стихи плодом приятия Мандельштамом «новой жизни», плодом столь же органичным, как и песнь обновляющимся среднерусским просторам в «Воронежских тетрадах». Осмелюсь высказать и свое мнение.

Эти стихи, по своему инструментарию узнаваемо мандельштамовские и все-таки мертворожденные, были результатом не судорожного использования дара вопреки назначению или коренной смены взглядов. Здесь ярчайший пример той шизофренической болезни интеллигента в тоталитарном государстве, которую Оруэлл позже назовет «двоемыслием», имея в виду не лицемерие, а нечто совсем другое. Аверинцеву, в силу воспитания и личных данных, эта болезнь осталась незнакома, я же успела испытать такую пытку раздвоением (ну каково быть «отщепенцем в народной семье!»), излечившись только после известного доклада Хрущева.

Что касается «искушения» и «отступничества» Мандельштама, то, по моему разумению, оно совершилось лишь однажды — не тогда, когда он с искренним двоемыслием писал своей замысловатой дифирамб, а когда в июльских «Стансах» 1937 года без видимого душевного смущения констатировал: «Вот «Правды» первая страница, / Вот с приговором полоса» (речь идет о Якире и Тухачевском), — отвечая порывом «оборонять» вождя. И это тот, кто прежде с неслыханной дерзостью добивался от Бухарина отмены одного из смертных приговоров! О горе, среди стихов Мандельштама это стихотворение хронологически значит последним.

<sup>3</sup> А. Архангельский в своей рецензии на «Поэтов» уже описал два возможных прочтения: под знаком недавнего прошлого и под знаком «текущего момента» («Дружба народов», 1997, № 5).

Третьи рады будут попасть в «мир мудрых мыслей», увлекутся россыпью афоризмов, поясняющих диалектику человеческой культуры («мятеж против образца, еще больше, чем следование образцу, обнаруживает, что уйти от образца решительно некуда») или основы миропорядка («бытие хорошо не тем, что оно идет к лучшему, а тем, что оно противостоит небытию»). Меня, например, заставило вздрогнуть определение отчаяния — это *сомнение в том, что страдание имеет смысл...* Архангельский расслышал в этой манере влияние «остроумного зануды» Честертон — может быть; но мне помнится, в очень давних лекциях еще не «честертонизированного» Аверинцева то же самое составляло часть их шарма.

Четвертые обнаружат, что книга «средиземноморского почвенника» (так однажды в беседе назвал себя ее автор) — в сущности, очень русская книга; что русская культура для него родной дом, в какие бы дали он ни путешествовал, — и потому рядом с Вергилием возникает Ахматова, рядом с Брентано — Цветаева, рядом с Гессе — Андрей Белый. А заодно — отзовутся сердцем на слегка ностальгические пассажи о «тайной свободе» подсоветских времен, когда имена русских поэтов были ее паролями и значили много больше, чем сегодня.

Ну а для меня (что, надеюсь, уже выражено выше) — это книга об отличительном духовном составе существа, именуемого Поэтом. И в моих глазах тут был бы уместен подзаголовок, которым снабжена магистерская диссертация Владимира Соловьева. Получилось бы: «Поэты. Против позитивистов».

Ирина РОДНЯНСКАЯ.



## КОММЕНТАРИИ К СУДЬБЕ И ЭПОХЕ

Г. Адамович. *Одиночество и свобода*. Составитель, автор предисловия и примечаний В. Крейд. М. «Республика». 1996. 447 стр.

Г. Адамович. *Критическая проза*. Вступительная статья, составление и примечания О. А. Коростелева. М. Изд-во Литературного института. 1996. 384 стр.

Девяносто шестой, вовсе не юбилейный для критика и поэта Георгия Адамовича (1892 — 1972) год представил его российскому читателю в полный рост. Увесистый том, изданный «Республикой», включил в себя книги критической прозы «Одиночество и свобода» и «Комментарии», а также статьи и эссе, письма, рассказы и стихотворения; к этому присовокуплен небольшой текст «Разговоров с Адамовичем» Юрия Иваска. В сборник же, выпущенный Московским литинститутом им. А. М. Горького, вошли рецензии и статьи Адамовича о литературе Советской России 20 — 30-х годов. При сопоставлении этих двух собраний оказывается, что совпадений в них не так много. Одна жизнь — и два тома. Тема для рецензента почти неподъемная. Поэтому оставим, пожалуй, в покое стихи. Отошлем интересующихся биографическими сведениями к хронике жизни и творчества Адамовича в литинститутском издании, а тех, кто ищет его место в культурной жизни, наведем на статью Крейда. Займемся критической прозой.

Итак, Адамович вернулся в Россию. В Россию, которую никогда не терял из виду, хотя держал ее скорее в душе, чем в актуальных пространстве и времени.

...Вернулся? Но разве может куда-то «вернуться» критик? Писатель, поэт, философ сочиняют послание не только современникам, но и потомкам. Критик живет сегодня. Он как редко кто погружен в текущий литературный процесс, замкнут в нем — и немислим вне своей среды и своей эпохи. Потом, лет через пятьдесят — сто, можно собрать и перепечатать тексты — и вот это случилось. Но, вырванные из актуального контекста, они теряют главное — непосредственную связь с тем единственным и неповторимым моментом бытия, который вызвал их к жизни. Они лишаются главного смысла, становясь только памятником минувшей литературной и культурной эпохе. Когда перечитываешь многое из того, что написа-

но было Адамовичем за целую жизнь, возникает ощущение: критик и сам постепенно начинал чувствовать себя не только (а в послевоенные годы и не столько) оформителем моментальной реакции на книжную или журнальную новинку, но — носителем и хранителем прошлого. Дооктябрьский Петербург и русский Париж; классики и антики серебряного века и эмиграции; атмосфера эпохи и воздух культурного круга, встречи и разговоры, манеры и афоризмы, человек с его духовным опытом, творческим ресурсом и проблематичным продуктом литературного труда, — когда Адамович начинает говорить на эти темы, он пытается связать в единое целое способность критического суждения с живыми воспоминаниями о минувшем. Отсюда — настойчивое стремление к выражению окончательного итога, к резюмированию культурных эпох, к созданию суммарных формул литературного процесса и завершенных литературных портретов. Это и свидетельство современника — и четкая оценка случившегося. Некоторые из таких резюме озадачивают неожиданностью суждения, основанного на случайных, казалось бы, впечатлениях. Злое христианство Мережковского или, например, лжепатриотизм Шмелева — к этим приговорам не всякий отнесется спокойно. Возможно, сгладить эту остроту мнений призван был популярный приговор по поводу самого Адамовича: критик-интуитивист, импрессионист. Поэт в критике, капризный мастер вкусовых оценок. Так — и не так. В своих суждениях он действительно обычно скорее полагался на свободное вдохновение, чем искал опору в строгой, неторопливо и тщательно продуманной понятийной системе. И ученый-пурист вроде того же Альфреда Бема, о котором недавно писал в «Новом мире» А. Зверев (1997, № 2), имел некоторые основания недолюбливать парижского волюндумца. Но не попробовать ли высмотреть в «бессистемности» Адамовича логику, в его пресловутом «нигилизме» по отношению к утвердившимся понятиям — своего рода апофатический метод в критике? Попытаемся осознать, что за сиюминутным здесь, бывает, просматривается дальний план, внятная перспектива вполне отчетливых идей.

Вообще об Адамовиче-критике сказано, по сути, немного. Даже самые главные вопросы остаются открытыми. Почему, например, он лет двадцать весьма внимательно читает то, что доходит на Запад из Союза ССР? «Наша историческая участь, — писал как-то Адамович, — случилась так, что беспристрастное для нас слишком труднодоступно: слишком много воспоминаний, счетов, обид — короче, слишком много боли! Но потерпевший, «истец» не может быть одновременно судьей». Зачем, однако, берedit старые раны, травить душу? Что-то должно мотивировать острый интерес русскоязычного парижанина к тем литературным осинам, которые произрастают далече от берегов Сены. Не только же литературная поденщина. Не сам по себе язык: «вопреки всем умствованиям и бредням последних лет нельзя ценить и любить «язык как таковой», ради его звучности или красочности, вне и помимо его достоинств в передаче мыслей, чувств, вообще содержания». Не воспоминания литературной молодости. Не только инерция памяти. Не хватит энергии старых привязанностей на многолетний старательный труд чтения и рефлексии... Можно задать и более общий вопрос. Что связывает Адамовича с покинутой им... как бы это сказать... территорией? Россия — не по названию, а по сути, — она, возможно, вся, без остатка, унесена с собой эмиграцией на подошвах башмаков. В СССР ее, может статься, вовсе не осталось. Возможно даже, что ее не осталось на тот момент — нигде. «Мы стоим на берегу океана, в котором исчез материк... если бы даже домой мы еще и вернулись, то прежнего своего «дома» не найдем». «Проиграли Россию». «От распущенности и слабоволия, от раболепия и заносчивости, от лстивой лжи и самодовольства, от жестокости и слезливости, — отвыкнув от всего этого здесь, на все-таки чистом воздухе, на воздухе, все-таки очищенном свободой, трудом, историей, можно жить «воображаемой Россией» — той, которая была или которая будет». Что «будет» — вера в это с годами не отмирала. Но годы же заставляли и отказаться от надежд на то, что случится такое на его веку. Тогда как же?.. Попробуем разобраться хотя бы с этим вопросом.

Критик пытается внести в замороженный мир толику здравого смысла. Он и вживается в шкуру совписателя, и дистанцируется от него, чтобы что-то понять и объяснить. Это диалектика совпадений и отталкиваний, нащупывания и потери

дистанции. Характерное суждение есть у Адамовича о сказе в литературе СССР 20-х годов. «Теперешний беллетрист, — пишет он, — передает роль повествователя какому-нибудь вымышленному лицу и как бы от его имени пишет. Большой частью лицо глуповато. Это дается понять читателю с ясностью достаточной, чтобы не было недоразумений. Глуповатое лицо рассказывает о событиях смешных совершенно серьезно, о вещах важных или трогательных с усмешечкой. Читательской догадливости предоставляется исправить положение... Глупа ли жизнь, или глуп рассказчик — не знает иногда и сам писатель». Критик видит здесь попытку уклониться от общепринятой авторской ответственности за изложенное, чтобы окольным путем, не от себя, а от «дурачка Ивана», сказать миру правду или хотя бы выразить какие-то теневые чувства от не вполне удовлетворяющей жизни. О Федине замечено: писатель, сохранивший требовательность к себе, правдивым, однако, быть остерегается — и «его сознание ищет примирительной формулы и находит ее в полушутливом сказе». Это, конечно, взгляд отчасти внешний, не до конца схватывающий тот аспект ситуации, который связан с напывом давящих на сознание впечатлений, с нажимом эпохи и строя, принуждающих писателя отодвинуть на второй план свое, индивидуальное, — и говорить от имени и по поручению массы. Тут только один из первых приступов к более глубоким размышлениям о своеобразии литературы в СССР. Размышлениям, которые привели критика к позднее не пересматривавшемуся выводу (1936 года) о том, что советская литература не удалась. Не удалась, как парадоксально формулирует Адамович, «по какому-то малопонятному, случайному внутреннему крушению, в котором Сталин и цензура ни при чем».

Немедленно хочется возразить. Как это ни при чем? Оторвался товарищ от жизни... Но можно, пожалуй, согласиться с тем, что репрессии и гонения — это внешний сюжет, представляющий второстепенный интерес для критика. Покушается Адамович на большее. Он попытался понять литературу СССР как выражение духа времени, как специфический (пусть неудачный) опыт разрешения глобальных проблем эпохи. И вот этот-то аспект в его размышлениях особенно интересен. Из хаоса фактов критик выводит некоторые закономерности. В его концепции пафос революции и связанной с нею литературы был выражением того духовного надлома, который вполне отчетливо заявляет о себе в мире и предопределяет во многом судьбы литературного творчества не только в Москве, но и в Париже. Прислушаемся к суждениям Адамовича: верховный принцип «личности» — «принцип темный, противоречивый даже в христианстве, особенно в христианстве, где будто бы получает он свое абсолютное, чистейшее разрешение, не совсем в ладу с основными христианскими догматами (общее падение, общее искупление)»; «преодоление индивидуализма есть, разумеется, задача насущнейшая, заданная всем строем, всем развитием европейской и русской духовной культуры»... О чем это он? Об исчерпанности нововременного представления о самодостаточной, самоудовлетворенной личности, нововременной веры в совершенство человека, не связанного никакими внешними зависимостями, противопоставленного миру как субъект — объекту. Век этой личности, по Адамовичу, кончается. И причиной тому не политические перипетии (они сами — следствие), а глубинная логика исторической судьбы человечества, логика общего пути. Отзываясь на тезис Газданова «эмигрантской литературы нет», критик видит причину этого в труднорешаемых проблемах писателя в эмиграции: «если «я», предполагаемый «я», ни на кого уже, кроме себя, не могу надеяться, если я весь в самом себе, собою замкнут и ограничен, если не «я во всем и все во мне», а наоборот — тогда, конечно, решение творческой задачи возможно только как чудо, вспышка, мгновенное озарение». Уже в 50-е годы, оценивая наследство Блока, он не случайно провозглашает, что основная тема поэта, с опытом которого Адамович постоянно сверяет свои представления с бытия, — «солидарность — или, лучше, круговая порука». Для него поэзия Блока действительна, поскольку «до крайности антиэгоистична и вся проникнута сознанием ответственности всех за все». Отдельные формулировки, посредством которых критик констатирует конец индивидуальности, могут смутить. Но контекст проясняет их, связывая с сильным творческим течением экзистенциально ориентированной мысли. Не берусь, например, судить о связях Адамовича с французскими

персоналистами, но переключка, по-моему, налицо. «Вопреки твердолобым индивидуализму и идеализму персонализм утверждает, что субъект не занимается самодетством и что мы владеем лишь тем, что мы отдаем другим, или тем, чему посвящаем всю свою жизнь; и нам не достичь спасения в одиночку — ни в социальном плане, ни в плане духовном», — писал философ-персоналист Эмманюэль Мунье около того же времени.

У современников Адамович находит выражение нарастающего антропологического кризиса — пишет ли он о Блоке, Зощенко, А. Толстом, Горьком или Замiatине, — когда основной темой становится скучность жизни, ее переусложненность, бессмыслица, чепуха и чушь. В современной литературе ему слышится дыхание Судьбы — «будто сошедшей с ума, ошалевшей, бестолково шатающейся из стороны в сторону». Так отражается происходящий в сознании человека XX века распад бытия. «Темные души, потерявшие руководство и опору, бредущие наугад, неизвестно куда, неизвестно зачем». Распыление мира — итог и тупик индивидуализма.

Изначальный общий замысел советской литературы Адамович связывал именно с новым и неизбежным предметом ее вдохновения — задачей преодоления человеческого одиночества. Снова и снова критик настаивает на том, что в литературе должно обнаружить себя сознание единства мира и смысла бытия. Ему недостает в современной словесности Запада и России способности собрать распадающийся мир. На реанимацию этого умения, полагает он, можно было надеяться в советской литературе. Вот это-то и было для него манящим уроком, неизведанным опытом. Интересной эту литературу делало то, что она искала идеальный смысл случившейся революции, а писатель пытался постичь замысел совершившегося («есть ли этому оправдание, каковы за этим горизонты, обещания, цели»). И не так уж, по Адамовичу, невероятно, что литература «могла оказаться на правильном пути: в отказе от бесконечных усложнений и утончений есть и значение, и правда». «Ответы ее, «достижения» ее, обещания ее были бедны. Но вопросы ее были глубоки и внутренне правдивы». В этом поиске литература отобрала «несколько понятий, не подлежащих переоценке». Это — «общность», «связь всех со всеми перед лицом судеб, от которых «защиты нет», перед лицом стихии, времени, смерти». Это равенство и труд. «Прописи, азбука, дважды два четыре... Но, — замечает Адамович, — надо иногда и о прописях напомнить. В сложной, утонченной и богатой европейской культуре именно прописи оказались отеснены».

Но вышло иначе, «литература революции глупее самой революции». Даже, представьте, так. Революция стала выражением эпохального кризиса, литература же с ее осмыслением не справилась. К середине 30-х советская литература, по Адамовичу, кончилась. «Не оборвалась, а выдохлась». «Сейчас мы глядим этому страдающему и духовно-серьезному периоду русского творчества — вслед». Стремление к «общенародности» не вылилось в «простоту, смешанную с величием», а выродилось в «простоту», которая хуже воровства. Остались ангажемент, а вопросы больше уже никто не задает. «И могли ли мы соблазниться... безмятежным, «пресным» благополучием в толпе?» Такими формулами можно передать восприятие Адамовичем литературы в СССР к концу второго пореволюционного десятилетия. «Советская литература мало-помалу перестает интересоваться потому, что мы уже не понимаем, о чем она говорит»<sup>1</sup>...

Что же, переменялся сам народ? Здесь Адамович в основном красноречиво молчит. Вероятно, не потому, что нечего сказать, не только из добросовестного агностицизма. Есть, однако, и суждения о новом человеке в СССР. Христианский

<sup>1</sup> Теперь мы скажем, что и тогда же был андерграунд, нашему критику недоступный, как и читателям вообще. Жизнь духа не прекращалась. Адамович еще заметил Платонова, но все-таки, очевидно, не успел (во всяком случае, тогда, в 30-е) осознать смысл переоценки значения революции и всего советского эксперимента в совокупности большой платоновской прозы рубежа 20 — 30-х годов и поздних рассказов. Надо думать, размышлял Адамович и о «Докторе Живаго», этой едва ли не последней в русской литературе попытке обнаружить и позитивный смысл в революционном катаклизме. Но в двух томах об этом удалось найти только пару строк, как и о Солженицыне... Вообще складывается впечатление, что в конце жизни Адамович потерял интерес к литературной жизни СССР.



ориентир в сознании и творчестве литератора Адамовича не позволяет ему теши́ться высокомерным пренебрежением к падшему миру, к павшему человеку. Идеологические абстракции Отечества, Народа не греют больше душу, это да. Но Адамович 20-х годов знает, что «на парижских балах — все те же люди, что и в самарских степях». В 30-е... Тут он в некотором замешательстве останавливается перед явлением, которое советские писатели изображают апологетически: чувство «всеобщей государственной спайки» лишает человека свободы настолько, что условием спайки становится необходимость доноса на отца, предательства близких. Кажется, этой новой черты у советских людей даже булгаковский Воланд не заметил... Общность явно обернулась общаком, с которым уже не хотелось иметь ничего общего и который ничем нельзя было уже оправдать.

Иначе случилось с эмигрантской литературой. Эмигрантский час растянулся на десятилетия. За эти годы тема заката индивидуальности обогатилась новыми смыслами, так же как и тема триумфа общности. Слишком сложная, дробная, полная сомнений и внутренних противоречий, утонченная и неустойчивая личность рубежа веков прошла проверку и закалку, в которых более трезво и здраво определилось предназначение человека. Было и очень длительное время, чтобы просто наблюдать и размышлять в ситуации, когда эмигрантские возможности и шансы активного действия свелись к минимуму. Во второй половине века Адамович предпочитает смотреть на коллизии отношений личности и общности «без гнева и пристрастия», не доводя ее до однозначного разрешения (в этой связи характерна, скажем, статья о Василии Маклакове в томе «Республики»). Вопрос не зависит, а отдается во власть живому нравственному чутью. Он более уверенно говорит о достоинствах эмигрантской литературы и даже отдает ей явное предпочтение: «По значению своему законченная, горестная и сложная здешняя повесть, наша «патетическая симфония», доигрываемая здешним литературным оркестром, все-таки ведь была несоизмерима с бедными, однотонными звуками каких-то казарменных труб и рожков, несущимися оттуда. Слушать оттуда нечего». В эмиграции «осталась неприкосновенной личная творческая ответственность — животворящее условие всякого духовного созидания». В конечном итоге сосуществование двух литератур начинает восприниматься как противостояние. Причем такое противостояние, которое имеет «почти» (слово самого Адамовича) религиозный смысл. Литература эмиграции «сделала свое дело потому, что осталась литературой христианской» — не в «конфессиональном» смысле, а в истоках и характере вдохновения.

Однако заметим: «сделала». Сделала, пережив в 30-х годах «литературный расцвет», — и, для позднего Адамовича, пресекалась, рассеялась. Кончилась вместе с самой эмиграцией первой волны, итоги которой нередко подводит Адамович в конце пути. Он готов и в 60-е спорить с Ахматовой о смысле и ценности выбора эмигрантской судьбы. Он отдает эмиграции как культурному институту по заслугам (для него — несомненным): «Россия — понятие не географическое и уж никак не политическое: эмиграция... была неотъемлемой частью России и напомнила, сказала многое, о чем сказать было необходимо». Но эти свершения и эти напоминания для позднего Адамовича получают свое значение где-то за пределами исторического зона. Основным же сюжетом мысли отчетливой становится экзистенциальная проблема личностного самоосуществления.

Вспомним, что мы поставили задачу: истолковать насквозь субъективные, казалось бы, игры вкуса как проявление некоей скрытой закономерности. Если Адамович был так критично настроен к индивидуализму и субъективизму нововременного типа, то мы вправе ожидать, что этот критицизм так или иначе сказался и в методе критика. Или тут царят каприз и прихоть?

Повторим, что советский литературный контекст лег штрихом, подробностью в его более глобального плана концепт. Черты кризиса или даже катастрофы Адамович находит повсеместно. Неудача советской литературы оказалась для него вехой и симптомом неудачи современной литературы вообще. Об этом — известный своей парадоксальностью опус Адамовича «Невозможность поэзии». С одной стороны, «поэзия есть лучшее, что человек может дать, лучшее, что он может сказать». Но как-то вышло так, что все лучшее уже давно сказано, а новые слова и

звучат, и убеждают гораздо хуже прежних. Поиски завели в тупик. Поэзии некуда больше двигаться, и сегодня ее движение только «рассеивает мысли, разжижает чувство... и в конце концов приводит к отступничеству». «Сейчас наши лучшие стихи не пишутся, а скорее дописываются». Продолжая эти мысли, в «Комментариях» Адамович договаривает: «По самой природе своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоит только писателю возжаждать «вещей последних», как литература (своя, личная литература) начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться — и превратится в ничто». В конце такого пути «мерещится «непоправимо белая страница», после чего еще можно жить, но уже нельзя писать».

Вывод неожиданный — и ожидаемый. Однажды, задолго перед поздними рассуждениями о «невозможности поэзии», Адамович написал об Андрее Белом: «Но лучшее в нем все-таки было то, о чем он промолчал». И пояснил, что поэта можно судить «за дар слова и за уроки молчания»: «Что слова, если в них уложилось все без остатка?» Что-то главное невыразимо, вне слов, за словами. Здесь как будто промелькнул какой-то намек на исихию. Призадуматься: а не может ли быть так, что Адамович — в идеальном замысле о нем — религиозный аскет, подвижник, авва из Фиваиды, попавший в литературоцентричную Россию и поневоле, силой судьбы и среды, проговоривший ту жизнь, которую, кажется, нужно было промолчать? Такое впечатление вызывают его оговорки. Вообще не ясно, зачем он так долго возился с современной литературой для того, чтобы наконец приговорить ее к смерти. Забраковать. С его-то всегдашним знанием «тщеты искусства». При его-то очевидной и давней тяге к простоте, к этике, к толстовского колена очищению жизни от «лишней» культуры.

В своих размышлениях Адамович снова и снова выходит к этому противоречию. От культуры он идет к Толстому, к Достоевскому. Но чуть ли не одновременно идет и к культуре, к Пушкину. Человек культуры, он не хочет от нее отказываться. Не видит почему-то достаточных резонансов. И фиксирует «медленное одичание», плебейство, трусость и безграмотность духа, ставшие нормой в Москве и Ленинграде. Тут есть противоречивость, которую не объяснишь рассудком. Она подотчетна только жизни и уходит в ту глубину, где, собственно, уже теряется грань между словом и бессловесностью. Оправдание искусства, возможность и невозможность поэзии — вечный вопрос. В конце концов, и вся культура, как мы знаем после Бердяева (да и «до» него), — «не удалась». И особенно — культура русская. Но ведь это не повод сбрасывать культуру с корабля, уходящего в вечность, не так ли? Пожалуй, Адамович сознавал «трагическую», бытийную неразрешимость этих вопросов в плоскости здешнего бытия. Он ищет примирения Афин и Иерусалима; снова и снова говорит о правде церковного компромисса с историей, давшего христианскую культуру, как об исторической необходимости. И его творческая позиция, его суждения и формулировки, выявляют сосуществование — и непримиренность этоса и эстетизиса, речи и безмолвия.

Отсюда очевидные особенности его критического метода. Он идет не от теории, не от схемы. Истина угадывается на ощупь. Интуитивно. Так он берет мир, так «анализирует». «Мне вовсе не кажется необходимым разъяснять, растолковывать, до конца «разжевывать» каждую мысль. Скучно слушать речь излишне обстоятельную», — пишет он. И, заметим, не ошибается насчет себя: в кратких, поллафористических суждениях он гораздо интереснее, чем в длинных статьях, где пытается-таки — не слишком успешно — дожевать мысли, долго и утомительно блуждая вокруг темы. Адамович хорош неожиданностью, внезапностью мелькнувшей апофегмы, которая существует без доказательств, сама по себе. Прелестны его недоговоренности, его обмолвки. Мир нельзя свести к слову. Есть сверхсловесная бытийность. Критик просто надкусывает от нее с того края, который ему ближе. Он пробует — маленьким кусочком с большого блюда. И пытается передать впечатление, суммировать в афоризме вкус яства. Это тонкая гастрономия. Но не хирургия, нет. «Конечно, в поэзии ничего нельзя доказать», можно только сказать, что в ней «заключается возможность очищения, оздоровления, осветления мира». Опять же и «почти вся история критики есть ведь история ошибок». Еще и по-

этому, когда он размышляет о писателях, для него имеет значение не только то, что состоялось у автора в слове, но и то, что осталось в замысле, в намерении, в возможности — недоговоренным. Ему нетрудно было отказать рацио, схоластике и догматике в их претензиях. Потому что Адамович базирует мысль на фундаменте такой веры, которая рассудком не вымеряется. Поэтому он «неконцептуален». Он и в критике оставляет зону недосказанности. Чего-то и нельзя досказать. «Ясности нашей есть предел. Но, дойдя до этого предела, надо речь оборвать, надо иметь мужество умолкнуть».

Это важно и там, где в мыслях присутствует Бог. Есть в «Комментариях» и одно, взятое в скобки, место. Адамович размышляет о том, почему он всю жизнь собирался написать «о Евангелии и о том, что в нем загадочно, об отсутствии «дна» в этой книге» — да так и не написал. Тема о бездонности Писания для него, конечно, сверххарактерная, но еще более характерно и закономерно, что он ее не реализовал. «И хорошо, что не написал! — здесь ставит он не слишком характерный для его стиля восклицательный знак. — Что получилось бы? Тремоло в голосе, самолюбование, чернила, чернила, чернила, будто бы ставшие кровью. Пиши, голубчик, лучше о внутренних отличиях пятистопного ямба от четырехстопного, тут по крайней мере и сорваться трудно». Про ямб тут сказано, пожалуй, с нахлестом, с самоуничижительным, а отчасти и ироническим по отношению к себе самому запалом. Но суть ясна. Есть критика — и есть богословие. Вещи, восходящие к одному источнику, но далековатые. И религиозность критика сказывается не столько в тексте, не в проповеди христианства, сколько в подтексте. Адамович весьма скуп на пафосное выражение религиозного чувства, это отдаляет его от символистов и вообще всей этой нетрезвой волны квазирелигиозного опынения начала века. Он однажды заметит: «теологическая» предпосылка есть главнейшая основа всякого художественного таланта, — и знаменательно закавычит первое слово. Оно — из другого уже контекста. На умозрения столь великого значения критик не покушается и рассказывает, как на рассуждения Бердяева о том, чего Бог хочет от человека, «вполголоса спросил»: «Откуда вы все это знаете?» Как-то он заметил: «Человек задает личные, важнейшие для него вопросы, однако мир на них не рассчитан — и ответов нет». В этом афоризме всё правда — но правда эта доведена до парадокса (может, даже до пароксизма). Ответов нет, но они есть. И для чего же написаны эти тома, если не для того, чтобы дать эти ответы? И для чего берет слово писатель (да хоть и критик), если не для того, чтобы дать ответы. Откуда он их знает?<sup>2</sup>

...И все-таки прислушаемся к Адамовичу: право на ответы — трудное право. Словом нагнали уже столько, что оно, кажется, уже ничего не значит, ничего не весит. Но ведь что-то да и значит, а весит, бывает, столько, что сгибает под своей тяжестью пожизненно... Адамович не тяжел, он легок. Он выбирает позицию собеседника, увлеченного темой общего разговора, предпочитает диалог с читателем и готов к общению на равных. И волнует по сю пору — не только актуальностью тем, но и живостью интонаций, непосредственностью и свежестью переживания. Он слушает ритм, звук литературы, ритм и звук эпохи. Это, может быть, школа Розанова, традиция акмеизма, — но что нам истоки, когда налицо так ярко, так самобытно, так лично заявивший о себе феномен. «Лучший критик русской эмиграции». Щемит сердце, когда думаешь об этих русских парижанах, оказавшихся в исторической пустыне, где прошлого уже нет, а будущее заполнено страшными химерами. Этот опыт еще не совсем нам чужд. Еще живы в памяти и сегодня атакстические чувства внутреннего эмигранта, однажды ночью услышавшего сквозь вой глушилок имя Георгия Адамовича. Нынешний читатель находится в гораздо более выигрышном положении. Вчитаться в изгнанническое послание — всего и трудов. (Опыт показывает, правда, что как раз легкодоступность не способствует пробуждению любопытства.) Как бы то ни было, а сборники, составленные Вадимом Крейдом и Олегом Коростелевым, при всей их разнокачественности, в сумме такую возможность дают.

<sup>2</sup> Я бы ответил, но Сергей Костырко все равно не поверит (см. его статью о критике — «Новый мир», 1996, № 7).

Еще два слова. Литинститутская книжка замышляется как начало серии «С того берега. Критики русского зарубежья о литературе советской эпохи». Благое начинание. «В представляемых сочинениях есть почва для исторического примирения русского бытия», — не слишком внятно сказано в заметке «От редакции». Непонятно, конечно, зачем держать Адамовича за гумус. И кого с кем он должен сегодня своим, что ли, примером замирить. Мы-то все с ним давно вместе и заодно. А вот со своими небезызвестными современниками, партийными товарищами критиками, Адамович заведомо и навсегда непримиряем.

Евгений ЕРМОЛИН.

Ярославль.

\*

## ЗА ТОЛСТЫМ НИКОГО. ИЛИ — ГОРЬКИЙ?

Максим Горький: pro et contra. Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей. 1890 — 1910 гг. Антология. СПб. Издательство Русского Христианского гуманитарного института. 1997. 895 стр.

**П**ризнаюсь, что не могу претендовать на роль беспристрастного рецензента этой книги. Я лицо в немалой степени «заинтересованное». Во-первых, возле фигуры Горького «окормляюсь» без малого десять лет, и в переносном, и в прямом смысле слова (то есть если посчитать суммарный гонорар от статей, статей и статей о Горьком, то придется согласиться, что Алексей Максимович все это время меня отчасти «кормил»). Во-вторых — и это самое главное — аналогичное издание я сам готовил в начале 90-х годов для тогдашнего «Советского писателя». В состав предполагавшегося сборника входил не только блок «возвращенной» литературы о Горьком (в основном критика и воспоминания), но и современный блок — статьи современных критиков, писателей, философов, литературоведов. Там же задумывалось переиздание брошюры «О русском крестьянстве» — самого жестокого и несправедливого сочинения Горького из его публицистики 20-х годов. Книга обещала быть толстой, красивой, с супером, фотографиями и проч. Не вышла.

Потому что внезапно наступило время, когда Горький стал не нужен. Редактор «Советского писателя» принес мне свои самые искренние извинения, которые я потом еще целый год тиражировал для рассерженных авторов полностью готовой, но не вышедшей книги, про себя благодаря Богу за то, что по крайней мере не приходится так же потеть и краснеть перед Блоком, Замятиным, Чуковским, Ходасевичем, Мережковским и другими покойными участниками этой несостоявшейся «горьковианы». Но вот перед Львом Адольфовичем Озеровым я потел и краснел до самой его кончины в прошлом году, так как при каждой встрече он не забывал напомнить о той книге, в который раз поражаясь, что Горький стал не нужен: в его голове это не укладывалось!

Так что я — читатель ревнивый. И не буду скрывать, что идея подобного сборника мне столь же дорога, сколь его нынешнее исполнение кажется не то чтобы плохим, но, скажем так, «недостаточным». Собственно, к плохой стороне издания относится не многое... Например, опечатки! Множество досаднейших опечаток, не объяснимых ничем, кроме спешки в подготовке книги (куда торопились — непонятно!). Есть опечатки какие-то просто сумасшедшие. Скажем, известный коллективный сборник начала века «Критические статьи о произведениях Максима Горького», вышедший не одним изданием, во всех местах комментариев в сокращении назван «Критические статьи...», как и следует, но в одном месте почему-то назван «Критические работы...». Я даже заволновался: может, были еще и «Работы»? Да нет — не было! Просто опечатка размером в слово — великовато, не правда ли?

К недостаткам книги, на мой взгляд, относится и фронтиспис со странным графическим портретом Горького, где он похож на подсыхающего после дождя,

но все еще меланхоличного воробышку из своего знаменитого рассказика для детей. И ни к селу ни к городу втиснутые карикатуры на раннего Горького из газет и журналов начала века, слишком известные-переизвестные (например, из «Литературного наследства»), чтоб заинтересовать специалистов, и ничего не говорящие простым читателям. Они были бы на месте в солидном иллюстративном блоке, например вместе с классическими портретами Горького работы Серова, Репина, Корина, Валентины Ходасевич и других; но в качестве иллюстративного решения «для бедных» выглядят несколько диковато.

Но на этом недлинный список явных недочетов и заканчивается. Тем более, что он в какой-то мере уравнивается весьма недурной полиграфией: отличная бумага, четкая печать; броский и праздничный ярко-красный переплет с золотым тиснением и круглым корешком, что, сами понимаете, немалоценно для издания такого объема — почти 900 страниц! Опять же — серия! — что повышает шансы книги быть купленной, а там, глядишь, — и прочитанной...

Но дальше начинаются недостатки не такие явные, в чем-то неизбежные, но в чем-то — еще более досадные, когда понимаешь, что их можно было избежать, если бы составитель Ю. В. Зобнин подошел к своей работе более раскрепощенно, не до такой степени связанный по рукам и ногам девизом серии «Pro et contra» («За и против»). Это именно тот случай, когда в зоне максимального риска надо рисковать до конца, бросаясь в океан очертя голову и ни минуты не сомневаясь, что преодолешь его несколькими сильными взмахами.

Напоминаю: серия «Pro et contra» выходит несколько лет и давно завоевала симпатии «простых» читателей и отчасти специалистов<sup>1</sup>. Ее идея — освещение крупных фигур русской философии (и в силу невозможности строгого разграничения — русской литературы) с противоположных точек зрения с помощью некогда опубликованного, но не всем доступного, а главное — пока еще не сведенного в одном месте материала: статьи, воспоминания, комментарии к ним, а также библиография (которая в книге о Горьком, впрочем, отсутствует — видимо, по причине ее необозримости).

Идея хорошая, хотя и, как ни банально это звучит, «спорная». Есть в ней и рациональное зерно, и явно авативистическое наследие «плюралистических» времен, когда писать о Бердяеве «за» было нельзя без немедленно посылаемого во след «против». Строго говоря, ни одна из фигур, что удостоились чести оказаться в списке новой серии (Бердяев и Флоренский, Розанов и Леонтьев), на сегодняшний день не является «спорной» в прежнем смысле. Так что основное «напряжение» серии постепенно снято временем, что, разумеется, не снижает объективной ценности самих публикуемых материалов.

Понятно, что для подобной серии идеальными объектами являются фигуры как бы «малогобаритные», о которых написано не настолько много, чтобы в этом потеряться. Например, Леонтьев. «Золотой фонд» статей и воспоминаний о нем сравнительно невелик, и потому его персональная «Pro et contra» вполне может претендовать не только на дискуссионный материал, но и на вполне добротный «путеводитель». Это же можно сказать и об о. Павле Флоренском. О Бердяеве и Розанове этого уже не скажешь. О Горьком... Тут начинается кошмар...

Все тяготы и сомнения, вероятно одолевавшие Ю. В. Зобнина в процессе подготовки издания, мне не просто понятны. Я в точности знаю, что он добровольно взялся за дело изначально безнадежное. И суть даже не в том, что литература о Горьком необозрима (достаточно пролистать шестисотстраничный, мельчайшим шрифтом набранный сборник С. Балухатого «Критика о М. Горьком», изданный в 1934 году, чтобы понять, что это за феномен). И не в том, что не было ни одной заметной литературной и общественной фигуры конца XIX — первой половины XX века, которая бы на Горьком хоть как-нибудь не «отметилась». Суть в том, что действительно важной, действительно знаковой литературы о Горьком слишком много, чтобы дать полное представление о ней в одной книге, какой хотите толстой и солидной.

<sup>1</sup> Наш журнал откликнулся на книги этой серии, посвященные К. Леонтьеву (1996, № 9 — рецензия Юрия Кублановского) и К. Победоносцеву (1997, № 3 — рецензия Ольги Майоровой). (Примеч. ред.)

Когда я впервые краешком познакомился с этим явлением: литература о Горьком, — я отчетливо понял, что Горьких и в самом деле было двое. Этот фантастический писатель и человек заряжал пространство возле себя (литературное, общественное, просто «человеческое, слишком человеческое») такой мощной энергией, что ее хватало на создание «Горького-2», своими масштабами, быть может, несоизмеримо более громадного, чем «Горький-1».

Достаточно сказать, что многие ключевые тексты начала века (например, «Грядущий Хам» Д. С. Мережковского) были бы невозможны без существования этого странного, вечно окушающего и чуть ли не при каждом знакомстве рыдающего человека с лицом Ницше, Сталина, провинциального мастерового, сицилийского бандито и так далее — на любой вкус. Проблема «русского ницшеанства» начала века и ранней советской эпохи, о которой за границей написаны целые тома<sup>2</sup>, была бы невозможна без этой угловатой фигуры, чья тень не только накрывает собой целую эпоху, но и ползет дальше, в будущее, невзирая на все визги и пiski демократов ли, почвенников ли, реалистов ли, модернистов ли. Потому что «ницшеанство» Вяч. Иванова, или Андрея Белого, или Леонида Андреева — это вещь интересная, занимательная, но слишком камерная и «книжная», чтобы быть действительно эпохальной проблемой. А вот «ницшеанство» самарского газетчика, который высказывал (и достаточно глубоко, как показывает специальное исследование) глубинные ницшевские идеи в своих первых рассказах, за шесть лет до того, как смог более или менее основательно познакомиться с переводами Ницше (первый рассказ Горького напечатан в 1892 году, первый перевод Ницше появился в 1898-м), — это крайне серьезно! это больше говорит о трагедии эпохи, чем высоколобые вечера в «башне» Вячеслава Иванова. Так же, как и несостоявшийся (по стечению обстоятельств), но в мыслимой перспективе страшно символический визит этой крупнейшей фигуры русской революции в Архив Ницше по приглашению его сестры Елизаветы Ферстер за двадцать с лишним лет до визита Адольфа Гитлера. Это вам не «книжное». Тут настоящей грозой пахнет!

А его личные контакты с Лениным и Сталиным? А его прямое влияние на ход развития русской литературы в советской «метрополии», на которую эмиграция, что сегодня доказано, смотрела как на продолжение России, себя-то как раз полагая временной «периферией»? А «социалистический реализм», все действительно интересные мысли о котором как о способе волшебного преодоления кошмарной реальности он высказал за тридцать лет до появления этого термина в своих невиннейших письмах к Чехову? А толком не изданная и не освоенная переписка Горького, в которой Ленин и Сталин оказываются невольными эпистолярными коллегами великих князей, а сионист Х. Н. Бялик соседствует с антисемитом В. В. Розановым? А проблема его смерти, которая, как становится ясно, не будет никогда решена, но навсегда останется самой мучительной и неприятной задачей на тему «Писатель и Власть»?

Вот вопрос: отчего такие художественные гиганты, как Чехов и Толстой, с пристальностью всматривались в молодого литератора, еще не написавшего ничего, кроме десятка довольно искусственных рассказов, о которых князь Урусов в письме высокомерно, но в чем-то справедливо заметил: это, мол, пример самой плохой «крепостной журналистики»? Почему Толстой так злился, прочитав «На дне», когда его олимпийского взгляда на словесность уже не могли поколебать Шекспир и Мильтон? Как бы ни пытался Иван Бунин доказывать в эмигрантском очерке, что Чехов и Толстой молодого Горького всерьез не принимали, — есть факты (письма и дневники), которые доказывают обратное. Просто они прекрасно чувствовали, что за этим неизвестно откуда взявшимся молодым человеком «что-то стоит», и это «что-то» гораздо важнее ехидного бунинского вопроса: каким образом болотный Уж влез «высоко в горы» и как с ним рядом оказался степной Сокол?

Собственно, литература о Горьком и есть бесконечный поиск ответа на вопрос: что такое это горьковское «что-то»? Это и должно было стать единственным

<sup>2</sup> «Nietzsche in Russia». Ed. by B. G. Rosental. Princeton. 1986; «Nietzsche and Soviet Culture: Ally and Adversary». Ed. by B. G. Rosental. Cambridge. 1994.

надежным принципом в составлении книги. Здесь надо было действовать хирургически, отсекая многие тексты, может быть, в своем контексте и важные, даже замечательные, но в контексте «феномена Горького» не играющие главной роли. Скабичевский — критик для своего времени, разумеется, авторитетный. Но о Горьком он не сказал ничего значительного, большего, чем сказали Михайловский, Боцяновский, Поссе или Коробка. В отличие от М. О. Меньшикова, который о раннем Горьком написал нечто принципиально важное, чего не сказал никто: «Что же такое г. Горький? Это перебежавшая искра между двумя интеллигенциями, верхней и нижней (имелись в виду собственно интеллигенция и босяки, которых Меньшиков объединял по принципу их «беспочвенности». — П. Б.), — соединяющая их в грозное «безумство храбрых». Это выходец не из народа, и голос его не народный. Но он заслуживает того, чтобы к нему прислушаться» (статья «Красивый цинизм»). Две статьи Скабичевского в книге — это многовато! — это неэффективное использование площади. Так же, как и перепечатка целой брошюры Н. Я. Стечкина, видимо, должествующей отразить «правое» крыло мнений о Горьком. Но «правое» крыло гораздо энергичней отражал именно Меньшиков, кстати, написавший о Горьком не только статью «Красивый цинизм», справедливо вошедшую в сборник, но и — «Вожди народные». И если уж отражать «правые», ортодоксальные мнения, то как не включить хотя бы один образчик церковной критики? Но для этого надо было поднять не только широко известный фолиант «Критические статьи...», но и журналы («Вера и Церковь», «Вера и Разум»), и газеты, в том числе и провинциальные (образцы провинциальной критики в книге напрочь отсутствуют, и это странно — разве не интересно знать, что писала провинция начала века о своем самом талантливом «агенте» в столичной культуре?). И что же получилось? Едва ли не весь объем «Критики» съел Стечкин в компании со Скабичевским и Михайловским. Против последнего ничего нельзя возразить, как и против замечательных М. Гельрота и Л. Е. Оболенского. Просто речь идет о том, что площадь книги использована недостаточно рационально.

Зачем целых четыре статьи Философова? Комплекс его взглядов на Горького вполне понятен из одной, и самой знаковой, статьи — «Конец Горького», вокруг которой в свое время развернулась целая критическая кампания, кстати, почти не отраженная в «Pro et contra» (где как минимум А. Горнфельд с его «Кончился ли Горький?»). На мой взгляд, мысли Философова о Горьком не отличались особой глубиной, но это, в общем-то, не столь важно. Важно, что без «Конца Горького» обойтись было нельзя, а вот без «Завтрашнего мещанства» и «Разложения материализма» можно было легко обойтись. Возможно, и недурные сами по себе, эти статьи не добавляют ничего нового к теме «феномена Горького». В отличие от скучноватой, но крайне показательной статьи В. Львова-Рогачевского «На пути в Эммаус» (о «Матери»), где речь шла о псевдорелигиозных мотивах печально знаменитой повести.

«Не святая Русь» Д. С. Мережковского (о «Детстве») — на месте, как и его «Чехов и Горький». Но где Антон Крайний (он же Зинаида Гиппиус) с «Выбором мешка» и «Углекислотой», где гораздо раньше Мережковского было сказано почти все о горьковском «грядущем Хаме»? И сказано так зло, емко и энергично, что Мережковский, по сути, лишь разжевывал эти мысли в своих работах (известный спор о том, кто именно в семье Мережковских был генератором идей). Где Колышко-Серенький и журнал «Гражданин», восхитительно отразивший «мещанский», обывательский взгляд на певца соколов и буревестников? Где Василий Розанов, Андрей Белый, Николай Бердяев, чьи короткие заметки о Горьком, наверное, все-таки интереснее рецензии Н. Минского, все достоинство которой заключается в том, что в ней в п е р в ы е сказано о «нищезанстве» Горького? Где Иннокентий Анненский (о «На дне») и Александр Блок («Народ и интеллигенция»), без которых критика о Горьком непредставима?

Непонятно, каким образом в блок воспоминаний попал добровольно идейно кастрированный самим автором очерк К. Чуковского из его книги «Современники» в серии «ЖЗЛ» (М., 1967) и не попал, например, гениальный очерк Евг. Замятина из книги «Лица». Не так здесь что-то...

Если перепечатывать статью «Две души» самого Горького, то как — именно в серии «Pro et contra» — не поместить самый гневный и талантливый ответ на

нее — статью Леонида Андреева «О «Двух душах» М. Горького», напечатанную в журнале «Современный мир» (1916, № 1), с которой начался окончательный разрыв между Горьким и Леонидом Андреевым?

Вопросы, вопросы... И все-таки я понимаю, что они возникли бы в любом случае, даже если бы составление этой книги приближалось к моим «идеальным» представлениям. Только тогда их задавал бы не я, а кто-то другой. И, наверное, с не меньшей основательностью. Будем благодарны издательству и составителю хотя бы за то, что они предприняли первую попытку освоения в рамках одной книги необъятного материка — литературы о Горьком. Что они хотя бы дали представление о самом существовании такой Литературы.

С литературой о Горьком может сравниться еще одна Литература — о Толстом. По мощности излучения (и отражения) невероятной энергии, провоцирующей рождение мыслей и чувств в каждой, даже самой неприметной и неинтересной, личности своей и будущей эпох, эти фигуры стоят рядом. Отсюда можно понять на первый взгляд слишком категоричное заявление Мережковского в статье «Не святая Русь»: «Последняя вежа — Толстой. За ним — никого, как будто кончились пути России. За Толстым никого — или Горький».

Только произносить последнее предложение надо с глубокой интонационной паузой, выражающей всю глубину мучительных, поистине «горьких» сомнений.

И вопрос — вместо точки.

Павел БАСИНСКИЙ.



## О ДАРЕ ЖИТЬ

**М. М. Яковенко.** Агнесса. Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о ее юности, о счастье и горестях трех ее замужств, об огромной любви к знаменитому сталинскому чекисту Сергею Наумовичу Миронову, о шикарных курортах, приемах в Кремле и... о тюрьмах, этапах, лагерях, — о жизни, прожитой на качелях советской истории... М. «Звенья». 1997. 228 стр.

**Д**осадно, если эту книгу прочитают только как еще одно обличение сталинского режима, как книгу разоблачительную или даже — саморазоблачительную. Поводов для последнего достаточно: героиня ее, Агнесса Ивановна Миронова, принадлежала к элите правящих в 30-е годы партийно-энкаведэшных кругов — жена крупного чекиста и дипломата, долгие годы наслаждавшаяся фантастически роскошной жизнью в голодающей, замордованной стране, после ареста и гибели мужа оказалась в лагерях. Но вот что полностью отсутствует в восприятии книги — так это удовлетворенное чувство «социальной справедливости»: «Ты все пела... так поди же, попляши!» У этой книги другая проблематика — проблематика бытийная.

Возможно, сказанное покажется странным по отношению к сдержанно и внешне безыскусно написанной книге Миры Яковенко. Ее героиня почти не размышляет о прожитой жизни, философствовать — не ее дело. В свою очередь, автор книги держится как бы за кадром, позволяя себе только одну открытую эмоцию — изумление перед неискоренимостью жизнелюбия и всепобеждающей женственности. Прожив жизнь «на качелях советской истории», потеряв трех мужей, пройдя лагерь, Агнесса сохранила в себе эти качества почти нетронутыми. Удивительно, скажем, в ее воспоминаниях о взаимоотношениях с мужьями обилие тех подробностей, к которым с возрастом обычно теряется вкус. Удивительна способность радоваться жизни вообще, способность, требующая гораздо больше душевных сил, нежели обида и горечь. Обаяние этой женщины автор воспринимает как обаяние самой жизни, раскованной и счастливой. Характерная деталь: в отличие от мемуаров бывших лагерников, воспоминания Агнессы о самом лагере занимают в книге далеко не самую большую часть. Ужас сталинского террора не стал определяющей краской в ее судьбе. Жизнь ее оказалась богаче лагерного опыта. Вот с этим чувством удивления автор всматривается в свою героиню,



вслушивается в ее рассказы о себе, дополняет их воспоминаниями приемных дочерей Агнессы, письмами и дневниковыми записями ее третьего мужа, предоставив читателю возможность поразмышлять над вечным и всегда актуальным вопросом: чем жив человек?

Да, была вначале молодость, редкая красота, удачливость и юная кичливость — в Майкопе, где она родилась, Агнесса считалась одной из самых ярких девушек. Был первый красивый роман с белогвардейским офицером, есаулом Петровским, сдавшим красным город без боя, чтоб не пострадало население; и Агнесса до старости подозревала, что мотивом этого поступка был еще и страх за нее. Не важно, так это или не так, — важно, что она могла позволить себе так думать, имела основания. Брак по любви с первым мужем. Появление в их городе победительного красавца и умницы Миронова — главной любви в ее жизни. Побег с возлюбленным. Профессия второго мужа не имела тогда для нее значения — это обстоятельство здесь очень важное, — она видела перед собой необыкновенного, красивого, мужественного, благородного, влюбленного в нее мужчину, и ей дела не было до того, чем занимался чекист Миронов на службе. А потом, когда поневоле его профессия начала бросать тень на их жизнь, искала оправданий для мужа в том, что ему самому мучительно его работа. Для себя она оставила право иметь свое мнение, за что получила в семье полухуливое прозвище «белогвардейка». Ненормальным, неестественным было то, чем занимался ее муж, — все остальное было естественным и потому нормальным. Она была прежде всего женщиной: «...все наши отношения с начала и до конца были нескончаемо длящимся романом. Ничего будничного, привычного, надоевшего, прозаического, без конца повторяющейся повседневности! Между нами всегда была игра, тайна, как у влюбленных, только что ставших любовниками...» Мужа она любила трепетно, истово, суеверно, ей до смерти снился один и тот же сон, в котором она спешит на свидание к Миронову и никак не может его найти в назначенном месте. Она любила жить — любила быть красивой и была ею всю жизнь, любила южные курорты, веселую компанию, танцы, красивую одежду, любила любовь. Иными словами, у нее был вкус к жизни. Вкус изначально здоровый. Она не любила подлость, ложь, жестокость, высокомерие. Никого не предавала, никому не делала зла и по мере сил пыталась, пользуясь своими возможностями, помогать другим. В политике не только не участвовала, но и старалась держаться от нее как можно дальше. Уровень ее аполитичности, учитывая время и среду, в которой жила, может показаться даже патологическим. Услышав от мужа: «Кирова убили», — она спрашивает: «Какого Кирова?» И муж отвечает ей соответственно: «Помнишь, в Ленинграде, когда приезжали туда на день погулять, я тебе на вокзале его показывал. Да, припоминает она, был такой: «среднего роста, лицо располагающее, с нами поздоровался приветливо». К женщинам своего круга, занимающимся политикой, относилась с недоумением и легкой брезгливостью — «партийные», «синие чулки», а разговоры у них только про то, что «вот эту назначили туда-то, а та получила повышение такое-то, а эта понижение за то-то, а того-то сняли и на его место, вероятно, поставят такую-то». А к некоторым из «сильно партийных» и вообще относилась с омерзением — скажем, к Жемчужиной, жене Молотова, которая «любила создавать вокруг себя свиту из лебезящих перед ней мужчин, вела себя обычно вызывающе и развязно... была так уверена в их с Вячком прочном положении и неуязвимости, что, встречая какого-нибудь знакомого, спрашивала цинично: «А вас еще не арестовали?» Это она так шутила». Вообще глаз у нее был, что называется, цыганский, она не позволяла себе никаких идеологических и прочих шор, не боялась видеть реальность такой, какова она есть. Чем и отличалась от мужа, с горечью называвшего себя «сталинском псом» и содрогавшегося, увидев поальные смерти раскулаченных ссыльных крестьян от голода и холода в строящейся Караганде или узнав о рекомендации Сталина бить подследственных на допросах и увидев своих сослуживцев «в деле».

Разумеется, условия жизни ее среды были, мягко выражаясь, развращающими

«Представьте себе. Зима. Сибирь. Мороз... Глухомань, тайга, и вдруг... забор, за ним сверкающий сверху донизу огнями дворец! Мы поднимаемся по ступеням, нас встречает швейцар, кланяется почтительно... и мы с мороза попадаем сразу в южную теплынь... Огромный, залитый светом вестибюль. Прямо — лестница, покрытая мягким ковром, а справа и слева в горшках на каждой ступени — живые распускающиеся лилии... Входим в залу. Стены обтянуты красновато-коричневым шелком, а уж шторы, а стол...» (это резиденция секретаря Западно-Сибирского крайкома в середине 30-х годов).

«Мы приезжали в санаторий осенью, когда все ломилось от фруктов. Октябрь, начало ноября. Бархатный сезон. Уже нет зноя, но море еще теплое, а виноград всех сортов, хурма, мандарины, и не только наши фрукты — нас засыпали привозными, экзотическими... Какие там были повара и какие блюда они нам стряпали! Если бы мы только дали себе волю...»; «Мы сели в открытые машины, а там уже — корзины всяких яств и вин. Поехали на ярмарку в Адлер, потом купались, потом — в горы, гуляли, чудесно провели день. Вернулись украшенные гирляндами... А праздничные столы уже накрыты, и около каждого прибора цветы, и вилки и ножи лежат на букетиках цветов. Немного отдохнули, переоделись. На мне было белое платье, впереди большой белый бант с синими горошинами, белые туфли... Были в тот вечер Постышев, Чубарь, Балицкий, Петровский, Уборевич, а потом из Зензиновки, где отдыхал Сталин, приехал Микоян».

И так далее...

Такой образ жизни в стране, где живут не просто аскетично, а тысячами умирают от голода (Агнесса вспоминает, насколько страшен был вид изголодавшихся детей их прислуги в санатории, которых женщина, получив разрешение Мироновых, привела подкормиться: «...мы ужаснулись. У мальчика Васи ребра торчали, как у скелета», — четырнадцатилетнюю племянницу прислуги шатало от голода. «Набралось нас девять человек. В санатории стали выдавать обеды на всех, не смели отказать. Маленький островок в океане голода...»), — подобный образ жизни должен был калечить нравственно. Агнессы все это как будто и не коснулось. Свидетельство этому — то, как прожила она свои лагерные годы. Казалось бы, женщина, гордящаяся своей красотой, избалованная любовью мужа, поклонением окружающих, не знающая ни в чем отказа, оказавшись в лагере, была обречена во всех отношениях. Агнесса же осталась сама собой: «Про наших вохровцев говорили, что это дети и внуки тех раскулаченных, которых пригнали сюда умирать в тридцатые годы, и теперь они нас ненавидят — как интеллигенцию, точнее, как бывшее начальство, «партейных», что когда-то раскулачивали и выслали их семьи. Может быть, среди них был и тот мальчик, который когда-то съел своего младшего брата. Отличались они какой-то особой жестокостью... Сама я не пострадала от их жестокости, я быстро поняла, какая здесь жизнь, и научилась, не подличая, как-то ладить со многими. А еще знаете что мне помогло? Я никогда ни одного дня не носила тюремной или лагерной одежды. Мне казалось, что стоит надеть их одежду — эти ватные брюки или куртку с торчащей из дыр ватой, — и ты уже не человек, ты уже превратился в раба в глазах всех и в своих собственных... Надо было сохранить свое человеческое достоинство. Я и старалась держаться так — не сдаваться, не уронить себя. И это мне помогло. Отношение ко мне было другое, даже у вохры»... Здесь очень важно и характерно для Агнессы упоминание про раскулаченных — в тяжелейший для себя момент она вспомнила тех умирающих от голода крестьян в Караганде, куда она приезжала в теплом спецвагоне, набитом провизией.

О лагере она рассказывала просто, страшно и мужественно. Вот еще одно ее воспоминание: отказавшуюся воровать молоко у больных-дистрофиков в лагерной больнице, куда она попала как медсестра, Агнессу тут же отправили в этап. Заключение привезли в степь. Дальше шли пешком. Поднялся ветер, пошел дождь, потом — град, ветер стал ураганным, и наконец повалил снег. «Пурга такая, что в трех шагах человека не видно... Все перемешалось, конвой исчез. Молодежь наша ушла вперед, старики отстали, я где-то посередине». Люди шли и падали, замерзая. Никто их не поднимал. Лишнее усилие могло стоить жизни. Агнессе удалось дойти до пастушьей постройки, где возле костра уже грелись конвой и дошедшие.

«Я... завернулась в шерстяной платок. Вдруг чувствую, кто-то тянет меня. Оглянулась — мужчина в мокром белье пытается залезть под мой платок. Я отпустила край, он завернулся, обняв меня, а рукой взял за пустой мешочек моей левой груди. Мне было все равно. Так мы и сидели рядом, прижавшись друг к другу под моим платком, не шевелясь, ничего не желая. Кто он, как его звали — я так и не знаю. Мы не говорили друг с другом, мы не могли. Мы были как два несчастных животных... спасающиеся теплом. В полузабытьи мы провели ночь». В этой сцене та же самая Агнесса, которая когда-то в своей шестикомнатной квартире правительственного дома на набережной утешала и ободряла потерявшего голову от страха, от не отпускавшего его ожидания ареста мужа... Такое дано не каждому — дойдя до края, найти силы, чтобы своим теплом, и в прямом и в переносном смысле слова, отогреть другого.

Откуда такие силы в женщине, порхавшей доселе стрекозой на вечном празднике жизни? Можно отмахнуться от этого вопроса словами: от природы. Ну а природа такая откуда? Я понимаю, что на подобные вопросы ответить, наверное, вообще невозможно. Но поразмышлять можно. Во всяком случае, книга Яковенко провоцирует. Возможно, загадка человеческой несокрушимости Агнессы в том, что связи, скрепы, соединяющие ее с жизнью, изначально были естественными, здоровыми, положительно заряженными любовью. В ней как бы инстинктивно жило знание того, что дар счастливой жизни: радости, здоровья, красоты — есть ценность сам по себе. Ценность, которой надо дорожить, которую надо оберегать. И которая, в свою очередь, способна наделить человека крепостью и устойчивостью. И может быть, продолжим дальше, как раз красота, внутренняя свобода, умение позволить себе жить, то есть, грубо говоря, быть красивым, здоровым и богатым и при этом не мучиться ежеминутно сознанием преступности своей жизни, а отдаваться ей целиком, — это и закаляет человека. Может быть, потому так притягательны для всех нас красота, здоровье, радость, что в них явлена некая форма высшей нормальности человека. Для нас привычнее считать, что душу очищает страдание, усилие преодоления, но может быть, опыт здоровой и счастливой жизни выпрямляет человека не меньше? А может — и вернее, и быстрее, и надежнее?

Воспоминания Агнессы Мироновой, естественно, встают в ряд с воспоминаниями Евгении Гинзбург (очень любимыми ею), Ольги Слиозберг, авторов «мемориальной» серии коллективных сборников «Театр ГУЛАГа» и «Вся наша жизнь. Воспоминания Галины Ивановны Левинсон и рассказы, записанные ею». Можно уже говорить о существовании целой лагерной литературы, написанной женщинами, и о некоторых ее специфических особенностях. Это отдельная тема, здесь не место говорить о ней подробно. Только одно впечатление. Женщины в своих воспоминаниях иногда кажутся в чем-то мудрее мужчин. При том, что в их воспоминаниях больше внимания к быту, к частностям, им, как это ни странно, бывает легче выйти к проблемам бытийным. Может, это оттого, что женщина вообще стоит ближе к природе. Но и среди женских воспоминаний о лагере рассказы Мироновой стоят немного особняком. Агнессе, в отличие, скажем, от Ольги Слиозберг, не пришлось переживать тяжелого внутреннего кризиса, связанного с крахом иллюзий. Природа той силы, что загнала ее в лагерь, становится ясна Агнессе при первом прикосновении, потому что критерием оценки у нее всегда являлся все тот же инстинкт живой жизни. Потому она вообще не знает рефлексии, потому ее выводы так просты и очевидны. Она никогда бы не написала слов, которые оставил в своем дневнике ее третий муж, бывший генерал, затем крупный киноработник, разведчик Михаил Давыдович Король: «Благословен день ареста моего как начало очищения и подготовки к новой жизни. Благословляю свои одиннадцать лет тюрем и лагерей — как начало моего возрождения. Без этих испытаний я бы прожил свою жизнь с душевной мутью, в тумане, с неясными мыслями и ошибочными заповедями!» Путь к сущему в жизни у самой Агнессы был более прямым, коротким и, главное, естественным. Она инстинктивно знала, что вокруг идет тотальная бандитская разборка. Она способна сокрушаться по судьбам умирающих от голода карагандинцев или истребляемой в Киеве старой украинской интеллигенции, но террор в своей среде она воспринимает почти как некую данность, как неизбежное

условие существования этих людей. Для того чтобы понять происходящее в Кремле, ей не нужны долгие размышления и бессонные ночи. Разумеется, ни Агнесса, ни даже муж ее не знали до конца очень многого. Но этого знания Агнессе и не нужно было, никаких иллюзий по поводу тогдашних вождей у нее не было и быть не могло изначально — она их видела: «Ежов, который уже занесся так высоко, воображал, наверное, что вершит судьбы всех и вся... Нам казалось, что Ежов поднялся даже выше Сталина... Сталин вызвал Берию с Кавказа и сделал его заместителем Ежова. И стало происходить что-то странное. Ежов сидит у себя в кабинете, а все сотрудники, вот уж, действительно, крысы с тонущего корабля, его избегают, как зачумленного... Затем его назначили наркомом речного транспорта. Он, ничтожество, не мог понять, куда, как растерялась его власть, не мог примириться, сходил с ума, психовал... Потом его и оттуда сняли. Впоследствии он был расстрелян, но не сразу».

Лагерь для Агнессы был ударом и звне, как наводнение, пожар, как стихийное бедствие, бедствие ужасное, но которое надо просто пережить, перетерпеть. Вопросы о необходимости что-то изменить в себе перед ней не стояло. И она переживает беду сообразно своей природе жизнелюба. Сила Агнессы была в том, что она никогда не боялась жить; она не откладывала самую жизнь для борьбы за нормальную жизнь, не ждала, затаившись, когда же наконец пройдет очередная полоса нежитья, чтобы уж потом-то и зажить в полную силу; она позволяла себе жить здесь и сейчас: с этим мужем (палачом и жертвой одновременно), среди этих людей, в этой квартире, на этих цепящих холодом кремлевских приемах, на этих курортах и даже в лагере, — жить и счастливо любить друга по несчастью. Она всегда жила как бы с некой подсознательной верой в то, что сама по себе живая жизнь имеет высшее право на себя и, более того, имеет способность защитить человека от любой нечисти. Вот эта инстинктивно выбранная ею модель поведения — может быть, лучшая и достойнейшая, на которую способен человек.

Я не собираюсь здесь идеализировать фигуру Агнессы Ивановны Мироновой. Да, она была вот такая — со своими слабостями, но и со своим поразительным и прекрасным даром жизни. И слава богу, что такие бывают.

Сергей КОСТЫРКО.

\*

### ЛЮБОВЬ К ИВАНУ ИЛЬИНУ КАК ВЕХА РУССКОГО ОПАМЯТОВАНИЯ

Иван Ильин. Сущность и своеобразие русской культуры. Перевод с немецкого. — «Москва», 1996, № 1 — 12.

**З**аслуживающий внимания факт: произведения Ивана Ильина, с тех пор как они стали у нас доступными, излюбленны и «взяты на вооружение» общественными и политическими силами, именующими себя народно-патриотическими. Вот и «Москва» в прошлом году поступила, как редко поступают толстые журналы: из месяца в месяц в продолжение целого года публиковала теоретическую, культурфилософскую работу. «Сущность и своеобразие русской культуры» — двенадцать лекций, читанных Ильиным (на немецком языке) в Швейцарии в конце 30-х — начале 40-х годов. Уточню, что понятие «культура» в данном случае употреблено в предельно широком смысле (для большей ясности приведу заголовки некоторых лекций: «Вера», «Ход исторического развития», «Главные национальные проблемы России», «История становления государства»).

Произведения Ильина, особенно раннего периода (думаю, что можно считать таковым 20-е годы), в чем-то, безусловно, созвучны нынешним умонастроениям «народно-патриотических» кругов. Это «что-то» есть прежде всего пафос державности. Ильин мечтал о России величавой и грозной для врагов, о «добром» государстве, основанном на «духовной солидарности граждан» и неуспешно о них почительствующем, делал заметный нажим на мистике государственности. Схожие до некоторой степени взгляды мы находим сегодня у идеологов оппозиции.

Бердяев имел основания упрекать Ильина («Путь», 1926, № 4) в том, что он ставит целью «принудительную организацию добра в мире через государство». Для христианина Ильин слишком привязан к временному и ограниченному, слишком уповаet на «земные обстояния»; у него в этом смысле «тяжелая поступь» (впрочем, и Бердяев заслуживает упрека прямо противоположного характера: он излишне «легконог», излишне легко воспаряет над бытом, традициями и т. п.). Разумеется, родная страна, «в Божьем лице узренная», может и должна служить предметом любви и всяческой заботы; творческая государственность — одно из ее проявлений. Но столь же важно для христианина уметь выйти «за стан». «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13: 14).

Увы, нынешние «народно-патриотические» круги, включая ту их часть, что поставила себя под знак креста, отличает, как правило, неумение и нежелание выйти «за стан». Та же «Москва» сплошь и рядом предоставляет свои страницы тяжелоступам, для которых старообразно понятая державность — «несущая опора» их мышления; все, что extra muros (вне стен), вызывает у них недоверие или враждебность. В Ильине они ищут союзника и действительно находят у него, как я уже сказал, некоторые созвучия.

Заметим, однако: сходные звуки в том и другом случае высечены, так сказать, совершенно различными историческими обстоятельствами.

Мечта Ильина о могучей державе российской была спровоцирована катастрофой семнадцатого года и последующей неудачей белого движения. Катастрофа имела не только внутренние аспекты, но и внешние. Россия выбыла из войны незадолго до ее победоносного окончания: «еще немного, еще чуть-чуть» — и русское знамя взвилось бы над Босфором и, главное, православный крест был бы водружен над Св. Софией. Помешал внутренний срыв, за которым последовал сильнейший геополитический откат по всей западной границе и отчасти по южной, превращение в малозаметную величину в военном аспекте. И это в то время, когда другие великие империи, принадлежащие к лагерю победителей, вчерашние союзники России, еще наращивали мяса, когда европейские «тигры» и «шакалы» еще рвали друг у друга зубами наиболее лакомые куски (хотя первые усилия по созданию нынешнего европейского порядка уже делались). Горечь, обида, испытываемые русским эмигрантом, вполне понятны. Особенно если учесть, что катастрофа была хоть и не случайной, но далеко не неизбежной.

Совсем другое дело — распад СССР, качественно иного образования, чем Российская империя: рожденный на «злых ветрах», он с самого начала обречен был на историческую недолговечность. Потому производят комическое впечатление попытки объяснить его бесславный конец происками каких-то заговорщиков из-за кордона или действиями внутренних «предателей». Ссылки на некоторые высказывания Ильина нисколько не прибавляют таким попыткам серьезности. Он действительно употреблял выражение «мировая закулиса» — но что с того? «Мировая закулиса» объективно существует — как место или, точнее, места, более или менее непроницаемые даже для вездесущих СМИ. Но только не как центр, откуда протянулась некая паутина, опутавшая весь земной шар. К массовой культуре Ильин никакого отношения не имел. И характерно советский исподлобный взгляд на Запад ему совершенно не был свойствен.

Я уже не говорю о том, что крах мирового страшилища, каким был СССР, менее всего должен огорчать как раз русских, россиян — даже с учетом нынешнего состояния страны, во многом печального, а в чем-то и прямо жалкого.

Как видим, даже слабые стороны Ильина — слабы иначе.

Между тем добросовестно-вдумчиво прочитанный Ильин позволил бы нашим державникам вырасти на целую голову, если не больше. В частности, «швейцарские» лекции создают образ России, который во многом может способствовать процессу самоидентификации народа, только-только очнувшегося от коммунистического гипноза.

Образ чисто ретроспективный: Ильин говорит о России, какой она была до семнадцатого года («я совершенно не занимаюсь современностью: она еще не созрела для исследования»). Кому-то, наверное, этот образ покажется идеализи-

рванным; кто-то даже найдет в нем общие черты с национально-православным китчем. И совершенно напрасно. Ильин ничего не приукрашивает, он лишь выбирает все, что радует взор и лелеет слух. Не забывая в то же время об изъянах и пороках. Правда, изъяны и пороки занимают в его лекциях скромное место, но тут, опять-таки, надо учитывать условия эмиграции. Не будь эмиграции, Ильин, наверное, обошелся бы со своей «темой» несколько иначе; так же, как и Бунин не написал бы «Косцов», а Шмелев не был бы тем Шмелевым, какого мы знаем. Россия, которую они потеряли, отодвинулась во времени и стала светла лицом: «пленный ангел» в нем проступил.

В чем главная особенность русской культуры по Ильину? Она — в «свободном созерцании сердцем»: русская душа «прежде всего есть дитя *чувства и созерцания*. Ее культуротворящий акт суть *сердечное видение и религиозно совестливый порыв*». Любящее, спокойно-радостное сердце задает меру русскому искусству и культуре вообще; оно удерживает от погружения с головой в бесплодную игру страстей (столь характерную, заметим мы, для современной культуры). Сердце «собирает» человека и возвышает его, а страсти, наоборот, «разбивают человека на части, связывают его с *пустым множеством недостижимых вещей и жизненных содержаний*: это *бесплодная игра сонмища маленьких блуждающих оней*, сливающихся в *одно большое блуждающее пламя, которое сжигает и истокает* человека. Тусклым и жалким опускается он на дно, ничего не достигнув».

Спокойно-радостное созерцание божественного в мире сопрягается с болью за все человеческое. Мировая скорбь — вечная тема русского верования и всей русской культуры (Weltschmerz — если именно это выражение стоит в оригинале — понятие, взятое, собственно, из романтического лексикона и имеющее некоторые специфические оттенки, но, видимо, Ильин употребил его, чтобы быть понятнее немецкоязычной аудитории). Такая двойственность отражает коренную двойственность бытия, в котором божественное страдает за человеческое и стремится его спасти. Русский «простой человек» говорил об этом «своими словами»: что ни день, то радость, а слез не убывает.

Открытое сердце вызвало эмоциональный тип поведения: русский «постоянно стремится самому себе или кому-нибудь раскрыть свою душу, он хочет интимности, доверия и теплых отношений, преодоления условностей, обмена мыслями о важнейшем в собственной жизни и в белом свете». Замечательно, что это свойство характера не исчезало с развитием культуры, интеллекта: головастые «русские мальчики», усевшись на минуту где-нибудь в тракторе, сразу начинали толковать о мировых вопросах как о чем-то сугубо личном.

Указание на роль сердца как центрального «органа» русской культуры содержит в себе момент противопоставления Западу, где, как говорит Ильин, много твердости, холодной рассудительности, формализма, где сердечные порывы скованы моралью и внешней лояльностью. Ильин, однако, подходит к этому вопросу исторически: таков результат процесса, набравшего силу со времен Ренессанса. Действительно, историки средних веков знают, что европейцы были раньше иными — более непосредственными, порывистыми; и что глаза у них очень часто были «на мокром месте» (признак умягченности сердца) — от умиления, радости или горя. Случалось, что и суровые рыцари, подняв стальные забрала, размазывали слезы, внимая особо проникновенному слову какого-нибудь странствующего проповедника. Вопрос Шурочки Азаровой «Любите ли вы плакать?» не покоробил бы их, как покоробил он поручика Ржевского.

Я отнюдь не хочу сказать, что изначальное «качество» сердца на востоке и на западе нашего континента было одно и то же. Возможно и даже скорее всего, русское сердце всегда было «шире». Но ход истории производит у нас то же действие, что и на Западе. Особая «сердечность» русской культуры в XIX веке (впрочем, рассуждая таким образом, не будем перегибать палку: кто упрекнет в недостатке сердца Европу Диккенса или Гюго?) вряд ли была бы возможна, если бы «Пахом с большим костылем» (цивилизация) не замедлил свое продвижение на российских просторах. Увы, против этого — до сих пор, во всяком случае, — никто ничего не придумал: цивилизация сушит (хотя в то же время отучает от гру-

бости, жестокости); в результате сердце замыкается в себе и даже «уменьшается в объеме». Важно не допустить, чтобы оно сохло совсем.

Еще один фактор работает у нас против «культуры сердца», на сей раз специфически российский, связанный с пореволюционной нашей историей. Однажды захватив власть, коммунисты на долгие десятилетия установили диктатуру «разума» — того типа, о котором Юнг говорил, что он является суммой чьей-то близорукости. Одно за другим вырастали поколения, отличенные некоторой атрофией сверхразумного, того, что можно назвать интуицией высшего порядка, осуществляемой через посредство сердца. Вообще говоря, сердце — орган всех чувств сразу, но есть в нем некий сокровенный центр, «сердце сердца», где человек «выходит» к Богу. Или, наоборот, Бог «выходит» к человеку. Вот это «место» было у нас до крайности запущенно.

С другой стороны, невероятные претензии «разума» обернулись в конечном счете против него самого, более того, против словесно-логического вообще: «территория», на которой оно осуществляло реальную власть, непрерывно сужалась, уступая место подсознательному. Вся советская история, по крайней мере начиная с 30-х годов, отмечена разгулом подсознательного, иначе говоря, интуитивного низшего порядка. Это принципиально иные интуиции, чем та, о которой сказано выше. Недаром в Библии Бог назван «испытующим сердца и утробы» (Откр. 2: 23 и в других местах; курсив мой); одно дело — сердца, и другое — «утробы». Думаю, что у Б. Вышеславцева были все основания отождествить «утробы» с подсознанием (не кишечник же, в самом деле, имеется в виду). Так вот, в советское время сердечное было потеснено «утробным»; советский человек был силен «цыганским умом», нащупывавшим реальные, в практическом смысле, значения вещей под сенью омертвевших слов.

Между прочим, этот груз советского подсознания — в котором можно различить обрывки этнической «русскости», специфической простецкости советской выделки, гипертрофированной и огрубленной державности — пока еще объединяет, хотя бы отчасти, «народно-патриотические» круги, несмотря на принципиальные, казалось бы, отличия в идейно-теоретическом и религиозном плане.

Как далеко зашло вымаривание русского в русском, о котором писал Ильин, угадывая его из швейцарского далека? Мы узнаем это по тому, как скоро будет идти преодоление советскости.

Здесь могут возразить, что «найти себя» русскому человеку сейчас мешает главным образом западная массовая культура. Пусть так, но кто лишил наше общество иммунитета в отношении того дурного, что она в себе несет? Еще раз придется указать пальцем на советскую культуру. Те элементы «культуры сердца», которые в ней сохранялись, не могут быть поставлены ей в заслугу — они позаимствованы ею в дореволюционном прошлом и не претворены в каком-то действительно новом видении мира. И не могли быть претворены — за отсутствием у нее религиозного чувствилища, за невниманием к обеим «безднам» человеческого бытия, «верхней» и «нижней». Что же касается западной массовой культуры, этого продукта поздней цивилизации, то она сильно деградировала за последние тридцать лет и сейчас полна ядов, угрожающих самому существованию цивилизации. Но даже в нынешнем своем виде она представляет собою борение различных начал, и данное обстоятельство ни в коем случае не следует упускать из виду.

Есть чудесная русская пословица: не гляди на меня комом, а гляди рассыпью. К сожалению, многим нынешним почитателям Ильина взгляд «комом», направленный в западную сторону, мешает увидеть, что есть что и кто есть кто. Чтобы «найти себя», нужна зрелость, открытость — в сочетании с благотворным упрямством, исходящим из уверенности, что вот Он, Бог, а вот порог. А вот болото, в котором черти засели. Нужна хитрость сказочного Ивана-дурака, умевшего обставить всех чертей. Это то качество русской души, которое Ильин назвал «предприимчивостью в творческом созерцании».

Но прежде всего прочего — нужно расчистить захламленный «выход» к сверхразумному.

Нет, право, лучший совет, который я мог бы дать нашим державникам, если бы мне это позволили, был бы такой: больше Ильина! Даже его взгляды на государство, паче всего прочего их пленившие, зовут их сделать несколько шагов вперед — особенно если брать их (взгляды) в развитии. Поздний Ильин преодолевал влияние Гегеля (которым занимался в молодости) в части излишне высокой оценки государственных институтов. Равным образом преодолевал он славянофильскую иллюзию, что может существовать общество, основанное на всеобщем взаимном доверии (пародийной ее реализацией была советская система, сдвинувшая понятие доверия в сумеречную область «утроб»). В человеке сидит зло — отсюда неизбежность известного недоверия к нему, особенно если он облечен некоторой властью, — отсюда необходимость четко функционирующих правовых институтов, затрудняющих причинение зла человеку человеком. Незнание римского права в Киевской Руси (где тем не менее существовали начатки правосознания) Ильин считает досадным пробелом, который до самой революции семнадцатого года не был должным образом восполнен. (С другой стороны, общество не может основываться только на формальном знании прав и обязанностей, иначе говоря, оно не может исходить только из недоверия к человеку; должен быть определенный уровень доверия — это вопрос, относящийся к духовному состоянию общества. Более того, схема права по-настоящему заработает только в том случае, если будет усвоена идея права. Ильин неоспорим, когда указывает на данное обстоятельство. Как и тогда, когда заключает, в более широком плане: чтобы устроить мир материи, надо прежде устроить мир души.)

С недостатком правосознания Ильин увязывает отсутствие твердых представлений о собственности. Прошу обратить внимание на этот момент — один из самых болезненных в наши дни. Позволю себе длинную цитату, где Ильин говорит о последствиях татаро-монгольского ига; меня сейчас не столько интересует, чем, по его мнению, вызваны российские злосчастья (хотя и это существенно — *ad notam* старых и новых евразийцев), сколько другое: что именно он считает злосчастиями. Итак: «Эта вечная угроза — «что ты ни построишь — превратится в развалины»; «все твое — только на время твое»; эта утрата перспективы честного и напряженного хозяйствования; эта необходимость всегда снова строить на пожарищах и начинать с нуля — *нанесли русскому народу непоправимый ущерб*. В ходе столетий народ привык относиться к *своему состоянию* как к чему-то ненадежному (уже заранее уступая) и к *чужой собственности так же безразлично, как и к своей, не заботясь о бережливости и экономии*, безнадежное «авось» завладело душою народа, равно как и легкомысленная и снисходительная трактовка хищнических бесчинств; отсюда недостаток твердого лояльного правосознания — в личном, так же как и в общественном плане; фривольное обращение с правопорядком и его элементарными законоуложениями».

Ильин зовет вырваться из психологической сплочки, оставшейся в наследство от советской эпохи, из этого вязкого «мы», в котором до сих пор многие наши соотечественники барахтаются. В русской традиции, указывает Ильин, — резкая индивидуализация мнений. Русский крестьянин, например, при всем его уважении к «миру», — «скептик и автономный мыслитель», самосильный в отдельнопоставлении от других людей; он привык доверять в конечном счете только собственному сердцу, собственному свободному созерцанию. (Это, с другой стороны, ответ некоторым нашим современникам, не в ум, а в глум трактующим русский характер как «рабий»; Ильин совершенно прав, не ограничиваясь чисто формальным пониманием свободы, ибо она есть также, и даже прежде всего, уклад души, стиль чувства и его проявления.)

Ильин предупреждает против завышенных оценок этнических моментов в психологии общества (что столь часто наблюдаем мы сегодня), против такого «братства», которое остается слабым и мертвым отголоском родового-семейного строя, когда о братстве говорила единая кровь общего происхождения. У Киплинга, по его словам, «звери, когда хотят подружиться, говорят один другому: «Мы одной крови». Так поступать должны и люди, только вместо «крови» говорить — «духа»; тогда мы находим брата *по духу и посредством духа*».



Ильин порицает формально-обрядовую религиозность (ныне оказавшуюся в чести), сводящуюся к восприятию чужих молитвенных движений и подражательному стоянию в храме. Религия, по его словам, есть свободное цветение личного духа; только через опыт встречи с живым Богом, всегда «одиноким», можно стать полноличным членом Церкви и приблизиться к ее соборному наследию.

На Ильина можно равняться, определяя свое отношение к советскому режиму, с которым он — ведущий идеолог белого движения — никогда ни на какие компромиссы не шел. СССР, от которого многие нынешние державники никак не могут душевно отлепиться, Ильин назвал в 20-х годах «мировой язвой» (такового тот оставался до самой «перестройки», хотя характер язвы несколько видоизменился).

И тут мы подходим к самому на сей день главному. Ильин писал (правда, в другой работе, именно — «Россия в русской поэзии»), что ни один народ не судил себя так строго, не требовал от себя такого очищения и покаяния, как русский народ. Вот, пожалуй, оселок, по которому можно будет судить, останется ли Россия Россией. Пока что различить в «шуме времени» покаянные голоса довольно трудно; покаяние для толпы — нечто из области кино. И все же есть признаки того, что подспудная работа духа в соответствующем направлении идет своим ходом; и есть надежда, что когда-нибудь наше общество «главой, лежащей в пыли» (Хомяков), сумеет переосмыслить пройденный путь с точки зрения христианской совести.

Думаю, что и пробудившаяся любовь к Ильину для части русского, российского, общества, психологически увязающего еще в советской эпохе, может стать — надеюсь, что станет, — своего рода вехой опаматования. При условии, что в его книгах не будут вычитывать только привычно-понятное и толковать его удобным для себя образом.

**Ю. КАГРАМАНОВ.**

**СЕМЕН ЛИПКИН. Квадрига. Повесть. Мемуары. М. «Книжный сад», «Аграф». 1997. 638 стр.**

Книга художественно-биографической и мемуарной прозы Семена Липкина «Квадрига» символично открывается стихотворением с одноименным названием. Ибо Мария Петровых, Арсений Тарковский, Аркадий Штейнберг и — Семен Липкин объединены не просто судьбинно, но и творчески; быть может, в условиях свободы они как поэтическая плеяда выявились бы отчетливее, жизнь, однако, загнала их в условия литературного подполья: лишь в преклонные годы получили они возможность (и то только отчасти) обнародовать ими в поэзии нарабатанное.

Автобиографическая — в значительной степени — повесть Липкина с замечательным названием «Записки жильца» впервые увидела свет через шестнадцать лет после написания («Новый мир», 1992, № 9 — 10) и вот теперь наконец-то — в сплотке с мемуарами — вышла отдельной книгой.

Что роднит прозу Липкина с его стихами — так это чрезвычайно высо-

кая концентрация смысла и материала. «Страдание не устало, страдание шествует впереди» — заключительная фраза повести могла бы стать и ее эпитафией. Ведь речь идет о временах с предреволюционных до послевоенных, и по сконденсированности страдания, жертвенности, мытарств эта историческая эпоха не знает равных. Но одним из основных свойств Липкина-литератора является *уравновешенность*, в некотором отношении синоним мудрости, его творчество драматично, а не трагично: оно, так сказать, без «верхнего до», — и в этом его специфическое достоинство. Как бы ни была хаотична, а порой и гнусна человеческая история, Липкин счастливо видит в ней высшее божественное начало, его творческому герою не приходится мучиться проблемой теодицеи: он укоренен в Боге — и всё тут. Бог покрывает Собою мир, человечество, «пора, — размышляет герой повести Михаил Федорович Лоренц, — слиться в одно всем, для кого важна главная основа веры — понимание, что все мы, люди, потому и люди, что созданы Богом по образу и

подобию Его. Только это понимание может спасти мир».

И хотя город — реквием которому вместе с его «жилыми» создал писатель — нигде прямо не назван, читатель без труда, даже и не зная биографических обстоятельств автора, узнает в нем Одессу: «...сколько фамилий украинских, еврейских, греческих, польских, турецких, армянских! И все же город был русским... чисто русским, потому что... Россия — это Россия с ее чрезвычайно пестрой, энергичной историей», — потому еще — добавим мы от себя, — что именно из Одессы в нашем веке вышло столько литераторов, без которых новейшая литература непредставима. Очевидно, именно Одесса сформировала у Липкина тот свободно-экуменистический и одновременно имманентно-религиозный взгляд на человека и человечество, который и стал мировоззренческой доминантой его творчества. Взгляд этот не просто декларируется в его стихах и прозе, но, повторяю, составляет их идейную сущность. Тут основа жизнелюбия лирического героя Липкина, тут объяснение, почему ясная трезвость взгляда на мир всегда помогает ему избегать цинизма. Это — в оригинальном творчестве. Действительность же, однако, вынуждала платить по счетам. В воспоминаниях о Гроссмане (самом, очевидно, проникновенном, что сказано и будет сказано об этом писателе) Липкин рассказывает, что среди требований, обеспечивавших публикацию романа «За правое дело», было и такое: «Гроссман пишет главу о Сталине... Когда он меня спросил, что я об этом думаю, я сказал, что надо согласиться, но мне было бы противно писать о Сталине. Гроссман рассердился: „А сколько ты напереводил стихов о вожде?“ Я привел поговорку моего отца: „Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком“».

Подобно Тарковскому, Липкин предпочитал не существовать в подцензурной литературе в качестве оригинального автора, но только как переводчик — суеверно избегая вышеупомянутого «смешения».

В стилистике, в художественном дыхании «Записок жильца» есть нечто от «Все течет» Гроссмана: в недлинную повесть емко вмещаются темы, характе-

ры, перипетии и диалоги, словно рассчитанные на эпический объемный роман. Замечательные страницы выхода героя из оккупации, разоренная Украина, сложные, на редкость современные, разговоры о ее независимости — тайна писательского мастерства в том, как все это вмещено в такое небольшое прозаическое пространство без ощущения скомканности рассказа.

...Воспоминания Липкина об Ахматовой, Заболоцком, Гроссмане, Цветаевой — вряд ли кто из ныне живущих современников наших может похвастать знакомством, а то и дружбой со столькими «олимпийцами»: здесь и рельефные портреты, и крупнота характеров, и масса бытовых мелких штрихов, из которых лепится колорит минувших времен, трагических, но благодаря этим людям и величавых. Жизнь — из года в год под нависающей гильотиной ареста и гибели — ставила, что называется, вопрос бытия ребром, фокусировала, а не размывала его. Липкин рассказывает ясно, просто — порою до простодушия, но тем бывает жутче, ибо описываемая им жизнь сюрреалистична. Существует мнение, что люди высокодаровитые несут в себе определенную аномалию: мол, психика их дает трещины под грузом их дарования. С большой головы — на здоровую. Согласно рассказам Липкина, все наоборот: ненормальны общество, мир, в котором выпало жить совершенно нормальным гениям. Алогизмы их бытия — логичны. Лирический герой Липкина упрямо противопоставляет хаосу собственную нормальность, тем самым стремясь его обезвредить. Может быть, в литературных созданиях поэта маловато неврастении. Кому-то это покажется недостатком... Но под пленкой расчисленности — магия творческого мира крупного мастера.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

✱

ОЛЬГА ИВАНОВА. Когда никого. Стихи. М. «Арго-риск». 1997. 52 стр.

Уже само название первой книги Ольги Ивановой «Когда никого» концентрирует в себе важнейшие черты ее

молодой, ярко талантливой, оригинальной поэтиски: интеллектуальная просторечность (этакий стилистический стеб); принципиальная безглагольность (фетовская, но на новом витке); вечная выдернутость фразы, идеи, эмоции из контекста — догадывайтесь, дескать, сами («в меру своей испорченности» — и родственности автору), что за чем кроется и что из чего вытекает...

Она очень жалуется инверсию (так и вспоминается Глазков: «Не тужи о нас. Нам весело и в подвалах нищеты: неожиданность инверсии мы подняли на щиты») как средство остранения затерто-нейтральных слов и понятий через ломку их привычной иерархии, порядка, реестра.

И уж тебе, невесть  
кто под колпаком  
будет — в городе невест  
в колокол — по ком!

Попутно обращаю внимание на плотность стиховой ткани, соседствующей с зияниями, дырами и проемами лирической речи, в которых гуляет и свищет ветер зазеркалья, внесловесного поля, подсознания. А что за рифмы — свежие, игровые, естественно виртуозные!

В стихах Ольги Ивановой — такая степень жизненной переполненности, что за автора едва ли не страшно (цветаевское «с этой безмерностью в мире мер»): как в незаматеревшей душе все это умещается и не переливается через край?

Впрочем, именно переливается! Переливается — в тех же инверсиях... В переизбытке жаргона: все эти «стрематься», «от винта», «до полной отключки» или даже так: «а хахалю — слинять к помладше», особенно выразительные в своем парадоксальном союзе с высоколобыми реминисценциями (от Сафо, Офелии и Иван Андреича Крылова через Муму к Цинциннату Ц.), латинизмами и архаизмами, создают поэтику, как бы это сказать, интеллектуального лубка... В маниакальном пристрастии к диссонансным рифмам (их еще называют «рифмоиды») вроде: *ношу — душу, крылечки — оболочки, багете — бегите, луг — эпилог* и тому подобное... В бесконечной тяге к словам единого чувственного ряда: *мыслящая мука, неумная вина, маета, сплин, жуть отовсюду и жуть априори*...

Я не припомню в нынешней поэзии такой откровенности, такой язвительной самоиронии и способности (даже — сладострастной склонности) к автошаржу. Судите сами:

Быть верною женою двух мужей.  
Как следствие — читающею Юнга  
чухонкою на пару этажей,  
понеже *brevis ars, da vita longa*.

.....  
...Быть юной Гретхен, старую каргой,  
но вечно молодящуюся леди,  
чтоб выстоять в аду одной ногой,  
другой — в раю, а третьей — выйти  
в люди...

Лишь очень сильный человек (тем более если он женщина) способен к такому острому и нелюбимому самоанализу на людях — без боязни быть смешной.

Лишь человек очень сильный и — при всей декларируемой нелепости изгоя — очень самодостаточный, уверенный в своей внутренней правоте (или превосходстве?), гордый. Чего-чего, а уж гордости (или гордыни?) у Ольги Ивановой — с лихвою:

Это так, не подьемля очей  
выше корочки ваших врачей.  
Выше выручки ваших мужей.  
Выше парочки ваших вожжей.

Гордыня сказывается и в пристрастии к центонным подковыркам — то помягче:

А зато — какая музыка во льду!  
А в аду — какая музыка зато! —

то поразвязнее, на грани панибратской пародии:

Мне нравится ваш колер с сединой  
и графика, особенно — сангиной.  
Равно и то, что вы больны не мной,  
но самой заурядною ангиной.

Этой бодрой вторичности в стихах Ольги Ивановой, пожалуй, многовато, что, на мой вкус, ниже ее фонтанирующе-самобытного дара, — зачем ей этот бедный «постмодерн» местного разлива, который я недавно в устном споре неожиданно для себя определила как полную зависимость от чужого текста без малейшей благодарности к нему. (Вообще ведь в жизни высокомерная неблагодарность к тому, у кого берешь, есть черта плебейская, не так ли?)

Ну да ладно. Главное в этой книге — как раз первичность страсти, воплощенная музыкально:

...И все это было. И все это было  
 большее любви и более брака —  
 когда белизною ее ослепило,  
 родное лицо вырывая из мрака,  
 когда белизною ее полоснуло,  
 и все это было, и их было двое...  
 О чем еще, память! — Оно обмануло!  
 Оно поправимо!  
 Оно — не былое!

Ольге Ивановой доступен в поэзии и, как видим, мистический бред, и четкость. а ф о р и з м а, крылатой строки, «мо», которые так и хочется повторять. Да. «Пегас — упрямое животное». Да, «одному ускользать, а другому — за двоих обожать и жалеть». Да, —

И жизнь рисуется в остатке —  
 как та безрукая Венера.

Она любит начать стихотворение как бы с середины (например, со словечка «ибо») — и в этом сквозит, помимо интонационного мостика к Бродскому, доверие к предполагаемому собеседнику: ты, мол, помнишь, на чем я прервалась, что было раньше и из чего вытекает нижеследующее... Она любит гремучую смесь деревенского фольклора, городской фени, филологизма и просто полудетского всхлипа. Она — и это главное — абсолютно настоящая, достоверная и доподлинная.

«Высокое косноязычье тебе даруется, поэт», — было сказано не нами.

Ольга Иванова — именно такой, высококосноязычный, поэт.

Татьяна БЕК.

\*

**Е. ШКЛОВСКИЙ. Заложники. Рассказы. М. РИК «Культура». 1996. 336 стр.**

Если кто-то клонет на название книги Евгения Шкловского «Заложники» в надежде на что-нибудь «этакое», перекликающееся с душераздирающими сюжетами, к которым прирастило нас телевидение, то, наверно, подосадует на «обманщика»-автора.

Однако он вовсе не хитрил, не придумывал «зазывного» заголовка, и рассказ, чье название вынесено на облож-

ку, хоть малость и грешит загадочной непроясненностью, тоже является фрагментом картины той жизни, которая интригует, заботит, радует и печалит писателя, — сложной вязи человеческих взаимоотношений в нелегкое, запутанное время, у которого мы все в той или иной степени в заложниках.

Описывая встречу с героиней рассказа «Последние», повествователь употребляет примечательное словечко: «нас прибило неожиданно друг к другу» — прибило на одном из частых и характерных для недавних десятилетий проводов в другую страну, в иную жизнь, и, как тогда думалось, навсегда. Да и в других рассказах людей друг к другу прибывает — порой, как в «Последних», на краткие, но остро и горько пережитые часы, чаще же образуя некие устойчивые компании со своим ритуалом общения, как, например, у персонажей «Состояния невесомости» и «Пропавшего».

Вышеназванного «состояния» они достигают в традиционном для нашего отечества месте отдохновения — в бане, где «все словно молодели, скидывали, по меньшей мере, десяток, так что жизнь еще была впереди», — а на деле-то она уходила, и порой кто-нибудь «взбрыкивал», как регулярно исчезающий с общего горизонта Саня Рукавишников: по предположению приятелей, ему «стыдно, наверно, он ведь экономист, а какая у них экономика — это всем известно». Да если кто-то вдруг и начинал говорить, что «нужно жить по-другому, не так, как они», все настораживались, «потому что постановка вопроса была серьезная, почти каждый им задавался, но с ответом было хуже». И тоскливая мысль временами выплывала: «Ведь так проживешь жизнь — и не узнаешь себя».

Автор не обличает этих заложников быта, привычек, служебного хомута, он им сочувствует, жалеет их — и, пожалуй, куда больше, нежели «интеллигентную» чету Шапошниковых из рассказа «Противостояние», которые, обеспокоясь «дурным влиянием» на дочь ее подруги, решили приобщить ее к культуре, ибо, мол, человек «всесторонне развитый, он только и ждет, чтобы пойти в кино или в театр... чтобы поговорить о возвышенных и духовно-подъемных предметах, посетить вы-

ставку какого-нибудь замечательного художника».

Казалось, мы должны бы сочувствовать затеянной ими культпросветработе и негодовать на Катю, которая никак ей не поддается, да вот не верится нам (как и автору!) в подлинность их «духовности» (словцо так часто ими повторяемое, что легко понять досадливые протесты девочки «ну, па-ап!», «ну, ма-ам!»). Вообще в них напрочь нет того, что, пользуясь выражением Евгения Шкловского, можно назвать «теплом чужого существования» и что дорого писателю в самых разных героях: и в знакомой нам банной компании, и в служащих детсада, которых наблюдает сторож Нифонтов («Соглядатай»), и в чудаковатых друзьях студенческих времен («Связитель»), и даже в вечно спорящих друг с другом людях разных поколений и убеждений из рассказа «Западня», которым «спички были не нужны, чтобы между ними полыхнуло».

Андрей ТУРКОВ.

\*

**РУССКИЙ МАТ. Толковый словарь. М. «Глагол». 1997. 304 стр.**

Русский мат, как бы к нему ни относиться, отражает реальность русской (и не только) жизни и сам является реальностью русского языка. В этом смысле мат, как и любая другая реальность, может стать предметом профессионального изучения. Поэтому появление словаря «Русский мат», составленного профессором Т. В. Ахметовой, не должно вызывать удивления, тем более что на лотках уже как-то мелькал другой сборник под таким же названием.

Меня в этой книге, как только я увидел ее выходные данные, заинтриговало сочетание названия («мат»), жанра («толковый...») и объема. Ну каким бы крупным шрифтом ни набирать матерные слова, на триста четыре страницы никак не хватит, а ведь это еще «сокращенный и адаптированный для широкого круга читателей» вариант<sup>1</sup>. «Помните, что в нем только ма-

терные, похабные, нецензурные слова. Иных вы не встретите!» — предупреждает составитель слабонервного читателя. То-то, что встретим! Разгадка проста. В словаре Татьяна Ахметовой содержится по крайней мере три лексических слоя. Во-первых, это действительно всем известный русский мат. Благодаря грамматическому богатству великого русского языка от каждого из немногочисленных матерных слов с помощью различных приставок и суффиксов можно создать неограниченное число производных. Например, каждый из возможных глаголов дается отдельно и в совершенном, и в несовершенном виде. Остроумно. Но много ли тут можно «натолковать»? Даже с фольклорными примерами и цитатами из Петра Алешкина, Юза Алешковского и Эдуарда Лимонова на триста четыре страницы все равно не хватает.

Второй слой — это объяснение специфической лексики всевозможных «меньшинств». Например, «генерал — сифилис, большой сифилисом». Или: «вампир — насильник детей», «игрушка — несовершеннолетняя проститутка», «любовь с криком — изнасилование», «марксист — активный гомосексуалист». Но это называется не мат, а жаргон, арго (кстати, несколько лет назад уже выходил интереснейший словарь московского арго). И наконец, третий слой. Это... даже не знаю, как сказать. Это лучше цитировать. «Брюхо нагулять — забеременеть». «Грудь — женские молочные железы». «Замысловатый мат — длинное ругательство». «Лесбийская любовь — половое влечение женщины к женщине». «Похабство — бесстыдство». «Садист — извращенец». «Сексология — наука о половой жизни». «Сексуальные отношения — половые отношения». «Сифилис — венерическая болезнь». «Скопец — кастрат». «Эякуляция — семяизвержение» (и здесь же: «семяизвержение — эякуляция»). «Ягодица — половина задницы». Особенно трогательно: «кака — дрянь, гадость». Так и хочется сказать: профессор Ахметова, это не то, вас кто-то обманул...

Но, поразмыслив, я, кажется, нашел объяснение. Вот что рассказывает в предисловии составитель: «Я занялась сбором, изучением и толкованием матерных слов студенткой в шестидеся-

<sup>1</sup> Выпустившее его издательство «Глагол», судя по всему, не имеет отношения к одноименному журналу-издательству Александра Шаталова.

тых годах. Защита моей кандидатской диссертации проходила в такой секретности, словно речь шла о новейших ядерных исследованиях, и сразу же после защиты диссертация ушла в спецхраны библиотек. Позже, в семидесятых годах, когда я готовила докторскую, потребовалось уточнить некоторые слова, и я не смогла получить в Ленинской библиотеке собственную диссертацию без специального разрешения органов». Вот именно: на протяжении и шестидесятых, и семидесятых, и даже большей части восьмидесятых годов (вспомните сами) многие обычные на сегодняшний слух выражения вроде «секса» и проч. тоже были *полуцензурными*, в широкой печати они были *табуированы* не меньше, чем мат. Так что, как можно догадаться, Татьяна Ахметова занималась собиранием и изучением не только мата, но и вообще лексики, которая считалась в

СССР неприличной. (И все равно — при чем тут «грудь»?)

Можно было бы подумать, что составитель должен этим «неприличным» словам давать «приличные» определения. Но в том-то и смех, что делается все наоборот. А именно: вполне приличные слова объясняются в словаре неприлично. Например, умное слово «гомосексуализм», известное подружке Элочки-людоедки — незабвенной Фиме Собак (а также выражения «заяняться любовью», «потерять честь», «прелюбодеяние», «проститутка», «публичный дом», «секс», «соблюсти себя», «совокупление», «согрешить», «эрекция», «эротомания» и др.), профессор Ахметова почему-то растолковывает нам... настоящими русскими *матерными* словами, так что я затрудняюсь их процитировать. И это уже настоящее филологическое извращение.

А. В.



---

---

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

### «...СТРЕМИТЬСЯ К ВЫСОКОЙ СВОБОДЕ»

**В** третьем номере «Нового мира» за этот год напечатана статья Леонида Афонского «О будущей России — в тоталитарные времена». И там — насколько мне известно, впервые на страницах вашего журнала — идет речь о мировоззрении моего покойного мужа, русского мыслителя Дмитрия Панина, книги которого пришли в Россию уже после его кончины... Но тем более читатель имеет право на более ясное и объемное представление о сумме идей Панина, чем то, которое дает Афонский.

Панин — прежде всего христианский социальный философ, а отнюдь не технократ-утопист, каким он выглядит у Афонского.

Панин был убежден, что «люди доброй воли», употребляя евангельское выражение<sup>1</sup>, могут спасти от гибели мир-маятник, приближающийся к конечной точке своего размаха. «...Но для этого нужна активность, нужна жертвенная элита, которая может забыть о своих благах и интересах и жертвовать собой во имя спасения человечества. ...Я не вижу фатальной слабости добра по отношению ко злу... Добро — начало творческое, а зло — разрушительное. ...В пользу людей доброй воли еще один сильный довод: наличие большого их числа. При громадном извержении зла в мире для его существования как огромного единства должно быть в его пределах доброе начало в том же, а если не в том же, то, во всяком случае, в громадном количестве».

Афонский утверждает, что «Д. М. Панин, пройдя сталинскую неволю, видел в человеке несравненно меньше природного добра» (чем А. Д. Сахаров. — *И. П.*).

Панин же считал, что «без участия благородного начала души все скатится в энтропийную бездну... Только нравственное, благородное начало может спасти мир». В его книге «Держава созидателей» одна глава так и называется: «О значении духовного благородства».

«Этический контроль необходим, чтобы поднять благородный, духовный уровень восприятия жизни, создать уровень благородства духа. Потому что, когда мир погрязает в подлости, он одновременно погружается в пучину зла. ...Для того, чтобы злое начало вошло в свои берега, чтобы оно количественно было поставлено под контроль доброго начала, нужен этический контроль, осуществляемый добрыми силами. Эти добрые силы есть, их нужно разбудить и вооружить идеями».

Афонский боится идеи «этического контроля», в ней ему видится чуть ли не деспотизм, но Панин пишет: «Тот, кто думает, что этический контроль нереален, считает, что добро слабо, что проповедь Иисуса Христа ничего не дала, что Дьявол царит, что Дьявол — реальная сила и что все потуги с ним бороться нереальны. Христианин так считать не имеет права. ...Увы, миллионы пользуются припевом «это не реально, проблематично», потому что он очень удобен. Объяснять ничего не нужно, доказывать ничего не нужно, и люди с важным видом вещают: «это утопично». Вот и все. И вроде получается, что ты умный человек и доказал, что хотел».

Афонский упрекает мыслителя в том, что у него «механическое деление людей на «созидателей» и «разрушителей», чуждое истинному христианскому пониманию человеческой души».

---

<sup>1</sup> «В человеках благоволение» (Лк. 2: 14) переводилось в Новом Завете и как «люди доброй воли» (например, французский перевод Библии Bourasset et Janvier — Tours, 1966, éd. Alfred Mame et fils). Д. Панин употребляет выражение «люди доброй воли» в его евангельском смысле. Для него это те, кто ведут борьбу с носителями зла, чтобы установить мир на земле.

Д. Панин: «Самое древнее и несомненное деление людей на мирных, а нередко и праведных тружеников — авелей и на завистников, способных на убийство, — каинов (Быт. 4: 2 — 16). Исходя из этой бессмертной схемы людей следует делить на созидателей и разрушителей».

Понятие свободы обосновано Д. Паниным в его философии: «Свобода может быть высокой и низкой, поскольку ее проявление зависит от желания человека и сделанного им выбора. Путь к высокой свободе проходит через длительное проявление полусвободы и требует от человека преодоления большого сопротивления и самоусовершенствования». В «Державе созидателей» глава названа «Свобода через полусвободу». «Совершенно напрасно гнездится в человеке понимание свободы как «делай, что хочешь, говори, что хочешь, что моей левой пятке хочется». Со всем нет. Путь к свободе через полусвободу. Мы должны стремиться к высокой свободе, а не к низкой...»

Л. Афонский исключает Панина из некой «магистральной линии» отечественной мысли, выражающейся «в сознательном самоограничении человека». Во всех своих работах Д. Панин говорит о самоограничении человека, при отсутствии которого свобода становится своеволием.

Дмитрий Панин, повторяю, *русский мыслитель*, и не надо делать из него «ярко выраженного технократа с иллюзиями социального конструирования».

**Исса ПАНИНА.**

Севр, Франция.





---

---

# РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**И. З. СЕРМАН. Михаил Лермонтов. Жизнь в литературе. 1836 — 1841. Иерусалим. Славистический центр гуманитарного факультета Еврейского университета в Иерусалиме. 1997. 368 стр.**

«Я буду излагать вам факты... с их разнообразными следствиями и способами проявления — и только, ничего более», — говорил когда-то В. О. Ключевский, начиная чтение своего курса русской истории. Нечто подобное может сказать о себе всякий историк литературы, отказывающийся от изучения творчества писателя с точки зрения заданных современной наукой правил объяснения текстов, избегающий какой-либо терминологии и желающий интерпретировать тексты в свете собственного историко-литературного опыта.

«В данном исследовании хотелось прочитать стихи и прозу Лермонтова как бы в первый раз. Такова цель книги», — пишет в предисловии к своему новому сочинению И. З. Серман. Парадоксальность этого заявления очевидна: человек, более пятидесяти лет профессионально занимающийся историей русской литературы, не может прочитать сочинения Лермонтова действительно впервые — как неопит: его «в первый раз» слишком опосредовано его профессиональным опытом и знаниями. Сермановское «как бы в первый раз» — примерно то же самое, что «факты, и ничего более» Ключевского: тут выражается внутренняя убежденность историка в том, что объем его знаний позволит ему доказать свою систему взглядов, не прибегая к общетеоретическим построениям, а только на основании конкретного материала, сгруппированного опытным исследователем так, что само изложение фактов даст новое понятие о предмете.

В книге Сермана идет речь о творчестве Лермонтова последних четырех лет его жизни. Лермонтов стал известен публике с 1837 года после распространения в списках «Смерти поэта» и публикации «Бородина». Никто из читателей не знал тогда, что перед литературным светом предстал не начинающий поэт, а автор почти трехсот стихотворений, двадцати поэм, пяти драм и двух незавершенных романов (эта часть творчества Лермонтова станет известна публике только после его смерти). Напечатанное Лермонтовым в 1837 — 1841 годах — это в основном то, что было написано в эти годы; но отнюдь не все написанное тогда Лермонтов предавал тиснению: шел выбор литературной позиции, определялся литературный статус, происходило превращение Лермонтова из «поэта для себя» — в «поэта для всех». Его стихи и проза становились литературным фактом.

Серман и начинает книгу с объяснения того, что такое «литературный факт». Развивая мысль Ю. Н. Тынянова, он пишет: «...факт становится *литературным* только тогда, когда он попадает в систему литературных отношений, под воздействием которых проверяется и утверждается его «право» на существование в литературе». В рамках аннотирующей рецензии нет смысла спорить с этим определением, равно как и с последующей аргументацией Сермана в пользу этого определения (по этому поводу можно было бы устроить отдельную полемику). Сейчас существенно не то, как Серман определяет литературный факт вообще, а то, что произведения Лермонтова, попадающие в поле зрения Сермана, вполне соответствуют и его определению, и последующей аргументации.

В книге девять глав: I. Москвич в Петербурге; II. В ожидании нового поэта; III. Народ в истории; IV. Две эпохи; V. Поэт своего поколения; VI. Примирение и бунт; VII. Петербургский роман и поэма о провинции; VIII. Горы и люди; IX. «Журнал» Печорина. Серман не ставит перед собой энциклопедических задач — воссоздать весь литературный и интеллектуальный контекст, в котором Лермонтов задумывал, писал и выпускал свои сочинения в свет. Книгу Сермана

скорее следует называть циклом историко-литературных очерков, в каждом из которых затронута какая-то одна «центральная творческая проблема» (искушенный читатель легко поймет по названию глав, какой круг вопросов занимает автора в каждой из них), «а в совокупности книга показывает, как входил Лермонтов в литературу своего времени, какие препятствия ему приходилось преодолевать и на какие духовные потребности русского общества он хотел и мог ответить».

Главное достоинство книги в том, что творческая мысль Лермонтова реконструируется только на основании литературного контекста эпохи, в которую он писал: отношение поэта к Петербургу рассмотрено в связи с петербургским мифом русской литературы 1830-х годов; лермонтовское восприятие истории и его философская ориентация проанализированы в свете историософских проблем его времени; конкретные разборы конкретных текстов Лермонтова дают возможность увидеть то, как Лермонтов переосмыслял поэтические клише своей эпохи, и то, как современники реагировали на переосмысление этих клише (отметим блистательный анализ стихотворений Лермонтова в связи с поэзией Бенедиктова).

Читать книги, в которых исторические факты сгруппированы опытной рукой человека, знающего их почти как современник, всегда приятно.

Е. ЛЯМИНА, А. ПЕСКОВ.



---

---

# БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Белла Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика. Новые стихи. СПб. «Пушкинский фонд». 1997. 64 стр. 2000 экз.

**А. А. Блок.** Полное собрание сочинений и писем. В 20-ти томах. Том 1. Стихотворения. Книга 1. 1898 — 1904. М. «Наука». 1997. 640 стр. 2000 экз.

**В. Богомолов.** Избранное. Момент истины. Иван. Первая любовь. Зося. В кри-  
жере. Сердца моего боль. М. «Дружба народов». 1996. 539 стр. 11 000 экз.

**Гигин.** Мифы. Перевод с латинского Д. Торшилова. Под общей редакцией  
А. А. Тахо-Годи. СПб. «Алетейя». 1997. 370 стр.

Впервые на русском языке книга римского мифографа (предположительно конец  
I — начало II века) — одна из немногих сохранившихся попыток древних ученых полно  
и систематически изложить греческие мифы.

**Ч. Гусейнов.** Директория IGRA. Компьютерный роман. М. Издательский дом  
Русанова. 1996. 272 стр. 4500 экз.

**Юрий Домбровский.** Меня убить хотели эти суки. М. «Возвращение». 1997.  
197 стр. 7000 экз.

Первое книжное издание стихов Домбровского. В приложении: рассказы «Ручка,  
ножка, огуречик...», «Записки мелкого хулигана», письма.

**Иван Жданов.** Фоторобот запретного мира. Стихотворения. СПб. «Пушкин-  
ский фонд». 1997. 56 стр. 1000 экз.

**В. Каверин.** Пурпурный палимпсест. М. «Аграф». 1997. 576 стр. 5000 экз.

Рассказы и повести 20-х годов. «Пурпурный палимпсест», «Столяры», «Бочка»,  
«Большая игра». Поздняя проза: «Семь пар нечистых», «Перед зеркалом», «Верлиока».  
Предисловие Вл. Новикова «Безошибочная ставка».

**В. Каверин.** Эпилог. Мемуары. М. «Аграф». 1997. 560 стр. 5000 экз.

**Сиина Макото.** Туман над городом печальным. Перевод с японского Г. Г. Сви-  
ридова. М. Издательская фирма «Восточная литература» РАН. 1996. 160 стр.  
2000 экз.

**О. Мандельштам.** Собрание сочинений в четырех томах. Составители: П. Нер-  
лер, А. Никитаев. М. «Арт-Бизнес-центр». 1993 — 1997.

Том первый. Стихи и проза 1906 — 1921. 368 стр. 10 000 экз.

Том второй. Стихи и проза 1921 — 1929. 704 стр. 10 000 экз.

Том третий. Стихи и проза 1930 — 1937. 528 стр. 9600 экз.

Том четвертый. Письма. 608 стр. 5000 экз.

Замысел издания составители обозначили как попытку «создать многотомник Оси-  
па Мандельштама, построенный не по привычной схеме «стихи — проза — статьи», а  
по принципу хронологии». Принцип хронологии — основной в составлении этого че-  
тырехтомника. То есть корпус стихов начинается не стихами, которыми сам поэт опреде-  
лил как первые предназначенные для публикации стихи («Звук осторожный и глу-  
хой...»), а совсем ранним стихотворением «Среди лесов, унылых и заброшенных...». Кроме того, в издании в очень сокращенном виде даны необходимые комментарии, со-  
ставители отсылают читателя к изданному ранее двухтомнику поэта. К достоинствам  
четырёхтомника следует отнести богатейший иллюстративный материал.

**Денис Новиков.** Караоке. Стихотворения. СПб. «Пушкинский фонд». 1997.  
64 стр. 500 экз.

**Дж. Д. Сэлинджер.** Сочинения в двух томах. Харьков. «Фолио»; Белгород. «Фо-  
лио-Транзит». 1997. 10 000 экз.

Том 1. Рассказы (1940 — 1948). «Над пропастью во ржи». Перевод Р. Райт-Ковалевой. В приложении: «„Зеркальный телескоп”. Интервью, взятое Ширли Блейни у Дж. Д. Сэлинджера». Перевод Е. Бородкина. Примечания А. Зверева. 339 стр.

Том 2. Девять рассказов. Повести. «Выше стропила, плотники», «Симор; введение», «Фрэнни». Перевод Р. Райт-Ковалевой. «Зуи». Перевод М. Ковалевой. «Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года». Перевод И. Бернштейн. В приложении: А. Зверев, «Сэлинджер: тоска по неподдельности». Примечания А. Зверева. 479 стр.

**Юрий Трифонов.** Дом на набережной. Роман, повесть. М. «Локид». 1997. 429 стр. 16 000 экз.

Повесть «Дом на набережной» и роман «Время и место».

**Теннесси Уильямс.** Мысли на рассвете для Марии. М. «Рудомино». 1997. 72 стр. 1500 экз.

Малоизвестная широкому читателю (и зрителю) сторона творчества знаменитого драматурга — его поэгическое наследие, в переводах Ирины Печерской.

**В. Ходасевич.** Собрание сочинений. В 4-х томах. Том 4. Некрополь. Воспоминания. Письма. Составление, подготовка текста И. П. Андреевой и др. М. «Согласие». 1997. 742 стр.

**Елена Шварц.** Западно-восточный ветер. Новые стихотворения. СПб. «Пушкинский фонд». 1997. 96 стр. 1000 экз.

**Г. Щербакова.** Провинциалы в Москве. Романы. М. «Локид». 1997. 428 стр. 26 000 экз.

**Антуан де Сент-Экзюпери.** Сочинения в трех томах. Перевод с французского. Рига. «Полярис». 1997. 5000 экз.

Том 1. Художественная проза. «Южный почтовый». Перевод М. Баранович. «Ночной полет». Перевод М. Ваксмахера. «Планета людей». Перевод Норы Галь. «Военный летчик». Перевод А. Тетерниковой. «Маленький принц». Перевод Норы Галь. Предисловие А. Зверева «Ланселот нашего времени». 527 стр.

Том 2. «Цитадель». Перевод М. Кожевниковой. Предисловие Ю. Стефанова «Ты был моей цитаделью...» 527 стр.

Том 3. Очерки. Репортажи. Письма. Статьи из книги «Смысл жизни». Перевод Р. Грачева, М. Баранович, Ю. Гинзбург. Из книги «Военные записки 1939 — 1941». Перевод Л. Цывьян, Е. Баевской, Норы Галь. Письма. Перевод М. Баранович, Л. Цывьян. 415 стр.



**С. Аверинцев.** Поэтика древневизантийской литературы. М. «CODA». 1997. 343 стр. 10 000 экз.

Переиздание знаменитой монографии.

**Д. Волкогонов.** Троцкий. Политический портрет. В 2-х книгах. М. «Новости». 1997. 5000 экз. Книга 1 — 414 стр. Книга 2 — 414 стр.

**Д. Волкогонов.** Семь вождей. Галерея лидеров СССР. В 2-х книгах. М. «Новости». 1997. 5000 экз.

Книга 1. Владимир Ленин. Иосиф Сталин. Никита Хрущев. 496 стр.

Книга 2. Леонид Брежнев. Юрий Андропов. Константин Черненко. Михаил Горбачев. 480 стр.

**А. Генис.** Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. Эссе. М. «Независимая газета». 1997. 254 стр. 5000 экз.

Вот одна из сквозных мыслей книги: «Язык — первое орудие труда, первая машина, помогающая человеку преобразовывать мир». «Вавилонская катастрофа — расплата за излишнее доверие к языку. Поэтому новая башня может вырасти только в том мире, который научится уважать вневербальную культуру». «Чтобы не повторить судьбы своей

предшественницы, новая, постиндустриальная башня должна строиться не только индустриальной, но и архаичной культурой, владеющей искусством создавать в нас целостные, не расчлененные словами переживания».

**Григорий (Круг), инок.** Мысли об иконе. М. Типография АО «Молодая гвардия». 1997. 160 стр. 10 000 экз.

Известный иконописец, русский эмигрант, живший в Париже.

**Л. П. Карсавин.** Основы средневековой религиозности в XII — XIII веках. Подготовка текста А. К. Клементьева. Послесловие, примечания А. К. Клементьева, С. Ю. Клементьевой. СПб. «Алетейя». 1997. 418 стр. 3000 экз.

**В. Купченко.** Странствие Максимилиана Волошина. Документальное повествование. СПб. «LOGOS». 1996. 544 стр. 500 экз.

**А. Ф. Лосев.** Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. Составление, общая редакция А. Тахо-Годи. СПб. «Алетейя». 1997. 616 стр. 3000 экз.

Кроме работ самого Лосева в книгу вошли статьи В. П. Троицкого «Теория множества как «научно-аналитический слой» имяславия» и Л. А. Гоготишвили «Лосев, исихазм и платонизм», «Лингвистический аспект трех версий имяславия».

**Р. Рорти.** Философия и зеркало природы. Перевод с английского, научная редакция В. В. Целищева. Новосибирск. Издательство Новосибирского университета. 1997. 298 стр. 1500 экз.

**Словарь литературных персонажей.** Русская литература. Составитель, ответственный редактор В. П. Мецераков. М. «Московский лицей». 1997. 5000 экз. Выпуск 3. 1920 — 1930-е годы. 222 стр. Выпуск 4. 1940 — 1980-е годы. 232 стр.

**Борис Соколов.** Энциклопедия булгаковская. М. «Локид-миф». 1996. 592 стр. 21 000 экз.

Вторая в России персональная энциклопедия, первой была «Лермонтовская энциклопедия». Уникальность ее еще и в том, что составлена она одним человеком. Содержит 146 справочных статей, написанных, как сказано в аннотации, «крупнейшим специалистом-булгаковедом» и отличающихся «оригинальным авторским взглядом на жизнь и творчество великого писателя». В авторском же предисловии поясняется, что данная энциклопедия «менее академична. И более популярна», то есть в ней собраны «наиболее интересные для самой широкой публики сведения о жизни и творчестве Булгакова». В приложении помещены неизвестная читателю «революционная» пьеса Булгакова, написанная для владикавказского театра в 1920 году; по-видимому, та, перечитав которую он когда-то заплакал от ее убогости. И очень надеялся, что никто и никогда не прочтет ее.

**С. Л. Франк.** Реальность и человек. Составитель П. В. Алексеев. М. «Республика». 1997. 480 стр. 5000 экз.

**О. М. Фрейдберг.** Поэтика сюжета и жанра. Подготовка текста, общая редакция Н. Б. Брагинской. М. «Лабиринт». 1997. 448 стр.

**Лидия Чуковская.** Записки об Анне Ахматовой. В 3-х томах. М. «Согласие». 1997. 15 000 экз. Том 2. 1952 — 1962. 830 стр. Том 3. 1963 — 1966. 542 стр.

В приложении к третьему тому помещены: записки Чуковской, сделанные «в промежутке» между встречами с Ахматовой, от 17 июня до 7 ноября 1964 года, посвященные делу Иосифа Бродского, а также отрывки из переписки Бродского с Вигдоровой, письма писателей, официальные бумаги; статья Лидии Чуковской «Голая арифметика» и эссе Ганса Вернера Рихтера «Эвтерпа с берегов Невы» (перевод с немецкого Льва Копелева).

**Лев Шестов.** Сочинения в двух томах. Томск. «Водолей». 1996.

Том 1. «Шекспир и его критик Брандес», «Добро в учении гр. Толстого и Ницше. (Философия и проповедь)», «Достоевский и Ницше. (Философия трагедии)». В приложении: Н. А. Бердяев, «Трагедия и обыденность»; А. З. Штейнберг, «Лев Шестов». 512 стр.

Том 2. «Апофеоз беспочвенности. (Опыт адогматического мышления)», «Начала и концы», «Великие кануны». 448 стр.

Двухтомник представляет работы философа, написанные им до своей вынужденной эмиграции.

К. Г. Юнг. Душа и миф: шесть архетипов. Составление В. И. Менжулина. Киев. «Порт-Рояль»; М. «Совершенство». 1997. 383 стр. 10 000 экз.

Составитель Сергей Костырко.

## ПЕРИОДИКА



*«Арион», «Волга», «День и ночь», «Диалог», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Континент», «Кстати», «Культура», «Литературная газета», «Москва», «Московские новости», «Московский комсомолец», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Новая Юность», «Общая газета», «Октябрь», «Открытая политика», «Посев», «Простор», «Урал»*

**Георгий Адамович.** Нелитературные беседы, или Торжество над материей. Предисловие Олега Коростылёва. Публикация О. Коростылёва и С. Федякина. — «Дружба народов». Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 5.

Статьи о балете.

**Александр Архангельский.** Обстоятельства места и времени. Связка рецензий. — «Дружба народов». Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 5.

О романах В. Пелевина «Чапаев и Пустота» и А. Уткина «Хоровод», о книгах А. Г. Тартаковского «Неразгаданный Барклай» и С. Аверинцева «Поэты».

**Виктор Астафьев.** Из новых затесей. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. 1997, № 3 (апрель — май).

«Орден смерти — письмо фронтовика», «Ярцево-Ерцево», «Из грязи в князи» — три коротких рассказа. В этом же номере напечатан небольшой текст В. Астафьева о Валентине Распутине в связи с его 60-летием.

**Вадим Баян.** Маяковский в первой олимпиаде футуристов. Вступительная статья и комментарии А. Зименкова и В. Терехиной. Подготовка текста А. Зименкова и А. Сердитовой. — «Арион». Журнал поэзии. Главный редактор Алексей Алексин. № 13 (1997, № 1).

Воспоминания литератора Вадима Баяна (псевдоним Владимира Ивановича Сидорова, 1880 — 1966) посвящены одной из авантюрных страниц истории русского футуризма — турне по городам России в конце 1913 — начале 1914 года. Интересно, что 22 июля 1929 года Вадим Баян опубликовал в «Литературной газете» протест против оскорбительного использования его псевдонима в пьесе Маяковского «Клоп» (отрицательный персонаж Олег Баян), в ответном письме на той же газетной странице Маяковский предложил Баяну переменить фамилию.

**Иван Беляев.** Записки русского изгнанника. — «Простор». Ежемесячный литературно-художественный журнал. В. Киктенко. Алматы, 1996, № 4, 5, 6, 7, 8.

Русские эмигранты в Латинской Америке. Попытка создать русское «гнездо» в Парагвае.

**Андрей Битов.** Надо получать удовольствие от своей судьбы. Публикацию подготовил Михаил Поздняев. — «Общая газета», 1997, № 19, 15 — 21 мая.

Встреча в редакции газеты с А. Битовым. «Тело (Ленина. — А. В.), конечно, похоронить — только не в Питере, а на родине... А внутри Мавзолея сделать глубокую шахту, окружить красным барьерчиком. Я, как бывший горный инженер, знаю: из глубокой земли такой дох пойдет, такой адский холод — это ужас! И вот вы туда заходите, наклоняетесь над шахтой, вдыхаете — и выходите. Все».

**Андрей Битов.** Приветствую всех, кто никуда не зовет. Беседу вела Татьяна Кондратович. — «Культура». Еженедельная газета интеллигенции. 1997, № 19, 22 мая.

На вопрос, каковы его политические пристрастия, писатель ответил: «Конституционная анархия. Я постоянно молю Бога и приветствую всех, кто никуда не зовет, а старается сохранить мирное состояние в нашей стране. Самое главное сейчас — дать пройти какому-то количеству некровавого времени, чтобы дать жизни надиктовать свои законы и своих героев».

**Андрей Битов.** Я помню красоту, молодость, любовь своих жен. Беседу вела Наталья Дардыкина. — «Московский комсомолец». Ежедневная общественно-политическая газета. 1997, № 95, 24 мая.

«Вот что я думаю: писатель — это страшный шпион. Шпион человеческого вида. Кому же выдает он свою тайну? По-видимому, людям: трудно объяснить самих себя. Они этому сопротивляются». Еще цитата: «И первая, и вторая, и сейчас действующая жена — все прекрасны».

См. также интервью А. Битова в «Независимой газете» (1997, № 95, 27 мая) и газете «Московские новости» (1997, № 21, 25 мая — 1 июня).

**Иосиф Бродский.** Зачем российские поэты?.. Перевод с английского Виктора Куллэ. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4.

О Белле Ахмадулиной.

**Марианна Вехова.** Бумажные маки. Повесть. — «Континент». Литературный, политический и религиозный журнал. № 90 (1996).

Русские женщины. Дети. Болезни. Смерть. Бог.

**Александр Генис.** Прикосновение Мидаса: Владимир Маканин. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4.

Очередная из серии статей А. Гениса о «новой словесности». О творчестве Маканина см. также статьи Натальи Ивановой «Случай Маканина» («Знамя», 1997, № 4) и Ирины Роднянской «Сюжеты тревоги» («Новый мир», 1997, № 4).

**Игорь Гергенредер.** Грозная птица галка. Новелла. — Газ. «Кстати». («Kstatie». Russian weekly newspaper). Сан-Франциско, 1996, № 38, 39, 40, 41.

О творчестве Игоря Гергенредера, живущего в настоящее время в Германии, в частности о его повестях, опубликованных в журнале «Грани», см. рецензию в «Новом мире» (1996, № 4). Книга его произведений готовится к выходу в Санкт-Петербурге.

**Александр Горфункель.** Вид на костер с балкона. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4.

Негодующее письмо в редакцию по поводу статьи А. Жолковского об Ахматовой («Звезда», 1996, № 9). Тут же печатается иронический ответ Жолковского «Мой взгляд на институт костра и другие институты, или Хохороны вторник». О статье Жолковского см. также полемическую реплику А. Наймана «Витёк и Алик» («Октябрь», 1997, № 4).

**Татьяна Григорьева.** О букве ять и других исключенных реформой 1917 года буквах. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. 1997, № 3 (апрель — май).

Полемическая статья против возвращения к дореформенному правописанию, к чему призывали, например, учредители конференции «Судьба русской орфографии» (Санкт-Петербург, май 1996 года).

**Даниил и Вадим Андреевы: братья знакомятся.** Письма Д. Андреева родным. Публикация, вступительные заметки и примечания Ольги Андреевой-Карлайл и Алексея Богданова. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4.

Письма Даниила Андреева к брату 1928 — 1938 годов. Письма Вадима Андреева к Даниилу не сохранились.

**Игорь Данилевский.** В поисках «Слова». — «Знание — сила». Ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал для молодежи. 1997, № 4.

О новаторских исследованиях А. А. Гогешвили, фрагментарно печатавшихся на страницах журнала «Знание — сила» (1997, № 1, 2, 3). Игорев поход как свадебное предприятие и т. д.

**Даниил Данин.** Дневник одного года, или Монолог-67. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4, 5, 6.

Дневник 1967 года с комментариями 1978 и 1980 годов.

**Николай Ильин.** Оптина пустынь. Публикация и предисловие Сергея Шумихина. — «Независимая газета», 1997, № 91, 21 мая.

Глава из мемуарной книги «Жития моего описание» Николая Николаевича Ильина (1885 — 1961), библиотечного и музейного работника, сотрудника Румянцевского музея, а позже Государственного литературного музея. Неопубликованные труды Н. Н. Ильина хранятся в РГАЛИ. Некоторые фрагменты его воспоминаний были напечатаны в сборнике ЦГАЛИ «Встречи с прошлым» (М., 1984, выпуск 5) и в «Альманхе библиофила» (М., 1990, выпуск 27).

**Григорий Канович.** Парк забытых евреев. Главы из романа. — «Диалог». Литературный альманах. Главный редактор Рада Полищук. <Москва.> Выпуск 1. Россия 1996 — Израиль 5757.

См. журнальный вариант романа также в «Октябре» (1997, № 4, 5).

**Екатерина Карсанова.** Любовь к трем дыроколам. — «Московские новости». Еженедельная газета. 1997, № 20, 18 — 25 мая.

Сравнение импортных и отечественных «дамских романов». В частности, отмечается «вынужденное нагромождение подробностей» в российской дамской беллетристике как «результат того, что действие разворачивается в неустоявшемся обществе».

**Юлий Ким.** Пять рассказов из цикла «Однажды Михайлов...». — «Континент». Литературный, политический и религиозный журнал. № 90 (1996).

Автобиографические рассказы. Ю. Михайлов — псевдоним, которым вплоть до 1985 года был вынужден из-за участия в правозащитном движении прикрываться Юлий Ким.

**Владимир Корнилов.** Неужто некуда идти? — «Литературная газета», 1997, № 20, 21 мая.

О Зошенко и Заболоцком.

**Яков Кротов.** Первая реликвия, или Подлинная история Туринской Плащаницы. — «Континент». Литературный, политический и религиозный журнал. № 90 (1996).

Подробно. Объективно. Убедительно.

**Сергей Минцлов.** Синодик. Предисловие Виктора Леонидова. — «Новая Юность», № 19-20 (1996, № 4-5).

Фрагменты опубликованного в Париже в 1925 году перечня библиотек, архивов и художественных коллекций, погибших в России во время революции и Гражданской войны.

**Лев Мочалов.** Раннее евангелие постмодернизма, или «При наличии отсутствия». — «Нева». Ежемесячный литературный журнал. 1997, № 4.

Остап Бендер как предтеча философии и практики постмодернизма. Замысел «Большевики пишут ответ Чемберлену по популярной картине художника Репина» как постмодернистское цитирование. Васюковская лекция-турнир как классический хеппининг. Инсталляция «Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке копыт и рогов». «Союз меча и орала» как артефакт. Тексты телеграмм, адресованных Корейко, — чистый концептуализм. Цитата: «Обретение миллиона оказалось главной целью «свободного художника», достигнув которой он перестал быть художником».

**Владимир Набоков.** Трагедия Господина Морна. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4.

Впервые публикуемая незавершенная набоковская трагедия в стихах (1923 — 1924) сопровождается статьей Вадима Старка «Воскресение Господина Морна» и прозаиче-



ским изложением Набоковым своего замысла, от которого он, впрочем, на деле не раз отступает. В подготовке текста к печати участвовали Серена Витале и Эллендея Проффер.

**Неизвестный Платонов.** Публикация и послесловие Е. М. Мамонтовой. — «Волга». Литературный журнал. 1996, № 12.

Публикации А. Платонова 1923 года в воронежской сатирической газете «Репейник».

**Пьер Паоло Пазолини.** Упрямое зеркало. Предисловие и перевод с итальянского Наталии Ставровской. — «Новая Юность», № 19-20 (1996, № 4-5).

«Упрямое зеркало», «Из далекой Фриули», «Вальвазоне», «Каштаны и хризантемы», «Запах Индии» — рассказы и путевые заметки известного кинорежиссера.

**Борис Парамонов.** Скромное обаяние буржуазии. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4.

О «Мифологиях» Ролана Барта.

**Письма на Олимп.** Борис Пастернак — Александру Фадееву и Константину Симонову. Предисловие, публикации и комментарии М. А. Рашковской. — «Континент». Литературный, политический и религиозный журнал. № 90 (1996).

Материалы из РГАЛИ. Восемь писем поэта 1945 — 1953 годов. «Моя жизнь так пряма, что любой ее оборот приемлем» (из письма К. Симонову от 11 мая 1947 года). Отклик на смерть Сталина: «Какое счастье и гордость, что из всех стран мира именно наша земля, где мы родились и которую уже и раньше любили за ее порыв и тягу к такому будущему, стала родиной чистой жизни, всемирно признанным местом осушенных слез и смытых обид!» (из письма к А. Фадееву от 14 марта 1953 года).

**Г. Померанц.** Между бедностью и богатством. — «Октябрь». Независимый литературно-художественный и публицистический ежемесячный журнал России. 1997, № 5.

Отклик на статью Михаила Эпштейна «Постатеизм, или Бедная религия» («Октябрь», 1996, № 9).

**Григорий Померанц.** Переключка героев Достоевского с Бубером. — «Континент». Литературный, политический и религиозный журнал. № 90 (1996).

Эссе. Тема сформулирована в названии.

**Портрет в зеркалах: Антонен Арто.** Составитель Борис Дубин. — «Иностранная литература». Ежемесячный литературно-художественный и публицистический журнал. 1997, № 4.

Среди авторов подборки о французском поэте, прозаике, драматурге и сценаристе, основателе «театра жестокости» Антонене Арто (Antonin Artaud, 1896 — 1948) — Морис Бланшо, Андре Бретон, Андре Массон, Жорж Батай и другие. Печатаются также два письма самого А. Арто.

**Алексей Пурин.** Утраченные аллюзии. — «Октябрь». Независимый литературно-художественный и публицистический ежемесячный журнал России. 1997, № 5.

Мысли об искусстве.

**Лев Разгон.** Начальник полиции. Рассказ. Послесловие Игоря Халифа. — «Диалог». Литературный альманах. <Москва.> Выпуск 1. Россия 1996 — Израиль 5757.

Тюремный рассказ. Сокамерник — бывший директор детдома, ставший при немцах начальником полиции, а после войны начал вторую или уже третью жизнь — стал стахановцем на руднике, потом начальником управления рабочих кадров треста (пока не разоблачили). Тон рассказчика — философский: на безымянном «начальнике полиции» меньше крови, чем на тех чекистах, которых встречал рассказчик в своей жизни.

**Валентин Распутин.** Нежданно-негаданно. Рассказ. — «Наш современник». Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал. 1997, № 5.

Сельский житель Сеня Поздняков пытается спасти девочку-сироту от участи попрошайки, но безрезультатно. Тут же печатается «Мой манифест» В. Распутина с подзаголовком «Наступает пора для русского писателя вновь стать эхом народным...».

**Дина Рубина.** Итак, продолжаем!.. Монолог натурщицы. — «Диалог». Литературный альманах. <Москва.> Выпуск 1. Россия 1996 — Израиль 5757.

Рассказ о жизни в Израиле. Узнаваемая манера, рука профессионала. Впрочем, в послесловии Леонид Жуховицкий признается, что в последних вещах писательницы ему недостает «музыкальности, красоты фразы, невольного восторга перед многообразием жизни, которым была полна проза молодой Рубиной». См. в «Новом мире» (1997, № 3) рецензию Аллы Марченко на роман Д. Рубиной «Вот идет Мессия!..» («Дружба народов», 1996, № 9, 10).

**Бенедикт Сарнов.** Глухарь на току. — «Литературная газета», 1997, № 18-19, 14 мая.

О Манделштаме в связи с выходом его Собрания сочинений в четырех томах (изд-во «Арт-Бизнес-Центр»).

**Владимир Свинцов.** Без родословной, или Жизнь и приключения бездомной Шавки. Повесть. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения. 1997, № 3 (апрель — май).

История собаки. По-хорошему трогательная, как любая повесть о животных.

**Валерий Сердюченко.** Дерусификация. — «Нева». Ежемесячный литературный журнал. 1997, № 4.

Против Игоря Яркевича и Виктора Ерофеева. Темпераментно и с обобщениями.

**Виктор Топоров.** Похороны Гулливера. — «Постскрипtum». Литературный журнал. Под редакцией Владимира Аллоя, Татьяны Вольтской, Самуила Лурье. Выходит три раза в год. 1997, № 2.

О Бродском. Против А. Кушнера (а также А. Наймана, Е. Рейна, А. Сергеева и других). С бытовой злобой. В традиционном постскриптуме редакция «Постскриптума» сожалеет, что «не мог он (Топоров. — А. В.) пасквиль от памфлета, как мы ни бились, отличить».

**Илья Фаликов.** Он идет ледоколом в собственном льду. — «Литературная газета», 1997, № 20, 21 мая.

Критик анализирует поэтическую книгу Юрия Кузнецова «До свиданья! Встретимся в тюрьме» (включающую стихотворения последних лет начиная с 1989 года) как свидетельство того, что поэт «никуда не исчезал». Но «почти исчезла, так сказать, социальная база (читатель) поэзии подобного толка. Русский нищезанец, герой-победитель, последний отечественного байронизма — такой тип поэта ныне обречен на метание слов в вату».

**Павел Флоренский.** Необходимость нашей атомной бомбы. — «Наш современник». Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал. 1997, № 5.

Выступление доктора геолого-минералогических наук П. В. Флоренского (внука философа П. А. Флоренского) на сборных чтениях Всемирного Русского народного собрания по проблемам ядерной безопасности России (Свято-Данилов монастырь, декабрь 1996 года). В частности, об «отношении» преп. Серафима Саровского к ядерному оружию: «Думаю, что если бы ему самому не было угодно, чтобы в его доме (в Арзамасе-16, то есть городе Сарове. — А. В.) делали щит Родины, ничего бы у бомбоделов не получилось... Может быть, в том, что наша бомба не убийца, и состоит свидетельство контроля за нею отца нашего Серафима». Тут же печатаются тексты публичных выступлений П. В. Флоренского «Реальность и символ» и «А был ли Лосев?».

**Христианство — единственная последовательная форма материализма.** Интервью митрополита Антония (Блума) журналу «Континент». — «Континент». Литературный, политический и религиозный журнал. № 90 (1996).

«В интересах более развернутого представления читателю взглядов владыки Антония некоторые его ответы на вопросы Ларисы Скуратовской дополнены его высказываниями на те же темы, взятыми из неопубликованных бесед владыки в различных аудиториях и подготовленными к печати по его благословению Еленой Майданович» (из редакционного пояснения). В название интервью вынесено выражение философа С. Л. Франка.

**Анастасия Цветаева.** ...Зато удалось служение родине. Публикация Станислава Айдиняна. — «Культура». Еженедельная газета интеллигенции. 1997, № 19, 22 мая.

Написанный еще в 60-е годы небольшой текст об отце — Иване Владимировиче Цветаеве.

**Сергей Чилингарян.** Бобка. Повесть о собаке. Вступительная заметка Александра Эбаноидзе. — «Дружба народов». Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 5.

История пса Бобки была написана в 1982 году. Издана на средства автора мизерным тиражом и разослана знакомым. Андрей Битов увидел в анималистической прозе С. Чилингаряна «открытие, которого не встречал прежде».

**Феликс Чуев.** Ветер истории. — «Наш современник». Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал. 1997, № 5.

Истории о Сталине, записанные со слов людей, работавших с вождем или встречавшихся с ним. Похоже на анекдоты Юрия Борева. Однажды после войны на заседании Политбюро Хрущев высказал свои соображения по поводу строительства агрогородов (газ, водопровод и пр.). Сталин выслушал, подошел к нему, погладил по лысине и сказал: «Мой маленький Маркс!» Вряд ли правда, но очень смешно.

**Игорь Шайтанов.** Однажды и навсегда. — «Независимая газета», 1997, № 84, 12 мая.

О поэмах Евгения Рейна. В связи с выдвижением на Государственную премию РФ в области литературы.

**Варлам Шаламов.** Эхо Колымы. Публикация И. П. Сиротинской. — «Литературная газета», 1997, № 18-19, 14 мая.

Рассказ «Герман Хохлов» (70-е годы), записи «Из рабочих тетрадей» и «Мелочи» (1961). Цитата: «Слудский — искусственная простота».

**Варлам Шаламов.** «Как мало изменилась Рассея...». Из записок о Достоевском. Публикация И. П. Сиротинской. — «Литературная газета», 1997, № 24, 18 июня.

«Игрок», «Омск» и другие записи Варлама Шаламова 70-х годов. Тут же к 90-летию со дня рождения писателя печатается статья Вячеслава Вс. Иванова «Аввакумова доля». См. также в газете «Московские новости» (1997, № 24, 15 — 22 июня) юбилейные заметки Михаила Золотоносова «Мучитель наш» о шаламовском «мучительном антигуманизме». Цитата: «Шаламовская проза, стихи, эссе, письма, дневники — это литература мести (благополучному читателю, не прошедшему все круги ада. — А. В.), основанная на глубоко прочувствованной ветхозаветной этике. «Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану» (Исх. 21: 23 — 25). «Колымские рассказы» — за Колыму, мучение за мучение».

См. также статью Михаила Рыклина «Жить за пределами жизни» («Книжное обозрение „Ех libris НГ“». Приложение к «Независимой газете». 1997, № 10, июль), рядом напечатаны «Краткая биография Варлама Шаламова» и «Основная библиография произведений Шаламова, изданных на родине». В этой «основной библиографии» странным образом не нашлось места ни для одной из шаламовских публикаций в «Новом мире» (1988, № 6; 1989, № 12).

**Михаил Шапиро.** Какао-кока. Роман. Предисловие Евгения Лапутина — «Новая Юность», № 21 (1996, № 6).

Как делают кокаин в Эквадоре. Фрагменты авантюрного романа. Автор с 1978 года живет в США.

**Сергей Шатурин.** Мучительный поиск родства. — «Москва». Журнал русской культуры. 1997, № 6.

Темы и мотивы книг прозаика Михаила Попова («Баловень судьбы», «Пир», «Народный театр», «Охота на графомана», «Невольные каменщики» и др.).

**Ян Шенкман.** Пушкин не пушкин. — «Постскриптум». Литературный журнал. Под редакцией Владимира Аллоя, Татьяны Вольтской, Самуила Лурье. Выходит три раза в год. 1997, № 2.

О том, что разница между самим Пушкиным и тем, что он написал, колоссальная. «Мы можем некто сказать о человеке, которым написано послание «К Чаадаеву», «Демон» или «19 октября». Но «Пророк», «Три ключа», «Отцы-пустынники», «Воспоминание» написаны как бы «человеком вообще» или всем человечеством».

**Юрий Шинкаренко.** На палубе «Арго», или Поход за властью. Из новейшей истории жаргонного языка подростков. — «Урал». Ежемесячный литературно-художественный журнал.

жественный и публицистический журнал. Главный редактор Валентин Лукьянин. Тираж 1550 экз. Екатеринбург, 1997, № 2.

Екатеринбургские «неформалы» 80-х. Подростковый аргю. Элементы магического сознания в подростковом жаргоне.

**Евгений Шкловский.** О толстых журналах замолвите слово... — «Открытая политика». Журнал российской политической мысли. Главный редактор Виктор Ярошенко. 1997, № 2-3.

Литературный обзор в авторской рубрике Е. Шкловского «Писатели пишут». См. также и последующие публикации: его интервью с американским славистом Томасом Эпстайном «Ваша культура переживает анархический период...» (1997, № 4) и обзор «Разговор с самим собой, или О мужестве и слабости писателя» (1997, № 5).

**Вольф Шмид.** «Братья Карамазовы» — надрыв автора или роман о двух концах. — «Континент». Литературный, политический и религиозный журнал. № 90 (1996).

К 175-летию со дня рождения Достоевского. Статья известного немецкого слависта, профессора Гамбургского университета. Тут же печатается статья-ответ Игоря Виноградова «„Осанна“ или „Горнило сомнений“». (По поводу статьи Вольфа Шмида)» и еще одна его статья «От Шигалева — к Великому Инквизитору», а также статьи польского исследователя, профессора Лодзинского университета Анджея Лазари «Достоевский в идеологической борьбе наших дней» и русского литературоведа, профессора Бориса Соколова «Маркиз де Сад и Достоевский».

**Валерий Шубинский.** Гнев живых на живых. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4.

Статья о книге М. С. Альтмана «Разговоры с Вячеславом Ивановым» (СПб., 1995).

**Наталья Шубникова-Гусева.** Финансист Александр Краснощеков. — «Независимая газета», 1997, № 90, 20 мая.

Красный финансист Александр Михайлович Краснощеков (1880 — 1937) как прототип Никандра Рассветова в поэме С. Есенина «Страна негодяев».

**Илья Шухов.** Ветер разлуки. Повесть в миниатюрах, эскизах и воспоминаниях. Часть вторая. — «Простор». Ежемесячный литературно-художественный журнал. Алматы, 1996, № 8.

О прозаике Иване Петровиче Шухове, бывшем главном редакторе журнала «Простор». Журнальный вариант. Первая часть печаталась в № 11, 12 «Простора» за 1991 год. Цитата: «Хорошо помню: отец принес тогда из редакции рукопись романа («Раковый корпус». — А. В.), присланную Солженицыным из Рязани, где он в ту пору жил, прочел и по обыкновению поделился впечатлением с моей матерью, сказав, что вещь эта ему не понравилась. И вовсе не по идейным соображениям, а именно по причине невысоких литературных достоинств. Художественные критерии были для отца превыше всего». No comments.

**Дмитрий Шушарин.** Легенды и принципы. — «Посев». Общественно-политический журнал. Основан в 1945 году в эмиграции, с 1992 года издается в России. Главный редактор А. Ю. Штамм. 1997, № 2 (март—апрель).

Легенда о социалистическом государстве. Легенда о ностальгии по СССР. Легенда о «старшем брате». Легенда о либерализме.

**Евгения Щеглова.** Почему их было интересно читать? О прозе чисто «советской», но вместе с тем... — «Нева». Ежемесячный литературный журнал. 1997, № 4.

Перечитывая прозу Юрия Германа и Веры Пановой.

**Михаил Эпштейн.** Путь ангельской плоти. — «Звезда». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. 1997, № 4.

Статья о поэзии живущего в США Григория Марка. В этом же номере «Звезды» печатается подборка стихотворений Г. Марка.

**Владимир Яницкий.** Пришедшие найти. Повесть. — «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 1997, № 5.

Монастырь. См. также «Монастырские этюды» В. Яницкого в «Новом мире» (1997, № 10).

Туге Янсон. Муми-папа и море. Перевод со шведского И. Хилькевич. — «Постскриптум». Литературный журнал. Под редакцией Владимира Аллоя, Татьяны Вольтской, Самуила Лурье. Выходит три раза в год. 1997, № 2.

История о муми-тролях, сочиненная Туге Марикой Янсон еще в 1965 году, в контексте «взрослого» литературного журнала обретает новое качество или, лучше сказать, открывает свое истинное лицо. Хорошая проза о семейной жизни.

Составитель Андрей Василевский.

## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Сентябрь*

**5 лет назад** — в № 9 за 1992 год напечатана повесть Семена Липкина «Записки жильца».

**10 лет назад** — в № 9 за 1987 год напечатана повесть Михаила Кураева «Капитан Дикштейн».

**40 лет назад** — в № 9 за 1957 год началась публикация книги Вл. Солоухина «Владимирские проселки».

## ПАМЯТИ АРВО МЕТСА

Арво Антонович Метс скоропостижно скончался на 61-м году жизни.

Он родился в Таллине. В Москве окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Выпустил шесть книг стихов. Его поэзию читали на русском, эстонском, испанском, немецком, польском, грузинском, литовском, украинском языках... «Писать верлибром, — любил говорить Арво, — как протирать запотевшее стекло».

Работая в 1975 — 1991 годах в «Новом мире» (в последние годы — консультантом отдела поэзии), Арво Метс запомнился и маститым, и начинающим авторам своими чуткостью и добротой. Ни одна рукопись, ни одно пожелание автора не оставлялось им без внимания. Русскую поэзию он любил до самозабвения, в ней черпал свои силы.

Таким же добрым и застенчивым, отзывчивым на чужую беду, тонким и талантливым человеком навсегда останется Арво Метс в памяти тех, кому довелось с ним работать в «Новом мире».

Г. Резниченко.

## **УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!**

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путь-Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

---

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

---

*Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.*

## SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Yevgeny Rein, Vladimir Leonovich and Dmitry Sukharev.

We are publishing the narrative «A House in the Country» by Alexei Varlamov and two short stories by Svetlana Vasilenko.

In the section «New Translations» we are ending to publish the novel «Morbus Kitahara» by Christoph Ransmayr (translation from German by N. Fedorova).

The section «Essays of Nowadays» presents the essay «Gold Smoking» by A. Mikheyev.

In the section «Far Nearness» we are publishing the memoirs «Hard Times in Moscow» by A. Solovov.

The section «Publications and Reports» is presented by correspondence between Iosif Stalin and Maxim Gorky (from the Archives of the President of the Russian Federation).

In the section «Literary Criticism» we are publishing essays by Anatoly Naiman and Nikolay Slavyansky on Iosif Brodsky' poetry.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Editor's Mail», «Russian Books Abroad» and «Bibliography».



**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Главный редактор С. П. Залыгин**

**Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

**Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.  
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,  
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29. Факс: 200-08-29.  
Электронная почта: nmir@deol.ru

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати  
и массовой информации РСФСР.

Сдано в набор 20.05.97 г. Подписано к печати 24.07.97 г. Оригинал-макетизготовлен на компьютерах редакции  
журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать.  
Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 15 000 экз. Зак. 5568. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.  
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой  
Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

**ДО КОНЦА 1997 ГОДА  
И В 1998 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Облдрамтеатр (повесть);  
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);  
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);  
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);  
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);  
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);  
 ЯН ГОЛЬЦМАН. Страницы северной тетради;  
 ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ. Из «Дневника» (перевод с польского);  
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);  
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.  
 Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);  
 БОРИС ЕКИМОВ. Очерки и рассказы;  
 ВАЛЕРИЙ ИСХАКОВ. Пудель Артамон (повесть);  
 ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Европа и мировой Юг;  
 АНАТОЛИЙ КИМ. Стена (повесть);  
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Золотуха по прозвищу Одышка (маленькая повесть);  
 АНАТОЛИЙ НАЙМАН. Б. Б. и др.;  
 Ф. НИЦШЕ. Письма (перевод с немецкого);  
 ЛЕО ПЕРУЦ. Иуда «Тайной вечери» (роман, перевод с немецкого);  
 ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Разновразие (повествование);  
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Чернильный ангел (повесть);  
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);  
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;  
 ФРЕД СОЛЯНОВ. Повесть о бесовском самокиле;  
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);  
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Армия любовников (роман);  
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);  
 ВЛАДИМИР ЯНИЦКИЙ. Монастырские этюды;

а также романы, повести, рассказы ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, ЮРИЯ БУЙДЫ, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРКА КОСТРОВА, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ИРИНЫ ПОЛАНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ИРИНЫ СУРАТ и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**